

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

11



1954

1954

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXX

№ 11

Ноябрь, 1954 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР КОРНЕЙЧУК — Крылья, пьеса. Перевод с украинского	3
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ — В переулке за Арбатом, поэма	51
В. НЕКРАСОВ — В родном городе, повесть. Окончание	97
МАРК МАКСИМОВ — Сказка, стихи	179
НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ — Своему сердцу, стихи	182
САЙФИ КУДАШ — Присвоив насильственно славу поэта... Стихи. Перевод с башкирского М. Петровых	184
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Три стихотворения	185

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. КАВЕРИН — Поиски и решения	187
КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ — Большие надежды	198
М. ПРИШВИН — Завлекающий рассказ	203
В. ТЕНДРЯКОВ — В защиту положительного героя	209
ЮРИЙ ГЕРМАН — Будем строгими к себе	214

ДОКУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ

МЕЖДУ ДВУМЯ СЪЕЗДАМИ	222
----------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

По страницам журнальной прозы

Ю. Суровцев, М. Щеглов. Новаторство — это борьба! — З. Гусева. На главном направлении. — В. Сурвилло. Идея гуманизма. — Б. Рунин. О славном походе. — Г. Петухов. Неоправданные положения и надуманные конфликты. — Л. Скорино. Начало пути. — В. Кардин. Мелкое решение глубокой темы. — Ю. Шарапов. Повесть о рабочих торговли.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287
-----------------	-----

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

АЛЕКСАНДР КОРНЕЙЧУК

★

КРЫЛЯ

Пьеса в четырёх действиях, пяти картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

РОМОДАН ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, секретарь обкома.
ДРЕМЛЮГА ГОРДЕЙ АФНАСЬЕВИЧ, председатель облисполкома.
НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА, его жена.
ТЕРЕЩЕНКО ФЕДОР ГАВРИЛОВИЧ, начальник «Облплодоовощторга».
ТАТЬЯНА СВИРИДОВНА, его жена.
РОЕВОЙ, председатель горсовета.
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, его жена.
ОВЧАРЕНКО ГАВРИИЛ ОНУФРИЕВИЧ, третий секретарь обкома.
ПАДОЛИСТ АННА АНДРЕЕВНА, врач.
ЛИДА, её дочь.
РЕМЕЗ КАТЕРИНА СТЕПАНОВНА, хирург.
САМОСАД ЕФРЕМ ЕФРЕМОВИЧ, садовник.
ИВАНЕНКО, помощник Ромодана.
ФИЛИПП, помощник Дремлюги.
ДОЛИНА ВАРВАРА АЛЕКСАНДРОВНА, звеньевая.
ГОРИЦВЕТ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА, учительница.
КАЛИНА ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ, секретарь городского комитета партии.
ВЕРНИГОРА КИРИЛЛ ЗАХАРОВИЧ, начальник областного управления сельского хозяйства.
СОХА ИВАН ИВАНОВИЧ, директор МТС.
ГАЛЯ, каменщик.
МАРЧЕНКО, секретарь парторганизации МТС.
КОРОВАЯ МЕФОДИЙ, председатель колхоза.
ДУДАРИК, председатель колхоза.
ВИШНЕВОЙ, председатель колхоза.
СКИБА, председатель колхоза.
КАЧАН, тракторист.
СКРИПКА, тракторист.
ТРАКТОРИСТКА.
ОЛЬГА, звеньевая.
СТАРАЯ ЖЕНЩИНА.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Большой парк. Шедрое июльское солнце льётся ручейками сквозь могучие кроны, ткёт причудливые узоры меж деревьев старой липовой аллеи. В конце аллеи высокие кусты укрыли дом, и только видна черепичная крыша одноэтажной дачи.

На переднем плане, слева, выступает терраса другой дачи. У террасы — клумбы. На одной пышно расцвели красные канны, на другой — голубые дельфиниумы. А чуть дальше, под могучей липой, стоит столик, возле него — несколько плетёных стульев.

Из глубины парка слышна песня:

...Ой, пиду я лугом,
Лугом-долиною...

Входят Ромодан и его помощник Иваненко.

Ромодан. Верно, грибы девчата собирают.

Иваненко. Нет. Это поют на стройке.

Ромодан. А что строят?

Иваненко. Гараж для вашей машины.

Ромодан. Хорошая песня. Моя сестра её очень любила и хорошо пела...

Песня оборвалась.

Иваненко. Вот ваша дача, Пётр Александрович. (*Показывает на террасу.*) Маленькая она, всего три комнатки...

Ромодан. Мне и одной достаточно. Я ведь один.

Иваненко. А когда ваша семья придет...

Ромодан. Семья... Какой красивый парк!

Иваненко. Старый. А вон в конце аллеи — дача товарища Дремлюга, а там — река.

Ромодан. Могучие липы!.. Им, вероятно, лет по сто?..

Иваненко. Может, и больше.

Ромодан подошёл к старой липе, положил на столик папку и шляпу. Любуется парком. Иваненко отнёс чемодан в дом, возвращается.

Иваненко. Пожалуйста, ключ от дачи. Там всё в порядке. Я утром проверял.

Ромодан (*взял ключ*). Спасибо.

Иваненко. Какие будут распоряжения?

Ромодан (*достаёт деньги*). Купите мне, пожалуйста, бутылку боржоу и что-нибудь перекусить...

Иваненко. Там всё есть.

Ромодан. А откуда оно взялось?

Иваненко. Гордей Афанасьевич и их супруга Надежда Степановна с утра для вас всё организовали... Просили меня не говорить вам, но (*усмехнулся*) что бы я за помощник был, если б не доложил вам?..

Ромодан. А вы давно в обкоме работаете?

Иваненко. Пятый год. С тремя секретарями работал, вы четвёртый...

Ромодан. Трёх пережили...

Иваненко. Так точно!

Ромодан. И всех, как меня, сюда на дачу привозили?

Иваненко. А как же!..

Ромодан. И для них было «всё организовано»?..

Иваненко. Как для вас, так и для них... Товарищ Дремлюга очень гостеприимно встречает...

Ромодан. А потом вы их вывозили?

Иваненко. А как же!..

Ромодан. Много хлопот было у вас...

Иваненко. Я привык...

Ромодан. Привыкли?

Иваненко. Так точно! Сегодня Гордей Афанасьевич так хорошо о вас говорил...

Ромодан. Кому?

Иваненко. Своей супруге. Наконец, говорит, мы дождались настоящего руководителя. Это для нас такая радость...

Ромодан. А не предупреждал он, чтобы вы мне об этом не докладывали?

Иваненко. Предупреждал, но я...

Ромодан (*перебивает*). А что будет, если узнает Гордей Афанасьевич, что вы не сдержали слова?.. Обзовёт вас сплетником и болтуном.

Иваненко. Никогда!

Ромодан. Вы уверены?

Иваненко. Я знаю.

Ромодан. Тогда я вас обзову, если вы будете мне такое докладывать.

Иваненко. Виноват, Пётр Александрович. Я понимаю... Я буду стараться, и, если что не так, критикуйте меня... Я критику люблю.

Ромодан. Любите?

Иваненко. Так точно! Мы здесь к ней привыкли. Ещё будут какие распоряжения?

Ромодан (*достал блокнот, пишет, потом подаёт*). Вот вам фамилия одной женщины. Варвара Александровна Долина. Это моя родственница. Она из села сюда приехала. Разыщите её: где она живёт, работает. Привезите ко мне. Я буду вам очень признателен.

Иваненко (*взял бумажку*). Так это же простое дело! В адресном столе сразу скажут.

Ромодан. Ни черта не скажут! Я туда звонил.

Иваненко. Найду. Только, к сожалению, сегодня уже конец дня, а завтра воскресенье...

Ромодан. Ищите в понедельник... Ищите...

Иваненко. Хорошо. Переверну весь город, но найду. Разрешите идти?

Ромодан. Будьте здоровы!..

Иваненко вышел. Ромодан садится за столик, раскрывает папку. Из глубины парка снова тихо льётся песня. Ромодан слушает, лёгкая улыбка появилась на его лице. Он начинает тихо напевать ту же песню:

Ой, чоґо ти, сестро,
Така горда стала:
Сказав тобі «здраслуй»,
«Здоров» не сказала?..

Песня обрывается, Ромодан продолжает один:

Тим я тобі, брате,
«Здоров» не сказала —
За дрібними слізьми
Тебе не пізнала...

И когда Ромодан повторяет: «За дрібними слізьми тебе не пізнала...», входит Самосад. Он в старой гимнастёрке, на груди — три медали. На голове — ветхая тирольская шляпа с пером, в руках — лопата и ведро. Ромодан не замечает его. Самосад долго смотрит на него, потом подходит к столику, садится. Вытащил из кармана окарину, наигрывает ту же песню... Ромодан смотрит на него.

Самосад. Ждёте?

Ромодан. Жду.

Самосад. Это хорошо. (*Снова проигрывает куплет песни.*) Кто не ждёт, тот не живёт... Но сегодня не повезёт вам.

Ромодан. Почему?

Самосад. В субботу мы не принимаем. В субботу каждый порядочный человек принимает только в себя. Заявляю авторитетно!

Ромодан. Я вижу.

Самосад. На мою шляпу смотрите?.. Её сам Геринг носил, а теперь Ефрем Ефремович носят.

Ромодан. Неужели Геринг носил?..

Самосад. Авторитетно заявляю. Под Кенигсбергом взяли мы его охотничий дворец, и там я организовал эту шляпу. Как трофей. И вот эту немецкую дудку...

Ромодан. С боем дворец брали?

Самосад. Нет! Немцы драпанули, остался только один старый гар... гар... гармидинер.

Ромодан. Верно!

Самосад. А вы тоже там были?

Ромодан. Был. Но, очевидно, после вас, потому что там всё уже было дочиста организовано. Только камердинер остался, и то лежал в дым пьяный.

Самосад. Так это же мы его напоили! Хороший дед, добре пил горилку и всё кричал: «Гитлер капут!» Одной боевой дорогой мы шли, выходит — мы боевые друзья...

Ромодан. Выходит.

Самосад *(встал)*. Руку, товарищ боевой!..

Ромодан *(встал, подал руку)*. А вот слёзы — это уж не по боевому.

Самосад. Где вы увидели слёзы?

Ромодан. У боевого друга. *(Улыбнулся.)*

Самосад. Виноват. Вспомнил нашу солдатскую жизнь. Вы не беспокойтесь, я не припадочный... Правда, имел контузию и шесть ранений, но все удачные. Так что живу и даже инвалидом себя не считаю.

Ромодан. Вот это хорошо!

Самосад. А у вас были ранения?

Ромодан. Четыре.

Самосад. Удачные?

Ромодан. Не очень, ещё два осколка сидят.

Самосад. И вы хлебнули...

Ромодан. Как и все... Сколько вам лет?

Самосад. Сорок пять, а по субботам — тридцать пять.

Ромодан. Почему?

Самосад. В субботу я бреюсь и усы ставлю на «смирно». *(Показывает.)* Э, что было, то было! Давай, друг, пивка выпьем. Угощаю.

Ромодан. Спасибо, но я жду...

Самосад *(перебивает)*. Ходить никуда не надо. Вот здесь, я сейчас... *(Подойшёл к липе, засовывает руку в дупло, достаёт бутылку пива, потом кружку, ставит на стол.)* Только никому о моём магазине!..

Ромодан. Никому!

Самосад *(открывает бутылку)*. В каких чинах служили?

Ромодан. Полковником.

Самосад. Не дослужились до генерала?..

Ромодан. Нет.

Самосад. Так и я. Рядовым пошёл, рядовым и вернулся. *(Наливает.)* Пейте.

Ромодан. Ваше здоровье!

Самосад. Тяните на здоровье...

Ромодан *(выпил)*. Хорошее пиво, холодное...

Самосад. В дупле оно большое охлаждение имеет. *(Налил себе.)* От жинки прячу. Клятая баба!.. Ух!.. *(Выпил.)* Вы главного хозяина дожидаетесь или временного?

Ромодан. А кто тут главный?

Самосад. Главный — это товарищ Дремлюга Гордей Афанасьевич, председатель облизполкома. Вон их дача... Моя жинка у них кухаркой служит.

Ромодан. А кто временный?

Самосад. Секретарь обкома. Это его дача. Сегодня приезжает. *(Показывает на террасу.)*

Ромодан. А почему он временный?..

Самосад. Отчего-то они у нас долго не держатся. Утром мы тут порядок наводили, так Гордей Афанасьевич говорит своей супруге: «Опять секретаря нового принимаем». А она: «И этот, наверное, временный. Скоро от нас уедет...» Я человек беспартийный, но, думаю, это непорядок.

Ромодан. Что именно?

Самосад. Нельзя их так часто менять.

Ромодан. А если дело не идёт?

Самосад. Так не надо таких выбирать. А раз выбрали, смотрите за ним гуртом, помогайте, чтоб борозду не портил. Тогда и Дремлюга — только между нами! — не будет так авторитетно носом в небо дырки пробивать.

Ромодан. А вы что здесь делаете?

Самосад. На мне всё здесь держится! И охрана дач, и цветы эти выращиваю, и мотористом на лодке... А сколько всяких авторитетных заданий от самого товарища Дремлюги и от ихней жены!.. Вот сегодня суббота. Скоро всё начальство сюда съедется — так у нас заведено. Умри, Самосад (это я — Ефрем Ефремович Самосад), а ведро червяков пред очи Гордея Афанасьевича поставь! А где их, у чёрта, взять, если они от такой жары на пять метров в землю позалазили?! Пойду ещё копать, не то разнесёт меня товарищ Дремлюга... Ух, и разнесёт!.. *(Взял лопату и ведро.)*

Ромодан. Спасибо за пиво, Ефрем Ефремович.

Самосад. На здоровье! Смотрите. *(Показывает.)* Вон с купанья хозяйка идут, а справа — ихняя сестра, Катерина. Остановились. Ещё кто-то с ними. Красивая женщина Катерина, но будьте с нею осторожны

Ромодан. Почему?

Самосад. В прошлую субботу, когда начальство тут гуляло, видно, областной плодоовощ, товарищ Терещенко, то ли не то ей сказал, то ли не там ушипнул, — так она его по физиономии так отхлестала, что на весь парк звон пошёл. Хорошо, что, кроме меня, никто не видел, как она весь авторитет сбила областному плодоовощу. Сюда сворачивают. Осторожно с нею!.. Будьте здоровы!

Ромодан. Всего хорошего!

Самосад идёт, весело говорит: «...Весь авторитет дочиста сбила... Золотые руки...» Вышел. Ромодан берёт папку, шляпу, хочет итти, но повернул голову и, поражённый, застыл. Машинально положил на столик шляпу и папку. Входят Надежда Степановна, Катерина и Анна. Надежда и Катерина в купальных халатах.

Надежда. Добрый день, Пётр Александрович! Простите, что мы в халатах, купались...

Ромодан. Добрый день.

Надежда. А мой Гордей тоже приехал?

Ромодан. Нет, у Гордея Афанасьевича заседание. Но скоро будет, звонил мне...

Надежда. Позвольте вас познакомить. Это моя сестра, Катя, а это...

Ромодан. Я...

Анна (*сухо*). Анна Андреевна Падоллист. (*Подает руку.*) А ваша фамилия?

Ромодан. Ромодан, Пётр Александрович. (*Смотрит на Анну. Пауза.*)

Катерина. Хотя вы и не спрашиваете меня, — Катерина Степановна Ремез.

Ромодан. Простите, Катерина Степановна. (*Подает руку.*)

Катерина. Пожалуйста. Если забудете, как моё отчество, называйте просто Катерина, а если и имя забудете, то любим, какое первое на ум придёт, таким и называйте...

Ромодан. Я не забуду, у меня хорошая память...

Катерина. Но у вас столько ответственных дел. Начальство всегда путает имена знакомых... Это вещь обычная. Простите, мы сходим переоденемся, а пока вернёмся, вам Анна Андреевна расскажет, как я сестру тащила из воды...

Надежда. Я чуть не утонула! Заплыла далеко и никак до берега не могла добраться. Течение так несёт... Если б не Катя...

Катерина. Полюбуйтесь, как сестричка меня разукрасила. (*Немного отвернула халат.*) Чуть родную сестру не задушила, лишь бы спасти свою жизнь. Да разве есть правда на свете?!

Надежда. Ну что ты... Я ведь легонько. Это у тебя кожа такая, очень нежная.

Катерина. Пойдём, пойдём, дорогая сестричка. Мы сейчас вернёмся. У меня к вам дело есть.

Ромодан. Пожалуйста.

Катерина и Надежда идут по аллее к своей даче. Ромодан смотрит на Анну. Большая пауза.

Анна. Давно приехал?

Ромодан. Три дня назад.

Анна. Я позавчера прочитала в газете, что тебя избрали... А ты не постарел... Столько лет прошло...

Ромодан. Как Лида?

Анна. Здорова. В этом году закончила школу на «отлично».

Ромодан. Как ты живёшь, Анна?

Анна. Работаю вместе с Катериной. Она главный хирург, а я ординатор. Как твоё здоровье?

Ромодан. Хорошо. Когда переехала сюда?

Анна. Как только ты нас оставил, меня из района сюда перевезли. Ты же знал, что я здесь.

Ромодан. Знал. Я ведь писал тебе. Но когда ты переехала...

Анна. Как душно сегодня! Видно, гроза будет...

Ромодан. Мне трудно говорить... Как я рад, что вижу тебя... Анна, я больше не могу без тебя, без дочери...

Анна. У тебя нет дочери. Лида давно носит мою фамилию. Не стоит нам встречаться. Ни к чему. И нам и тебе лучше будет...

Ромодан. Не хочешь?

Анна. Нет!

Ромодан. А Лида?

Анна. Она забыла тебя.

Ромодан. Не верю! Это неправда!

Анна. Правды хочешь? Попробуй, поговори с Лидой. Она уже взрослая, своим умом живёт...

Ромодан (*тихо*). Неужели забыла?..

Анна. Здесь никто не знает о нашем прошлом... Советую тебе молчать. Ты — секретарь обкома. Твой авторитет не тебе одному принадлежит... А люди у нас, особенно... (*Посмотрела в сторону аллеи: выходит Надежда Степановна.*)

Надежда (*издали*). Что же вы не предложите Анне Андреевне сесть?.. Она сегодня с постели. Позавчера ей так плохо стало, что из больницы домой отвезли...

Ромодан (*тихо*). Позавчера...

Надежда. Да. Лечиться надо, сердечко сдаёт...

Анна. И к чему вы всё это рассказываете, Надежда Степановна?..

Надежда. А у меня, голубка, характер такой. Я не скрываю: люблю всё знать, а ещё больше — рассказывать. Грешна, грешна...

Ромодан. Садитесь, пожалуйста.

Все садятся. Входит Катерина. Подошла, села возле них.

Надежда. Нравится вам этот парк?

Ромодан. Очень! Какие здесь чудесные липы!.. Аллея, как у Левитана.

Надежда. Это где? В какой области?

Катерина. Надя! Это на картине... Левитан — художник.

Надежда. А а... На картине, может быть, и красивее...

Анна. Позвольте мне с вами попрощаться.

Надежда. А обед?

Анна. К сожалению, не могу. Я ещё плохо чувствую себя.

Катерина. Жаль. Я к тебе завтра заеду. Поцелуй Лиду.

Анна. Приезжай, Катя. Тебе мы всегда рады. Всего хорошего...

Ромодан. Будьте здоровы...

Анна вышла.

Надежда. А вы как будто загрузили?

Ромодан. Вам показалось.

Катерина. Такая красивая женщина оставила — разве не загрустишь? Не так ли, Пётр Александрович?.. (*Смеётся.*)

Ромодан. Так. Вы угадали.

Катерина. А вы искренний человек. Это хорошо. Надя, ты говорила мне, что Пётр Александрович молодой и очень красивый...

Надежда. Катерина! Извините, она у нас...

Ромодан. Ничего, ничего. Я люблю, когда мне правду в глаза говорят.

Катерина. В таком случае трудно вам будет здесь работать...

Ромодан. Отчего?

Катерина. У нас начальству в глаза только...

Ромодан. Что?

Катерина. Святую неправду говорят.

Надежда. Катя, что ты плетёшь!..

Ромодан. От этого легко отучить.

Катерина. Легко?.. Я не встречала таких, кто бы не любил, когда им кадят.

Ромодан. Неужели?

Катерина. Правду говорю. И это не только наблюдения. Когда мне кто-нибудь в глаза лжёт, я не посмотрю, кто он, никогда не смолчу. Но когда мне лицемерно кадят, всем своим существом испытываю презрение к тому, кто это делает, а остановить не могу. С вами не было такого?

Ромодан. Когда-то было, теперь нет. Жизнь излечила меня от этой болезни.

Надежда. А я люблю, когда всё хорошо, когда люди друг другу в глаза говорят только хорошие слова. В жизни и так столько всяких неприятностей! Зачем о них вспоминать?.. Это очень вредит здоровью и приводит к гипертонии...

Ромодан. Разве?..

Надежда. А почему у нас теперь так много гипертоников?

Катерина. Чаще всего — от неумеренного аппетита.

Надежда. В чей это ты огород камешки кидаешь?..

Катерина. Ты знаешь, не стоит уточнять.

Надежда. У Гордея давление от хлопот. На его плечах вся область.

Ромодан. Вы говорили, у вас есть дело ко мне?..

Катерина. Извините, что во время нашего первого знакомства я разрешаю себе обратиться к вам с просьбой...

Надежда. Неужели о больнице начнёшь?..

Катерина. Да.

Надежда. Предупреждаю: она обоим вашим предшественникам жизни не давала, а Гордея замучила...

Ромодан. Благодарю за предупреждение. Я слушаю вас, Катерина Степановна.

Катерина. Надя, сходи перекуси, пока я буду рассказывать. Тебе это так надоело, боюсь, ещё похудеешь...

Надежда. Не бойся, рассказывай.

Катерина. Четвёртый год бьюсь, чтобы выстроить в нашей больнице новый корпус. У нас только вывеска «Областная больница»! Сколько у меня писем от колхозников!.. Каждое слово слезами омыто. Не всегда в районе можно сделать сложную операцию...

Ромодан. Вам не запланировали строительство?

Катерина. Наоборот! Всё есть: и средства, и проект давно утверждён. Ещё четыре года назад наша строительная контора стены возвела — и всё.

Ромодан. А чего не хватает?

Катерина. Железа на крышу, парового отопления, окон, дверей... Паркета... Много нужно.

Ромодан. Приходите в понедельник в девять часов в обком, и поедем на стройку. Я вызову строителей. Сможете?

Катерина. Спасибо, буду. *(Улыбнулась.)*

Ромодан. Отчего вы улыбаетесь?

Катерина. Двенадцатый раз поеду с начальством на стройку.

Надежда. Она думает, что всё руководство против неё...

Ромодан. Верно думает, если не помогают...

Надежда. Как не помогают? Гордей Афанасьевич столько раз слушал на заседании, разосил строителей, но если из центра не дают материалов, что можно сделать?!

Ромодан. Посмотрим.

Надежда. Наши медвежата идут... *(Встала, идёт навстречу.)*

Ромодан. Кто?

Катерина. Так сестра называет товарища Терещенко. Вон он, с женой и председателем горсовета...

Входят Роевой, Терещенко и их жёны.

Роевой. День добрый, Пётр Александрович!

Ромодан. День добрый! *(Здоровается.)*

Роевой. Моя жена, Мария Николаевна.

Надежда. А это Фёдор Гаврилович Терещенко и его супруга, Татьяна Свиридовна.

Ромодан. Очень приятно. *(Здоровается.)*

Роевой. Я звонил вам утром, хотел пригласить на выставку.

Ромодан. Какую?

Роевой. Товаров ширпотреба.

Мария. Там такие чудесные вещи!

Ромодан. Непременно побываю. Я сегодня утром ходил по городу, был в магазинах, и они меня не порадовали.

Роевой. А кто вам показывал город?

Ромодан. Один ходил. Я город хорошо знаю.

Катерина. Вы здесь бывали?

Ромодан. До войны. Я родом из этой области.

Роевой. Неужели?

Ромодан. Родился в селе Вишенки, Очеретянского района.

Надежда. Это далеко от города?

Терещенко. Сто пятьдесят километров. Мы там огурцы и раннюю капусту заготовляем. Очеретянский район больше всех поставляет нам. Они хорошо пойму реки освоили...

Ромодан. А куда деваете?

Терещенко. Продаём.

Ромодан. Где? В ларьках я не заметил...

Терещенко. Мало заготовляем, это верно.

Ромодан. А почему?

Терещенко. Не от нас зависит.

Роевой. Не хотят колхозники выращивать овощи. Просто беда с ними!

Татьяна. Надо их заставить, а то с Феди все требуют, критикуют, а разве у него на голове капуста растёт?.. Федя день и ночь работает..

Терещенко. Татьяна!

Татьяна. Я правду говорю. У Феди эти дни так болят зубы, а у него нет времени даже к врачу сходить. А почему?

Терещенко. Татьяна, прекрати!.. *(Дёрнул её за руку.)*

Ромодан посмотрел на Катерину.

Надежда. Видно, простудили. Не флюс ли? У вас будто правая щека подпухла?..

Татьяна. И какой флюс был!.. В прошлую субботу, когда вернулся от вас, у Феди обе щеки так вспухли...

Терещенко. Да замолчи! Кому это интересно?.. *(Отошёл, отирает платком пот.)*

Ромодан *(тихо Катерине)*. Что вы улыбаетесь? У человека такое несчастье...

Катерина. Я... я... *(Едва удерживает смех.)* Вам показалось... *(Пошла в парк.)*

Ромодан. Катерина Степановна!

Катерина не обернулась.

Мария *(Ромодану)*. Вот так всегда с ней. Она очень нервная.

Ромодан. Разве? Я что-то не заметил.

Мария. Очень! В прошлом году похоронила мужа. Хороший врач был... Возвращался ночью из села от больного, и на их машину налетела грузовая.

Ромодан. Какое несчастье! А дети есть у неё?

Мария. Нет. Жаль её!.. Катерина — очень способный хирург. Её все так любят!

Ромодан. Надо ей замуж выходить. Ещё молодая, красивая...

Мария. И слышать не хочет...

Татьяна. Вы были у нас в парке?

Ромодан. Был. Хороший парк. Видно, с любовью строили.

Мария. Слышишь, Роевой?

Роевой. Что?

Мария. Тебя хвалят за парк культуры. Это его труды. Три года строил...

Надежда. Что? А товарищ Дремлюга где был? Может, в командировке?..

Роевой (*улыбнулся*). Верно, Надежда Степановна! Нельзя забывать, Мария, что парк мы строили под личным руководством Гордея Афанасьевича.

Терещенко. Да разве только парк?.. Всё, что вы видели, Пётр Александрович, в нашем городе нового и что увидите в области, — всё это сделано по инициативе и заботами товарища Дремлюги. Разве таким город был, когда мы приехали сюда?..

Надежда. Об этом все знают, Мария Николаевна...

Мария. Простите, Надежда Степановна, может, я не так выразилась, но я...

Надежда (*перебивает*). Может... может... Это у вас не впервой.

Терещенко. У Гордея Афанасьевича столько инициативы, что ему здесь тесно.

Ромодан. Не понимаю. Почему тесно?

Терещенко. Масштаб у него не областной. Республиканский, а может, и всесоюзный... Его хватит!..

Надежда. Что вы, Фёдор Гаврилович! Мы люди скромные. Гордей Афанасьевич никуда из области не поедет. Ему же предлагали пост министра заготовок. Другой бы на коленях пополз в Киев. А что Дремлюга ответил? Вы же слышали?!

Роевой. Категорически отказался. Ка-те-го-ри-чески!

Мария. Это правда. И сказал, что на таком посту легко шею можно свернуть...

Надежда. Не он, а я говорила.

Мария. Возможно, и вы. Помню только, что был такой разговор... Простите...

Надежда. Пожалуйста. Татьяна Свиридовна, у вас есть тройчатка?

Татьяна. К сожалению, нет.

Надежда. У меня что-то так голова разболелась...

Татьяна (*тихо*). Не диво. (*Смотрит на Марию.*)

Ромодан. Где ваша жена работает?

Роевой. Учительствует.

Ромодан. А ваша?

Терещенко. В универмаге. Заведует парфюмерным отделом.

Ромодан. Химик?

Терещенко. Нет, практик. У неё исключительно тонкое обоняние...

Ромодан. О, это большой талант!..

Входит Катерина.

Катерина. Гордей Афанасьевич полчаса как выехал. Звонили из приёмной.

Надежда. Прошу всех к нам!.. Прошу.

Все идут.

Ромодан. Простите, Надежда Степановна, я через несколько минут буду.

Надежда. Пожалуйста.

Ромодан взял папку, шляпу, идёт в дом. Выходит Дремлюга, а за ним — его помощник с большим портфелем в руках.

Дремлюга. Филипп!

Филипп. Слушаю, Гордей Афанасьевич!

Дремлюга. Я тут с Петром Александровичем поговорю, а ты побудь недалеко. Может, какая цифра или справка понадобится.

Филипп. Слушаю.

Дремлюга. Только не лезь на глаза. Сядь под тем кустом. Да не засни...

Филипп. Слушаю. Верно, гости уж собрались, вас ждут...

Дремлюга. А ну их ко всем чертям! Не до них мне сегодня.

Филипп уходит.

Дремлюга. Постой, что с Вернигорой случилось? Почему он вышел из кабинета, словно пьяный?

Филипп. Сердечный припадок, сознание потерял в приёмной...

Дремлюга. Неужели?.. Вот ещё красная девица нашлась.

Филипп. Как вас все боятся, Гордей Афанасьевич!..

Дремлюга (*усмехнулся*). Ну?..

Филипп. Сегодня вы говорили так, что даже у меня внутри похолодело, а я к вам привык. У всех подбородки тряслись...

Дремлюга. А у меня, думаешь, сердце не болит?.. У меня из-за них инфаркт скоро будет.

Филипп. Что вы, Гордей Афанасьевич! Вы бы себя сдерживали немного, нервы берегли...

Дремлюга. Эх, Филипп, Филипп... Иногда и мне кажется, не лучше ли жить, как другие: перекладывай на чужие плечи работу и живи в своё удовольствие, мирно, ласково со всеми... Не такой я закалки! Мы на своих плечах всё вытянули и дальше будем тянуть за всех до самой могилы. Но руку нашу (*потряс кулаком*) запомнят!..

Филипп. Ещё как запомнят!

Входят Варвара и Галя. Они несут кирпич на носилках.

Дремлюга. И до каких пор вы будете тут шататься?

Варвара. Может, вы и шатаетесь, а мы работаем.

Филипп. Что?!

Варвара. То, что слышали.

Галя. Вы лучше нам машину дайте, а то мы кирпич с баржи носим. Так далеко ходить...

Дремлюга. Если за два дня не закончите гараж, я вас разгоню. Слышите?..

Варвара. Вроде старый, а ревёшь, как бычок...

Филипп. Да ты знаешь, с кем разговариваешь?.. Это товарищ Дремлюга, председатель облисполкома!

Варвара. Ну и что из того?..

Дремлюга. Откуда ты тут взялась? Кто ты такая?

Варвара. Я здесь не без вашей милости. А кто я такая, спроси у секретаря ЦК — он когда-то к нам в колхоз приезжал и даже у меня в хате был. Пойдём, Галя. (*Уходят.*)

На террасу выходит Ромодан.

Филипп (*тихо*). Вышли...

Дремлюга повернулся, идёт навстречу Ромодану. Филипп пошёл в парк.

Ромодан. Долго заседали...

Дремлюга. Тридцать пять вопросов рассмотрели. Я сегодня такой разнос устроил — до смерти не забудут!

Ромодан. Кому?

Дремлюга. Всем попало. Беда, Пётр Александрович, стал я сдавать. Еле себя сдерживаю, так нервы расшатались... И давление увеличилось...

Ромодан. А вы были в отпуску?

Дремлюга. Нет, я даже не помню, когда был.

Ромодан. Почему?

Дремлюга. Да на кого же я область оставлю?!

Ромодан. А разве её украдут, когда вы поедете в отпуск?..

Дремлюга. Не шутите. Познакомьтесь с нашими кадрами, так и сами про отпуск забудете...

Ромодан. Неужели у вас нет заместителя?..

Дремлюга. Есть, ответственных лодырей у меня целая куча. Они такого натворят, что и за несколько лет не расхлебашь!.. Мы каждый день получаем из Киева и Москвы до пятидесяти важных директив и распоряжений, а в районы спускаем намного больше. Работа каторжная!..

Ромодан. Работать без отдыха нельзя, Гордей Афанасьевич.

Дремлюга. А я вот ещё немного потяну, а там... Годы уже дают себя знать. Очень плохо, что человек не знает, когда ему надо с телеги слезать... *(Смотрит на Ромодана.)*

Ромодан *(незаметно улыбнулся)*. А может, это и лучше?.. Человек должен всегда верить в свои силы. Это — главное.

Дремлюга. Нет. Главное — чтобы в тебя верили. А если не чувствуешь плеча, то и небо тебе не раз с овчинку покажется...

Ромодан *(внимательно смотрит на Дремлюгу)*. Разные плечи бывают. Одни груз носят, а иные — только штаны на подтяжках.

Дремлюга. Согласен. За примерами ходить недалеко. Я всю область тяну на своих плечах, а ваш предшественник, Иван Иванович, всё речи провозглашал. А что получилось? Меня побили, а он в Москве на курсах. Наверное, каждый вечер по театрам ходит и надо мной посмеивается...

Ромодан. А почему вы молчали? Почему не выступили здесь или на пленуме ЦК в Киеве? Вы же член ЦК!

Дремлюга. Легко сказать! А потом что? Он такую атмосферу создал, всех в кулак зажал...

Ромодан. Иван Иванович — человек недалёкий. Увидел, что шеи гнут добровольно, с радостью, и решил кучером стать. Запряг вас...

Дремлюга. Я у него в упряжке не ходил.

Ромодан. Как? Вы же коренным были. Говорят, здорово ходили... Только тронет вас Иван Иванович, а вы сразу же в галоп да во весь голос: «Под руководством нашего дорогого, нашего испытанного, закалённого, талантливого... мы готовы куда угодно скакать...» Было такое?

Дремлюга молчит.

Ромодан. Не вы один. Я тоже своего Ивана Ивановича восхвалял. Вот и допрыгались мы с вами. Животноводство в колхозах пошло вниз. Коровы по удою начали догонять коз. Солома, что когда-то только на подстилку шла, стала у нас основным кормом. Колхозники своих коров распродают...

Дремлюга. Дело не в этом.

Ромодан. А в чём?

Дремлюга. Если б не война...

Ромодан (*перебивает*). Война много горя принесла и городу и селу, очень подорвала сельское хозяйство. Это верно. Но не к лицу нам сегодня все трудности объяснять только войной. Сколько за минувший год в области подохло коров с голоду?

Дремлюга. Приблизительно тысячи четыре с половиной...

Ромодан. Не приблизительно, а точно — сколько?

Дремлюга (*крикнул*). Филипп!

Из-за куста выскочил Филипп.

Ромодан. Кто это?

Дремлюга. Мой помощник. Очень способный, исключительной памятью обладает.

Филипп (*подошёл*). Слушаю вас, Гордей Афанасьевич.

Дремлюга. Сколько у нас подохло коров за прошлую зиму? Только точно. Ну?

Филипп. Пять тысяч триста десять. Свиной — шесть тысяч пятьсот двадцать, овец...

Дремлюга. Иди, иди... Тебя про коров спрашивают.

Филипп. Слушаю. (*Ушёл за куст.*)

Ромодан. Хорошо помнит Филипп...

Дремлюга. С молоком у нас всегда плохо будет. Коровы у нас непородистые. Почему бы нам не закупить где-нибудь за границей породистых коров? Говорят, в Дании, в Голландии...

Ромодан. Может, лучше покупать у них масло, молоко, мясо, сало?.. И будем на чужих харчах идти в коммунизм. Потому что породистые ещё скорее ноги протянут на одной соломе... Сколько гектаров у вас было в прошлом году под кукурузой, под всеми кормовыми культурами?

Дремлюга. Под кукурузой совсем мало. Она у нас плохо родится. А вообще...

Ромодан. Сколько же под кукурузой?

Дремлюга. Филипп!.. (*Филипп не отзывается.*) Филипп! Куда он исчез?.. Филипп!

Ромодан. А что если Филипп умрёт?

Дремлюга. Как?

Входит Филипп, на ходу что-то дожёвывает.

Дремлюга. Где ты бродишь?!

Филипп. Я... я... (*Быстро дожёвывает, закашлялся.*)

Ромодан. Не торопитесь, проглотите. А то случится с вами несчастье; кто же нам тогда о делах в области расскажет?..

Филипп. Слушаю вас.

Дремлюга. Иди, иди... дожёвывай... (*Тихо.*) Чтоб тебе!..

Филипп. Виноват. Я уже проглотил. Слушаю вас, Гордей Афанасьевич.

Дремлюга. Иди ты к чёртовой матери!

Филипп. Слушаю. (*Идёт за куст.*)

Ромодан. Так что, Гордей Афанасьевич, будем и дальше так жить?..

Дремлюга. Как?

Ромодан. Занимать память у Филиппа, колхознику на трудодень — пятак в кулак, а молоко, масло, мясо покупать за границей? Или, может, сами закатаем рукава и как следует возьмёмся за дело?..

Дремлюга. Простите, Пётр Александрович. У нас есть колхозы, которые выдают на трудодень по двадцать рублей и по пять кило...

Ромодан. Знаю, знаю. Вы о них хорошо в своём докладе говорите.

Дремлюга. Прочитали доклад?

Ромодан. Прочитал. А вот о тех, что годами из граммов не вылазят, вы и словом не обмолвились.

Дремлюга. Я вас не понимаю. Наша область никогда не была в числе последних. Мы ежегодно рапортовали и в Киев и в Москву одними из первых. Недостатки есть, признаю. Но по совести скажу вам: если бы мне кто-нибудь другой такое говорил, как вы, я бы очень резко реагировал...

Ромодан. Так почему же вы со мною так мягко говорите?

Дремлюга. Потому что я понимаю ваше волнение. Вы впервые избраны секретарём обкома, вам хочется все трудности зараз преодолеть. Но в жизни так не бывает. Руководитель должен прежде всего видеть общую картину. А она у нас неплохая, по крайней мере не хуже, чем у других. Я бы сказал — даже хорошая. В этом не только я, а и все глубоко убеждены.

Ромодан. По-вашему выходит, что и впредь будем так работать?

Дремлюга. Это наша линия...

Ромодан. И дальше будем писать трескучие рапорты об общей картине, а картофель продавать дороже, чем бананы, которые мы везём из-за океана? Провозглашать речи о светлом будущем — и не обращать внимания на нужды людей сегодня? Любоваться общей картиной — и за такими же общими цифрами не замечать живой жизни?.. Да понимаете ли вы, товарищ Дремлюга, что всё это значит?!

Входят с носилками Варвара и Галя. Их не замечают.

Дремлюга. Товарищ Ромодан, наше дело — планы выполнять. Это — главное! И вы тоже скоро будете думать так же, как и я. Иначе, простите, вас скоро снимут. Пойдёмте-ка лучше обедать. Моя Надежда таких карпов нажарила!.. На полметра от сковороды прыгали. Пойдёмте.

Ромодан. Ошибаетесь, Гордей Афанасьевич!

Дремлюга. Поживём — увидим, Пётр Александрович!

Идут, проходят недалеко от Варвары. Варвара и Галя подходят к столику. Варвара поставила носилки, смотрит в ту сторону, куда пошли Ромодан и Дремлюга. К ней подошла Галя.

Галя (*тихо*). Тётка Варвара...

Варвара обернулась.

Галя. Что с вами? У вас слёзы на глазах...

Варвара. Родной брат не узнал...

Галя. Где он?

Варвара. Вон пошёл со старым, что нас ругал...

Из парка слышен голос Дремлюги: «За дорогого нашего руководителя товарища Ромодана!» Слышны аплодисменты.

Галя. Брат не узнал... Я пойду скажу ему...

Варвара. Не надо. Пойдём кирпич носить. (*Уходят.*)

Из глубины парка слышно, как Самосад играет на окарине песню «Ой, піду я лугом, лугом-долиною...»

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Кабинет секретаря обкома. За столом — Ромодан. Перед ним сидит Терещенко. В руках у него бумаги.

Терещенко (*собирает бумаги*). Признаю... признаю и уверяю вас — приложу все усилия...

Ромодан (*перебивает*). Разве можно терпеть, чтобы на Украине летом не было в городе овощей?.. Это же позор!

Терещенко. Позор...

Ромодан. Такая область, как наша, может не только себя обеспечить, но и эшелонами отправлять в Москву, Ленинград...

Терещенко. Мы понемногу отправляем в Москву.

Ромодан. Того, что вы отправили за месяц, не хватит на один завтрак студентам Московского университета. Там, кажется, ваш сын учится?..

Терещенко. Дочь. Пишет, какие там лаборатории — чудо! У каждого студента отдельная комната. Исключительные условия! (*Встаёт.*) Простите, что столько времени у вас отнял. Я вам так благодарен за помощь, советы... Поверите, за последние годы меня никто в обком не вызывал.

Ромодан. Неужели?

Терещенко. Бьёшься, как рыба об лёд. Хоть бы кто-нибудь покритиковал, помог... Каждый думает только о себе. Я должен сказать вам, считаю своим партийным долгом... Вы только приехали к нам... Внимательно присматривайтесь. Внимательно!.. Я здесь всех знаю, кто чем дышит...

Ромодан. Ну?

Терещенко. Кроме Гордея Афанасьевича, человека большой души, глубоко между нами...

Ромодан. Что?

Терещенко. Нет, не буду говорить. Вы меня мало знаете, ещё подумаете... Нет! Вы скоро сами убедитесь, сколько тут лодырей, картёжников!

Ромодан (*улыбнулся*). Играют?..

Терещенко. До рассвета режутся в преферанс. Просто эпидемия!

Ромодан. А вы тоже, кажется, в воскресенье на даче у Гордея Афанасьевича до утра резались?..

Терещенко (*перебивает*). Я резался?! Боже упаси!.. Всё время пасовал. Мне неудобно было отказать... Я карты ненавижу!

Ромодан. Скажите, Фёдор Гаврилович, за что вам вынесли строгий выговор в сорок втором году?

Терещенко. Какие у нас люди!.. Уже успели...

Ромодан. Нет, нет... Я знакомился с личными делами ответственных работников. У нас в аппарате обкома много незамешённых должностей. Даже второго секретаря нет... (*Подходит к Терещенко.*)

Терещенко. Я был на партийной работе!..

Ромодан. Расскажите...

Терещенко. Правда, был недолго. Но я бы с большой охотой... Партийную работу люблю и приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие. У вас ниточка белая (*снимает с пиджака, улыбается*), где-то блондинка тоскует...

Ромодан. Простите, я о выговоре спрашиваю.

Терещенко. А... Выговор я получил несправедливо. Спросите у Гордея Афанасьевича. Он был моим начальником в армии. Я жертва клеветы. А тогда, во время отступления, все были в таком нервном состоянии, что за одно неудачное слово могли не только выговор вклепить, а и в штрафной батальон закатать. Извините, что так задержал вас...

Ромодан. Пожалуйста. А всё-таки за что?

Терещенко. Один командир дивизии... Его впоследствии сняли за то, что растерял дивизию во время отступления. Представляете себе, что за тип?.. Написал, будто я вёл паникёрские разговоры. Наглая ложь! У меня боевые ордена...

Ромодан. Какие?

Терещенко. Две медали. Все знают, что Терещенко всегда был пламенным патриотом.

Входит Иваненко.

Иваненко. Нашёл.

Ромодан (*к Терещенко*). Будьте здоровы, Фёдор Гаврилович.

Терещенко. Будьте здоровы, Пётр Александрович. Я очень прошу вас, спросите у Гордея Афанасьевича. Мне неудобно о себе говорить... Мои боевые заслуги он хорошо знает.

Ромодан. Не беспокойтесь... Я вижу, вы человек скромный... Мне и так всё ясно.

Терещенко. Благодарю. (*Выходит.*)

Ромодан. Где она?

Иваненко. В приёмной. Еле разыскал. Работает каменщиком в первой строительной конторе. Не хотела ехать, едва уговорил...

Ромодан. Спасибо. Присите.

Иваненко выходит. Входит Варвара. Сделала несколько шагов, остановилась. Она в тёмносинем костюме, на груди — ордена Ленина и Трудового Красного Знамени. Ромодан идёт ей навстречу.

Ромодан. Варвара... Сестра!..

Варвара. Я, Петро.

Ромодан (*обнял её, поцеловал, ведёт к столу*). Садись.

Варвара садится. Большая пауза.

Варвара. Что ж умолк?

Ромодан. Дай посмотреть на тебя. Не изменилась... Немного поседела — и только...

Варвара. А что мне меняться?.. Я ведь не старуха. А седина — это не годы, а мысли...

Ромодан. Только приехал — позвонил в район. А там ответили, что ты оставила село и решила жить в городе.

Варвара. Кто сказал?

Ромодан. Председатель райисполкома.

Варвара. Брешет! Выжили, житья им от меня не было. Ещё и хватались. Дураки! Варвару можно выжить, да и то, считаю, временно. Но правду — никогда!

Ромодан. А почему так вышло?

Варвара. Много говорить, да мало слушать. Первым тебя назначили?

Ромодан. Избрали.

Варвара осматривает кабинет.

Варвара. Пусто в твоём кабинете... Голо, как на толоке... голо.

Ромодан. Почему? На стенах — портреты, на столе — телефоны... Стол для заседаний, шкаф с книгами... Больше секретарю ничего и не нужно. Это ведь место работы.

Варвара. Когда-то мы были в Киеве у секретаря ЦК. У него в кабинете под всеми стенами — снопики пшеницы: от Посмитного, Дубковецкого, на столиках — свёкла: от Ганны Кошевой, от Бессмертной... Кукуруза под самый потолок от Озерного... и моя там стояла... (*Пауза.*) Скажи, Петро, неужели навсегда это минуло? (*Большая пауза.*) Второй год уже кладу кирпич, дома строю, а привыкнуть не могу. Ночью проснушь и думаю... думаю... В нашем селе сады рубят, пасеки уничтожают... Коров распродают... На усадьбах — бурьяны...

Ромодан. В Москве теперь разрабатывают новый закон: налог будут начислять с количества соток приусадебной земли, независимо от того, что на ней растёт и какое хозяйство. И вообще налог снизят.

Варвара. Закон такой будет?

Ромодан. Да, и скоро.

Варвара. А с колхозами как будет?

Ромодан. Что именно?

Варвара. Разве ты не видишь? Стоит только колхозу на ноги стать, ему сразу на шею такие гири вешают, что он снова к земле клонится. Выполняй план за пьяниц и лежебок, что во главе колхозов стоят, за плохую работу МТС, за всех тех чернильных агрономов, которые в городе помогают нашим руководителям пахать и сеять на бумаге... Думают ли об этом в Москве?..

Ромодан. Не только думают. Я знаю — скоро будут большие перемены в колхозной жизни. Ведь эти вопросы ставит народ, и партия, правительство готовят новые законы.

Варвара. Скорее бы!.. А то в сердце подчас такой холод... *(Пауза.)* Если там заметишь... Это хорошо... Хорошие вести ты рассказал. Хорошие! Нужно всей партией, всем народом о государстве думать, не ждать сложа руки только команды сверху, когда под самым носом на нашей плодородной земле не один сорняк вырос. Так продолжаться не может. Всем миром полоть их, потому что государство — это мы все. *(Пауза.)* Прости, за столько лет встретились, а я даже про твоё здоровье не спросила... *(И первая тёплая улыбка осветила её лицо.)* Как же?

Ромодан. Пока хорошо.

Варвара. Раны не болят?

Ромодан. Когда погода меняется, немного чувствую. Но я привык.

Варвара. Не женился?

Ромодан. Нет.

Варвара. Что бурлачишь?

Ромодан. Времени нет...

Варвара. Времени?.. А может, девчата начали уже обходить тебя? Внешне как будто ещё орёл?..

Ромодан. Не обходят, но и не смотрят.

Варвара. А ты держись! Купи себе гитару... Ты же когда-то так играл, что все девчата млели...

Ромодан. Что было в молодости, то уж уплыло...

Варвара. Да... Годы бегут... Анну видел? Она здесь.

Ромодан. Знаю.

Варвара. Был у неё?

Ромодан. Ещё нет.

Варвара. А я была. Дочь твоя такой красивой стала...

Ромодан. Вспоминала меня?

Варвара. Нет. Я наводила разговор, а она — ни пара из уст. Так и Анна. Обидел ты Анну, а дочь за мать держится...

Ромодан. Не думал и не хотел её обидеть. Неужели ты мне не веришь?..

Варвара. Верю, Петро. Но так получилось...

Ромодан. Почему ты оставила село?

Варвара. А разве я тебе не рассказала?.. Добавлю ещё: вот эти ордена дали мне за урожай кукурузы. А теперь по всей области её нет в плане уже третий год. А каких кабанов мы откармливали и сколько!.. Разве коммунизм может быть без сала и колбасы?.. Что мы — турки?.. *(Смеётся.)* И они ели б, да нет у них...

Ромодан. Им запрещено. Религия такая.

Варвара. Религия? А разве мы когда-то не постились? А теперь даже попы в пост колбасу молотят, да ещё и горилкой запивают...

Ромодан. Где ты будешь в четыре часа?

Варвара. У себя, в общежитии.

Ромодан. Я пришлю машину, пообедаем у меня, поговорим обо всём поподробнее...

Варвара. Ладно. Я сегодня выходная, работала в воскресенье.

Ромодан. А чего в воскресенье?

Варвара. Очень спешное дело. Заставили в воскресенье работать — одному начальнику гараж заканчивали.

Ромодан. Гараж! Что это за вельможа такой тут объявился?..

Варвара. Не помню фамилии.

Ромодан. А ты узнай. Я ему покажу! Гараж боком вылезет...

Варвара. Не приведи господь! Что ты!.. *(Встала, идёт.)*

Ромодан. Нет, нет. Таких вельмож бить надо!

Варвара. Может, он и не знал, а помощники так постарались?..

Ромодан. Тогда он шляпа, если не видит, что под носом творится! Постой, а не в парке ли вы строили гараж?..

Варвара. Какие-то деревья там росли, росли... Я не прощаюсь, Петро.

Варвара выходит. Входит Роевой.

Роевой. Здравствуйте, Пётр Александрович.

Ромодан. Здравствуйте. Садитесь. Прочёл вашу записку...

Роевой. И как?

Ромодан. Очень хорошая. Я написал письмо и вместе с вашей запиской послал в ЦК.

Роевой. В ЦК?

Ромодан. Да. Вопросы строительства, которые вы ставите, важны не только для нашей области, но и для других городов. Очень убедительно, со знанием дела вы написали. Думаю, верю, что будет решение ЦК.

Роевой. Большое спасибо.

Ромодан. За что? Вам спасибо. И мы на бюро примем решение.

Роевой. Простите, я только... Как вам сказать... обеспокоен...

Ромодан. Чем?

Роевой. Гордею Афанасьевичу я не успел передать копию записки.

Ромодан. Передайте...

Роевой. Но вы её уже послали в ЦК. Он может обидеться... Пожалуйста, вы как-нибудь... Вы понимаете... У него характер...

Ромодан. Поговорю.

Роевой. До свидания.

Ромодан. До свидания. Один вопрос к вам.

Роевой. Пожалуйста.

Ромодан. Не кажется ли вам, что, если человек чрезмерно преклоняется перед авторитетами, это связывает его волю, даже порождает трусость и отвратительное чиновничество? А ведь коммунист должен быть всегда впереди, смелым, инициативным и никогда не забывать, что в партии все равны.

Роевой. Это верно. Я понимаю вас... Понимаю всем сердцем...

Ромодан *(улыбнулся)*. Очень хорошо... Привет вашей супруге.

Роевой. Спасибо.

Звонит телефон.

Ромодан *(взял трубку)*. Да. Пожалуйста. У меня, сейчас передам... *(К Роевому.)* Вас просит Гордей Афанасьевич.

Роевой (*взял трубку*). Да. Слушаю... Ещё вчера всё сделано. Почему не доложил?.. Я не мог вас найти, звонил, звонил... Что?.. Вы на меня не орите. Я не чинуша, а председатель городского Совета депутатов трудящихся. Поняли?.. (*Положил трубку. К Ромодану.*) Извините...
Ромодан. Пожалуйста.

Роевой выходит. Ромодан смотрит ему вслед. В дверях появляется Александра Алексеевна Горицвет, а за нею — Иваненко.

Горицвет. Петя, меня не пускают к тебе!..

Ромодан. Это вы, Александра Алексеевна?..

Горицвет. Я... Я, Петя! (*К Иваненко.*) А вы не верили!

Ромодан. Прошу, заходите.

Горицвет входит в кабинет.

Горицвет. Узнал! Я так и знала, что ты не забудешь свою старую учительницу. Дай же я тебя поцелую. (*Целует в лоб.*)

Ромодан. Садитесь, Александра Алексеевна. Как ваше здоровье?

Горицвет (*садится*). Хорошо. (*Снимает шаль, на груди у неё — ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и медаль.*) Вечером только после работы немного поясница болит.

Ромодан. Неужели вы ещё в школе работаете?

Горицвет. Нет, я на пенсии. Но дома у меня очень много работы.

Ромодан. Простите, сколько вам лет?

Горицвет. Хоть женщин об этом и не спрашивают, но я никогда не скрывала свои годы. Мне, Петя, неполных восемьдесят пять. Только через два месяца будет.

Ромодан. Никогда не дал бы вам и шестидесяти... Вы очень хорошо выглядите...

Горицвет. Спасибо, Петя. Я бы лучше выглядела, если бы не такие хлопоты свалились на меня.

Ромодан. А что такое у вас?

Горицвет. Шестидесять лет проучительствовала и никогда не имела таких хлопот, как сейчас. Ты не забыл моих младших сестёр, Евгению и Ольгу?

Ромодан. Как же, помню! Евгения Алексеевна преподавала географию, а Ольга Алексеевна — математику. Как они живут?

Горицвет. Живут у меня, тоже на пенсии. Ольге теперь шестьдесят пять, Евгении — шестьдесят семь лет. Очень постарели. Я за ними, как за детьми, хожу. Поверишь, нет ничего хуже, как иметь дело со старухами. Такие они привередливые и завистливые... Беда мне с ними! Как я рада, Петя, что ты стал теперь у нас партийным руководителем! Поздравляю тебя, желаю успеха. В нашем доме все рады. Я пришла сказать тебе это.

Ромодан. Спасибо. Постараюсь оправдать ваше доверие.

Горицвет. Скажи, Петя, а как ты живёшь? Как здоровье? У тебя часто голова болела, как теперь?

Ромодан. Не болит. Всё в порядке.

Горицвет. Я всем рассказывала, как ты учился, какая у тебя была исключительная память... Не позабыл историю?..

Ромодан. Думаю, что нет.

Горицвет. Я рассказывала соседям, как ты любил историю. А разве можно не любить её?.. Каждая наука имеет свою душу, а история — это душа народа, и её нужно любить, как мать родную. А в нашем городе исторический музей в очень плохом состоянии: три комнаты, потолок протекает... На стенах плохонькие фотографии да всё надписи — и

даже с ошибками. Нет портретов Суворова, Хмельницкого. А на главной улице — большая вывеска ателье дамских мод имени Суворова...

Ромодан. Есть такая вывеска?

Горицвет. Есть. Я туда заходила, два часа толковала директорше, что Суворов никогда не увлекался дамскими модами. А она меня выслушала и говорит: «Я сама жена генерала и лучше вас знаю, что любят военные...» На такой аргумент я не нашлась что ответить!

Ромодан. Трудно... трудно... *(Смеётся.)*

Горицвет. Попроси горсовет, чтобы дал новое помещение для музея. Я туда пять лет хожу, прошу, но всё только обещают...

Ромодан. Хорошо, попрошу.

Горицвет. И ещё у меня есть просьба к тебе. У нас в доме каждое утро бывают небольшие конференции...

Ромодан. Какие?

Горицвет. На кухне. Дом старый, одна кухня на всех жильцов целого этажа. Узнали хозяйки, что я собираюсь к тебе... И вот просили передать тебе привет и списочек. *(Достаёт из сумки, надевает очки.)* Просят, обрати внимание: в городе негде купить. *(Читает.)* Первое — лопат, второе — сапок, третье — грабель. У каждого есть огород за городом... Четвёртое — мешков нет. Ты прости, Петя, что я с беспартийными делами...

Ромодан. Прошу, прошу.

Горицвет. И ещё... Во дворе у нас хороший сад, мы все ухаживаем за ним. А садовых ножниц тоже нет.

Ромодан. Дайте мне этот списочек...

Горицвет. Возьми, Петя. *(Подает.)* Прости, что я по старому знакомству...

Ромодан. Что вы, Александра Алексеевна! Я очень рад, что вижу вас.

Горицвет. Спасибо. Я к тебе буду заходить, только скажи помощнику, чтоб докладывал.

Ромодан. Скажу, скажу...

Горицвет *(встала)*. Будь здоров.

Ромодан. Будьте здоровы.

Горицвет. А когда в музей поедешь?

Ромодан. Завтра.

Горицвет. Поезжай сегодня, не откладывай. Ты же знаешь, Петя, как трудно бывает, когда уроки откладывают на завтра...

Ромодан. Сегодня поеду.

Горицвет. Вот и хорошо. Ты всегда был таким. А который это час?

Ромодан. Два.

Горицвет. Бегу к своим старушенциям! Наверное, уже перессорились. Они без меня так безобразничают. Просто беда с ними. *(Вышла.)*

Ромодан садится за стол, взял список Горицвет, молча читает, улыбается, пишет в блокноте. Входит Овчаренко. В руках у него папка с бумагами.

Овчаренко. День добрый!

Ромодан. Добрый день, товарищ Овчаренко! *(Продолжает писать.)*

Овчаренко. Прошу прощения, я немного опоздал. У меня затянулось заседание. Наша интеллигенция любит так много говорить...

Ромодан. Простите... *(Взял телефонную трубку, набирает номер.)* Товарищ Черепок? Ромодан говорит, добрый день. Я вам сейчас пришлю записку и с нею один списочек... Завтра в десять утра прошу доложить мне по этому поводу. *(Положил трубку.)* Кто много говорит?..

О в ч а р е н к о. Наша интеллигенция. А кому-кому, как не ей, следовало бы научиться излагать свои мысли точно, сжато, без лишних слов! А всё это потому...

Р о м о д а н (*нажал кнопку*). А какое заседание у вас было?

Входит Иваненко.

О в ч а р е н к о. Простите, Пётр Александрович. А всё это потому...

Ромодан передал Иваненко записку и список. Тихо: «Сейчас же отошлите!»

Р о м о д а н (*к Овчаренко*). Слушаю.

О в ч а р е н к о. Потому, что не умеют логично мыслить. К сожалению, в высших школах логику преподают плохо... А, как известно, все великие философы любили логику и говорили об её исключительном значении...

Р о м о д а н. Простите, Гавриил Онуфриевич, а по какому вопросу было у вас заседание?

О в ч а р е н к о. У нас вскоре должно состояться широкое совещание ветеринаров и зоотехников. Сзывает облисполком...

Р о м о д а н. Хорошее дело.

О в ч а р е н к о. А кто говорит, что плохое?! Чрезвычайно важное совещание. Но как его готовят? Комиссия, в состав которой вошли лучшие специалисты нашей области, работала месяц и вот что сегодня представила в обком. (*Достал бумажку*.) Вы только послушайте, какую повестку дня они предлагают. Один вопрос! (*Читает*.) «Борьба с яловостью коров». И принесли тезисы доклада. Я прочитал и спрашиваю их: а Павлов где?..

Р о м о д а н. Кто?

О в ч а р е н к о. Гордость и слава нашей отечественной науки, великий физиолог Павлов — где он? — спрашиваю я членов комиссии. Разве можно так формулировать доклад! Разве можно в тезисах только один раз упомянуть — и то в конце! — великое имя Павлова!..

Р о м о д а н. А вы что им предложили?

О в ч а р е н к о. Тезисы переделать, а доклад назвать: «Яловость коров в свете учения великого Павлова»...

Р о м о д а н. Вы полагаете, так будет лучше?

О в ч а р е н к о. Иначе быть не может! Разве яловость коров — это не проблема соответствующих рефлексов?.. А у них? Вот почитайте тезисы — ползучий эмпиризм! Всё сводят только к кормам.

Р о м о д а н. Простите, Гавриил Онуфриевич, а если б вас, несмотря на вашу комплекцию, кормить месяцев пять одним чёрствым хлебом и холодной водой, у вас были б соответствующие рефлексы?

О в ч а р е н к о. Я не понимаю вас. Мы говорим о яловости коров...

Р о м о д а н. Если корова жуёт всю зиму солому, а у нас это часто случается, то разве будут у неё соответствующие рефлексы?

О в ч а р е н к о. Не согласен! Всё-таки нервная система, как учит Павлов...

Р о м о д а н. Павлов — великий учёный, и учит он правильно. Но нельзя, товарищ Овчаренко, по поводу каждой проблемы бить поклоны великому Павлову, не то можно лоб расшибить. А в черепе, как вам известно, центральная нервная система, которой Павлов придавал огромное значение... (*Пауза*.) Не обижайтесь, пожалуйста...

О в ч а р е н к о. А всё-таки я, как философ, считаю...

Р о м о д а н. Вы, Гавриил Онуфриевич, какую учёную степень имеете?

О в ч а р е н к о. Кандидат философских наук. Сейчас работаю над докторской диссертацией.

Р о м о д а н. От всего сердца желаю вам успеха. Но на этот раз пусть ветеринары и зоотехники проводят совещание так, как они его наметили.

Овчаренко. Что ж, если вы так считаете... Чтоб совещание проходило без нашего руководства...

Ромодан. Я так не считаю. Мы пригласим на это совещание председателей колхозов, доярок — тогда и пойдёт настоящий научный разговор...

Входят Дремлюга и секретарь горкома партии Евгений Максимович Калина. Ромодан вышел из-за стола, здоровается с ними.

Ромодан. У меня была сегодня на приёме одна женщина, жаловалась, что у нас нельзя купить лопату, сапку, грабли... А косы продают?

Дремлюга. Нет... ни лопат, ни кос...

Ромодан. А почему?

Дремлюга. У нас не изготавливают, а из центра не завозят.

Ромодан (к Калине). Почему не изготавливают?

Калина. Я сельскими делами не занимаюсь.

Ромодан. Почему?

Калина. Как почему? Это — дело областных организаций, а не городского комитета.

Ромодан. Областных организаций?.. А мы — аристократы, в навозе копаться не любим, мы любим только сало, паляницы, колбасу, сметану!.. Так?..

Калина молчит.

Ромодан. Может, я не прав?

Калина. Мы не думали, но если нужно, помочь можем...

Ромодан. Очень и очень нужно помочь колхозам. И не только в этом. Если б нам хороших коммунистов — инженеров, агрономов — хотя бы человек пятьдесят из города послать в село на постоянную работу. В МТС, колхозы...

Дремлюга. Это утопия. Никто не поедет.

Калина. Почему?.. Найдём таких, что поедут.

Дремлюга. Да что вы говорите! У нас половина агрономов бежала из села в город...

Калина. А почему бегут?

Дремлюга. Спросите их!.. Напротив вашего дома в ларьке торгует агроном — пиво продаёт...

Калина. Спрошу. На бюро его вызову.

Дремлюга. И, думаете, поможет?..

Ромодан. Выходит, мы с вами бессильны?..

Дремлюга. Сила есть, да прав нет...

Ромодан. Не понимаю.

Дремлюга. Бросил село — под суд, в тюрьму. Тогда поймут.

Калина. Какую чепуху вы говорите! Стыдно слушать.

Дремлюга. Не слушайте. А вот когда хлеба не будет в городе, другую песню запоёте...

Ромодан. Интересно... Агрономов — судить... А что делать с теми, кто отвечает за плохую работу агрономов?

Дремлюга. Также судить!

Ромодан. Может, с них и начнём?..

Дремлюга. Можно. Взять для примера нескольких районных начальников...

Ромодан (перебивает). Почему районных? Может, лучше с областных начать?.. Пример более яркий.

Дремлюга. Вы шутите, а я серьёзно говорю.

Ромодан. Хотел бы пошутить, да разговор у нас не тот. Видно, мало верите вы, Гордей Афанасьевич, в нашу идейную силу, а больше в силу приказа, судов, милиции...

К а л и н а (к Ромодану). Как в воду глядели...

Д р е м л ю г а. Идеи — это дело товарища Овчаренко. А я и вы головой отвечаем перед государством за урожай.

К а л и н а. Не согласен!

Д р е м л ю г а. А вы всегда не согласны. Что бы я ни сказал, вы либо против, либо поправляете. Уж очень у вас характер высоко принципиальный... Но, простите, мы к этому привыкли...

К а л и н а. И очень плохо, что привыкли.

Д р е м л ю г а. А что же делать?.. Не драться же с вами. Вы — руководящее лицо, секретарь, а я — член ЦК... Что скажут рядовые, когда генералы начнут молотить друг друга?.. (Смеётся.)

Р о м о д а н. В партии генералов нет.

Д р е м л ю г а. Как нет?

Р о м о д а н. Нет.

Д р е м л ю г а. Это что-то новое. Впервые слышу.

Р о м о д а н. Впервые?

Д р е м л ю г а. Да.

Р о м о д а н. Не верю. Вы просто забыли о том, о чём забывать нельзя никому, — на каком бы посту человек ни был.

Входит Вернигора.

Р о м о д а н (здоровается с Вернигорой). Что это вы, Кирилл Захарович, решили бороду отрастить?

В е р н и г о р а. Виноват, Пётр Александрович. Я за последние дни так закрутился с подготовкой к совещанию, что и побриться не было времени.

Р о м о д а н. Никогда не думал, что вы применяете опытную станцию на канцелярию...

В е р н и г о р а. И я не думал. Но Гордей Афанасьевич забрал меня, и вот уже семь лет под его руководством бумаги переписываю.

Д р е м л ю г а. Именно, переписываешь... Какую директиву ни составишь, приходится мне переделывать, да ещё как!

В е р н и г о р а. У вас такой характер, что никто угодить не может...

Д р е м л ю г а. А характер у меня простой: не люблю болтунов — вот и всё. (Смеётся.)

Р о м о д а н. Я знал Кирилла Захаровича до войны и такого за ним не замечал. Он был хорошим агрономом...

Д р е м л ю г а. А мне не агрономы нужны, а хорошие, толковые директивы! В сельском хозяйстве я и сам разберусь.

В е р н и г о р а. Так отпустите меня.

Д р е м л ю г а. Отпустить?.. Учил тебя столько лет... Ты, Кирилл, не обижайся, я тебе только добра желаю.

Р о м о д а н. Прошу садиться. (Все садятся за стол для заседаний.) Кто будет докладывать?

Д р е м л ю г а. Товарищ Вернигора.

Р о м о д а н. Прошу, Кирилл Захарович.

В е р н и г о р а (встал, раскрыл папку). Подготовка к областному совещанию передовиков сельского хозяйства проходит неплохо. Проект решения и речи подготовлены. Гордей Афанасьевич всё просматривал, сделал нам много замечаний. Мы всё выправили. Вот проект решения. (Подает.)

Р о м о д а н. Не понимаю, о каких речах вы говорите?

В е р н и г о р а. Звеньевых, бригадиров, председателей колхозов — всех, кто будет выступать на совещании.

Д р е м л ю г а. Речи будут хорошие. Мы долго над ними работали.

Вернигора. Рассчитываем на тридцать пять выступлений. *(К Ромодану.)* Ваше будет тридцать шестым.

Дремлюга. Я звонил в Киев, там тоже выступило тридцать пять. В Одессе тоже было тридцать пять. Это норма...

Ромодан. Покажите мне несколько выступлений.

Вернигора *(подаёт)*. Прошу.

Ромодан просматривает.

Калина. На сколько дней рассчитываете?

Дремлюга. За два дня управимся.

Вернигора. Вряд ли. Ваш доклад — три часа с половиной. Да Пётр Александрович, вероятно, выступит часа на два.

Дремлюга. Нужно ещё речи сократить.

Вернигора. Мы их и так порезали...

Дремлюга. Делайте, что я говорю. Нам не болтовня нужна, а обязательства. Для этого много времени не нужно.

Калина. Это верно.

Ромодан. Кирилл Захарович, неужели все ораторы так одинаково думают?.. Вот послушайте, товарищи. Выступление доярки Христины Селезень. «Товарищи! Глубокий и содержательный доклад председателя облисполкома товарища Дремлюги совершенно верно раскрывает все недостатки нашей работы...» Другое выступление. Бригадир колхоза имени Первого мая товарищ Крига. *(Читает.)* «В содержательном и глубоко в докладе председателя облисполкома нас критикуют остро, но справедливо...» А вот тракторист Омельченко. *(Читает.)* «С большой силой и глубиной в докладе председателя облисполкома товарища Дремлюги раскрыты все недостатки работы нашей МТС...» *(Перелистывает выступление.)* А вот, кажется, несколько иначе. Председатель колхоза Дударик. *(Читает.)* «Товарищи! Я счастлив, что здесь, на этом совещании, смог услышать такой глубокий и такой большой доклад председателя облисполкома товарища Дремлюги...» А ну, дайте-ка мне оригинал выступления товарища Дударика.

Вернигора. Сейчас. *(Разыскивает, подаёт.)*

Ромодан молча читает.

Дремлюга. Вот эти предисловия следовало бы выбросить...

Вернигора. Вы же их читали, Гордей Афанасьевич, и ничего мне не сказали...

Овчаренко. Это легко сделать.

Ромодан. А ну, товарищ Вернигора, читайте по абзацам выправленное вами выступление, а я буду читать оригинал. *(Подаёт.)* Читайте сначала.

Вернигора. «Товарищи! Я счастлив, что здесь, на этом совещании, смог выслушать такой глубокий и такой большой доклад председателя облисполкома товарища Дремлюги...»

Ромодан. Читаю оригинал. «Товарищи! Я хочу сказать на этом совещании о своей беде. Два года прошу районные организации и уже десять писем написал самому товарищу Дремлюге, чтобы нам прислали агронома, потому что наш колхоз после укрупнения имеет четыре с половиной тысячи гектаров. Хозяйство большое, а образование у меня — незаконченная церковно-приходская школа. Районные начальники отказали, а товарищ Дремлюга даже не ответил...» Читайте вы.

Вернигора. «Очень справедливо говорил докладчик, что мы не выполняем правил агротехники, потому что у нас ещё низкие урожаи. Наш колхоз берёт на себя обязательство...»

Ромодан (*перебивает*). Минутку. (*Читает.*) «В нашем колхозе низкие урожаи, потому что мы не выполняем правил агротехники. Но как можно выполнять их, если наша МТС каждый год пашет мелко, а сеет поздно?..» (*Вернигоре.*) Это есть у вас?

Вернигора. Было, но... (*Смотрит на Дремлюгу.*)

Дремлюга. Дударик врёт. Их МТС лучшая в области, всё время премии получает...

Ромодан. Дударик врёт... (*Вернигоре.*) Дайте мне оригинал речи Оксаны Коломиец.

Вернигора (*ищет*). Сейчас.

Дремлюга. Председатели колхозов привыкли всё валить на МТС.

Вернигора подаёт речь Коломиец.

Ромодан (*молча читает*). А вы, товарищ Овчаренко, читали эти выступления.

Овчаренко. Просматривал те, что были выправлены. (*Вернигоре.*) Почему же вы мне не показали оригиналы?

Вернигора. Я вам показывал, но вы сказали, что у вас нет времени читать...

Овчаренко. Я такого не помню...

Ромодан (*возвращает Вернигоре выправленное выступление Коломиец*). А ну, читайте с этого места.

Вернигора смотрит, молчит, достаёт платок, вытирает пот с лица.

Ромодан. Читайте. Может, вам воды дать?..

Вернигора. Нет, нет! (*Тяжело вздохнул, читает.*) «Критику мы признаём. Наша свиноферма славилась на всю область, а последний год мы сильно сдали. Беру на себя обязательство...»

Ромодан. Позвольте! «А почему мы сдали? Умер наш голова колхоза, мы хотели выбрать его брата, такого же честного и порядочного человека, хорошего хозяина. Да не тут-то было. Прислали нам из района пьянчужку Гарбуза, который уже три колхоза завалил. Мы его не выбрали. Тогда приехал секретарь райкома партии, созвал собрание, восемь раз выступал — и таки добился своего. Как сел Гарбуз на нашу шею, всё пошло прахом. А Гарбуз гуляет да всех районных начальников потчует. Писали мы в облисполком, но этот аспид, видно, и там свою руку имеет, потому что ответа не получили. Просим Гарбуза с нашей шеи снять и поставить нам голову, а иначе все люди разбегутся...» (*Дремлюге.*) И это — враньё?

Дремлюга. Я звонил секретарю райкома, но он категорически возражает, что Гарбуз пьянствует. У него есть ошибки, но Гарбуз — человек заслуженный, партизан, а та, что пишет, Коломиец, была в Германии...

Ромодан. Её что, Гитлер приглашал?

Дремлюга. Нет, её вывезли на работу. Но должен вам сказать, что среди них есть весьма ненадёжный элемент. Я ей не верю. И секретарь тоже такого мнения. Я вообще считаю, что ей не нужно давать слова. Я вам говорил, товарищ Вернигора?..

Вернигора. Да, но мне хотелось...

Дремлюга. Снять — и всё.

Ромодан. А я за то, чтобы дать ей слово. Пусть скажет, что думает.

Дремлюга. А как же будет с авторитетом секретаря? Она же подкапывается под партийное руководство. Почему вы ей верите?..

Ромодан. А мы и секретарю дадим слово и Гарбуза вытащим на трибуну... И вас попросим выступить по этому поводу.

Вернигора. Я охотно.

Ромодан. Я считаю, надо отложить совещание, а такой метод подготовки — резко осудить.

Дремлюга. На какой срок отложить?

Ромодан. Пока не подготовим честно, без обмана. Ваш доклад я прочитал. Он такой же, как и вот эти выправленные выступления. Кого вы обманываете? Себя! *(Пауза.)* Я поеду к Дударнику, в МТС и к Гарбузу. Вам советую тоже поехать хоть на месяц, посмотреть партийными глазами, что делается в колхозах, МТС, а тогда писать доклад. Всем нужно поехать.

Дремлюга. На месяц?! А на кого я облизполком оставлю?..

Ромодан. На Филиппа. У него исключительная память. Лучше вас будет передавать сводки в столицу.

Дремлюга. Если вы считаете, что меня может заменить Филипп, а доклад мой лживый, то я поеду. Только не в колхозы, а в Киев. На старости лет в брехунах ходить не желаю и никому не позволю издеваться над собой. *(Встал, отошёл к стене.)*

Овчаренко. Пётр Александрович так не думал..

Дремлюга. Нет, нет! Меня обозвали брехуном! Члена ЦК!..

Овчаренко. Вы ошибаетесь, Гордей Афанасьевич. Пётр Александрович резко критиковал ваш доклад, но... Да скажите же ему!..

Ромодан. А что говорить? Товарищ Дремлюга понял меня правильно.

Дремлюга. Слышали?

Ромодан. А вас предупреждаю: на партийной конференции расскажу, как вы ползаете на животе перед товарищем Дремлюгой. Придётся вам ответить активно...

Дремлюга. Не пугайте. Нас знают не первый год.

Зазвонил телефон. Ромодан подошёл, снял трубку.

Ромодан. Слушаю. Киев? Кто? ЦК... Соедините. Слушаю. Здравствуйте. Хорошо. Записываю. Так... Я сам думал в первую очередь поехать в МТС. Понимаю... Ого! Так это же будет целая революция... Будет Пленум в Москве? МТС — основа... Да?.. Напишу подробно. Что?! Спасибо, чувствую себя хорошо. Как тут встретили меня? Нормально. Да... И товарищ Дремлюга и товарищ Калина... Все хорошо встретили... Будьте здоровы! *(Положил трубку. Возвращается.)* Кто против моего предложения? Нет?.. *(Все молчат.)* Тогда всё. До свидания. А вы, товарищ Вернигора, останьтесь, пожалуйста.

Все выходят, кроме Вернигоры. Ромодан подходит к Вернигоре, долго смотрит на него.

Вернигора *(тихо)*. Я слушаю вас, Пётр Александрович...

Ромодан. Кирюша... Что всё это значит?.. *(Вернигора молчит.)* Если бы я не знал, какая светлая голова у тебя... Что с тобою случилось? Тебя же вся Украина знала!.. Тебя печатали в «Правде», с тебя пример брали агрономы... Кирюша, друг мой, кто тебя так искалечил?! *(Увидел слёзы на глазах у Вернигоры.)* Да-а... Не ждал такой встречи. Я не забыл, как мы вместе мечтали, как горячо ты доказывал, что плодородию земли нет пределов. Ты же меня, молодого секретаря райкома, заставил изучать Тимирязева, Вильямса, Мичурина! Ты же вложил мне в душу любовь к сельскому хозяйству!.. *(Вернигора вытирает слёзы, сел, опустил голову на руки.)* А помнишь, как ты читал мне произведения римского учёного Колумеллы?..

Вернигора. Не забыл...

Ромодан. Нет, я тогда переписал в книжечку. *(Достаёт из стола.)* Сохранил её. *(Читает.)* «Как часто у нас первые люди в государстве

обвиняют то землю в бесплодии, то климат в давней и губительной для урожая неравномерности... Я уверен, Сильвин, что эти причины далеко отстоят от истины... Я думаю, что дело не в небесном гневе, а скорее в нашей собственной вине. Мы отдаём сельское хозяйство, как палачу на растерзание, самому негодному, а при наших предках им занимались наилучшие люди и наилучшим образом...» И дальше: «...Всякая полоска принесёт доход, если хозяин после многочисленных проб добьётся того, чтобы выращивать на ней как раз то, что пойдёт там лучше всего... поэтому никогда не следует забрасывать опытов во всём их многообразии». И это писал человек в первом веке нашей эры!..

В е р н и г о р а. А я ничего вспомнить не могу. Жить не хочется... Нет уже Кирилла Захаровича Вернигоры, нет... Бумажная душа перед тобой. Чинуша проклятый!.. Скрутил меня... а потом сломал... Я понимаю, я виноват... Променял за чин, за поломанный грош такую жизнь!.. Был когда-то у тебя товарищ Кирюша... был... Прощайте, Пётр Александрович. *(Вернигора направляется к двери.)*

Р о м о д а н. А как Марина живёт? Здорова?

В е р н и г о р а. Спасибо, здорова.

Р о м о д а н. Бери жену и сейчас приезжай ко мне. Сестра моя Варвара будет. Пообедаем вместе. *(Подходит к нему.)*

В е р н и г о р а *(едва сдерживая волнение)*. Пётр...

Р о м о д а н. Друга в беде я никогда не оставлю. Приедешь?

В е р н и г о р а. Я же... *(Склонил голову на его плечо.)*

Появилась тёплая улыбка на лице Ромодана.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина первая

Двор МТС. Вдали видно — стоят корпуса под черепицей, за ними — машины: тракторы, комбайны. А дальше бегут провода над буйнозелёной плантацией сахарной свёклы. Слева — в садах дома. На переднем плане, под старым дубом, на траве и на низеньких скамьях сидят трактористы, комбайнеры, председатели колхозов, служащие МТС... За столом президиума — секретарь партийной организации МТС Марченко и два члена президиума. Над столиком президиума висит привязанный проволокой к ветке дуба небольшой кусок рельса. Рядом, за другим столиком, стоит Овчаренко. Он держит в руках доклад. Заканчивая читать страничку, он кладет её на столик и, чтобы не дул ветер, ставит на неё большой графин с водой. Видно, доклад читает давно, потому что под графином много страничек, а воды в нём мало.

О в ч а р е н к о *(ни на кого не смотрит, читает)*. Однако всесторонние индивиды в коммунистическом обществе не будут владеть всеми специальностями. И при коммунизме будет разделение труда. Разрешите мне снова процитировать, что говорит по этому вопросу наш известный учёный, доктор философских наук товарищ Нудник. В своём капитальном труде товарищ Нудник глубоко раскрывает основные черты коммунизма. Цитирую из капитального труда товарища Нудника: «Основные черты коммунизма глубоко раскрыты с гениальной прозорливостью великим основоположником марксизма Карлом Марксом. Карл Маркс, как известно, учит...» Цитирую Карла Маркса из капитальной книги товарища Нудника...

М а р ч е н к о. Простите, товарищ Овчаренко. *(Встал, обращается ко всем.)* Товарищи! К нам в МТС приехал сам товарищ Овчаренко, чтобы сделать доклад на открытом партийном собрании. Мы пригласили на это собрание и председателей колхозов. А что же у нас получилось на сегодняшний момент? Товарищ Овчаренко *(смотрит на него, Овчаренко пьёт воду)* не пожалели для нас воскресенья, очень внимательно читают нам

уже два часа, в то время как, может, и их в воскресенье ожидают дома жена и детки, а отдельные товарищи в этот момент систематически спят, а Коровой Мефодий даже храпят... (*Слышно, как храпит толстый Коровай.*) Толкните его!

Г о л о с с м е с т а. Толкали, не помогает...

М а р ч е н к о (*рассердился*). Так дёрните его за усы, да так, чтоб в носу закрутило!..

Г о л о с. Сейчас дёрнем.

Все смотрят на Коровая. Молодой тракторист дёрнул за усы. Коровай вскрикнул: «Га?» — и чихнул, потом протирает глаза и спрашивает громко: «Кончил?»

М а р ч е н к о (*взял со стола деревянный молоток, легонько стучит по рельсу*). Прошу слушать внимательно! Продолжайте, товарищ Овчаренко...

О в ч а р е н к о. Простите, я немного затянул доклад. Я пропускаю несколько страничек...

Голоса с мест: «Ничего, ничего!..», «Катай, катай всё!..», «Наш директор до третьих петухов говорит!..», «Мы привыкли!..»

М а р ч е н к о. Тише! Молодёжь, прекратите движение... Качан, ты куда?

К а ч а н. Я сейчас...

М а р ч е н к о. Успеешь, скоро перерыв. Садись!

Качан возвращается, садится.

М а р ч е н к о (*к Овчаренко*). Прошу!

О в ч а р е н к о. Итак, товарищи... (*Читает.*) При коммунизме человек не будет иметь на себе родимых пятен капитализма, так калечивших индивид...

С т а р а я ж е н щ и н а. А от какой болезни те пятна?

М а р ч е н к о (*стукнул молотком о рельс*). Вопросы потом.

Вошли Ромодан и Дударик. Они сели в стороне на колоде.

О в ч а р е н к о. При полном коммунизме не будет таких уродливых черт прошлого, как ревность, зависть, скупость, прибыль... При коммунизме не будет денежного обмена. Не будет рынков с присущими им законами рыночной цены... Не будет государства... Не будет армий... Не будет...

К о р о в а й. Простите, товарищ докладчик, а что будет?

О в ч а р е н к о. Я вас не понимаю. Что вы хотите сказать?..

К а ч а н. Не перебивайте, и без того затянули.

К о р о в а й. Ну, к примеру, как будет при коммунизме с трудоднями?

С т а р а я ж е н щ и н а. Ага, сколько будут давать?

О в ч а р е н к о. Трудодней при коммунизме не будет!..

С т а р а я ж е н щ и н а (*удивлённо*). Не будет?

К о р о в а й. А что будет?

О в ч а р е н к о. Будет особая форма удовлетворения потребностей населения.

К о р о в а й. А что её, ту форму, на килы будут выдавать или деньгами?..

М о л о д о й т р а к т о р и с т. А будет вдоволь костюмов из тёмно-синего шевиота?

М а р ч е н к о. Товарищ Скрипка, при чём тут шевиот, я вас спрашиваю?..

С к р и п к а. Да у меня же свадьба скоро, а я и в район ездил и в область — нет нигде...

Трактористка. А ясли будут? Наш директор третий год обещает... Малышей не на кого оставить!..

Голос. У тебя свекровь есть, пускай смотрит!..

Трактористка. Твоё какое дело! Свекровь не хочет, она в драмкружке играет.

Председатель колхоза. А этернита будет вдоволь? Мы ферму построили...

Голос. Не будет, крой камышом!..

Звеньевая. А что будут делать с пьяницами?

Голос. Бесплатно водку им давать!..

Звеньевая. А чтоб они не дождали!.. Чтоб их холера взяла!..

Марченко. Ольга!

Звеньевая. Чтоб с них никогда пятна не послазили!..

Марченко. Ольга, прекрати конкретные выражения, когда про будущее докладывают!..

Звеньевая. Да что мне будущее, если наш председатель сегодня колхоз пропивает!..

Голос. Не горячись. Он быстро пропьёт и поедет в другой председательствовать.

Голос. Не ругай его, он заслуженный инвалид: одна его рука в кладовой колхоза, а другая — в райисполкоме...

Марченко. Тише!

Коровай. А МТС будет за урожай отвечать?

Марченко. Когда?

Коровай. Теперь.

Марченко. Товарищ Коровай, во время доклада вы храпели, а теперь своими вопросами в неловкое положение докладчика ставите. Товарищ про полный коммунизм говорит, а мы с вами ещё на его пороге сидим.

Коровай (*рассердился*). А мне надоело сидеть на пороге! Я хочу перелезть в полный, потому и спрашиваю...

Марченко (*стучит молотком о рельс*). Призываю к порядку!..

Голос. Положи молоток! Не зажимай демократию!..

Голоса. Правильно!.. Не зажимай!..

Марченко (*бросил молоток на стол, взял стакан, подошёл к Овчаренко, поднял графин, наливает. Подул ветер, и две странички доклада полетели*).

Коровай (*крикнул*). Держи! Лови!

Члены президиума побежали, подняли листки, приносят.

Дударик (*подошёл к столу президиума*). Коровай правду говорит. Я тоже хочу спросить, будут ли такие директора МТС, как наш Иван Иванович Соха?..

Смех.

Марченко. Тише! Товарищ Дударик, ваш вопрос тоже не ко времени... Товарищ Соха премии получают... Никто их снять не может.

Голос. А где он?

Марченко. С секретарём райкома поехали.

Голос. На уток поехали...

Марченко. Товарищ Овчаренко, сразу будете отвечать или позже, когда доклад закончите? Товарищи, прекратите движение! Качан, садись!

Качан. А перерыв будет сегодня?

Марченко. Потерпите ещё немного. Так как, товарищ Овчаренко?

Овчаренко. Товарищи ставят вопросы интересные, но они не имеют прямого отношения к моему докладу. Я заканчиваю. (*Начинает*

читать.) В своём капитальном труде товарищ Нудник блестяще доказывает...

Ромодан (*подходит к Овчаренко*). Простите, Гавриил Онуфриевич, как раз вопросы товарищей имеют непосредственное отношение к вашему докладу, потому что будущее рождается в сегодняшней жизни, и если мы не создадим избытка продуктов сельского хозяйства, то все наши разговоры о светлом будущем будут больше походить на проповеди, а не на боевую программу партии, за которую должны бороться ежедневно и философы и трактористы — мы все.

Марченко. А вы кто будете?

Дударик (*с подъёмом*). Это новый секретарь обкома партии Пётр Александрович Ромодан.

Марченко. Просим в президиум...

Все встают и горячо аплодируют.

Ромодан. Очень вас прошу: не вставайте и не аплодируйте. Я тут ещё ничего путного не сделал, а за чин аплодируют лишь дуракам (*улыбнулся*), чтоб они не печалились. Я же, простите, пока ещё себя таким не считаю...

Все засмеялись, а Коровой стал аплодировать. Ромодан смотрит на него.

Коровой. Простите, это я авансом, уж очень я желаю вам успеха. Ромодан. Спасибо. (*Садится.*)

Слышно — подъехала машина. Все смотрят в ту сторону.

Марченко. Наш директор товарищ Соха приехали.

Слышен собачий лай, а потом немного хриплый, но могучий бас директора: «Тарзан, Тарзан, назад! Назад, Тарзан!.. Вот дьявол!.. Я тебе дам!.. Тарзан! Чтоб ты сдох, проклятый!..» Входит Соха. В руках — ружьё, сумка и два кулика.

Соха (*издали*). А что это тут происходит?

Марченко. Открытое собрание, товарищ Соха. Просим.

Соха. А как же это вы, товарищ Марченко, без меня собрание сзываете?

Марченко. Вы вчера днём уехали, а вечером докладчик прибыл. Потому мы сегодня и созвали...

Соха. А почему меня не обождали? Кто тут хозяин? (*Пауза.*)

Ромодан. На партийном собрании — президиум.

Соха. А-а... (*Смотрит на Ромодана.*) А вы из министерства?

Марченко. Товарищ Ромодан, секретарь...

Соха. Не может быть! Простите, я даже представить себе не мог, что вы к нам приедете. (*Здоровается.*) Мы очень рады... очень! Что ж вы не позвонили, не предупредили?..

Ромодан. Не хотел вам охоту перебивать...

Соха. Да какая здесь охота! Не было лёта совсем. (*К Марченко.*) Давно начали?

Марченко. Часа три тому...

Соха. Так что ж, товарищ Ромодан, пусть они кончают, а мы пойдём ко мне, поговорим.

Ромодан. Тут к вам вопросы есть.

Соха. У кого?

Ромодан. У товарищей.

Соха (*обращается к собранию, ледяным голосом*). Ну, ну, давайте. Кто мне вопросы задаёт?.. (*Тишина, никто не отвечает.*) Нет вопросов? Нет!..

Ромодан. Тогда у меня есть. Скажите, товарищ Соха, за что вы премии получаете?

Соха. За перевыполнение плана.
Ромодан. А именно?
Соха. За экономию горючего, за пахоту... За все работы. Пойдёмте ко мне, я покажу вам все материалы. Очень интересные у нас цифры по всем линиям...
Ромодан. А по урожаю?
Соха. Как — по урожаю?
Ромодан. Товарищ Дударик, какой у вас был урожай озимой пшеницы?
Дударик. Десять центнеров с гектара. А в этом году — девять.
Ромодан (к Коровай). А у вас?
Коровай. Одиннадцать, а нынешний год — двенадцать.
Соха. Так это вы, голубчики, жалуетесь?! Тогда мне ясно... Товарищ Вишневой, какая у вас пшеничка?
Вишневой. Двадцать три центнера.
Соха. А у вас, товарищ Скиба?
Скиба. Двадцать пять.
Соха. Слыхали, товарищ Дударик?..
Дударик. Спрашивайте дальше. Вот сидят председатели колхозов, спрашивайте их...
Соха. Товарищ Марченко, кто председательствует на собрании: вы или беспартийный Дударик?
Дударик. Не такой уж я беспартийный, если с вами за колхозный урожай воюю!..
Соха. А вы не воюйте, а работайте так, как Вишневой и Скиба. Тогда и у вас хороший урожай будет.
Дударик. Хозяева они очень умные, грамотные... Но как вам не стыдно столько лет козырять Вишневым и Скибой! Всё начальство их уже до того затасовало, что и узнать нельзя... От жира лоснятся... А на нас начальство только кричит по телефону... Да как! Дым из трубки идёт!.. Да всё пишут, да угрожают, а помочь никто не хочет...
Соха. А какой вам ещё помощи?.. Пашем вам, сеем, убираем...
Коровай. А как?
Ромодан. Когда вы сеяли прошлый год озимые?
Дударик. Когда все сроки прошли, и сеяли по свежей пахоте. Так нам пашут...
Ромодан. А как с чёрным паром?
Коровай. Ни у него, ни у меня и сотки не поднял товарищ Соха за все годы после войны.
Ромодан. А у вас как, товарищ Вишневой?
Вишневой. Я не в обиде.
Дударик. Почему же вы нас без ножа режете, товарищ Соха?..
Соха. Всем мы не можем так обрабатывать землю.
Ромодан. Почему?

Пауза.

Трактористка. Потому что в горячую пору половина тракторов на ремонте стоит.
Соха. А где я возьму запчасти, если их не дают?..
Ромодан. У вас есть инженеры?
Соха. Ни одного.
Ромодан. А вы агроном?
Соха. Нет.
Ромодан. Какое у вас образование?
Соха. Незаконченное среднее.
Ромодан. А кто вы по профессии?

Соха. Кто? *(Пауза.)* Я... директор, много лет...
 Ромодан. А где главный агроном?
 Соха. Отдыхает дома, он в райцентре живёт...
 Ромодан. Сколько у вас агрономов с высшим образованием?
 Соха. Один, и два практика.
 Ромодан. На одиннадцать колхозов!.. Трудно вам работать...
 Соха. Отчего? Мы из года в год все планы работ выполняем.
 Дударик. А что из того? Вы скажите, кто виноват, что у нас пять колхозов на ноги не могут встать?..

Большая пауза.

Марченко. Вас спрашивают, товарищ Соха.
 Соха. А разве я отвечаю за их никудышную работу?
 Марченко. Выходит, отвечаете.
 Коровай. Не выкручивайтесь, товарищ директор. Машины у вас, а мы всё руками на фермах делаем... как при царе Горохе...
 Соха. Я не понимаю, что с вами всеми случилось?.. Может, докладчик вас всех так настроил?.. *(Обращается к Овчаренко.)* Тогда разрешите вас спросить.
 Овчаренко. Я говорил только о будущем.
 Соха. Тогда я вас спрошу. *(Обращается к Ромодану.)* Как же оно получается? За Дударика отвечает Соха, за Коровая — тоже Соха, за все директивы — Соха..

Ромодан. Какие директивы?
 Соха. Ежедневно я получаю вот таких *(показывает)* сорок, пятьдесят распоряжений, директив, а сколько телефонограмм и телеграмм из района, области, министерства и даже из академии!.. Пишут такое, что и разобрать невозможно. И на все я должен немедленно ответ дать. Да разве есть хоть один министр, у которого была бы такая нагрузка, как у меня?.. Это даже осёл — да что осёл! — вол не выдержал бы такой тяжёлой работы!.. А вы распустили губы при товарище Ромодане и на меня всё валите. Все отвечать должны: и снизу, а ещё больше — сверху.

Ромодан. Это правильно. Мы виноваты, потому что отдали такую могучую технику в руки Сохи, а что с него спросишь, если он не умом, а только хитростью живёт... Мы виноваты, потому что годами спокойно смотрели на машинно-тракторные станции, как на прокатные конторы, а не как на основную движущую силу колхозной жизни; что не спрашивали строго: какая у вас себестоимость килограмма зерна?

Соха. В этом году мы ещё не знаем, а в прошлом было лучше, чем в позапрошлом, на пятьдесят процентов снизили, а если взять позапрошлый год, то мы по процентам сильно продвинулись... *(Показывает рукой.)*

Ромодан. А скажите, ваша жена из процентов пироги вам печёт?
 Соха. Не понимаю вас.
 Ромодан. Сколько стоит килограмм пшеничной муки в магазине?
 Соха. Не знаю. Я по магазинам не хожу, времени нет.
 Ромодан. Жаль и очень жаль. Два рубля восемьдесят копеек. А какая себестоимость килограмма пшеницы была у вас в прошлом году?
 Соха. Четыре рубля двадцать копеек.
 Ромодан. А у соседей ваших, в Ворошиловской МТС?
 Дударик. Двадцать четыре копейки.

Ромодан. Во что же обходятся государству ваши дутые проценты? А может, мы виноваты и в том, что дали вам могучие машины, а вы часто ковыряете ими землю, как сохой, пашете и сеете несвоевременно, безбожно ломаете машины? Что не приучили вас любить их так, как любят машину Паша Ангелина, Гиталов, Лысогор, Внученко... Да разве

они одни! Как звёзд в небе, столько у нас передовых людей... Почему не учитесь у них? Кто вам мешает?..

Д у д а р и к. Что, молчите?! В глаза не смотрите, чтоб вам ни дна, ни покрышки!..

Р о м о д а н. Дударика и Коровая плохо обслуживает МТС — это правда. Но мы виноваты и в том, что не научили их собирать солому. Лежит она сейчас на полях, гнить начинает, а скирдовать не научили, а кормов у них снова нет, потому что не хотят девчата сажать кукурузу ручными сажалками — плохо потом семечки грызть. Простите, товарищи Дударик и Коровай, что мы, члены обкома, не посадили вам кукурузу, не пришли с вилами солому скирдовать. Но вы не падайте духом — придём, обязательно придём. Уверю вас...

Г о л о с. Что умолк, Дударик?

Г о л о с. Что скажешь, Коровай?

К о р о в а й. А что говорить, когда товарищ секретарь из Дударика дудку сделал!..

Р о м о д а н. Может, я ошибаюсь?..

К о р о в а й. Нет, нет! Нам всё ясно. Переходите дальше, товарищ секретарь!

Р о м о д а н. А не надоело ли вам так работать, товарищи члены партии — честь, слава и гордость народа, как называл коммунистов великий Ленин, люди особого склада, скроенные из особого материала, как говорил о коммунистах великий Сталин?.. Как дальше жить будем? *(Пауза.)* Разве мы так дойдём до полного коммунизма? *(Пауза.)* Как вы считаете, товарищ Соха? *(Соха молчит.)* А вы, Гавриил Онуфриевич? *(Овчаренко молчит. Ромодан улыбнулся.)* Что говорит по этому поводу философ Нудник?..

О в ч а р е н к о. Он такие вопросы не рассматривает.

М а р ч е н к о *(обращается к Ромодану)*. Убедительно вы говорили, до самого сердца дошло. Но не всем. Есть у нас такие, что им убеждение не помогает. На каждом партсобрании убеждаем их так сильно, что потом три дня только губами шевелишь — голос начисто пропадает. Считаю, что во имя всенародного счастья, если убеждение долго не помогает, то нужно вырезать из грушевого дерева такой серьёзный аргумент, который может помочь таким людям скорее освободиться, как говорил уважаемый докладчик, от всяких пятен капитализма. Тогда и пироги и блины будут копейки стоить. Может, перерыв сделаем?

О в ч а р е н к о *(к Марченко)*. Разрешите мне закончить доклад. Всего семь страничек осталось...

М а р ч е н к о *(к Ромодану)*. Как вы считаете?

Р о м о д а н. Решайте сами, вы же председатель собрания.

М а р ч е н к о *(к Овчаренко)*. Прошу!

О в ч а р е н к о *(читает)*. В своём фундаментальном труде товарищ Нудник...

Р о м о д а н. Гавриил Онуфриевич, оторвитесь от бумаги и скажите от сердца хоть несколько слов в конце доклада.

О в ч а р е н к о. Хорошо. Правда, тут очень хорошие цитаты, но ладно. *(Положил листки, с подъёмом.)* Товарищи! В своём фундаментальном труде товарищ Нудник очень глубоко комментирует...

М а р ч е н к о. Прекратите движение... Тише! Качан, садись!

О в ч а р е н к о *(взял страничку, читает)*. ...Очень глубоко комментирует товарищ...

Р о м о д а н. Опять Нудник!.. Неужели вы, товарищ Овчаренко, не понимаете, что коммунизм — это не цитаты, а живое, бессмертное сердце народа, наша замечательная жизнь, наша страстная борьба! Вы же знаете, как Владимир Ильич ненавидел начётчиков...

О в ч а р е н к о (*растерянно*). Да... да... Знаю... Наизусть знаю. У меня даже есть эта цитата в самом конце доклада. (*Перелистывает странички, ищет.*)

М а р ч е н к о. Тише! Прекратите движение. Качан, ты куда?..

Качан печально покачал головой и уходит.

Картина вторая

Небольшая комната. У одной стены — диван. Над ним — полтавский ковер. Возле дивана — круглый столик. На нём — бутылка вина, бокалы, фрукты. У другой стены — два кресла. Между ними — большая стоячая лампа под зелёным абажуром. Справа и слева — двери. У стены, что перед нами, стоит пианино. Большое окно открыто в сад.

На стенах — маленькие пейзажи и несколько фотографий Анны с Лидой. Вечер. Горит стоячая лампа. У пианино — Лида. Она только начала играть «Лунную сонату» Бетховена.

Входит Катерина. Лида её не замечает. Катерина сняла плащ, села на диван. Слушает сонату. Лида перестаёт играть. Она склонилась на пианино, закрыла лицо руками.

К а т е р и н а (*встала, тихо*). Лида...

Л и д а (*повернулась*). Катерина Степановна... (*Украдкой вытирает глаза*.) А я и не слышала, как вы зашли...

К а т е р и н а (*подходит к ней*). Что с тобой, Лида?

Л и д а. Ничего, это я так... (*Улыбнулась.*) Меня всегда волнует эта соната Бетховена. В ней целое море человеческих чувств. И нет им ни дна, ни берегов... Особенно это место... (*Берёт аккорды.*)

К а т е р и н а (*встала возле пианино, смотрит на Лиду*). Рано... рано, Лида. «Лунная соната» больше волнует людей, которые хотят догнать молодые годы, а караван уходит всё дальше и дальше от них... Когда в сердце...

Л и д а. Что?

К а т е р и н а. Была не одна рана. А тебе ведь всего восемнадцать лет...

Л и д а. А если ударят в самое сердце...

К а т е р и н а. Ребёнка можно только обидеть, но за конфету он всё забудет.

Л и д а. Вы так думаете?

К а т е р и н а. У тебя сегодня как-то странно глаза блестят. Ты не больна?

Л и д а. Нет, нет!

К а т е р и н а. А может?.. (*Улыбнулась.*)

Л и д а. Нет! Этого не будет никогда. Я буду любить только музыку!..

К а т е р и н а. Не зарекайся. Я тоже когда-то так говорила и не заметила...

Л и д а. У каждого своя судьба. Я буду с мамой всю жизнь...

К а т е р и н а. И маме твоей надо выйти замуж. Она ещё молодая, красивая...

Л и д а. А почему вы не выходите?

К а т е р и н а. Почему? (*Пауза.*)

Л и д а. Вы на пять лет моложе мамы... Почему?..

К а т е р и н а. Не смотри так... Скажу правду... Когда встречу такого... (*Улыбнулась.*)

Л и д а. Орла?..

К а т е р и н а. Нет.

Л и д а. Сокола?..

К а т е р и н а. Пернатými я увлекалась в твои годы. Когда встречу человека, у которого большое горе в сердце... Где мама?

Л и д а. Пошла к парикмахеру. А почему вы...

К а т е р и н а (*перебивает*). Я вижу, вы кого-то ожидаете? Не к тебе ли сокол летит?..

Л и д а. Нет. К маме должен прийти её старый знакомый...

К а т е р и н а. Тогда я пойду.

Л и д а. Он не скоро придёт. Садитесь. Мама просила, чтобы вы подождали.

К а т е р и н а. В какую консерваторию думаешь поступать?

Л и д а. В Одесскую.

К а т е р и н а. А почему не в Киевскую?

Л и д а. В Одессе море. А музыка — это море... А если не примут, поступлю к рыбакам в артель.

К а т е р и н а. Что?!

Л и д а. Не верите? Я могу ещё не такое выкинуть. Махну на Курильские острова либо на Камчатку — и всё...

К а т е р и н а. Эх, ты! (*Обняла её.*) А говорила, что всю жизнь... (*Удивлённо.*) Лида!..

Л и д а. Что?

К а т е р и н а. У тебя слёзы на глазах... Что случилось?..

Лида села на диван, закрыла лицо руками. К ней подошла Катерина.

К а т е р и н а. Успокойся, Лида. Что случилось?..

Л и д а. Сегодня у меня такой день... Маме не скажете, что я плакала? Слово?..

К а т е р и н а. Слово. Иди ляг...

Л и д а. Сейчас.

Из другой комнаты голос Анны: «Лида!»

Л и д а. Я, мама. (*Тихо.*) Идите к ней.

Катерина пошла к Анне. Лида встала, вытирает глаза. Подошла к пианино, играет.
Входят Анна и Катерина.

А н н а. Извини, что опоздала. Садись...

Лида идёт в другую комнату.

А н н а. А ты куда?

Л и д а. Лягу, у меня что-то голова немного болит.

А н н а. Выпей тройчатку.

Л и д а. Хорошо... (*Выходит.*)

А н н а. Извини, Катя, я не смогу пойти в парк. Жаль, так хотелось послушать Пятую симфонию, но не смогу. Приехал один мой старый знакомый, позвонил, что придёт... Отказать не могла...

К а т е р и н а. Ну что ж, пойду одна. А ты тут послушаешь. От вас всё слышно, что в парке делается...

А н н а. Слышно, а когда ветер в нашу сторону, то кажется, что в парке сидишь...

К а т е р и н а. А может, Лида пойдёт?

А н н а. Нет, Лида должна быть дома. Как с нашим строительством? Есть ответ?

К а т е р и н а. Есть, и какой! Вчера я была у своих на даче и случайно встретила с Ромоданом. Сказал, что говорил с министром, всё получим и к декабрю закончим.

А н н а. Это хорошо.

К а т е р и н а. Годами обивала я пороги начальства и тут и в Киеве, а он за две недели всё сделал. Человек слова. Повезло нам...

А н н а. Повезло...

К а т е р и н а. Как хорошо, что его сюда прислали! Вчера я говорила несколько часов...

А н н а. С ним?

К а т е р и н а. Да. Сидели под липой возле того столика, помнишь, где познакомились?..

А н н а. Помню... И какое он произвёл впечатление на тебя?

К а т е р и н а. Глубокий, интересный человек. Говорили на различные темы... Но я почувствовала в нём какое-то внутреннее беспокойство. Трудно сказать, что именно, но, думаю, какое-то большое горе он пережил...

А н н а. Пережил...

К а т е р и н а. Да. У него такие удивительные глаза... Уже седина пробивается, а глаза — как у ребёнка: открытые, чистые, будто сразу весь мир хотят увидеть... Мне кажется, что я его давно-давно знаю... Словно простились много лет назад, и вот он снова возвратился из какой-то далёкой страны...

А н н а. Катерина, я не узнаю тебя... Катя... *(Смотрит на неё. Пауза.)*

К а т е р и н а. И я не узнаю себя, Анна. *(Встала, подошла к стене, сняла гитару, села на диван, перебирает струны, напевает без слов.)*

А н н а. Ты откуда знаешь эту песню?

К а т е р и н а. Его любимая песня... Какие хорошие слова! Послушай...

Ой, піду я лугом,
Лугом-долиною,
А чи не зустрінусь
З родом-родиною.
Ой, там моя сестра
Пшениченьку жала,
Сказав я їй «здраслуй»:
Вона промовчала...

А н н а *(тихо)*. Замолчи... Я не люблю эту песню. Прости, Катя...

К а т е р и н а. Не любишь?

Входит Ромодан. Катерина встала.

К а т е р и н а. Вы?!

Р о м о д а н. Я. А почему вы так удивились? Добрый вечер!

А н н а. Добрый вечер, Пётр Александрович. Прощу, садитесь.

Из другой комнаты выбежала Лида. Остановилась в дверях. Она чрезвычайно возбуждена.

А н н а *(Ромодану)*. Садитесь...

Л и д а. Нет! Он будет стоять перед нами!

Р о м о д а н. Лида!..

А н н а. Что с тобой?

Ромодан идёт к Лиде.

Л и д а. Не подходите! Я вас не знаю. Слышите? Не знаю! *(Идёт к Анне.)* Мама, держись... держись... *(К Катерине.)* Вы говорили, что только взрослых ранят, а детей — нет. Спросите у него, спросите!..

А н н а. Лида!

Л и д а. Это мой отец! Бывший...

К а т е р и н а. Что?!

Л и д а. Отец. Какое святое слово — «отец»! Все спрашивают: где, где твой отец?.. А сказать не можешь, стыдно... *(Выбежала из комнаты.)*

Анна пошла за ней в другую комнату. Ромодан подошёл к креслу, сел. Катерина смотрит на него. Большая пауза. Выпала гитара из рук Катерины. Входит Анна. Подошла к Катерине, подняла гитару.

А н н а. Катерина, прошу тебя, возьми Лиду к себе... Катя...
К а т е р и н а. Хорошо. *(Вышла.)*

Из парка доносятся звуки Пятой симфонии Чайковского. Анна закрыла окно, подходит к Ромодану.

А н н а. Узнаёшь? *(Показывает гитару.)*

Ромодан не отвечает. Анна положила гитару на диван, села.

А н н а. Прости, я не думала, что Лида так тебя встретит...

Р о м о д а н. Она знала, что я приду?..

А н н а. Да. Ты кашляешь... простудился?

Р о м о д а н. Много ходил по полям, вспотел, а потом в машине, видно, продуло.

А н н а. В районе был?

Р о м о д а н. Вчера вернулся.

А н н а. Как теперь на селе живут?

Р о м о д а н. По-всякому. Есть — живут хорошо, а есть и плохо. Утром вылетаю в Москву.

А н н а. Зачем?

Р о м о д а н. На Пленум ЦК вызывают.

А н н а. Разве ты член ЦК?

Р о м о д а н. Нет. Но всех секретарей обкомов вызывают.

А н н а. Может, рюмку вина выпьешь?..

Р о м о д а н. Налей.

Анна наливает, у неё дрожит рука.

А н н а. Пролила... прошу... *(Подает.)*

Р о м о д а н *(взял)*. А тебе я налью... *(Встал, налил, подаёт бокал.)*
Твоё здоровье, Анна, и здоровье Лиды. *(Чокнулся.)*

А н н а. Твоё здоровье, Пётр... *(Выпила.)*

Р о м о д а н. А красивой стала Лида...

А н н а. Так плохо всё получилось...

Р о м о д а н. Зато честно и искренне. Я этого ждал. Как же ты живёшь?

А н н а. Теперь хорошо. Работаю в больнице. Меня уважают. Лида стлично закончила музыкальную школу, осенью поедет в Одессу. Думаю, что примут в консерваторию. Так и живём...

Р о м о д а н. Почему ты не ответила мне ни на одно письмо? Почему отказалась от денег? Я же отец Лиды...

А н н а. Сперва о письмах. Вначале я не могла тебе ответить, потому что полгода сидела в тюрьме. Это тебе известно. А потом вышла. Люди помогли мне устроиться на работу. Моих заработков нам хватало. Как видишь, выросла неплохая девочка. Умница, способная... Это она сегодня так. Но поверь...

Р о м о д а н. Я понимаю...

А н н а. Не стоит вспоминать, что было. Себя волновать и тебя. Всё прошло. Правда победила. Даже тот, кто угрожал мне концлагерем, начальник облМГБ, сидит теперь в тюрьме, после ареста Берии. На следующий день его взяли и, как говорят, сразу самолётом в Москву.

Р о м о д а н. Он был из той же банды. Я понимаю: трудно тебе говорить, и мне нелегко слушать. И всё-таки молчать труднее. Говори, Анна.

А н н а. Что же говорить? Когда ты вернулся с фронта и тебе начальник МГБ показал анонимные письма на меня, будто я во время оккупации была связана с немцами, ты не заступился за меня, а сказал, чтобы как следует проверили, и сразу поехал в Киев...

Р о м о д а н. Меня вызвали в ЦК.

Анна. Знаю. Ну, а как меня проверяли... *(Пауза. Взяла бутылку.)*
Выпей... Опять пролила...

Ромодан. Не надо. *(Взял из её рук бутылку, поставил.)*

Анна. Хорошо, что люди не побоялись, заступились за меня. Разыскали тех, кого я спасла от фашистской неволи. Знали. Верили тогда даже мало знакомые... Умели в глазах прочесть... Этому беда научила... Хорошо знали, что не по своей воле врачи из больницы на биржу труда ходили... Ты же знал меня девушкой, вместе росли, потом поженились... всё знал... а усомнился... а может, и не поверил...

Ромодан. Я не думал, что тебя арестуют. Когда узнал, просил в ЦК... Я плакал перед секретарём, и он при мне звонил тому бандиту...

Анна. А что тот делал?

Ромодан. Что дело это очень запутанное и потребует много времени для расследования...

Анна. Я не знала, что ты просил за меня. Спасибо. И всё-таки, Пётр... Налей мне... *(Ромодан налил)* и себе... Желая тебе здоровья. В моём сердце уже нет обиды. Оно просто окаменело тогда. Таким и осталось...

Ромодан. Анна, я пришёл сказать тебе... За эти годы я столько перенёс... И до смерти, верно, не утихнет боль! Ты говоришь правду. Тогда моя вера в тебя пошатнулась. Время было такое. Но это не может оправдать меня... Я понял, скоро понял, что тот, кто не верит самому близкому другу, что бы о нём ни говорили, тот не может верить никому. Я понял это, но было уже поздно... Ты возвращала мне нераспечатанные письма... *(Пауза.)* Сколько зла, боли, слёз принесло людям недоверие, которое под видом бдительности сеяла эта банда!.. Они слепили нам глаза, а мы верили. И как верили!..

Анна *(тихо)*. Изранили... изранили и малых и больших людей. *(Из глубины её сердца вырвались светлые и простые слова.)* Спасибо, большое спасибо Центральному Комитету! Никогда больше не вернётся этот страшный сон!

Ромодан. Никогда!..

Анна *(встала)*. Иди, Пётр, скоро Лида вернётся. Мне бы не хотелось...

Ромодан. Хорошо. *(Встал.)*

Анна. Пётр, прошу... не заходи сюда. Я простила тебя, это правда. Но... иди. У меня такое сердце теперь, что... Иди.

Ромодан. Будь здорова, Анна. Поцелуй Лиду.

Анна. Хорошо. Будь здоров, Пётр...

Ромодан вышел. Анна подошла к окну, открыла, и в комнату полились звуки оркестра, конец Пятой симфонии. Анна стоит минуту у окна, повернулась, медленно подходит к дивану, упала на него и тихо зарыдала.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Парк. Терраса дачи Ромодана. На террасе — стол, плетёные стулья. Недалеко от террасы под старой липой сидит за столом Самосад. В руках у него книжечка. Он молча читает, подчёркивает карандашом.

Самосад. Ага. *(Читает.)* «К числу таких причин относится прежде всего нарушение в сельском хозяйстве принципа материальной заинтересованности работников в развитии производства, в увеличении его доходности — одного из коренных принципов социалистического хозяйствования». Принцип тут, и тут принцип... Тоже правильно. *(Перелистывает страничку, читает.)* «...каждому колхозному двору предоставляется право иметь небольшое подсобное личное хозяйство для удовлетворения потре-

бительских нужд, пока они ещё не могут быть удовлетворены полностью за счёт общественного хозяйства. Нарушение этого принципа, завышенные нормы поставок продуктов с приусадебного хозяйства, имевшиеся у нас недостатки в налоговой политике в отношении личного хозяйства колхозников привели к сокращению поголовья коров, свиней и овец в личной собственности колхозников. Такое положение не только ущемляет интересы колхозников, но и ведёт к извращению природы артельной формы колхозов...» И это весьма авторитетно сказано! *(Подчёркивает.)* Не ущемляй, потому что если у колхозника ничего не будет, то и в городе одни голые принципы останутся... *(Молча читает дальше.)*

На аллее появляются Дремлюга с удочками и Терещенко с корзиной в руках.

Дремлюга *(издали)*. Самосад!

Самосад не отвечает.

Терещенко. Самосад!

Самосад спрятал книжечку, опустил голову на руки, мечтательно смотрит вдаль. Дремлюга и Терещенко подходят ближе к столику, смотрят на Самосада, который не обращает на них внимания.

Дремлюга. Оглох?

Самосад молчит.

Дремлюга. Оглох, спрашиваю?

Самосад. Кого?

Дремлюга. Тебя.

Самосад. Нет.

Дремлюга. А чего ты молчишь?

Самосад. Задумался...

Терещенко. Задумался? *(Смеётся.)* А о чём же ты думаешь?

Самосад. Думаю, по какому принципу мне дальше жить.

Дремлюга. Что такое?

Самосад. Снова весна пришла, а я у вас на печи лежу...

Терещенко. Что с ним?

Дремлюга. Какая весна? Где ты её видишь?..

Самосад *(вынул книжечку)*. Вот она. В ней столько солнца, что земля наша ещё больше зацветёт, и души зацветут, как рушники невесты...

Терещенко. А ну, покажи, что это за книжечка?..

Самосад *(прячет)*. Не поймёте.

Дремлюга. Ого! Неужели ты думаешь, что Фёдор Гаврилович глупее тебя?

Самосад. Это не главная причина.

Дремлюга. Что?!

Терещенко. Да у него опять в голове что-то перевернулось...

Самосад. А у вас опять флюс... О, да ещё какой! И где это вас снова так продуло?..

Терещенко взялся рукой за щёку.

Дремлюга. В командировке простудился.

Самосад. Как бывает природа несправедлива!.. Бьёт человека в одно и то же место, куда б он ни поехал. Наотмашь бьёт... Разукрасит так, что смеяться противно... А за что? Авторитетный вопрос.

Терещенко. Очень уж ты философствовать стал.

Дремлюга. А может, ты выпил?..

С а м о с а д. Нет, сухой, как это удилеще...

Д р е м л ю г а. А ну, философ, давай червяки!

С а м о с а д. Нету.

Д р е м л ю г а. Как — нету?..

С а м о с а д. Не нашёл. Копал, копал — только два осколка от снаряда выкопал да кость человеческую. Чья она?..

Т е р е щ е н к о. Здесь их много, линия фронта проходила... Жаль, что не накопал червяков...

С а м о с а д. Закопал я её поглубже и посадил цветы на том месте... Чья она?

Д р е м л ю г а. Что ж, Федя, будем на хлеб ловить. Вечером на хлеб ещё лучше берёт.

Т е р е щ е н к о. Мелкая очень склёвывает хлеб. Это мўки, а не ловля.

С а м о с а д. Да разве вы будете ловить, когда у вас из корзины две белые головки выглядывают?..

Д р е м л ю г а. Увидел! *(Смеётся.)* Приходи на берег, угостим...

С а м о с а д. Спасибо, приду.

Дремлюга и Терещенко идут к реке. Самосад взял ведро, лопату и пошёл в парк. Из дачи выходят на террасу Варвара и Калина. Слышен смех, потом голос Ромодана: «Обманула меня...» Голос Вернигора: «Не может быть!» На террасу выходят Катерина, Ромодан, Вернигора.

В е р н и г о р а. Расскажите, как это было.

Р о м о д а н. Спросите у Катерины Степановны, как она меня провела.

К а т е р и н а. Вы всё шутите, Пётр Александрович.

Р о м о д а н. Хорошие шутки! Позвонила и сказала таким ледяным голосом: «Приезжайте ко мне в клинику, покажу ваш рентгеновский снимок. Дело очень и очень серьёзное...» У меня волосы поднялись...

К а л и н а. Испугались?..

Р о м о д а н. Ещё как!.. Ведь последнее время осколочки позванивали...

К а т е р и н а. Сами виноваты. Давно нужно было от них избавиться, а вы, простите, как дикарь...

Р о м о д а н. Признаю...

К а л и н а. И как ей удалось вас уговорить?..

Р о м о д а н. Приезжаю — и просто не узнаю Катерину Степановну. Лицо строгое, я бы сказал — злое, а в общем — мрачное... «Вот что, больной, ложитесь немедленно. Буду я вас резать, иначе вам крышка». Что делать?.. Я лёг на операционный стол...

К а т е р и н а. Так я сказала?

Р о м о д а н. Приблизительно.

К а т е р и н а. Я протестую.

В а р в а р а. Ты бы, Петро, поблагодарил Катерину Степановну за операцию, за то, что всё так прошло удачно...

К а т е р и н а. Операция была пустяковая, не за неё благодарить нужно, а за то, что я заставила Петра Александровича распрощаться с осколками. Они могли бы в будущем надеть серьёзных неприятностей.

Р о м о д а н. Это правда. Сколько меня уговаривали, я всё отказывался. А здесь не вышло, сдался. Впервые встречаю женщину с такой волей.

К а т е р и н а. Впервые?..

Р о м о д а н. Да. Вы человек особенный. Большая, красивая сила в вашей душе... От всего сердца спасибо вам. *(Протянул руку.)*

К а т е р и н а *(чуть подняла руку, но быстро отступила)*. Нет, нет! Благодарить меня не за что...

Ромодан. Катерина...

Катерина (*перебивает*). Дайте мне папиросу.

Калина. Вы же не курите?..

Катерина. Не курила, а теперь курю...

Ромодан подал папиросу, зажигает спичку.

Ромодан. Да вы же не тем концом...

Катерина (*вынула папиросу изо рта*). Простите...

Калина. А когда вы боль почувствовали?

Ромодан. Когда ехал на Пленум ЦК в Москву. Но во время Пленума я ничего не замечал.

Катерина. Потому что, вероятно, на Пленуме вы были в несколько возбуждённом состоянии. Поэтому не ощущали ни боли, ни температуры...

Ромодан. Меня там каждую минуту в жар и пот бросало... (*Засмеялся*.) Да разве меня одного! Такую правду жизни, такую силу нашу раскрыл Пленум, что мы теперь крылатыми стали. Мне там не раз казалось, что я лечу надо всей нашей землёй.

Катерина. От такого возбуждения вы и не ощущали...

Ромодан. Боль я почувствовал, только не в лёгких, а в сердце. Разве мы не видели всех безобразий, что творились? Разве мы не думали? Но часто закрывали глаза, так как больше служили, а не руководили, как надо. Вернигора утопал в чернилах, а Калина даже обижался, когда его о сельском хозяйстве спрашивали, в аристократах ходил... Разве не так?..

Калина. Справедливо.

Ромодан. А теперь дошло?

Калина. Ещё и как!

Ромодан. А я думаю, не совсем. Почему так мало инженеров отобрали для МТС?

Калина. Это не так легко сделать. Люди привыкли жить в городе. Наша ошибка в том, что мы всё просим, а надо нажать.

Ромодан. Никакого нажима! И просить не нужно. Вы ключ найдите к душе человека. Когда инженеры поймут, какая это большая честь работать теперь в МТС, в это историческое для нашей Родины время, какую большую надежду возлагает ЦК нашей партии на каждого из них, тогда они с охотой поедут. И у вас, товарищ Вернигора, сидят агрономы в аппарате. Я просто поверить не могу, — если человек не только по званию, а в душе агроном, — чтобы он не откликнулся на призыв партии. Это же творческая профессия — переделывать природу. Как может жить агроном с маникюром на пальцах, который годами не держал в руках землю, особенно весной, когда она, как живая, дышит... Да это же агродамочка, а не агроном! Не так ли, Кирюша?..

Вернигора. Так. Вы же знаете, я сам хочу ехать...

Ромодан. Знаю. Но сначала пусть ваши агрономы поедут.

Вернигора. Не могу я больше ругаться с Гордеем Афанасьевичем. Если вы не можете...

Катерина. А вы и сейчас разволновались... Это вам очень вредит.

Ромодан. От такого волнения я ещё полстолетия отмахую. Не верите? Давайте пари.

Катерина. От всей души вам желаю, но я столько не проживу...

Ромодан. Что вы, Катерина Степановна! Мы в такую жизнь идём, что и через пятьдесят лет у нас будут соответствующие рефлексы...

Катерина. Извините, какие рефлексы?

Ромодан. Это — открытие товарища Овчаренко. Он очень Павлова изучает.

К а т е р и н а. Изучает?.. Что-то не заметила. В одном из докладов он нам такое плёл об учении Павлова... Извините, я уважаю его как философа, но...

Р о м о д а н. Плёл, плёл. И не только про Павлова. Боюсь, начнёт теперь плести о квадратно-гнездовом способе посадки... Так, как один секретарь обкома, когда мы осматривали новые сельскохозяйственные машины под Москвой во время Пленума. Спрашивает член Президиума ЦК: «Как у вас, освоили квадратно-гнездовой способ посадки картофеля?». «Освоили, — говорит. — Гнездо уже есть, только квадрат не очень получается...» Смех на всё поле.

В а р в а р а. Какой срам! А тебе задавали вопросы?

Р о м о д а н. Может, и задали б, да я не высывался, больше сзади стоял...

К а т е р и н а. Неужели? Вы шутите...

Р о м о д а н. Правду говорю. Спросили члены Президиума одного нашего секретаря обкома: а что делает Мария Бунчук? А он тык-мык, на лысине целый пожар вспыхнул...

К а т е р и н а. А кто эта Бунчук?

В а р в а р а. Доярка. Я её хорошо знаю. Она одной из первых после войны была награждена орденом Ленина.

Р о м о д а н. Тогда член Президиума усмехнулся и говорит секретарю: «Вы, когда вернётесь, заезжайте, пожалуйста, к Марии Бунчук и передайте ей ото всех нас привет. Может, хоть это даст вам удобный повод познакомиться с людьми вашей области...»

В а р в а р а. Не забыли Марию...

К а т е р и н а. Простите, мне пора. *(Достала из сумки свёрточек.)* Возвращаю вам ваши осколочки... *(Подает Ромодану. Все рассматривают.)*

К а л и н а. Когда это с вами случилось?

Р о м о д а н. Через три дня после войны.

К а л и н а. Как?

Р о м о д а н. Ехали лесом, шофёр сбился с дороги. Я пошёл с товарищами искать дорогу. Отошли с километр, из-за кустов нас начали обстреливать. Мы ответили. А потом около меня разорвалась ручная граната...

В е р н и г о р а. Фашисты бросили?

Р о м о д а н. Нет, их холуи... наши выродки. Удирали от народного суда под крыло американской разведки. Товарищ двоих уложил, а остальных позже поймали.

К а л и н а. И долго лежали в госпитале?

Р о м о д а н. Три месяца. Пятнадцать осколков извлекли, а эти оставили на память...

К а т е р и н а. А потом вы домой поехали?

Р о м о д а н. Да. Домой... *(Отошёл.)*

К а т е р и н а. Не будем больше вас беспокоить. Отдыхайте. Это теперь для вас самое главное.

Р о м о д а н. Да я у вас за десять дней в больнице отдохнул лучше, чем на курорте...

К а т е р и н а. До свидания.

Р о м о д а н. До свидания. *(Прощается с Катериной.)*

К а л и н а. И мы пойдём...

Р о м о д а н. Посидите...

К а л и н а. Не могу. Будьте здоровы.

Р о м о д а н *(Вернигоре)*. И ты, Брут?..

В е р н и г о р а. И я. *(Прощается.)*

Все уходят.

Ромодан. Варвара, поставь чаю...

Варвара. Ладно. *(Идёт в дом. Катерина вернулась.)*

Катерина. Пётр Александрович, можно вас на минутку...

Ромодан. Пожалуйста. *(Идёт ей навстречу.)* Слушаю вас.

Катерина. Простите, это — дело ваше, семейное... Когда вы приехали из госпиталя домой, вы рассказали Анне Андреевне, кто вас ранил?..

Ромодан. Нет. В первый день не успел, а потом... не хотел.

Катерина. Пётр Александрович...

Ромодан. Продолжайте... Я вижу, вы теперь всё знаете.

Катерина. К сожалению, да. Разрешите мне рассказать Анне об этом.

Ромодан. Зачем?

Катерина. Вы были в таком состоянии... Может, она поймёт...

Ромодан. Нет, не надо. Это ещё усугубит мою вину. Встретил выродка, и из-за него пошатнулась вера... Нет, нет, не надо ей ничего говорить. Прошу вас, Катерина... Я с Анной говорил. Одного пережить не могу. Лида... дочь...

Катерина. А где Лида была, когда Анну арестовали?

Ромодан. У меня. Но когда Анну выпустили, она забрала Лиду и даже не пожелала встретиться со мной. Оставила записку. Три слова... И всё...

Катерина. Я так понимаю вас!.. Я верю, она будет с вами.

Ромодан. Верите, Катя? *(Взял её за руки, смотрит в глаза.)*

Катерина. Иначе быть не может... Вы... *(Пауза.)* Только не волнуйтесь. Вам никак нельзя... Прощайте... *(Быстро уходит.)*

Ромодан возвращается на террасу. Входит Варвара, вносит чай. Наливает.

Варвара. Ты так побледнел, Петро. Может, приляжешь?..

Ромодан. Это тебе показалось. Я хорошо себя чувствую. Завтра на работу... Выпьешь чаю?..

Варвара. Нет, мне пора, Петро, домой. Завтра рано вставать.

Ромодан. На работу?

Варвара. На поезд. Завтра уезжаю отсюда.

Ромодан *(радостно)*. На село, домой?..

Варвара. Да, Петро. Сбылось то, о чём я по ночам думала. Теперь моё место на поле, там я больше сделаю. Но науку в городе я не забуду. Спасибо рабочим: они научили меня не только строить, но и шире на жизнь смотреть.

Ромодан. Вот за это я тебя расцелую, сестра... *(Обнял, поцеловал.)*

Варвара. Спасибо. Скоро ты услышишь обо мне. В будущем году снова будет стоять моя кукуруза и у тебя и в Киеве...

Ромодан. Верю.

Варвара. Одно тебе скажу на прощание.

Ромодан. Что, Варвара?

Варвара. Решения большие, солнечные... Но и солнце могут закрыть тучи, если про людей забудешь, как тот секретарь. Ты приголубь человека, приголубь, и он горы перевернёт!.. Заменяй негодных и смело поднимай ещё слабых, но способных, и будешь ты тысячеруким в каждом селе. Теперь у меня тут *(приложила руку к груди)* снова вера и крылья, о которых ты так хорошо сказал. Будь здоров, брат. Приезжай в родное село.

Ромодан *(тихо)*. Спасибо за доброе слово. Приеду.

Варвара *(провела ладонью по его голове)*. Как бы я хотела, чтоб ты не один был!..

Ромодан. Я уже привык.

Варвара. Не говори так. К этому человек привыкнуть не может. Не обкрадывай свою душу... Ищи дорогу — и найдёшь... Прощай, брат.

Ромодан. Прощай, сестра. Я провожу тебя к машине.

Сходят с террасы. Ромодан взял Варвару под руку, идут в парк. С другой стороны парка появляются Дремлюга и Терещенко.

Терещенко. Не повезло нам сегодня. Удочки порвали...

Дремлюга. Да. А дома ли Пётр Александрович?..

Терещенко. Я слышал, со здоровьем у него уже всё в порядке.

Дремлюга. Да. *(Поднялся на террасу, крикнул в открытую дверь.)* Пётр Александрович!.. *(Зашёл в дом, вернулся, идёт к столику. Терещенко сидит под липой, напевает. Он навеселе.)* Нет. Видно, где-то в парке гуляет... *(Сел возле Терещенко.)*

Терещенко. Одна щука на живца — разве это ловля?.. *(Вытащил из корзины щуку, положил на стол.)*

Дремлюга. А щука хорошая!

Терещенко. Что с тобой, Гордей? Не пьёшь, а настроение, словно друга похоронил...

Дремлюга. Не друга, себя хороню. Кажется, моё время прошло.

Терещенко. Что ты, Гордей! Ты — орёл, а орлы никогда не стареют.

Дремлюга. Не кричи, Федя.

Терещенко. Извини. Эх, скажу я тебе одно, Гордей... У меня тоже в сердце чёрт знает что творится. Не понимаю я, не понимаю, что вокруг нас происходит...

Дремлюга. Может, спать пойдёшь? Ты много столичной дёрнул...

Терещенко. Водка теперь не берёт меня. Душа болит... Скучно жить стало. Скучно!

Дремлюга. Почему?

Терещенко. Мы с тобой не первый год и в партии и на руководящей работе. Мы знали одно — держи линию, держи её...

Дремлюга. Правильно, Федя...

Терещенко. А теперь что?

Дремлюга. А что?

Терещенко. Вот приехал Ромодан с Пленума. Про что он на активе говорил? Не так давно мы говорили о том, как вся наша страна всколыхнулась... Каналы на тысячи километров, новые моря — дух захватывало! А теперь?.. Сало, кукуруза, овощи, квартиры, пиджаки... Всё для человека, всё для человека... А для коммунизма что? — я спрашиваю. Какой скукой веяло от каждого слова его доклада!..

Дремлюга. А актив аплодировал ему, да ещё как!..

Терещенко. А почему? Поплыл по течению, в хвосте актива. Разве это линия?.. Ты знаешь, Гордей, я никогда не был подхалимом, мы старые друзья, не один пуд соли съели... Но когда ты прежде выходил на трибуну, то как все волновались! Головы в плечи втягивали... Так чувствовали твой авторитет. А теперь каждый сидит, как хочет, и мелет, что хочет... Авторитетов не признают, никто никого не боится... Я спрашиваю: где же тут партийная дисциплина?..

Дремлюга. Ничего... Пошумят, пошумят, а потом всё станет на своё место.

Терещенко. Где видано, чтоб секретарь обкома так недопустимо резко говорил о председателе облисполкома?.. Да если на самом веру такое началось, как же тогда нам линию вести?.. На кого её держать?..

Дремлюга. Вон Ромодан... Федя, возьми удочки и иди, а я поговорю с ним.

Т е р е щ е н к о. Обидел он тебя... Сильно.
Д р е м л ю г а. Ступай, ступай.

Терещенко взял удочки, щуку, идёт. Ему навстречу выходит Ромодан.

Т е р е щ е н к о. Здравствуйте, Пётр Александрович! Как ваше здор-
овьечко?

Р о м о д а н. Благодарю, хорошо. А ваше как?

Т е р е щ е н к о. Я — как старый дуб: никакие ветры меня не берут.
Р о м о д а н. Не зарекайтесь. Бывают такие бури, что и старые дубы
с корнем летят... Особенно зогда у них дупла большие... (*Повернулся и
идёт к Дремлюге.*) Как улов сегодня?

Д р е м л ю г а. Не было клёва.

Ромодан сел возле Дремлюги. Пауза.

Д р е м л ю г а. Душно сегодня...

Р о м о д а н. Душно...

Д р е м л ю г а. Кругом сверкает — видно, гроза будет...

Р о м о д а н. Видно, будет...

Д р е м л ю г а. Я послал вам днём сводки. Получили?

Р о м о д а н. Получил.

Д р е м л ю г а. Читали?

Р о м о д а н. Читал. Гордей Афанасьевич, почему вы не выступили на
активе по моему докладу?

Д р е м л ю г а. Я же говорил вам, плохо себя чувствовал...

Р о м о д а н. Только поэтому?

Д р е м л ю г а. Только.

Р о м о д а н. Хотел я с вами сегодня по душам поговорить, да вижу —
не выйдет... Отложим на завтра, а жаль... Очень жаль...

Д р е м л ю г а. Почему ж, поговорить всегда успеем...

Р о м о д а н. Ждать нельзя, иначе решение Пленума провалим.

Д р е м л ю г а. Не понимаю вас.

Р о м о д а н. И я вас не понимаю: почему агрономы сидят в вашем
аппарате? Почему вы их держите?

Д р е м л ю г а. Позвольте, Пётр Александрович, позвольте! Это не-
верно. Не могу же я разогнать весь аппарат. С кем же работать?.. Часть
уже выехала...

Р о м о д а н. Какая? Вы послали по принципу — нá тебе, боже, что
мне не гоже... А настоящие специалисты под вашим крылом сидят.

Д р е м л ю г а. Я не орёл, у меня не такие крылья, чтоб...

Р о м о д а н (*перебивает*). А я имею в виду наседку...

Д р е м л ю г а. Пётр Александрович!

Р о м о д а н. Что?

Д р е м л ю г а. Спасибо за откровенность!

Р о м о д а н. Пожалуйста.

Д р е м л ю г а. Теперь мне всё ясно.

Р о м о д а н. Думаю, что нет. (*Пауза.*)

Д р е м л ю г а. Знаю. Вам Вернигора доносит, это его работа...

Р о м о д а н. Не доносит, а правду начал говорить. И вам и мне...

Д р е м л ю г а. Так, так... Я вижу, куда он метит... и кто его окрыляет.

Р о м о д а н. Метит в МТС, просится, чтоб послали его директором.

И я думаю, следует послать.

Д р е м л ю г а. Что ж, пусть едет. Я не возражаю.

Р о м о д а н. И вам время подумать.

Д р е м л ю г а. Попроситься, чтоб назначили директором МТС? Это
вы хотите сказать?

Ромодан. Нет. Теперь директор должен хорошо дело знать и не руководить вообще, а отвечать за урожай, за животноводство, за механизацию, за культуру земледелия... Быть вожаком, душой и сердцем колхозов. А какой же из вас вожак, какая душа у вас?.. Кто за вами пойдёт?..

Дремлюга. Не вам судить, молодой человек! Меня знала партийная организация республики ещё тогда, когда вы только пионером были. Я десять лет был секретарём обкома, а вы — впервые. Я член ЦК! Кто дал вам право так говорить со мной?.. Откуда вы взялись? Я старый кадр, я линия!.. Вы обязаны, чёрт подери, уважать меня, работать со мной! Это принцип партии! А вы на активе хотели меня на колени поставить. Вы думали, что я выступлю и упаду перед вами... Не выйдет! Придёт время, и я скажу своё слово вам и таким, как вы...

Ромодан. Всё?

Дремлюга. Хотели откровенно, по душам поговорить, так слушайте и крепко подумайте.

Ромодан. Принцип партии я знаю, его не нарушу. Стариков уважаю и всегда буду учиться у них.

Дремлюга. Не почувствовал, а наоборот...

Ромодан. И не почувствуете, потому что вас только одни годы украшают, а не мудрость. Зазнайство, а не скромность. Бездушные, а не человечность. Грубость, окрик, а не доброе слово. Вождизм развёл вашу душу, и в ней лишь презрение к людям, к их хлопотам и заботам. Для вас партия — это только ваше Я, а не совесть и честь народа.

Дремлюга. Товарищ Ромодан! Я не потерплю...

Ромодан. Молчите! Вы угрожаете мне, что придёт время, и вы закроете всем рты и будете вершить один, что надумает ваша левая нога. Лжете! Не будет этого. Пойдём сейчас, встанем перед народом и спросим всех честно и открыто: за кого вы? За заслуженных пустозвонов или за тех, кто видит заботы людей и без трескучих фраз, всем сердцем, горячим делом хочет помочь, чтобы не когда-то, а сегодня наши люди полностью ощутили плоды социализма. И мой совет вам — не дожидайтесь, пока вас прогонят с трибуны, уходите на пенсию.

Дремлюга (*встал*). Не торопитесь. Не такое я видел в своей жизни. Неизвестно ещё, кто кому пенсию выдаст... (*Уходит. Навстречу ему выходит Самосад.*)

Самосад. Клевало?

Дремлюга молча идёт к своей даче.

Самосад (*вслед*). Не клюнуло... Перед грозой не клюёт, только старые сомы наверх вылазят... Добрый вечер, Пётр Александрович!

Ромодан. Добрый вечер, Ефрем Ефремович.

Самосад. Выздоровливаете?

Ромодан. Выздоровел.

Самосад. Э, вижу, не совсем... У меня есть такое авторитетное лекарство, специально для вас приготовил... Любую болезнь сразу снимает. Только нужно принимать его точно по моему рецепту.

Ромодан. Что за лекарство?

Самосад. Народное. (*Подойшёл к липе, засунул руку в дупло, достаёт бутылку и две кружки.*)

Ромодан. Горилка?

Самосад. Боже упаси! Настойка, одни лесные цветы... Понюхайте.

Ромодан (*нюхает*). Какой чудесный аромат! А кроме цветов, что здесь?

Самосад. Выпейте, тогда поймёте. (*Наливает Ромодану и себе.*) Лекарство это принимать нужно так: выпили и пустой кружкой потрите

больное место. И так раз восемь когда проделаете, сразу все боли проходят. Начинайте.

Ромодан. Мне неловко — вы меня уже второй раз угощаете...

Самосад. Какие могут быть счёты между нами!.. Вы — секретарь, а я — тракторист. Но принцип у нас один: повышай урожай, поднимай животноводство... Разве не так?

Ромодан. Так. Но ведь вы здесь работаете...

Самосад. Работал. А завтра утром еду в родное село, на старое место — в МТС трактористом. Я жинке сказал вчера: собирай вещи, раз партия зовёт — Самосад должен быть в строю. Жинка отказалась, говорит: ты же беспартийный, нам тут хорошо живётся... Тогда я ей такой авторитетный ответ дал, что она не только вещи собрала, а ещё и всю ночь прощения у меня просила...

Ромодан. Согласилась ехать с вами?

Самосад. А какой же я был бы равноправный муж, если б меня жинка не слушалась?! Пешком поедет... Из села мне написали, что там делается...

Ромодан. Что?

Самосад. А вы разве не читали решения Пленума?.. *(Достал из кармана книжечку.)* Вы знаете, какая в них сила?! Это всё равно, что Сталинград. Заявляю авторитетно! Урожай не на глазок теперь будут оценивать, да и вообще там так всё подведено, что теперь дело только за нами... Ваше здоровье! *(Чокнулся.)*

Ромодан. Будьте здоровы! *(Выпил.)* Ого! Фу! Дух захватило...

Самосад. Трите, скорее грудь трите! Пройдёт...

Ромодан *(потёр)*. Нет, больше я пить не буду.

Самосад. А может?..

Ромодан. Нет. А здорово вы решение Пленума прочитали!

Самосад. А мы всегда читаем не только то, что написано, а больше ищем, что там за словами стоит. Какая жизнь. *(Встал.)* Разрешите с вами попрощаться. *(Ромодан тоже встал.)* Желаю вам здоровья, сил и авторитетно заверяю вас как знакомого, друга, секретаря, что тракторист Самосад не подвёл в войну, не подведёт и теперь... *(Самосад подал руку, Ромодан крепко пожимает её. Смотрят друг другу в глаза. Ромодан обнял Самосада, поцеловал.)*

Самосад. Спасибо. *(Поднял голову, прислушивается.)* Слышите? Дикае гуси летят...

Ромодан. Осень... Видно, сядут возле нас на речке...

Самосад. Может, но вряд ли... *(Прячет бутылку и кружки в дупло.)* Завтра примите, только не забудьте потереть...

Ромодан. Спасибо.

Самосад. А гуси приближаются... Слышите? *(Пауза.)* Будьте здоровы!

Ромодан. Счастливого пути!

Самосад идёт, тихо затягивает песню. Достает из кармана окарину, и вскоре из глубины парка понеслись звуки окаринны. Подул лёгкий восток, и меж лип на аллее закружились жёлтые листья. Ромодан сел, смотрит вверх. Всё ближе слышен крик диких гусей... Из глубины парка появляются Катерина и Лида. Катерина показала рукою на дачу Ромодана и повернула обратно. Лида медленно приближается к даче. Остановилась. Повернула голову, увидела за столиком отца и отступила шаг назад. Ромодан не замечает её... Лида сделала несколько шагов вперёд, смотрит на отца... Ромодан словно почувствовал её взгляд, встал, обернулся и увидел Лиду... Потрясённый, смотрит на неё. Большая пауза.

Лида *(тихо)*. Это я, отец...

Ромодан молчит.

Л и д а (*ещё тише*). Дочь твоя...

Ромодан протянул к ней руки. Лида бросилась к нему и упала на грудь. Ромодан обнял её, гладит рукой волосы и от волнения не может вымолвить ни слова.

Л и д а. Прости меня, отец... Я не виновата... и мама... и ты...: Я не знаю, почему так случилось... Мы были так счастливы, когда ты вернулся с фронта. А потом столько горя, столько... (*Подняла голову, смотрит на отца.*)

Р о м о д а н. Когда большая беда приходит, дочка, она сразу раскрывает все двери и окна... Так случилось с нами... Пришла война, а после неё сколько слёз, и радости, и горя довелось пережить нам всем!.. Так бывает в жизни... И ничто не даётся легко и не проходит даром... И, может, потому нет большего счастья, как встреча после страданий и борьбы... И нет большего горя, как то, когда ты теряешь и близких и друзей... Спасибо, что пришла в трудную для меня минуту...

На аллее появляется Катерина. Она идёт по направлению к даче, остановилась. Смотрит на Ромодана и Лиду. Они не замечают её.

Л и д а. Я пришла к тебе навсегда...

Р о м о д а н (*смотрит на Лиду*). А?..

Л и д а. Не знаю.

Ромодан повернул голову. Снова слышен крик диких гусей. Ромодан смотрит вверх.

Л и д а. Пойдём, я буду говорить с нею... Пойдём... (*Взяла его под руку.*)

Ромодан и Лида идут. Они так и не заметили Катерину. Стоит на аллее Катерина, смотрит им вслед... Падают осенние листья... И уже еле слышен крик диких гусей..

Перевод с украинского.



ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

★

В ПЕРЕУЛКЕ ЗА АРБАТОМ

Поэма

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тебе, Москва, пережитое
За полстолетья отдаю.
Перед тобой без шапки стоя,
Слагаю летопись мою.
Я знаю счастье и несчастье,
Дни праздников и годы гроз.
Я был их незаметной частью
И только этим жил и рос.
Войди хозяйкой в эти строки
И услышать мне помоги
На дальней жизненной дороге
Самой истории шаги.
Скажи, что явственно, что смутно,
Что жизнью дышит, что мертво.
Будь мне и песнею попутной
И правдой века моего.
Вчера и завтра ты сдружила.
Но дружба — это тоже спор:
Тут глубоко змеится жила,
Там широко открыт простор.
Ушёл в глубинный грунт геолог.
Взошёл строитель на леса.
И дальше, дальше в путь. Он долог.
Сейчас он только начался.

Москва! Ты помнишь рёв орудий,
Нацеленных на юнкеров,
Шаг патрулей в ночном безлюдье,
Огонь малиновых костров.
Так выйдем вместе за ворота,
Пускай посмотрит нам в глаза
Октябрьского переворота
Животворящая гроза!
Пускай метёт осенний ветер
Листву на улице пустой,
Пускай никто нам не ответил
И даже не окликнул: «Стой!»
Всмотрись, Москва! Вон тот с вокзала
Бредёт куда глаза глядят.

Что ж ты пришельца не узнала?
Он твой строитель и солдат.

Так слушай! Где-то рос парнишка
У бедной матери в избе.
Лишь трёхкопеечная книжка
Ему сказала о тебе.
В той книжке мало было толку,
Царь-колокол да буки-аз...
Но детство не дремало долго,
Оно и не смыкало глаз.
Оно старалось в даль взглядеться
И разглядеть Москву во сне,—
То смуглое, босое детство,
Вдруг повзрослевшее к весне.
Но мать-солдатка не смогла бы
Зелёный выходить росток.
И не расцвёл бы цветик слабый.
В ту пору климат был жесток.
И земский врач не дал бы хины
И процедил бы, морща нос:
— Кончины детские стихийны,
Да-с, тут бороться мудрено-с!—
И сельский поп, на отпеванье
Смиренно господу моля,
Провозгласил бы, что для Вани
Легка, как пух, сыра земля...

Так быть могло. Но по-другому
Сложилась детская весна!
Уже тыщеголосый гомон
Будил губернию от сна.
Уже дороги запылили
От сотен яловых сапог.
Уже и пушки запалили
На перепутье двух эпох.
Уже в осеннем лютном ветре
Во весь разгон, во весь размах
На каждом новом километре,
В сырых лощинах, на холмах
Сияли буквы красным цветом,
Написанные от руки,
Призывный клич «Вся власть Советам!»
Был ясен с первой же строки.
Вся власть Советам!
Это значит,
В большой избе, где был трактир,
Гость-фронтовик переиначит
И переделает весь мир.

И мальчуган о том услышал
И всё решил проверить сам
И в тот же день из дома вышел
Навстречу вольным голосам.
Вошёл в Совет, сказал солдату:

— Хочу в Москву. — Тот посмотрел,
Наверно, вспомнил, что когда-то
Был сам таким же. — Ишь, пострел!
Зачем в Москву? — Учиться. — Важно!
Дойдешь? — Дойду. — Один? — Ага.
— Видать, ты паренёк отважный,
Хоть и не выше сапога.
А есть родня в Москве? — Откуда!
Родных нигде нет у меня.
— Вот это, брат, конечно, худо!
Мы, впрочем, все теперь родня.

И дела даром не мусоля,
Солдат отправил паренька,
Дал сухарей, щепотку соли
И молвил, кашлянув слегка:
— В Москве ребята есть дурные.
Ты с этих не бери пример.
Они наследье тирании.
А ты ре-во-лю-ци-о-нер! —
Он отчеканил с выраженьем
Все шесть слогов на шесть борозд
И, как штабист перед сраженьем,
Встал у стола во весь свой рост.

А мальчуган десятилетний,
Суров, отважен, одинок,
Не первый путник, не последний,
Дал ходу, не жалеет ног.
— Где, тётя, станция? — Эй, милый!
Вёрст, почитай что, двадцать пять. —
Хозяйка щами накормила,
На сеновал пустила спать.
А утром двинулись навстречу
Поля, дышавшие весной.
Встречались люди с бойкой речью,
Не деревенской, разбитной.
На станции — народу пекло,
Черно и грязно, как в хлеву.
— Шесть сорок пять, — прочёл он бегло, —
Прямой почтовый на Москву. —
Что ж, до рассвета ждать недолго.
И где-то на вторых путях
Он влез в вагон на третью полку.
А всё дальнейшее — пустяк.
Сухарик каменный ломая,
Смотрел в окно, считал ворон.

Двадцатый год. Начало мая.
Выходит мальчик на перрон.

Москва, Москва! Как ты заметишь
Его в вокзальной толкотне,
Каким пайком его ты встретишь
И поручишь какой родне?
Всё удивительно ребёнку:

Столбы, заборы и дома
 За ним бросаются вдогонку.
 А в трубах — дым. А в окнах — тьма.
 Вот дом, как пасть, раскрыл ворота.
 В том лают шавки. В третьем — звон.
 Четвёртый встал вполоборота:
 — Катись, мол, попросайка, вон! —
 И всюду камень, камень, камень.
 И всё в пыли. И всё в дыму.
 Но тянется из грязных ямин
 Травинка чахлая к нему.
 Да что дружить с травинкой чахлой!
 Затоптана, исчезла с глаз.
 Но где-то вдруг ржаным запахло —
 Вот это хуже во сто раз.
 Смеркается. Безлюдно. Звёздно.
 Зажглись окошки. Кончен день.
 Всмотрись, Москва, пока не поздно,
 Окликни маленькую тень!
 Бежит парнишка, еле дышит.
 Закрапал дождик. Гуще мгла.

И вдруг смолею жарко пышет
 Из проржавевшего котла.
 В котле, как черти черномазы,
 Семь мальчиков сидят кружком,
 Друг другу страшные рассказы
 Рассказывают шепотком.
 — Лезь ночевать! За вход не спросим.
 Живём без крыши, да семья.
 Семь плюс один выходит восемь.
 Картошка — наша, соль — твоя.
 Семь тощих ручек протянулись.
 Семь пар насторожённых глаз
 Затеплились и улыбнулись.
 И сразу дружба началась.
 Он влез в котёл и, как волчонок,
 Глядел на сверстников своих,
 На грязных, смелых и учёных,
 И с робкой завистью притих,
 И слушал страшную их повесть
 Насчёт базаров и облав,
 С картошкой справился на совесть
 И в крепкий сон упал стремглав.

Простились утром деловито.
 Гость о себе не говорил,
 Махнул рукою и для вида
 Бычка свирепо закурил,
 Откашлялся, расправил плечи,
 Суров, отважен, одинок.
 — Где, дядя, Кремль? — А недалече,
 Сыпь не сворачивай, сынок!

Играет солнышко, расплавясь,
 Скользит по струйкам водяным.

И за рекою Кремль-красавец
 Внезапно вырос перед ним,
 Совсем как в сказке. Но не страшен,
 Не древен видом, не тяжёл.
 И, поглядев на зубья башен,
 Он храбро к стенам подошёл.
 Вот он, вихрастый и глазастый,
 В рубашке рваной мальчуган.
 И кажется ему, что «здравствуй»
 Сказала башня-великан.

А ветер флагами полощет,
 Играют трубы впереди.
 И вот выходит он на площадь
 И очутился посреди
 Бойцов и граждан. Шага за три,
 Лишь поглядел из-за плеча,
 Вдвух ветер на театре
 Полотнища из кумача.
 Вокруг — бушлаты, гимнастёрки.
 И всё шумней, тесней, плотней...
 А наверху летит четвёрка
 Чугунных взмыленных коней.
 Что за четвёрка, что за кони!
 Не прозевай, гляди, лихач!
 Сейчас рванутся — и в погоню
 По крышам по московским вскачь!
 Посторонитесь вправо, башни,
 Левей шарахайся, пустырь!
 Кто ж ими правит так бесстрашно,
 Какой могучий богатырь?
 И всё, о чём мечтал он с детства,
 Сбылось внезапно наяву.
 Никак не мог он наглядеться
 На ненаглядную Москву.
 И под громадной круглой аркой
 Застыл, как будто в камень врос.

Но тут его ладонью жаркой
 Погладил бережно матрос.
 — Где мамка? — Нету. — Батя? — Нету.
 Писали, без вести пропал.
 — Видать, прошёл насквозь планету,
 Шёл, не считал шагов и шпал?
 Чай, утомился? — А нисколько!
 — Гостить приехал? — На всю жизнь!
 — Как звать тебя? Алёшкой? Колькой?
 — Иваном. — Ну, Иван, держись!

И, приподняв парнишку, смаху
 Усаживает на плечо.
 — Садись в седло, гляди без страха! —
 А тот не разобрал ещё:
 Что там волнуется, что блещет,
 Что за сердце его берёт,
 Кому вся площадь рукоплещет...

Тогда матрос шагнул вперёд.
 Волненье пробежало искрой
 В глазах, блеснуло на штыках.
 Вот человек поднялся быстро,
 Снял кепку, мнёт её в руках,
 Слова горячие бросает
 И каждым словом горячей
 Сближает, держит, потрясает
 Всех слушающих москвичей.

И взмах руки его, и слово,
 Толпе вручённое сполна,
 И камни площади Свердлова
 (Так будет площадь названа) —
 Всё это в сердце сохранится,
 Невытравимое навек.
 И через годы ту страницу
 Отыщет взрослый человек.
 И, от страницы поднимая
 Глаза, увидит наяву:
 Двадцатый год. Начало мая.
 Впервые он пришёл в Москву
 И видел Ленина впервые.
 И, память светлую храня,
 Он скажет: годы мировые
 Прошли недаром для меня!

— Сиди, не ёрзай, слушай смирно!
 А что не понял, не беда!

Вдруг рядом грянуло: «...В с е м и р н о й,
 В е л и к о й а р м и и т р у д а,
 В л а д е т ь з е м л ё й и м е е м п р а в о...» —
 И широко разросся хор.
 Тогда матрос рукой корявой
 Смахнул со лба лихой вихор
 И подхватил припев. И снова
 Гимн прокатился по Тверской.
 От Моссовета до Страстного
 Росло: «В о с п р я н е т р о д л ю д с к о й...»

Они до Брестского вокзала
 Прошли рука в руке вдвоём.
 Ненадолго же их связала
 Москва на митинге своём.
 Коротким было расставанье,
 Как полагается в пути:
 — Не поминай нас лихом, Ваня!
 Нам — воевать, тебе — расти. —
 И сунул мальчику краюху:
 — Ломай. Когда-нибудь отдашь. —
 Тот сразу начал есть и глухо
 Пробормотал: — А мне куда ж?
 — Всё расскажу. Вот адрес точный.
 Читай. Найдёшь — входи смелей.

Там примут и накормят срочно.
Прощай, Ванюшка! Слёз не лей!

Заголосил гудок протяжно.
Прошли теплушки мимо глаз.
И в вышине вечерней влажной
Слезинка звёздная зажглась.
И сразу тихо стало, скучно.
Он долго всматривался в тьму.
Какой-то малый равнодушно
Дал подзатыльника ему.
Он засопел, жалея очень,
Что слаб для драки. Но потом
Утёрся и, сосредоточен,
Пошёл с набитым хлебом ртом.
Достал матросскую записку,
Спросил у встречных, где Арбат,
Услышал, что не очень близко,
Но даже этому был рад.
И, проблуждав по переулку,
Нашёл ворота номер семь.

И сердце вдруг забилося гулко:
— Кто был ничем, тот станет всем!

ГЛАВА ВТОРАЯ

В былые годы за Арбатом
Стоял дворянский особняк,
Хранимый дворником горбатым
И множеством худых дворняг.
Там можно было подивиться
На врубелевское панно.
Там худосочные девицы
Стремилась выйти замуж, — но
Склонялись к скрябинским ноктюрнам.
Своё девичество храня,
Забытые в столетье бурном,
Как их соседи и родня...
Всё пусто. Выветрился запах
Духов и свечек восковых
В комодах павловских пузатых,
В сырых и тёмных кладовых.
Лепные завитки барокко
Напрасно украшают зал.
Рояль, в котором мало проку,
Лет пять настройщика не знал.
Шкафы и кресла неуклюжи,
Одною дряхлостью горды...

Но почему в прихожей лужи
И детских валенок следы?
Но что за диво! Расколосась
Насторожившаяся тишь.
И сдавленный ребячий голос

Послышался: — Алёшка, спишь?
 — Не... — отвечал другой, басистый.
 И третий, явственно грозя:
 — А ну уймись-ка, не бесись ты,
 Не то как дам тебе раза!

Ребята в первые минуты,
 Когда попали в этот дом,
 Ворчали: «Ишь ты, фу ты, ну ты!» —
 И обживались тут с трудом.
 Им долго не спалось на койках.
 Им тошен был любой режим.
 И не однажды самых бойких
 Влекло безумное — с б е ж и м!
 И не однажды, злой и храбрый,
 Весь в ссадинах почётных драк,
 Был милиционером забран
 И всё-таки скрывался в мрак.
 Его видали вы подростим.
 Вам плакал сорванный фальцет,
 Что п о з а б ы т и п о з а б р о ш е н
 Его мальчишеский расцвет.
 Другие свыклись и притихли
 И, просыпаясь чуть заря,
 Науку первую постигли —
 Мыть руки и не драться зря.

Из тех, кто в доме жил когда-то,
 Теперь остался здесь один
 Студент-историк бородатый,
 Андрей Григорьич Бороздин.
 С наукой университетской
 Расставшись после Октября,
 Одной застенчивостью детской
 Силён, по чести говоря,
 Он твёрдо знал, что очень молод,
 Что никаких не кончил школ,
 И, перенесши тиф и голод,
 Был тощ, как волк, гол, как сокол.
 В ту пору понял он впервые,
 Что вправду «посетил сей мир
 В его минуты роковые»,
 И Тютчев был его кумир.
 Он в Гороно ходил всю зиму,
 Заведующей досаждал,
 Отважно и неотразимо
 О воспитанье рассуждал,
 Был выслушан, переиначен
 И, кем-то понятый с трудом,
 Не без опаски был назначен
 Руководителем в детдом.
 Дом был запущен и нетоплен.
 Ребята мёрзли. Но сперва
 Они довольствовались воплем:
 — Андрей Григорьич, дай дрова! —
 Потом поставили печурки

И трубы ржавые нашли,
Жгли мусор, тряпки, щепки, чурки —
Всё, что могли поднять с земли.
И стал их быт в разгар мороза
Не так ужасен, хоть суров.
Потом пришёл из Откомхоза
Наряд — полкубометра дров.
Всё сами сделали ребята.
Никто им слова не сказал.
Ватага двинулась с Арбата
Пешком на Северный вокзал.

Незабываемые годы!
Москва сурова и ясна.
Во всём нехватки и невзгоды,
Не до веселья, не до сна!
В огне труда, в жару тифозном,
В густом махорочном дыму,
Под куполом тысячезвёздным
Москва глядит в ночную тьму.
И в первых ленинских декретах,
В просторах, видимых едва,
В домах, дыханьем обогретых,
Уже звучит: живи, Москва!

И в тот субботник, в ту субботу
Шли юноши и старики,
Устали до седьмого пота,
Но, непогоде вопреки,
Шли бескорыстно, шли без хлеба,
Стянувши пояс натощак.
Сначала, сгорбившись нелепо,
Тащили брёвна на плечах,
Потом согрелись и не дрогли,
Шутили крепко, но не зло
Над отстающим и над рохлей,
Которому не повезло.
И наши мальчики, отдавав
Толику общего тепла,
Запели вдруг «За власть Советов!».
И песня общая росла
Не слишком слаженно, но грозно.
И вторил ей что было сил
Гудок охрипший паровозный
И дальше в поле уносил.

Пришли домой. В бивачном быте
Возникли дружба и тепло.
Отсюда множество событий
И перемен проистекло.

Был на дворе сарай дощатый,
В те годы пропадавший зря,
Забытый угол, непочатый
Склад лома,хлама и старья.
Рассохлась барская карета.

Под рваной сбруей мышь скреблась.
Зияли щели. Нет секрета
Для любопытных детских глаз.
Давно детей влекло к сараю.
Бывало, дерзкий следопыт,
От нетерпения сгорая,
Весь день старается, сопит,
Бьёт колуном замок, чтоб сдвинуть
Щеколду хоть на полвершка,
Из-под земли кубышку вынуть,
Клад отыскать наверняка.
Андрей Григорьич в этом деле
Ценил мальчишескую прыть.
Он колебался полнедели,
Но разрешил сарай открыть.
С кривых гвоздей сорвали сбрую,
Спугнули мышь, вошли во мглу
И, хлам лопатами шуруя,
Клад обнаружили в углу.
Он не был сундучком железным
И не был ведьмами заклят,
Но оказался всё ж полезным
Тот найденный в сарае клад!
То был верстак и целый ящик
Стамесок, молотков и пил,
Зубастых, острых, настоящих!
Как упоённо завопил
Ребячий хор! Как в это утро,
За верстаком едва дыша,
Свирепо, весело и мудро
Взрослела детская душа!

О ранний возраст человечий,
Рост, рвущийся из всех одежд,
Мир безболезненных увечий
И бессознательных надежд!
Ты в слаженном оркестре нашем —
Удар тарелок, медный звон.
А мы руками скучно машем,
Кричим: «Не лезь!» и «Выйди вон!»
И ты ютишься на задворках,
Ты заперт в клетки этажей,
Но и в твоих обидах горьких
Есть капля мужества уже.
Могучий возраст! Как посмею
Равняться силами с тобой!
Пожалуй, было бы честнее
И не вступать в открытый бой,
А где-нибудь в журнальной прозе
Долбить гуманные азы...
Но, признаюсь, твоё предгрозе
Дороже мне иной грозы!

И я служил в детдоме этом,
Ребятам Пушкина читал,
Не смел считать себя поэтом,

Но о поэзии мечтал.
Я видел рвенье их и вялость,
Застенчивость и лёгкий нрав.
Всё это детством называлось
И требовало взрослых прав.
Мне нужен весь мой прошлый опыт:
Жить беспредельно, жить вперёд.
Жизнь коротка, спешит, торопит,
И ничего в запас не копит,
И в путь запаса не берёт.
И в дерзости её беспечной,
И в грозной мудрости её,
И в неустроенности вечной
Царит не быт, а бытиё.

А день открытий и находок
Был пережит и позабыт.
Ребята знали труд и отдых,
Налаживали трудный быт.
И стал сарай подобьем клуба.
По вечерам пустеет двор.
По вечерам ребятам любо
Послушать дельный разговор
Об угнетённых странах мира,
Где скован пролетариат.
И вот от Андов до Памира
Мечтанья детские парят.
Угомонились балагуры.
Рисует кто-то на стене
Буржуев мрачные фигуры,
Свирепо рвущихся к войне.
Вот папа Пий кадилом машет,
Вот чванится зубастый лорд.
А рядом рисовальщик пляшет,
Своей карикатурой горд.

Уборка! Снять двойные рамы!
До блеска вымыть стёкла все!
Над улицами, над дворами
Царит весна во всей красе.
Царит весна и зиму рушит,
Лёд на ледышки расколов.
Гуляет ветреница, кружит
Немало ветреных голов.
И так светло синее небо,
Такая даль открылась там,
Где ни один мечтатель не был,
Так жадно верится мечтам;
Так явно начался в те годы
Наш новый, наш великий век!
Мы знали: крепче непогоды,
Прочнее стали человек!
Тот человек был с нами рядом,
Стучался храбро в нашу дверь,
Смотрел на нас недетским взглядом.
Как будто требовал: поверь!

Вот и вернулся я к рассказу.
 Иван Егоров быстро рос.
 В детдом он был зачислен сразу,
 Как предсказал ему матрос.
 Но почему весь день молчит он,
 Как ни старайся, ни зови?..
 Или вчера тайком прочитан,
 Верней сказать — проглочен «Вий»?
 Иль в самодеятельном хоре
 К нему дошло издалека
 Им не испытанное горе,
 Глухое «ухнем» бурлака?
 На наш вопрос он отмолчится,
 Попрежнему уйдёт в себя,
 Ещё сильнее начнёт дичиться,
 Без всяких поводов грубя.
 Остынет злость, исчезнет горечь.
 И скажет этот дикобраз
 Отрывисто:— Андрей Григорьич!
 Простите! Я на этот раз
 За дело взялся. Поглядите,
 Пожалуйста. Вот чертежи! —
 И замолчит ещё сердитей...
 — А ну, Егоров, покажи!

И, не робея перед риском,
 Сжав зубы и едва дыша,
 Он чертит целый день огрызком
 Чернильного карандаша.
 Пусть замысел его нескладен,
 Но дело прочно начато.
 Всё переделав трижды за день,
 Придумал он бог знает что:
 Винт, чтобы землю пробуравить!
 Чертёж полёта на луну!
 — Да ты не спал всю ночь! — Да я ведь
 Не кончил. Завтра отдохну. —
 Нет, землю незачем буравить,
 Не пустишь на луну ракет...
 — Да ты опять не спал! — Да я ведь
 Кончаю всё-таки макет!

Андрей Григорьич взгляд вонзает
 В способного ученика,
 Он, как помочь ему, не знает,
 Его задача нелегка.
 А ученик стоит бок о бок
 С Андрей Григорьичем самим.
 Конечно, он смущён и робок,
 Но страшной гордостью томим.
 И, если план его неясен,
 Он возит грязным пальцем: — Тут
 Речною лентой опоясан
 Московский Кремль. А там пойдут
 Театры, памятники, арки,
 Трибуны, парки... — Наяву

Он видит этот образ яркий,
Им выстроенную Москву!
Он сразу стал взрослей и суше.
Его «строителем» зовут,
А руки в цыпках, в пятнах туши,
В порезах — к свадьбе заживут!

Апрель двадцать второго года.
Снег стаял. Ветер. Синева.
Ждут не дождутся ледохода.
На бережных вся Москва.
Спешат с Ордынки и с Арбата,
Делам домашним вопреки,
Как будто слышат гул набата
С верховья вздувшейся реки.

И мальчики детдома тут же,
Весь день на Каменном мосту.
Они ремни стянули туже,
Забыли чижик и лапту.

Знакомец наш, Иван Егоров,
Ждёт ледохода, как и мы.
Он смотрит на великий город.
Прошло два лета, две зимы
С тех пор, как с Курского вокзала
Он шёл впервые и Москва
Ему дорогу показала,
Не затолкав едва-едва.
Что там снопами света пышет?
Как длинен день, как он тяжёл!
И обернулся он и слышит:
— Глянь, Ванька! Вот он! Лёд пошёл!

В два пополудни, расшибая
Лбы о покатые быки,
Пошла отара голубая
По гребню вздувшейся реки.
Лёд ноздреват, непрочен, зыбок.
Он тает на глазах у вас,
В коловороте мелких сшибок
Весенней брагой становясь.
Обласкан солнцем, пьян от ветра,
Зелёный, синий, ломкий лёд
За каждые полкилометра
Дерётся — только бы вперёд!
Плыть за Оку, на Волгу, в Каспий,
Вновь испаряться, литься вновь
В мельчайших каплях, в беглой пляске
На зеленеющую новь!
Жить беспредельно и бессмертно!
И мальчики кричат: «Ура!»,
Уставшие немилосердно,
Так и не евшие с утра.

Они домой вернутся поздно,
Улягутся на койки в ряд.
Тревогой разною, но грозной
Их сны короткие горят.

А где-нибудь на верхотурке,
Сняв запотевшее пенсне,
Андрей Григорьич мнёт окурки.
Он тоже позабыл о сне.
В поступках явно непохвальных
Он мог бы упрекнуть ребят,
Но думает о готовальнях,
Мечтой о ватмане объят,
О будущем, о близком завтра,
Вступающем в свои права.

О том же размечтался автор.
Но здесь кончается глава.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вокзал. В последнюю секунду
Протяжно стонет сжатый пар,
И теплится под ветром скудно
Печаль прощающихся пар.
Но вот уже в вагоне жёстком
Смолкает говор, гуще мрак
И теноровым подголоском
Подхвачен истоиво «Ермак».
И весь вагон в восторге замер,
Едва услышал в полутьме,
Как песня катится низами:
«Ревела буря, дождь шуме-е...»
Но это первый час дороги.
Хор не соединил пока
Неразговорчивых и строгих,
Да и дорога далека.
Всё будет! Спор о Маяковском
И шумный шахматный турнир,
Как в дыме комнатном, московском,
В любом купе возникнет мир.
Так вслушайся в обрывки споров,
Вглядишься в попутчиков черты,
Знакомься с едущими. Скоро
Со мной перенесёшься ты
На двадцать лет назад. Возникнет
Тридцатый переломный год.
И снова Партия воздвигнет
Перед странною план работ.
Темп, темп! Нефтяник ли бакинский,
Иль харьковчанин-агроном —
Страна всей ширью исполинской
Летит пред ними за окном.
Всё темпом тем живёт и дышит,
Все полустанки им полны.

Им топка паровоза пышет.
 Он, как товарищ, входит в сны,
 И пережитой яви клочья
 В мозгу проносятся опять.
 Все спят. Всё спит. Всё тихо ночью.
 И проводник собрался спать.

И только юной комсомолке,
 Далёко едущей впервой,
 Не дремлетя на верхней полке:
 Всем существом она с Москвой.
 Подольск, и Серпухов, и Тула
 Уже остались позади.
 А пассажирка не уснула.
 В окне вагонном, погляди,—
 Ведь это же твоя Россия!
 Там сжали хлеб. Там в избах спят.
 Там ножки детские босые
 Разворошили листопад.
 Нет, ты её совсем не знала!
 А если знала, то из книг,
 Иль в мраморных колоннах зала
 Перед тобою он возник,
 Тот образ дальний, образ древний,
 Золотосиний, расписной...
 Там Лебедь делалась царевной,
 Снегурка таяла весной...
 Всё ускоряется движенье,
 Летят столбы и провода.
 Скажи, куда ты едешь, Женя,
 Скажи — куда, скажи — куда...

Как ты легко простилась с мамой,
 Как ей грубила день-деньской,
 Гордясь ужимкою той самой,
 Подумать совестно, какой!
 Как бабушка тебя крестила,
 Чтоб ты в пути побереглась,
 А ты лицо отвортила,
 Не подняла на бабку глаз.
 Как нестерпимо надоели
 Тебе домашние твои.
 Ты выдержала еле-еле
 Последний натиск их любви.
 При царском, может быть, режиме
 Так заедали женский век.
 А ты нашла себя с чужими,
 Ты не дитя, ты человек!
 И снова вспоминаешь милых,
 Смешных, безропотных старух.
 Как спутал, как ошеломил их
 Впервые высказанный вслух,
 Как назло, поданный к обеду,
 Почти военный твой приказ:
 — Ни слова! Я во вторник еду.
 — Куда, Женюрка? — На Кавказ!

— Играть на сцене? — Да, на сцене! —
 И все в слезах. И перед ней
 Маячили две скорбных тени
 И становились всё бледней.
 Какой отпор отменно колкий
 Придуман был на ихний вздор!

И, ловко спрыгнув с верхней полки,
 Выходит Женья в коридор.

— Вам тоже, видимо, не спится?
 — Да. Душно. — Через два часа
 В Орле сойдём воды напиться. —
 Так разговор их начался
 И тут же оборвался сразу.
 Попутчик Жени проглотил
 Невыразительную фразу,
 Девичий взгляд его смутил.

В потёртой клетчатой ковбойке,
 Молчит, глядит в упор, чудак,
 Совсем нескладный и небожий.
 С минуту постоял он так
 И вдруг склонился к ней, как старший,
 На Женю храбро поглядел
 И «разворачивайтесь в марше»
 Свиристым басом прогудел.
 Потом о паспорте советском
 Он продолжает горячась.
 И в ритме слаженном и веском
 Прошёл по крайней мере час.
 Сказавши имя «Маяковский»,
 Дар слова парень приобрёл.
 Но тут в окне огни, киоски.
 Большой вокзал, перрон, Орёл.

Они прошли платформу молча,
 Как дети, за руки держась,
 Прошли, как два луча, сквозь толщу
 Чужих, нелюбопытных глаз.
 По кружке пива с жёлтой пеной
 Смущённо выпили. Потом
 Вернулись к поезду степенно,
 Стояли в тамбуре пустом,
 Но рук сплетённых не разжали.
 А между тем опять, опять
 Огни вокзала побежали...
 И проводник погнал их спать.

Спать? Невозможно! Ночь такая
 Бывает в жизни только раз...
 И, втайне сердце упрекая,
 С окна не сводит Женья глаз.
 Что там клубится в лунных пятнах,

Что длится в линии столбов,
 Как в недомолвках полувнятных
 Накапливается любовь?
 Любовь! Она ещё в тумане,
 Как огонёк сторожевой,—
 Едва возникшее вниманье
 Живой души к другой живой.
 Да и любовь ли это, полно!
 Но жаждет молодость чудес,
 И Женя чувствует безмолвно,
 Что важное решится здесь.

О молодость моя! Ты тоже
 Так чувствуешь, пока я жив.
 Но я тебя не подытожу
 В рассказе о сердцах чужих.
 Я не хочу с тобой проститься.
 Лети же, милая, лети
 И взвейся доброй вещью птицей
 На чьём-нибудь чужом пути!
 И я любил, ещё не веря,
 Что это движется она,
 Срывающая с петель двери,
 Неотвратимая волна.
 И я любил, а ты молчала,
 Не отвечая, не любя,
 Но синяя волна Начала
 Куда-то мчала и тебя.
 Ты помнишь день февральский, яркий,
 Начало счастья и невзгод,
 Свиданье наше в снежном парке,
 И нашу дружбу в первый год,
 И стоны скрипок отдалённых,
 Предчувствующих ход весны,
 И отклик скрипкам в миллионах
 Звенящих капель тишины —
 Всю эту музыку вселенной,
 Которая из века в век,
 Пребудет чистой и нетленной,
 Чтоб радовался человек...

На Женю смотрит смуглый, складный
 Двадцатилетний человек,
 Пожалуй, смотрит слишком жадно,
 Не опускает дерзких век.
 Иван Егоров, — но не просто
 Ребёнка в юноше узнать:
 Помимо возраста и роста,
 Совсем другая суть и стать.
 Пускай он будет вами узнан
 И заинтересует вас:
 Студент технического вуза
 Спешит на практику в Донбасс.
 Как многих подраставших граждан
 В решающие те года,

Его обуревала жажда
 Рыть землю, строить города.
 Он знал, что есть поля, и веси,
 И звон военных медных труб,
 Сто факультетов, сто профессий,
 Ланцет, лекало, ледоруб.

Так подходила возмужалость.
 Но сила в сотни киловатт
 Пред девушкой невольно сжалась,
 И сразу стал он угловат.
 Да, он, конечно, не чета ей,
 Не пара ей, какой там чёрт!
 И ночь, так странно начатая,
 Своё начало зачеркнёт.

Что ж привлекло его? Какое
 Движеньё смелое иль взгляд,
 Так смутно сердце беспокоя,
 Так ясно в памяти стоят?
 Кудрей ли россыпь золотая,
 Или руки случайный взмах,
 Иль, блеском лунным залитая,
 Вся Женя светится впотьмах?
 Он сам на это не ответит
 И вдруг припомнит невзначай,
 Что только сутки рядом едет.
 А что потом? Потом — прощай!

Несётся поезд полуночный.
 И разве что летящий дым
 Покажется опорой мощной
 Двум этим людям молодым.
 Всё ускоряется движенье.
 Посапывают тормоза.
 Когда же ты посмотришь, Женя,
 Ночному спутнику в глаза?

Да будет ночь длинна! Да будет
 Благословен короткий путь!
 И, зная сам, что не забудет,
 Он шепчет робко: — Не забудь! —
 И Женя трезво и жестоко
 Читает отповедь ему:
 — Влюбились вы в мгновенье ока.
 Я вашей спешки не пойму.
 О чём гадать? Простимся честно,
 Вернусь я осенью домой.
 А будущее неизвестно
 И непонятно мне самой.
 Мне целый год ещё учиться.
 Вы позабудете меня.
 Вам и в Москве быть не случится,—
 Она прибавила, дразня,

Слегка рисуясь: — Ведь актёрство —
Моя дорога и удел! —
Но в этой отповеди чёрствой
Он обещанье разглядел!
И опрометчиво и твёрдо
Звучат два шёпота в тиши,
И в третий раз, и в раз четвёртый,
И в пятый раз: — Прощай, пиши!

Несётся поезд, мчится скорый,
Трубит, поёт во все рога.
Навстречу — реки, косогоры,
Рвы, буераки, берега,
Цистерны с нефтью, башни станций,
Блокпостов беглые огни,
И всюду робкий зов: — Останься! —
И смелый отзыв: — Догони! —
Не эстафета ли сквозная
Несётся в говоре колёс?

И, взявшись за руки и зная,
Что им недаром не спалось,
Притихли двое. О, как мудро
Их встречу выдумала жизнь!
Как быстро наступило утро!
А утром хоть и не ложись.
Огромный день в дороге полон
Бездельем, пылью, сотней встреч,
Но как не во-время пришёл он,
Как от попутчиков сберечь
Свою нехитрую тревогу,
Как много в мире зорких глаз!
И кажется им всю дорогу,
Что выставлены напоказ.
А люди спорят, курят, тратят
Бесцельно время. А часы,
Как и колёса, дальше катят.
И снова, полная красы,
Ночь благовонным югом дышит,
И свищут где-то соловьи.
И юность всё на свете слышит
И говорит: — Останови
Хоть на короткое мгновенье,
Земля, безумный свой полёт,
Послушай, как в самозабвенье
Душа влюблённая поёт!

Они в Ростове попрощались.
Он грустно поезд проводил,
Поехал дальше, опечалась,
И бормотал: — Опять один... —
Весь день в тумане законном
Шли степи, маревом клубясь,
Плыл террикон за терриконом.
Встал пред Егоровым Донбасс.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

«Вам пишет в пыльном котловане,
 Планшет на камень положив,
 Попутчик ваш, Егоров Ваня.
 Устал, не спал три ночи, жив,
 Здоров, как чёрт, и счастлив страшно.
 Откуда счастье, не пойму.
 Дерёмся в схватке рукопашной
 С нагой землёй, в пыли, в дыму.
 Породу рвём и шахты роем,
 Живём в вагончике, в степи.
 Здесь можно сделаться героем,
 Но прежде будь звеном в цепи.
 Мне это удаётся слабо.
 Вчера, в степи останюясь,
 Со скифской каменной бабой
 Делился я мечтой о вас.
 Молчала страшная старуха.
 Но я прочёл в её глазах
 Два слова, повторённых глухо:
 Терпи, казак! Терпи, казак!
 И я стараюсь, но едва ли
 Удастся: больно срок зловещ.
 Меня вчера премировали
 Пиджачной парой. Это вещь.
 Шлю свой портрет. Спокойной ночи!
 Мой адрес: Город Эн. Вокзал.
 Я мог бы написать короче,
 Но главного вам не сказал.
 Прощайте. Кланяюсь вам низко.
 Привет и прочие слова».
 И поперёк листа приписка
 Огромная: «А у, М о с к в а!»

Изображён на снимке парень,
 Широкоплеч и невысок,
 Стоит в пиджачной серой паре
 И в кепке, сбитой на висок.
 Он смотрит напряжённым взглядом,
 Нисколько, впрочем, не смущён,
 Что с каменной бабой рядом
 На карточке он помещён.
 Наверно, парню жарко очень.
 На нём пиджак сидит колом.
 Но он одним лишь озабочен:
 Казаться девушке орлом.
 И это парню удаётся,
 Как будто врублен он в гранит.

И Женя смотрит и смеётся
 И свято карточку хранит.
 Она в тетрадь её положит,
 Дневник в тетради заведёт.
 Одна лишь мысль её тревожит:

Что время медленно идёт.
 Но дни бегут, недели мчатся.
 И письма Вани мчатся к ней
 И беспокоят домочадцев.
 И вот прошло немало дней, —
 Большая роль в тетради Жени
 Вся выучена назубок.
 Ей скоро предстоит сраженье,
 А режиссёр отнюдь не бог!
 Она готова к катастрофе.
 Ей следует себя забыть
 И грибоедовскою Софьей,
 Коварной ветреницей быть.
 Как это трудно! В кринолине
 Ни встать, ни охнуть, ни присесть.
 Она послушна дисциплине
 И пылко защищает честь
 Театрика, в котором служит.
 Она проста, робка, тиха.
 И снова голову ей кружит
 Великолепие стиха.
 На сцене мрачно, пыльно, грязно.
 А репетиции идут
 Порой толково, чаще праздно.
 Проходят месяцы.

И тут,
 Как раз пред самым Новым годом,
 Когда расщедрилась зима
 И повернула к непогодам,
 Узнала Женя из письма,
 Что скоро друг в Москву придет,
 Пробудет только день, чудак,
 Но Новый год он с нею встретит, —
 О, если б это было так!

А в жизни всё бывает сразу!
 Был вне себя актёрский круг,
 Когда решающую фразу
 Внезапно выпалил худрук:
 — Спектакль, конечно, грязен адски
 И недоделан нами, но
 Пускай завидует Завадский!
 Жжём корабли. Всё решено! —
 Да, тридцать первого, под праздник,
 Решеньем собственным прижат,
 Он всю Москву премьерой дразнит.
 А исполнители дрожат
 И ждут суровых приговоров.

В такой-то вот недобрый час
 С вокзала налегке Егоров,
 Смирненно в двери постучась,
 Ждал, что появится Отрада,
 Та самая, что в терему...
 — Ах, Ваня, я вам очень рада, —
 Сердечно вымолвит ему.

Она ушла с утра. Качнулся
 В глазах приезжего весь дом.
 Но, взяв записку, он очнулся
 И буквы разобрал с трудом:
 «В театре в левой кассе пропуск
 Мне страшно приходи я жду».
 И он бросается, как в пропасть,
 В прицеп трамвайный на ходу.

Театрик маленький, районный,
 Смиренный пасынок Москвы,
 Ещё никем не ободрённый,
 Провозгласил: и д у н а в ы!
 Премьера. Запах краски, клея.
 На сцене — свет. В партере — тьма.
 Актёры, млея и шалея,
 Играют «Горе от ума».
 Толст Фамусов, и подл Молчалин.
 И так же, как сто лет назад,
 Как Чацкий, пылок и печален,
 Егоров близкой встрече рад.
 Он сел в седьмом ряду, не дышит,
 Ждёт не дожждётся: где ж она?
 Классические ямбы слышит...
 И вдруг — нарядна и нежна,
 Совсем другая и всё та же,
 Что и в вагоне той весной.
 А рядом с ним в зловещем раже
 Ценитель шепчет записной:
 — Какая ж это Софья! Просто
 Сплошной, простите, Моссельпром!
 Ей не хватает даже роста! —
 И вечным чиркает пером.
 Но что-то юное дохнуло,
 Плеснуло ветром и весной,
 Она ресницами взмахнула,
 Глазами синими блеснула —
 И смолк ценитель записной.
 — Ах, Чацкий, я вам очень рада! —
 И смотрит мимо, не любя.
 — Так вот за подвиги награда! —
 Егоров шепчет про себя.
 Нет, он не Чацкого играет.
 Не жмётся тенью у колонн,
 Но, как и Чацкий, он сгорает,
 Подавлен, сумрачен, влюблён.

Меж тем худрук Руслан Людмилин
 (По паспорту Степан Блинов)
 Исправить что-либо бессилён.
 Он знал, что замысел не нов,
 Что исполнители моложе,
 Чем полагается им быть,
 И, сидя сбоку в тёмной ложе,
 Он трясся: быть или не быть!
 И сразу дёрнулся наш Гамлет,

Вонзив на сцену острый взор:
Что там за чушь Молчалин мямлит?
Что Софья вертится? Позор!
Как он поверить мог злодеям!
Увы! В такие вечера,
В такие ночи и седеем
Мы, молодые мастера!

Москва и хочет и не хочет
Признать неопытных птенцов,
И щурится, и перья точит.
А между тем, в конце концов,
Дан занавес раз двадцать кряду,
Отхлопали семь сотен рук.
Мрачнеет, словно принял яду,
Соперничающий худрук.

Решила труппа, что сегодня
Домой немислимо, нельзя!
— Встречаем праздник новогодний
На сцене! — Правильно, друзья!

Читатель, давний друг, будь чуток,
Повеселись и погрузи
Насчёт коловращения суток
Трёхсот шестидести пяти.
Двенадцать бьёт на Спасской башне,
И на твоих часах сейчас
Две стрелки с точностью всегдашней
Сойдутся, фосфором лучась.
Что это значит? Это значит,
Что постарели мы с тобой.
Пусть Новый год ещё не начат,
Но в непогоде голубой,
В декабрьской лютой непогоде,
Трубящей в трубы за окном,
Звучит печаль о прошлом годе,
О времени, о нём одном.
Вздохнём и мы, хоть и украдкой,
О том, что жизнь летит вперёд,
Что даже этой ночи краткой
Придётся сгинуть в свой черёд...

И вот раздвинут стол дощатый,
За коим час тому назад
Трудилась сплетня без пощады
И Чацкого низвергла в ад.
Горят софиты. Пляшут тени.
Дым папиросный. Толкотня.
Содом. Нескладица. Смятенье.
Стаканы сдвинуты звеня.
Пьют за победу молодёжи,
За первый проблеск мастерства,
За то, чтобы судила строже
Виды выдавшая Москва,
Чтобы среди её сокровищ

Театрик юный не завял,
 Чтобы однажды Немирович
 Его праправнуком назвал.
 А за фанерную колонной,
 Усевшись прямо на холсты,
 Какой-то критик благосклонный
 Пьёт с Репетиловым на ты.

Пока параболоми пробок
 Шампанское летит во мглу,
 Подавлен, сумрачен и робок,
 Егоров прячется в углу.
 Но за столом он рядом с Женей!
 Но в общем шуме и дыму
 Он тоже выиграл сраженьё:
 — Я рада,— сказано ему.
 А Женя, право, героиня,
 С увядшей розой на груди
 И в театральном кринолине,
 Соседу шепчет: — Погоди! —
 И в этом шёпоте шутилом
 Он услышал победный гимн.
 Но, смыта вальсом, как отливом,
 Она проносится с другим.
 И ясно чувствуют товарки:
 Пренебрегла она чужим...
 Но он услышал шёпот жаркий:
 — Мы через полчаса сбежим!

Одна лишь ночь у них. Как много,
 Чтобы людские тени две
 Прошли походкой лёгкой в ногу
 По снежной праздничной Москве!
 Метель поёт, слепя глаза им:
 — Что подарить вам? Чем помочь?
 — Мы сами этого не знаем.
 Так не стихай, метель, всю ночь!

И на безлюдном перекрёстке,
 Где в звёздном нимбе фонаря
 Лишь бертолетовые блёстки
 Сшибаются и меркнут зря,
 Там новогодние скитальцы
 Прощаются на долгий срок,
 Глаза в глаза и пальцы в пальцы.
 А мир попрежнему широк.
 И кубок снежной бури плещет
 И пенится для них одних.
 Но девушка ещё трепещет:
 Так это вправду мой жених?

— Да, милая. Не бойся счастья.
 Жди. Будь спокойна и тверда.
 Мы входим в жизнь и будем частью
 Её великого труда.

Я напишу тебе оттуда,
 И ты ответишь мне туда.
 А через год случится чудо.
 Да или нет? — Конечно, да! —
 И опрометчиво и твёрдо
 Звучат два шёпота в тиши,
 И в третий раз, и в раз четвёртый,
 И в пятый раз: — Прощай! Пиши!

2

«Лесная глушь. Речная глина.
 Мхи. Папоротник. Дым костров.
 Но я писать не буду длинно,
 Тем более, что нездоров,
 Весь день валяюсь в малярии.
 От хины звон в ушах и гул.
 И сутки вот уже вторые
 Мой продолжается прогул.
 Я вижу вас за синей дымкой
 Сквозь эту мокрую листву.
 Лечу под шапкой-невидимкой
 За вами в знойную Москву...
 И, может быть, чем чёрт не шутит...
 Простите, сердца не сдержал.
 Сейчас меня ознобом скрутит,
 Согнёт в дугу и бросит в жар...
 Прошло три дня. Я продолжаю.
 Работы уйма. Но, увы,
 Со мною рядом ты, чужая,
 Верней сказать — чужая вы.

Читаю много книг. Ответа
 Ищу и в книгах и в себе:
 Как это мать жила без света
 Одна со мной в сырой избе?
 Как это в Пруссии Восточной
 Отец мой без вести пропал?
 Как это я в тиши полночной
 Метался на печи, не спал?
 Как вырос? — Если я не сгинул,
 То не от жизненных щедрот
 И не особый жребий вынул,
 А просто жил, как весь народ.

Читаю Ленина. И знаю,
 Что эти красные тома
 Мне завещала мать родная,
 Мне подарила ты сама.
 Крепчал мороз. Январским утром
 В Колонный зал ребята шли
 И перед Человеком Мудрым
 Склонили знамя до земли.
 Шёл каждый со своим отрядом.
 Но я отбился от своих
 И, может быть, с тобою рядом

В слезах ребяческих притих.
И, может быть, в седой метели
Рыдала с нами тишина.
И, может быть, слезами теми
Вся наша юность решена.

Ещё один кусок былого:
Совсем малыш, я сжат толпой,
Стою на площади Свердлова.
А Ленин провожает в бой
Красноармейцев. Женя, Женя!
Я ничего не понимал.
Но этот день — моё рождение.
И если был я слишком мал,
То с той поры окрепли нити
Меж сиротою и людьми.
Поверьте, Женя, мне, поймите,
Верней сказать — поверь, пойми!

Посёлок наш построен спешно,
И уютен наш барак.
Гудок осипший безутешно
Вопит в дожди, в промозглый мрак,
За Ладогу. Но этот холод
Могучей полон доброты.
Он очень чист и очень молод.
Он полон будущим. А ты?..»

— А я, — она себя спросила,
Не дочитав ещё письма.
— Так что ж это? Какая сила
Мне помешала? Я сама!

Не надо было долгих сборов.
И через сутки, встав от сна,
Разбужен «молнией» Егоров:
«Сегодня еду. Жди. Жена».
Так на московском телеграфе
Из «Жени» сделали «жену».

Но ради полных биографий
Рассказа я не зятяну,
Как стали жить они в посёлке,
Как не вникал бумкомбинат
В людские домыслы и толки,
Давно ли инженер женат;
Как первый их ребёнок не жил
На белом свете двух недель;
Как белый день не часто брезжил,
Как пела по ночам метель;
Как Женя плакала, томилась,
Искала дело и нашла,
И вдруг сама же умилилась,
И в школу в ранний час вошла,
И робким голосом спросила,
Кто сказки Пушкина читал.

И целый класс — большая сила! —
Пред нею лесом рук восстал.

В январский день в морозном дыме
Звучали бодро голоса,
Казались очень молодыми
Седые хвойные леса.
На крохотной дощатой сцене
Звенел до сумерек топор.
И Женя в страхе и в смятенье
Вела со школьниками спор:
— Не смей смеяться! Вон из клуба!
Молчать! Не трогать ничего! —
Но как же было Жене любо
Готовить это торжество!

Сто лет назад на Чёрной Речке
Дуэльный чёрный пистолет
Ударил в сердце без осечки, —
Нам слышен выстрел за сто лет.
И человек упал. И ветер
Запел о том, что Пушкин жив.

Посёлок годовщину встретил,
Цветы к портрету положив.
На сцену вышла Женя. Строго,
Не видя лиц перед собой,
Читала «Зимнюю дорогу»,
Татьяну и «Полтавский бой».
И под баян романс пропела.
А рядом тесною гурьбой
Дрожала школьная капелла,
Чтоб ринуться за Женей в бой.
И слушатели «бис» кричали,
Оттопав валенки свои,
Во славу пушкинской печали,
Во славу пушкинской любви.
И среди них Иван Егоров
Ногами топал, как и все.
Он обомлел от разговоров
О милой для него красе.

Так юность кончилась. Так мерно
Шли годы, полные трудом.
И вот снесён барак фанерный,
Построен двухэтажный дом.
То было время их расцвета,
Хороших встреч, полезных книг.
Зимой суровой веря в лето,
Оно работало на них.

Встречая день обыкновенный
И проводив его уход,
Летело время над вселенной.
Был близок сорок первый год.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Война, война! Смешалось с кровью
 Декабрьской вьюги серебро.
 Оцепенело Подмосковье
 Пред сводками Информбюро.
 Война! На тихом полустанке,
 Так нам знакомом с детских лет,
 Гудериановские танки
 Вдавили гусеничный след.

Но карта Подмосковья в стрелах
 Пред Сталиным легла на стол,
 И Сталин зорко рассмотрел их
 И стрелы встречные провёл.
 И вот, незримо и упорно,
 Как рост озимых в снежной мгле,
 Как жар, раздутый в сердце горна,
 Вставал намеченный в Кремле
 Час перелома.
 Шли составы
 Сибирские через Казань.
 Щетинились в ежах заставы.
 Сбирались группы партизан
 По подмосковным перелескам.
 И Зоя, может быть, уже
 Последней спичкой, беглым блеском
 Лес озарив на рубеже,
 Шла по нетоптанному снегу.
 И снег осколками стекла
 Казался ей. А вдоль по небу
 Ракета красная текла.
 Спокоен город, сдержан город.
 Не спит ночей рабочий люд.
 Но вот прожектором распорот
 Полночный мрак. Зенитки бьют.
 В ответ на зов сирен натужных
 Ревут бризантные басы.
 В слепящих вспышках, в хлопьях вьюжных,
 Полна невиданной красы,
 Восьмисотлетняя, седая,
 В канун борьбы и торжества, —
 Такой запомню навсегда я
 Тебя, военная Москва.
 Ты с каждым часом молодеда,
 В своей решимости тверда,
 И правое, простое дело
 Ты делала, как и всегда.
 И кажется, что по привычке,
 Которая древней Москвы,
 Копали стойкие москвички
 Противотанковые рвы.

Андрей Григорьич как-то вышел
 По чёрной лестнице на двор
 И неожиданно услышал

Ночных дежурных разговор,
Что в переулке Трёхколенном
Взрывной волной снесён на днях
Стоявший сотню лет нетленно
Дворянский ветхий особняк.
— Как вы сказали? В Трёхколенном? —
Учитель обмер и обмяк.
И побежал по переулкам,
Мотая космами седин,
С горящим взглядом, с сердцем гулким
Андрей Григорьич Бороздин.
Там молодость его и память
Взрывной волною снесены!
Решил он боль переупрямить
И посмотреть в лицо войны.
Он долго рылся в пепле, в щебне
И в кучах битого стекла,
Нашёл потрёпанный учебник
И бросил в снег его со зла.
Но, горькой жалостью ужален,
Учитель старый вздрогнул вдруг,
Когда нашёл среди развалин
Произведение детских рук,
Когда в измятой бедной глине,
Упавшей в грязь и вмёрзшей в лёд,
Заметил точность ясных линий,
Отважной выдумки полёт
И вспомнил, как Егоров Ваня
В год двадцать первый иль второй,
Парнишка не без дарованья,
Занятой тешился игрой,
Лепил, строгал, клеил, корёжил,
На всех и всё ожесточась,
Одних смешил, других тревожил...
Но как он жизнь в дальнейшем прожил?
Как след его найти сейчас?
Андрей Григорьич вспомнил смутно
Того смешного паренька,
Он вспомнил молодость попутно
И затуманился слегка.

А старший лейтенант Егоров
Шёл по нетоптанной тропе
Вдоль заметённых косогоров
По направлению к КП.
Всё было тихо: чист и чуток
Метели мешкотный полёт,
Не потревожен первопуток,
Не заметён стеклянный лёд,
Не пуганы в кустах вороны...
А там река, за ней леса —
Кольцо московской обороны,
Прифронтная полоса.
А к западу, в полях открытых,
В туманной, мертвенной дали,

В траншеях, только что прорытых,
К земле фашисты приросли.

Егоров веником лохматым
Снег с полушубка отряхнул,
В избу ввалился с автоматом
И комиссару козырнул.
— Заледенели, друг? Откуда?
— С передовой. — Как там дела?
— Идут ни хорошо, ни худо.
Погодка, видно, подвела.
С той стороны молчат, не лезут —
Пригрелись, может быть, в снегу,
Примёрзли, может быть, к железу.
За них ручаться не могу.
— А наши? — Доложу, что, в общем,
Приказа действовать мы ждём,
На положение не ропщем
И в нужный час не подведём.

И сразу оба замолчали.
И, чтоб молчанью их помочь,
Торжественно к снегам причалив,
Декабрьская притихла ночь.
И сразу вспомнился обоим
Ненастный мрак, промозглый дождь,
Тишь деревень, спалённых боем,
Скелеты облетевших роц,
Тяготы маршей бесконечных,
Несчётных беженцев беда,
Фанерных звёзд пятиконечных
Сиротство в поле навсегда...

Но не унынье, не усталость,
Лишь равнодушие к себе
Да совесть чистая осталась
У двух людей в пустой избе.
И только правдой, только жаждой
Правдивым быть перед собой
Мог в эту ночь держаться каждый,
Кто выходил на смертный бой.
А рядом лес метался хвойный.
Казалось, гибель он таит,
Казалось, войны, только войны
Идут с тех пор, что мир стоит.

Со стен избы, со снимков тусклых
Глядели, выправку храня,
Солдаты войн недавних русских,
Хозяев ближняя родня.
Тот в бескозырке и со скаткой,
Или в будёновке другой,
Иль третий с тульской трёхрядкой,
Красавец статный, грудь дугой...
Как много их, мужей и братьев,

Отцов, зятьёв и сыновей,
Вставало, часу не потратив,
В защиту Родины своей!
Они пришли из Подмосковья
В Маньчжурию иль на Стоход,
Поили землю жаркой кровью —
И вот уже который год,
Под стёклами, в цветах бумажных,
В зелёных веточках хвои,
Бессмертны в дружестве отважных,
Россия, ратники твои!

И грустно было, что нельзя их
Позвать к солдатскому столу,
Что рядом нету и хозяев,
Которые сейчас в тылу,
Что только дед сухой и хворый
Покряхтывает на печи,
Не вмешиваясь в разговоры,
Пока толкуют москвичи.
Но комиссар окликнул деда,
И, приосанясь хоть куда,
Тот стоя выпил за победу,
Ещё не близкую тогда.

Вошёл связной. И брови сдвинул
Над извещеньем комиссар,
И карту из планшета вынул,
И план в блокноте набросал.
— Как видно, дела дождались мы!
Сегодня утром — наш черёд.
Что ж, лейтенант, напишем письма
В тыл недалёкий — и вперёд.

Они ремни стянули туже,
В дорогу тут же собрались,
Сошли с крыльца и в лютой стуже
По-братски молча обнялись.

А между тем во мраке звёздном,
За далью дымноглубой,
В лесу притихшем, в поле грозном
Всё выжидало: скоро — бой.
В торжественно насторожённых,
А для иных — в последних снах
Солдаты помнили о жёнах
И знали: это добрый знак.
В землянках, в избах, по окопам,
На дальние десятки вёрст,
Молчали, пели, сбившись скопом,
Тот балагурил, этот мёрз.

Егоров дверь толкнул в блиндажик.
Там смолкнул говор, стихнул смех.
Все встали. Ждут, что старший скажет.
Он начал, оглядевши всех:

— Мы наступаем на рассвете.
 Как настроение, друзья? —
 И кто-то коротко ответил:
 — Порядок. — И, плотней нельзя,
 Бойцы столпились в жарком круге.
 Он ясно видел их черты,
 Большие жилистые руки,
 Спокойные глаза и рты.
 Так вырастила их природа
 Для созиданья и труда,
 Детей великого народа,
 Не дрогнувшего никогда...
 И это значило, что завтра,
 Едва утихнет рёв грозы,
 Восторжествует наша правда
 От самой Эльбы до Янцзы.

Сознаюсь, было всё гораздо
 Скромней и проще в этот миг.
 Какой-то паренёк вихрастый
 Сказал начальству напрямик:
 — Мать только мной живёт и дышит.
 Так в случае беды какой
 Пускай толково ей напишут,
 Поберегут её покой. —
 В ответ Егоров осторожно
 Погладил парня по плечу.
 А парень (тихо, сколько можно):
 — Я в Партию вступить хочу. —
 Тогда бойцы переглянулись,
 И расступился тесный круг,
 И к коммунисту потянулись
 Семь или восемь жёстких рук.
 Он молча принял заявленья
 И руки жёсткие пожал...

Цвет молодого поколенья,
 Ты слово данное сдержал!
 И под Москвой и в Сталинграде
 Был вехою в твоей судьбе
 Листок заветный из тетради:
 — Встаю в ряды ВКП(б).

Егоров вывел роту. Плечи
 Свёл утренний ему озноб.
 И где-то далеко, далече
 Взвился ракет немецких сноп.
 Обрисовались еле-еле,
 Глаза бессонные слезя,
 Дымки, воронки, лапы елей,
 Но их узнать ещё нельзя.

И вот в окопах слышен смутный,
 Нескладный, слитный говорок.
 Всё дело в паузе минутной.
 Ещё не день. Ещё не срок.

Слегка дрожат стереотрубы,
Нацелив к западу рога.
В стекле двоится контур грубый,
Дымятся линии врага.
Часы сверяя по вселенной,
Как будто время сжав в горсти,
Пошло по всей семье военной:
— Без четверти. — Без десяти.
— Без четырёх. — Без двух. — Как сухо
Во рту у сотен человек.
Какое напряжение слуха.
Как чутко трепетанье век.
Как ты прекрасна в предрассветный,
В неповторимый этот час,
Душа всей Армии несметной,
Единая у всех у нас!

И вот ни далеко, ни близко,
За синим лесом, за бугром
По первой линии фашистской
С размаху бьёт уральский гром!

Светает. Вспыхнул шар багровый.
Проснулась, ждёт вестей Москва,
Всей правотой своей суровой
Ждёт в это утро торжества!

В траншеях смолкли все. Внезапно
Рванул Егоров кобуру,
Скомандовал: — Вперёд, на запад! —
И на пронзительном ветру,
Окинув поле быстрым взглядом,
По насту плотному скользья,
Пошёл вперёд. А сзади, рядом,
Дыша всей грудью, шли друзья.

И расступился сумрак мглистый.
Просвет открылся голубой.
Колхозники и металлисты
Вступили в бой. И грянул бой.

По всей равнине белоснежной
Шли пехотинцы напролом.
Метель их прикрывала нежно
Своим сверкающим крылом.

И в точном цейссовском прицеле
Всю дальность охватив зараз,
Враг наудачу, по метели
Прицеливаться дал приказ.

Но цепи русских шли в метели,
Не шли, а наплывали в ней,
Не наплывали, а летели
Всё неотступней и грозней.
Нет! Не летели — вырастали!

То были юноши страны,
Которых вёл товарищ Сталин.
То были Партии сыны.
То были дети поколенья,
Единственного на века,
Которому товарищ Ленин
Путь указал с броневика.

Иные вскидывали руки,
Как будто вспыхнув изнутри,
И затихали в смертной муке
В неясных отсветах зари.

Другие пробивались молча,
В поту, в крови, в снегу, в дыму,
Под пулями, под стужей волчьей,
С лица земли сметая тьму, —
Туда, где в муке и в печали
На чёрных грудах кирпичей
Из пепла чёрного торчали
Столбы обрушенных печей,
Туда, к ступенькам сельсовета,
Дрожа от счастья и слёз,
Они дошли снопами света!

Так наступленье началось.

Мать! Погляди! Воң твой сыночек
Подкошен пулею шальной.
Ты помнишь, сколько зимних ночек,
Пока метался он больной,
Ты перед образом молилась,
Чтобы очнулся он, ждала.
Ты всё надеялась на милость,
Потом сама в жару слегла.
Сыпняк скрутил тебя в неделю...
И взрослый сын твой в забытьи
Припомнил, как похолодели
Худые рученьки твои.

Сейчас он спит. Над ним другая
Склонилась женщина сейчас.

Все расстояния сдвигая,
То погасая, то лучась,
Бред продолжается. Как странно!
И время кончилось и жизнь.
Сплошная тьма. Сквозная рана.
Прощай. Прости. Нет! Продержись!

Он чувствует одно: не сгину.
Пробьюсь вперёд, не пропаду.

Так вот зачем, сгибая спину,
Привыкши к страшному труду,
Жил мой отец, и дед, и прадед,

Зачем я сам дышал и рос,
Зачем меня тихонько гладит
Ладонью жаркою матрос.

Матрос убит, но тоже должен
Подняться, яростно дыша,
Где? — Под Москвою, за Поволжьем,
Или у берега Иртыша,
Или на Куликовом поле,
Или на озере Чудском.
Полузадохшийся от боли,
В передовой цепи, ползком,
Он снег жуёт. И реет знамя
Багряное. И он встаёт.
— Ребята! Не Москва ль за нами! —
В его мозгу ещё поёт.
И снова рухнул наземь, силясь
Не позабыть, не задремать...

Века над спящим проносились.
Склонялась над младенцем мать.
Менялась тьма в своих оттенках.
Смерть не смыкала жадных глаз.
В сырых гестаповских застенках
Боль улеглась, кровь запеклась.
И вновь захлёбывался кровью
Упавший замертво матрос.
И всё огромней, всё багровей
Бред, разворачиваясь, рос.
Кровь била колоколом в уши,
Долбила долотом в виски.
Всплывали очертанья суши,
Рождались вновь материка.
А океан плескался в чаше,
Мелел в убожестве своём, —
Тот величайший и тишайший,
Который смертью мы зовём.

Три раза смерклось и светало.
Был полон стонами санбат.

Хирург протёр глаза устало.
— Ну как дела? Очнулся, брат?

И медленно открылись веки.
Ещё не слыша, не дыша,
В простёртом навзничь человеке
Опять затеплилась душа.

Он приподнялся еле-еле,
Пытаясь громко завопить.
Но час прошёл, пока с постели
Прошелестело:
— Дайте пить!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Он пробыл месяц в лазарете,
 И снова дрался, снова жил,
 И в сорок третьем орден третий
 Под Белгородом заслужил.
 В слепых наплывах, в беглом блеске
 Сквозь память проносились все
 Обугленные перелески,
 Минированные шоссе.

И на одном из трудных маршей
 Впервые понял он сполна,
 Что стал на полстолетья старше,
 Таким же старым, как война.
 Но так оброс дублёной кожей,
 В таком обуглился огне...
 Нет! Он не старше стал — моложе
 В конечном счёте на войне!

И дома побывал однажды.
 И быстро отпуск промелькнул.
 И, как задохшийся от жажды,
 Он к милой женщине прильнул,
 К хлебнувшей горя в эти годы,
 К осунувшейся и худой
 И, несмотря на все невзгоды,
 Для мужа вечно молодой.
 Когда кончалась в напряженьи
 Отечественная война,
 Узнал он из посланья Жени,
 Что маленького ждёт она.

Сливались месяцы и числа
 Под гул военных непогод.
 На ледяную выйдя Вислу,
 Он встретил сорок пятый год.

Одна из многих биографий.
 Нет резких поворотов в ней.
 Я украшать её не вправе.
 Но тем правдивей и ясней
 Пускай она живёт в поэме.
 Пускай её неслышный рост
 По главам движется, как время, —
 Где прямо вброд, где через мост.

Прошло вчера. Приходит завтра.
 Мне представляется порой,
 Что время — славный мой соавтор,
 Что время — главный мой герой.
 Оно и спорщик, и советчик,
 И будний день, и торжество,
 Враг приблизительных словечек,
 Друг вдохновенья моего.

И я, прислушиваясь к взмахам
Его широких, шумных крыл,
Покончил с леностью и страхом
И книгу времени раскрыл.

Москва, Москва! Расти и стройся
В рубинах звёзд, в алмазах льда,
Зелёной порослью покройся,
Останься вечно молода!
Мы пред тобой, пред всей Державой
Присягу выполним свою,
Держа равнение направо,
Как полагается в строю.
Мы трудимся, и это значит,
Что в мире кончилась война.
Наш мирный праздник только начат.
Земля зазеленеть должна.
Жена должна родить ребёнка.
Ребёнок должен подрасти.
Он завтра засмеётся звонко,
Как будто держит мир в горсти.

Ещё не демобилизован,
Узнал советский человек,
В каком огне горит грозном
Неразминированный век.
Егоров в боевых походах
О возрасте позабывал
И права на короткий отдых,
Как все мы, не завоевал.
Он комендантом был два года
В австрийском сонном городке.
Гудела ночью непогода.
Чернел на вымершей реке
Моста обрушенного остов.
Мещане дрогли на ветру
Среди развалин и погостов.
Преступник прятался в нору
И вылезал с гримасой брюзглой
На перекошенном лице.
Какой-то патер заскорузлый
Вопил о мировом конце.
Встречались личности и хуже:
Шпики международных сфер
Нащупывали неуклюже,
Простак ли русский офицер.

Он видел также и другую
Европу — горя и труда,
Когда, открыто митингуя,
Перекликались города,
А на плакатах и знамёнах
Сияли русские слова,
На языках разноплеменных

Звучало: «Сталин», «Мир», «Москва».
 Так миновала эта вежа,—
 Сорок шестой, седьмой, восьмой.
 Всё ближе середина века.
 Пора Егорову домой.

И вот, согласно расписанью
 Кончая скоростной транзит,
 Машина по небу, как сани, -
 В сугробах облачных скользит.
 И обозначились пред спуском
 Природы северной куски,
 И на шоссе, прямом и узком,
 Ползущие грузовики,
 И мелкий ельник Подмосковья,
 И даль в тумане, и поля,
 И отвоёванная кровью,
 Трудом вспоённая земля.
 Он должен был себе признаться,
 Что гулко бьётся под ребром,
 Когда снижался Ил-двенадцать
 На Внуковский аэродром.

Егоров знал, что сын и Женя
 Живут на Пресне у родни,
 И шаг по мере приближенья
 Замедлил, как в былые дни.
 Он прошагал по всем Садовым
 По меньшей мере два часа.
 Меж тем, как назло заколдован,
 Рассвет ещё не начался.
 И не жилия, не живая,
 Не городская тишь вокруг.
 Ни пешеходов, ни трамвая.
 Он вышел к Кудрину.

И вдруг
 Читает на большой афише:
 Е. Н. Е г о р о в а — она!
 Она взбирается всё выше,
 И знаменита и знатна,
 И всё, что прожито за годы,
 Чем женщина крепит семью,
 Все радости и все невзгоды
 Она вложила в роль свою...

И вдруг опомнился он: — Странно!
 Один по городу брожу,
 Как холостяк. Нет, слишком рано.
 Сейчас её не разбужу...

Но сердце нежно и отважно
 Уже колотится в груди.
 Но липы уличные влажно
 Прошелестели: — Разбуди! —
 Светало трепетно и нежно.
 Казалось, новый день встаёт

И вглядывается прилежно
И города не узнаёт.
Светало медленно и мглисто.
Казалось, время вышло в путь
И перед кручею скалистой
Оно должно передохнуть.
И воробьи, чирикнув дружно,
Слетели с липовых ветвей.
И кирпичи стены наружной
Сейчас же стали розовой.
И дом, и двор, и дверь, и серость
Пролётов лестничных под ним —
Всё словно надвое расселось
И стало лёгким и сквозным.

Не задохнуться только, не за-
дохнуться только бы сейчас!
— Простите, кажется, я лезу
В чужую дверь, не постучась?
Квартиры... сбиться так легко в них.
Я их забыл в краю чужом.
— Ах, что вы! Здравствуйте, полковник!
Вам надо выше этажом. —
Не задохнуться только в этом
Пробеге по ступенькам вверх!
И вот он воздухом и светом
Сердцебиенье опроверг.
Вошёл. Столкнулся с кем-то. Скинул
Фуражку. И увидел вдруг.
И всем существованьем сгинул
В кольце её горячих рук.

А мальчик маленький проснулся
И, что-то быстро лопоча,
Встал, потянулся и коснулся
Рукой отцовского плеча.
Страх и восторг в ребячем взгляде —
Как два прожекторных снопа.
Ремни на гимнастёрке глядя,
Он, засмеявшись, крикнул: — Па...

И оба взрослых замолчали.
Пришла для счастья череда.
И счастье их трудней печали,
Труднее всякого труда.
Но тем полнее и свободней
Необходимо им вздохнуть,
Что всё в их комнате сегодня
Напоминает прошлый путь.
Вот он, двадцатилетний парень,
Широкоплеч и невысок,
Стоит в пиджачной серой паре
И в кепке, сбитой на висок.
Она, актриса-героиня,
С увядшей розой на груди,
В широком, шумном кринолине.

А жизнь, как прежде, впереди.
 Как потускнели снимки эти,
 Как пожелтели на свету
 В течение двух десятилетий...
 Но как похожа ты на ту!
 И обнял он её за плечи,
 Не прячет мокрого лица
 И ждёт. И нет конца их встрече.
 Да и в поэме нет конца.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Лист ватмана на стол наколот.
 Очинены карандаши.
 В окно струится резкий холод,
 Необходимый для души.
 На перекур в домашнем кругу
 Достаточно пяти минут.
 И снова к делу рвутся руки,
 Кромсают, ладят, чертят, мнут.
 Что годы! Кинули, и нет их,
 Ни одного. Прошли, как дым.
 Над человеком в зрелых годах,
 Почти седым, но молодым,
 Одна простая страсть, навеки
 Не утолённая, царит,
 Один сквозь сомкнутые веки
 Заветный замысел горит:
 Сжать до предела мысль. Представить
 Её точней, прочней, ясней.
 — Да ты не спал ещё! — Да я ведь
 Сегодня утром справлюсь с ней!

И вспомнил он, как в детстве раннем
 Рвался к решенью напролом,
 С каким безудержным стараньем
 Корпел ночами за столом.
 То было творчество! И ясно
 Он вспомнил всё до точки:

тут

Речною лентой опоясан
 Московский Кремль. А там идут
 Театры, памятники, арки,
 Трибуны, башни, корпуса
 Жилых домов, большие парки,
 Лесных массивов полоса...
 А надо всей Москвой, нетленен,
 Наполовину в облаках,
 В лучах зари изваян Ленин,
 Снял кепку, мнёт её в руках,
 Как будто вновь слова бросает
 И каждым словом горячей
 Сближает, держит, потрясает
 Миллионы новых москвичей.

Как Ленина ясней представить?
Как выразить любовь свою?
— Да ты опять не спал! — Да я ведь
Ещё в строю, ещё в бою.
Затем и дрался под Москвою,
Был ранен, но остался жить,
Чтоб в это утро снеговое
Москве на совесть послужить.

Но он прервёт в смущеньи фразу,
Проглотит громкие слова
И распахнёт окно, и сразу
Пред ним откроется Москва.
Вот, вот они — театры, арки,
Трибуны, башни, корпуса
Жилых домов, большие парки,
Лесных массивов полоса;
Вот, выгнув сомкнутые дуги,
Восстали в каменной красе
Стремительные виадуки
Над лентами прямых шоссе;
Вот в пятнах зелени и света,
Раздвинув два больших крыла,
Постройка Университета
Холмистый берег заняла.

И вновь, прерывистый и яркий,
Сквозь черно-синюю листву
Зелёный свет электросварки
Внезапно озарит Москву —
Всю, до подробностей. Отпрянув,
Замрёт на полсекунды он.
Суставчатые руки кранов
Поднимутся со всех сторон.
Во рвах, что следует прорыть ей,
Движенье на день задержав,
В стальных квадратах перекрытий
На двадцать пятых этажах —
Везде, во всём он прочитает
Работу сверстников своих,
Ту, о которой сам мечтает.

Егоров сел за стол, притих.

Другими, стало быть, добыто
Сегодняшнее торжество,
Прообраз завтрашнего быта,
Мечта заветная его.
Чертили, стало быть, другие
И, пробивая грудь земли,
И в сказках и в металлургии
Решенье верное нашли.
Как много детских рук корявых
Рвалось к труду и знало труд, —
Вот он, неукротимый нрав их,
Его столетья не сотрут.

А он? Он разве не был тут же?
 В любом краю, в любой стране,
 Под лютым зноем, в зверской стуже
 Стоял он с ними наравне.

И трезво, весело и просто
 Он скажет: — Как там ни крути,
 Мне, может, не хватает роста,
 Но предстоит ещё расти. —
 Отвергнув всё, что отвлекало,
 Всё, что тревожило, убрав,
 Возьмёт линейку и лекало,
 Начнёт с азов и будет прав.

.

В том переулке за Арбатом,
 Где столько раз встречались мы,
 Открылось зрелище ребятам
 К исходу нынешней зимы.
 На месте вытоптанном, чистом
 Исчезло всё за десять лет —
 След бомбы, брошенной фашистом,
 И дома рухнувшего след.
 И вот пустырь, глухой и голый,
 Забором срочно обнесён.
 Постройка новой средней школы
 Начнёт строительный сезон.
 Подтаял рыхлый снег, и тут же
 Его трёхтонки увезли.
 И тяжело дышит после стужи
 Сырой и терпкий пар земли.

Пришёл Егоров. Это было
 В апрельский день. Уже весна
 Во все рога свои трубила,
 Не знала отдыха и сна.
 Успех Егорова был скромн:
 Он спроектировал с трудом
 Взамен театров и хоромин
 Простой, стандартный школьный дом.
 Ну что ж! Лиха беда начало.
 Он ликовал недели две:
 Постройка школы означала,
 Что служит он родной Москве.
 Он вышел утром, глядя в лица
 Людей, теснящихся вокруг,
 И думал: «Выручай, столица!
 Ты тоже выросла не вдруг».
 У колыбели новой стройки
 Сегодня, как на вахте, он,
 Помолодевший, бритый, стойкий,
 В шинели серой без погон.

Конечно, не кирпич, не цемент
 Привлёт внимание детворы,
 Когда ещё в глухую темень

Молчали ближние дворы.
Ребята встали у забора,
Невероятных ждут чудес.
И слышатся обрывки спора,
С утра начавшегося здесь:
— Кино! — Да нет же! — Да смотри же,
Вот это главный их актёр,
Вон замахал руками, рыжий!
— Да не актёр, а репортёр!
— Не репортёр— киномеханик!
— Да никакое не кино! —
И двадцати ребят дыханье
Тревожно и учащёно.

Действительно, ещё до света
Встревожен милиционер:
Посланцы Университета
На стройке делают обмер.
И среди них, как мы заметим,
Знакомец давний наш один,
Весь поглощён занятём этим
Андрей Григорьевич Бороздин.

Тут археологи сегодня
Поставят временный редут,
Разроют грунт, положат сходни,
На кости дедов набредут.
Читатель знает: так бывало
На многих стройках, на метро —
Всё возвращалось из обвала,
Что время прятало хитро.

Но надо рыть смелей и глубже
И одолеть культурный слой.
Тогда земля по давней дружбе
Откроет клад заветный свой.
И в пережное поколений
Тогда нащупает смельчак
Полуистлевших свай крепленья,
Полуобрушенный очаг;
В обжиге чёрной ломкой глины
Узнает вещице следы
И по складам прочтёт былины
Чернорабочей слободы.

Как под землёю залежалась
Свистулька глиняная та,
Какая грусть, какая жалость!
Какая тьма и немота!
Здесь гончары всю жизнь ютились
И клали печь у мёрзлых ям,
Трудились, плакали, крестились,
Грозили обухом царям.
Здесь медленно и неизбежно,
Сквозь толщу векового сна,

Копилась в ярости мятежной
Неотвратимая весна.

И вот на белый свет выходит
Тот великан-мастеровой,
С Москвы горящих глаз не сводит,
Касаясь тучи головой.
В Твери, в Рязани иль в Коломне
Погиб он триста лет назад.
Вспомнись в него, Москва, и вспомни:
Он твой строитель и солдат.

Он лил mortarы, плёл рогожу,
Чеканил гривну, щепень бил.
Ему тавро клеймило кожу,
И смертный пот её дубил.
Когда же в затхлой тьме ночлежки,
Под кучей смрадного тряпья,
Таясь от полицейской слежки,
Сложил он песню про тебя;
Когда, от муки хорошея,
Не поднимал он грозных глаз
И дико на мужицкой шее
Тугая жила напряглась;
Когда без паспорта он выбыл
За сотни вёрст, на сотни лет
В Сибирь, на каторжную гибель,
Когда опять нашёлся след, —
Как ты узнала, как сумела
Вглядеться в суженого ты,
В его лицо, белее мела,
В изнеможённые черты,
Как ты звала его!..
И снова
Рос материнский сын в избе,
Праправнук деда крепостного,
Чтоб молодость отдать тебе.
Быть может, встретил юный Горький
Его на Волге майским днём,
Быть может, старый ткач с Трёхгорки
Расскажет многое о нём.
И с баррикад декабрьской Пресни
Кричал он: — Жди меня, Москва!
Когда-нибудь ты вспомнишь в песне
Мои последние слова!

Так говорил Андрей Григорьич,
Затеяв с мрачным прошлым спор.
Любил он воздух людных сборищ,
Любил и пафос с давних пор.
Склонясь над вырытою глиной,
Косясь на ямины и рвы,
Он делал истоиво и длинно
Экскурс в историю Москвы.

Все слушали, и дети тоже
Притихли, очень удивясь.
Он кончил: — Я не подытожу
Короткой повести для вас.
Но вы простите выступленье
Стареющего москвича.
Пусть молодое поколенье
Меня не судит сгоряча.

И вот Егоров обернулся,
Подносит руку к козырьку,
Едва заметно улыбнулся
И кланяется старику.
Но сомневаться начинает.
Потерян в прошлом зыбкий след...

Узнает он иль не узнает
Бороздина чрез тридцать лет?
— Вы живы. Вы такой, как были.
Таких других не может быть.
Конечно, вы меня забыли,
Должны были меня забыть...
Я Ванька! Тот, кто постучался
В дом для голодной детворы.
Не жизнь прошла, а век промчался
Для нас обоих с той поры.—
Они глядят в глаза друг другу.
Им нелегко найти слова.
Над ними простирает руку
Виды выдавшая Москва.

Была случайностью их встреча,
А жизнь полна случайных встреч.
И, жизни не противореча,
Дальнейшим можно пренебречь.

Я сам их встретил ненароком.
Так время властное велит
И шумом слитным и широким
Нам ум и сердце веселит.
На полуслове кончив повесть,
Оно помчится напролом
И, к повороту не готовясь,
Взмахнёт сверкающим крылом.
И ринутся навстречу книги,
Постройки, площади и рвы.
Смотри! В любом коротком миге
Живёт история Москвы.
Каким бы ни был миг и сколько
По совести ни значил он,
Как он ни крохотен, — он долька
В огромном грохоте времён.

Ну так пойдём, товарищ старый,
Полюбоваться в час ночной,
Как чёрным лаком тротуары

Блестят под мокрою весной.
Вон тот с вокзала, тот приезжий
Или приезжая вон та
Полны одной любовью свежей.
Их юность только начата.
Могло бы многое случиться
В такую сказочную ночь.
Но время мчится, время мчится,
И скоро ночь умчится прочь.

Ну так пойдём, товарищ старый,
Смотреть, как первый день весны
Высушивает тротуары
И гонит снящиеся сны.
Смотри, как сон метнулся жалкий
И наземь лёг, от ветра пьян,
Как жадно голуби и галки
Ныряют в синий океан,
Как резко очертанья веток
Рисуются на синеве...

Ну так простимся напоследок,
Читатель, в утренней Москве!

Над Пушкиным, над Моссоветом —
Безоблачная вышина.
И значит, светом, только светом
Моя задача решена.

В его струении лучистом
Былое с будущим сдружив,
Я буду пристальным, и чистым,
И молодым, пока я жив.



В. НЕКРАСОВ

★

В РОДНОМ ГОРОДЕ

*Повесть**

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Самое необходимое в жизни человека, без чего её никак нельзя назвать счастливой,— это мир и благополучие в семье и удовлетворение работой. Во всяком случае, в известном возрасте оба этих жизненных условия необходимы.

Так говорил Валерьян Сергеевич, любивший всякого рода определения, касающиеся жизни. И, как казалось Николаю, он этого сейчас достиг.

Шёл тысяча девятьсот сорок пятый год. Война ещё не кончилась. Но гремела она уже далеко, в Германии. Жизнь мало-помалу начинала входить в колею. С окон исчезла маскировка, на улицах появился свет, сначала робкий, приглушённый, потом уже настоящий, почти довоенный. Появилось, хотя ещё и с перебоями, электричество в квартирах. Разбирали и взрывали развалины. Выросли первые строительные заборы с таинственными буквами «Ж. С.»— Жилстрой. В газетах появились фотографии новых домов, запроектированных на месте старых, разрушенных. Поговаривали даже о полной реконструкции центральной части города. Архитекторы и строители были нарасхват.

Кривая жизни ползла вверх.

Шла вверх она и у Митясовых. Они переселились в другую комнату — Шура не хотела оставаться в этой, с ненавистными ей соседями и сложными воспоминаниями. Обменяли они свою комнату на меньшую, и не на третьем, а на пятом этаже, но оба были молоды, лестниц не боялись, а комнатка была светлая, с балконом, с чудным видом на Печерск, Черепанову гору и, как утверждал Николай, на ту самую лужайку, где они сидели когда-то с Шурой.

Шура перетасила свои цветы, и оттого, что комната была маленькой, казалось, что их стало больше. Соседи были славные, тихие, незаметные и очень были довольны новой парой — у предыдущих жильцов было трое детей, и, по рассказам соседей, довольно беспокойных.

Жизнь текла мирно и тихо. О Феде никогда не говорили. Он ещё до прихода Николая уехал в Ригу, как только её освободили. Он понял, что ему надо уехать, понял с того самого ещё дня, как пришёл Сергей. Шура замкнулась, стала молчалива. Она ждала Николая — Федя понял это. Он уехал. Как-то от него пришло письмо. Коротенькое, на двух страничках. Брат погиб на фронте, отец и мать его оказались живы. Сам он устроился на завод ВЭФ, тот самый, где когда-то слесарничал и

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

сейчас продолжал слесарничать его отец. Вот и всё. О Шуре очень скучает. Шура прочитала письмо на кухне, хотела порвать, потом раздумала, положила в сумочку и пошла на службу. Больше от Феди писем не было.

С октября прошлого года Шура работала в крупной проектной организации чертёжницей. Николай прошёл комиссию, получил третью группу и работал сейчас физруком в школе.

В школу эту он попал совершенно случайно. До этого работал в райжилуправлении.

Это были тяжёлые три месяца — ноябрь, декабрь и январь. Кагановичский район был самый разрушенный в городе. Квартир не хватало. Дома на девяносто процентов были аварийными. Люди жили в кухнях, в ванных комнатах, в каких-то коридорах и кладовках.

Николай был инспектором. Ходил по квартирам, проверял заявления, выслушивал жалобы, составлял акты, присутствовал при страшных квартирных ссорах. Везде — на улицах, в магазинах, в кино, на тёмных лестницах, в ещё более тёмных коридорах — его останавливали и, приперев к стенке, просили, угрожали, плакали, совали ему деньги, а у кого их не было, смотрели жалобными глазами и говорили: «Мы поблагодарим вас, товарищ Митясов, поблагодарим».

Одним словом, дело было нелёгкое. И всё-таки первые недели Николай работал с увлечением. Целый день вокруг были люди — демобилизованные, реэвакуированные, погорельцы, — люди, которым нужна была помощь и которым, по мере сил и возможностей, он пытался помочь.

Но вскоре оказалось, что взгляды на эту помощь у Николая и его начальника, Кочкина, не совсем совпадают. Начались трения, мелкие, а потом и крупные стычки. Чем бы всё это кончилось — неизвестно, — Кочкин был хитёр и оборотист, чего о Николае никак нельзя было сказать, — но тут, на счастье, подвернулся Ромочка Видкуп.

Пришёл он к Николаю с кучей бумажек и отношений, в шинели с жёлтыми от тола пятнами, и долго доказывал свои совершенно несостоятельные права на какую-то пятиметровую комнату без окна. Они поспорили тогда — Видкуп грозился, что пойдёт куда-то жаловаться и напишет письмо Михаилу Ивановичу Калинин, и говорил при этом настолько несдержанно, что Николай вынужден был попросить его выйти из комнаты и не мешать работать. Потом они совершенно случайно встретились не то в прокуратуре, не то в горсовете, и тут вдруг выяснилось, что оба они лежали в Баку в одном отделении и у одних и тех же врачей. Начались воспоминания, потом прошлись по улице, и кончилось всё тем, что Видкуп затащил Николая в 43-ю школу, где работал сначала истопником, потом комендантом, а сейчас, по совместительству, и старшим пионервожатым.

— Слушай, — сказал на прощание Ромочка, — переходил бы ты к нам, ей-богу. Нам как раз физрук нужен, третий месяц ищем. А там тебя sloпают, это ясно. И если свернут когда-нибудь твоему Кочкину шею — а от этого ему не уйти, — то, поверь мне, до того он раз двадцать успеет тебе свернуть.

Николай вздохнул, почесал затылок, а через неделю между ним и Кочкиным произошла стычка, чуть не кончившаяся скандалом. К счастью, всё обошлось относительно мирно — Николай только обозвал его жуликом и взяточником, хлопнул дверью и пошёл в райком.

— Если хотите, чтоб получилось дело, — сказал он там секретарю, тому самому, который послал его в РЖУ, — направьте в эту шарашкину контору человека поопытнее во всех этих делах, чем я. А мне разрешите вернуться к моей довоенной специальности. Вот в школе, говоря, физрук нужен. А у меня всё-таки два года института...

Секретарь отчитал его, сказал, что для того и послал в эту «шарашкину контору», чтобы он там порядок навёл, но, повидимому, нотацию свою прочёл главным образом из педагогических соображений. Дней через десять в РЖУ появился новый инспектор — демобилизованный инженер-сапёр.

Так началась педагогическая деятельность Николая.

После РЖУ школа оказалась Николаю раем. То ли потому, что дети вообще больше любят учителя физкультуры, чем, скажем, учителя немецкого языка, то ли потому, что в самом Николае, опять столкнувшись после такого перерыва со спортивными снарядами, проснулось что-то довоенное, физкультурное, а может, и потому, что в Николае таилась какая-то не обнаруженная до сих пор педагогическая жилка, — так или иначе, но уже на второй день с полдюжины ребят провожали его домой.

Было это в январе.

С тех пор прошло три месяца. Тихих, спокойных, занятых работой и обычными, не очень сложными житейскими событиями.

Забегит иногда Ромочка Видкуп — весёлый, шумливый парень, мастер на все руки, инициатор всех школьных вылазок, экскурсий и походов.

Чуть реже — раза три-четыре в месяц — появляется Сергей.

В его жизни тоже произошли перемены. Пришлось и ему начать «новую жизнь».

— Инструктор Осоавиахима. Удаться. Шестьсот пятьдесят рублей. Ну что это за работа, я тебя спрашиваю? Ни уму, ни сердцу, ни, главное, карману.

Почему и как это произошло — на эту тему Сергей особенно не распространялся. Разругался, и всё, ну их в баню...

Он действительно разругался. Разругался со Славкой Игнатуком, в прошлом старшиной, демобилизованным по какой-то никому не известной болезни, а сейчас организатором и главой «тапочного дела».

С чего ссора началась, бог его знает — кажется, с того, что Сергей привёз не те тапочки, какие надо было. Славка ругался, говорил, что не хочет докладывать свои деньги. Потом сказал, стукнув себя согнутым пальцем по лбу:

— Вот что в нашем деле главное. Понял? А не только это. — Он щёлкнул Сергея по протезу. — И намотай это себе на ус. Перевозить мало, надо думать.

Сергей еле сдержался, чтобы не отхлестать Игнатука этими самыми тапочками по его жирной морде, но как подумал, что их обоих могут сейчас заграбастать — дело было на вокзале — и что ему вместе с ним придётся отвечать, — плюнул, швырнул тапочки и ушёл.

На этом кончилась «старая» и началась «новая» жизнь Сергея.

Приходил он мрачный, но водкой от него пахло реже, садился на кровать и начинал поносить свою новую работу. Николай и Шура пытались его переубедить, но он вынимал из кармана маленькую чёрненькую коробочку, говорил: «Давай-ка лучше в козла поступим, скорее время пройдёт» — и Николай, чтобы не обижать Сергея, играл с ним в домино, которым даже в скучные госпитальные дни никогда не увлекался.

Так шли дни — один за другим. На полях Германии ещё гремели пушки, солдаты ходили в атаки, санитарные эшелоны отвозили раненых в тыл — война ещё шла, — но здесь, в маленькой комнате на пятом этаже, всё было тихо и мирно. И если бы всё так продолжалось и дальше, тогда, пожалуй, и писать бы не о чем было. Но дальше пошло не так. И пошло с того самого дня, когда в этой самой, уставленной

цветами комнатке на пятом этаже появился, кроме Николая и Шуры, ещё один человек, которому суждено было сыграть весьма существенную роль в жизни Николая.

2

Человеком, сыгравшим такую роль в жизни Николая, оказался средних лет капитан в габардиновой гимнастёрке с двумя рядами орденских планок, невысокий, плотный, слегка лысеющий. Явился он как-то ясным весенним утром, позвонил в маленький звоночек, совсем недавно проведённый Николаем, и осведомился у открывшей ему дверь Ксении Петровны — учительницы русского языка, жившей в конце коридора направо, — может ли он видеть ответственного съёмщика квартиры.

— Я ответственный съёмщик, — упавшим голосом ответила Ксения Петровна.

— Моя фамилия Чекмень. До войны я жил в той вот комнате. — Капитан указал на дверь Митясовых.

Ксения Петровна ничего не ответила — она не знала, что в таких случаях надо отвечать. Тогда капитан поинтересовался, дома ли нынешние хозяева этой комнаты, и, узнав, что нет, слегка свистнул.

— Жаль. Тогда я попрошу передать им, что в девять часов я опять приду. Мне очень хотелось бы их видеть.

В дверях он на минуту задержался.

— А старых жильцов никого не осталось?

— Нет, никого.

Он козырнул и ушёл.

Весь день Ксения Петровна со страхом ждала наступления девяти часов. Рассказывали, что в соседнем доме, когда вселялся какой-то майор, разыгралось чуть ли не настоящее сражение. Майор явился с солдатами, его не впустили, вызвали милицию...

Но на этот раз ничего подобного не произошло. Капитан пришёл ровно в девять часов, но без всяких солдат.

Впустил его Николай. Сразу же проводил в свою комнату. Капитан вошёл, поздоровался с Шурой и, взглянув при свете на Николая, сказал, чуть-чуть прищурив глаза:

— Хо-хо, дело плохо, — и протянул руку. — Чекмень. Капитан Чекмень.

— Вижу, что капитан, — без улыбки ответил Николай. — Моя фамилия Митясов. Садитесь.

Капитан сел.

— Демобилизованный, да? — Он посмотрел своими чуть-чуть смеющимися глазами на Николая, тот до сих пор ходил в гимнастёрке и сапогах.

— Как видите.

— Дело, безусловно, осложняется.

— Какое, интересно?

— Мирного устройства отвоёванного воина, который когда-то жил в этой комнате.

— Боюсь, что осложняется.

Капитан улыбнулся.

— Придётся подавать в прокуратуру. Ничего не поделаешь.

— Подавайте. Если есть основания, конечно, надо подавать. — И, помолчав, добавил, точно между делом: — Кстати, вас именно из этой комнаты в армию взяли?

Капитан искоса взглянул на Николая.

— А вы что, все законы уже знаете?

— Кое-какие знаю.

Капитан промолчал. Потом встал, прошёлся по комнате.

— Забавно. Ей-богу, забавно.

— По-моему, скорее грустно.

— Нет, всё-таки забавно.

Он подошёл к балконной двери и, наклонившись, стал рассматривать что-то рядом на обоях.

— Так и есть. 4-78-16 — Михеев. Смешно. Здесь когда-то телефон висел, понимаете?

Он опять подошёл к столу, сел и посмотрел на потолок.

— Всё-таки вам надо было ремонт сделать. Сменить обои, побелить потолок. Впрочем, этим уж я сам займусь.

Николай и Шура переглянулись. Шура стояла возле маленького столика, вытирала тарелки, изредка поглядывая встревоженным взглядом на пришельца. По всему видно было, что сочувствия он в ней не вызывает. Николаю же, как ни странно, капитан этот чем-то даже понравился. Трудно даже сказать чем — то ли спокойствием, то ли чуть-чуть ленивой манерой говорить, а может, и просто взглядом — в маленьких, очень чёрных, широко расставленных глазах его где-то на дне всё время светила не то насмешка, не то ирония.

— Ну, так как же? — Капитан повернулся в сторону Николая.

— А никак. Будете ли вы подавать в прокуратуру или не будете, дело от этого не изменится. Комнаты вы этой не получите.

— Не получу? — Капитан приподнял брови.

— Не получите.

— Вы в этом уверены?

— Как дважды два четыре. — Николай вынул портсигар и протянул капитану. Тот отказался. — Вы где остановились?

— Нигде. Между небом и землёй. На вокзале.

— Вещи есть?

— У каждого приехавшего из-за границы есть вещи.

— Тогда сделаем так. Тащите их сюда, переночуете у нас, а завтра в девять утра пойдём с вами в райисполком.

— И?..

— Там увидим. Может, что-нибудь и получится.

Капитан пожевал губами, сощурился.

— Яволь! Иду на компромисс. Прокуратура временно откладывается.

На этом разговор кончился. Капитан пошёл на вокзал за вещами.

Так началось знакомство Николая Митясова с Алексеем Чекменем, офицером штаба инженерных войск Н-ской армии, прибывшим из Австрии с направлением в округ для демобилизации.

3

Прожил Алексей Чекмень у Митясовых не день и не два, как предполагалось, а добрых две недели. Спал на балконе, на совершенно плоском волосяном тюфяке, вставал рано, раньше всех, делал зарядку, сворачивал и засовывал за шкаф свой тюфяк, выпивал стакан чаю из термоса и исчезал. Приходил поздно вечером.

Где он пропадал, никто толком не знал. Кажется, в штабе округа или инженерном отделе — он мельком об этом упоминал, но никогда не вдавался в подробности.

Как жилец он был идеален. Он не требовал за собой никакого ухода, был аккуратен, не тыкал, как Сергей, во все углы свои окурки, не ходил, подобно Николаю, по комнате в одной майке и не разбрасывал повсюду свои ремни, планшетки и подворотнички. Моешь на кухне, всегда вытирал

после себя пол и перебрасывался с соседями двумя-тремя ничего не значащими, но любезными фразами, что те очень ценили.

Одному Сергею он не понравился.

— Не люблю я таких типов. Планки нацепил и думает, что герой. Знаем мы этих героев. И потом, чего он всегда спрашивает, можно ли закурить?

— Просто воспитанный человек, — улыбалась Шура.

— Да кому она нужна, эта воспитанность? В Европе, мол, побывал. Интеллигенция. Дал бы я ему по этой Европе, да вас, хозяев, только жалею. И вообще, Николай, — это уж Сергей говорил в отсутствие Шуры, — смотри, как бы это гостеприимство тебе боком не вылезло. Что-то мне глаза его не нравятся. Больно хитры.

Предположение это было неосновательным. Шура немного побаивалась и стеснялась Алексея — он был остёр на язык и никогда нельзя было понять, говорит ли он в шутку или всерьёз. Шуру это всегда смущало. Поэтому, как только он появлялся, она сразу же умолкала, боясь сказать какую-нибудь глупость. Вот и всё. При всём желании Сергей не мог обнаружить в их отношениях ничего предосудительного.

Не в пример многим фронтовикам, любящим поговорить о своих успехах и на женском фронте, Алексей был сдержан и никогда об этом не говорил. Вообще о себе и своём прошлом говорил мало и неохотно. Если его спросить — ответит кратко, без лишних подробностей, даже почти совсем без них. Было известно только, что по образованию он инженер — незадолго до войны окончил здешний строительный институт и оставлен был при какой-то кафедре. На войну попал в начале сорок второго года, служил в инженерных войсках. Воевал на юге, потом в Польше, Австрии.

Вот, собственно говоря, и всё, что было о нём известно. О родителях своих никогда не говорил. Семейное положение тоже было неясно. Шуру, как и всякую женщину, этот вопрос, конечно, очень интересовал, но разумительного ответа, как она ни старалась, добиться ей не удалось.

— Я убеждённый холостяк, Шурочка. Штопать носки я и сам умею. И стирать тоже.

— Не говорите так, Алексей. Так говорят только легкомысленные люди, которые...

— Которые что?

— Вы знаете что. А вы ведь не такой. Неужели вам не хочется...

— Нет, не хочется.

— Постойте, ведь вы ж не знаете, что я хотела сказать.

— Знаю. Неужели вам не хочется, чтоб рядом с вами был человек, который... Ну и тому подобное. Так вот, Шурочка, мне не хочется. Понимаете, не хочется. Любовь кончается тогда, когда в паспорте появляется штамп.

— Алексей...

Он чуть-чуть улыбался одними глазами, но лицо оставалось серьёзным.

— А вы уже и поверили? Нет, Шурочка, дело не в этом. Дело куда хуже. Ведь мне тридцать четыре года, а чувствую я себя на целых сорок. В этом возрасте уже трудно влюбиться. А жениться без любви — вы бы меня сами осудили.

— Ну, вы ещё найдёте.

— Найду? — Всё та же улыбка на дне глаз. — Нет, Шурочка, искать мне уже нечего. Давно уже нечего.

— Почему?

— Почему? Да по очень простой причине. В этом году будет ровно десять лет, как я уже нашёл то, о чём вы говорите. — Тут он вдруг на-

чинал смеяться, и Шура, как всегда, разговаривая с ним, становилась в тупик.— Десять лет. Ровно десять лет. А вы и не знаете? Ай-яй-яй! У меня ведь даже двое детей — Ваня и Маша. Ваня чёрненький, Маша беленькая. Они письма мне пишут вот такими буквами.

— А ну вас! С вами разговаривать...

Так Шуре и не удалось ничего выяснить.

Любимым изречением Алексея было: «Всё подвергай сомнению».

— Всё подвергай сомнению — вот лозунг мой и Маркса, — говорил он совершенно серьёзно, а глаза его, как всегда, чуть-чуть смеялись.— И не делайте, пожалуйста, удивлённых лиц. Старик действительно так сказал. Прочитайте-ка его «Исповедь».

Николай читал «Исповедь» и приходил в восторг от ответов на шуточные вопросы, поставленные Марксу его дочерьми. Особенно нравилось ему, что любимое занятие Маркса было рыться в книгах («и моё тоже...»), а любимое изречение: «Ничто человеческое мне не чуждо».

Алексей только улыбался. Он был трезв и скептичен. Он много читал, много видел. Он исколесил на фронтовых машинах пол-Европы и очень интересно умел рассказывать о людях, подмечая, правда, преимущественно забавные, комические чёрточки. Он был не прочь подтрунить и над Николаем, особенно над его увлечением своими школьниками или над слишком идиллическими порой воспоминаниями о фронтовой жизни и дружбе.

— Это, брат, дело скользкое — фронтовая дружба, окопное братство и тому подобное. Фашизм здорово сумел все эти штуки обыграть. Ну их!..

— То есть как это «ну их»? — горячился Николай. — Самое святое, что есть в жизни...

— Святое-то оно святое, а обыграть сумели. И это один из важнейших пунктов гитлеровского культа войны. Перед смертью все равны, говорят они. Пуля не считается с тем, что ты фабрикант или рабочий, солдат или генерал. Война, мол, объединяет и уравнивает всех, и в этом её величие. А отсюда и культ всевозможных окопных братств и товариществ по оружию, «кампфкамерадшафт» по-немецки. Вот так-то, брат, а ты говоришь...

— Ну, это ты брось сравнивать, — возмущался Николай.

Он часто спорил, вернее — пытался спорить, но это было нелегко: Алексей говорил новые и неожиданные для него вещи.

Разговаривали обычно ночью, перед сном, на балконе. Комната Митясовых выходила на юг, за день нагревалась — весна в этом году была на редкость жаркая, — и к вечеру нечем было дышать. Николай вытаскивал на балкон и свой тюфяк, и вот тут-то, погасив огонь, они с Алексеем лежали, смотрели в небо и подолгу разговаривали.

Николай полюбил эти ночные разговоры. Кругом тихо. Позванивают редкие ночные трамваи, гудят на станции паровозы, пробуждая желание куда-то ехать. Изредка упадёт звезда. Пройдёт кто-то с баяном. Проедет машина. И опять тишина.

Набегавшийся за день Алексей вскоре засыпал, а Николай долго ещё лежал и, прожигая махоркой простыни, обдумывал всё, о чём они говорили.

Один из таких ночных разговоров особенно озадачил Николая.

Начался он, собственно говоря, ещё с прихода Сергея. Весь вечер тот был мрачен, мрачнее обычного. Скинув гимнастёрку и развалившись в плетёном кресле на балконе, он ругал свою службу, начальника, жизнь. Потом, когда Шура, разливая чай, предложила ему для приличия одеться и привела в пример всегда подтянутого и опрятного Алексея, он вдруг обиделся, от чая отказался и ушёл.

Шура заговорила о том, что надо бы Сергея женить, больно уж он одинок. Николай не согласился — дело, мол, не в одиночестве, а в том, что Сергей потерял жизненную цель.

— Как сел в кабину своего самолёта, так и не выберется из неё до сих пор. Сидит и сидит.

Алексей задумчиво катал хлебные шарики. Потом спросил вдруг:

— А у тебя она есть?

— Кто?

— Цель.

Николай пожал плечами.

— Глупый вопрос.

— Почему глупый?

— Потому что глупый...

Алексей улыбнулся.

— Возразить, конечно, нечего. Сдаюсь.

Шура, как всякая хорошая жена, заступилась за мужа.

— А школа? Разве это не цель? По-моему, воспитание молодёжи это ничуть не менее важно, чем... Ну хотя бы...— она запнулась, не зная, с чем бы сравнить,— ну, чем что-нибудь другое.

Алексей с улыбкой смотрел на неё.

— Ну, конечно же, ничуть не менее важно... Кто же спорит? Я ведь только спросил.

— Ну, а я ответила.

— И хорошо ответили. Я не говорю ведь, что плохо. Я сам великий поклонник Ушинского и Макаренко. Только и мечтаю о том дне, когда с меня снимут погоны и разрешат вернуться к педагогической деятельности. Но это я. А вот ваш супруг,— он подмигнул в сторону Николая, молча вынимавшего из дивана тюфяки,— для него, боюсь, школа скорее средство, чем цель.

Шура ничего не ответила, старательно вытирала тряпкой клеёнку.

— Не цель, а средство,— повторил Алексей.— Средство заполнить некую, образовавшуюся после фронта, пустоту.

Шура продолжала вытирать клеёнку.

— Непонятно? Могу объяснить. На фронте были разведчики. Здесь их нет. Они далеко. Здесь школьники. Вот вам и замена. Своеобразный эрзац разведчиков. А походы, вылазки, всякие там «манёвры» — эрзац войны. Игра в войну... Иными словами, всё тот же «самолёт» Сергея.

Он посмотрел на спину Николая, всё ещё возившегося с тюфяками, потом на Шуру.

— Не согласны?

Шура сосредоточенно счищала ногтем что-то прилипшее к клеёнке. Как всегда, она не умела сразу ответить.

— Не знаю,— сказала она,— так или не так. Но что касается меня, так я только рада этой школе. Всё-таки школа, а не это проклятое РЖУ.

— Ну, это уж другой разговор,— сказал Алексей.

Николай приостановился у балконной двери, держа в руках тюфяки.

— Почему другой?

— Да потому, что там, в РЖУ, у тебя была одна цель: поскорее оттуда убраться, и всё.— Алексей встал из-за стола и потянулся.— В каком это фильме было? «Самое важное в жизни — во-время смыться»...

Всё ещё стоя в дверях, Николай сказал:

— Если б это не ты, а кто-нибудь другой, я бы дал ему за такие слова в морду. Понятно? — и вышел на балкон.

Шура взглянула на Алексея и приложила палец к губам. Алексей понимающе кивнул, взял полотенце и вышел на кухню.

Когда он вернулся, Николай уже лежал в одних трусах на балконе и курил.

— Так, по-твоему, я всё ещё в «самолёте» сижу?

— По-моему, да,— ответил Алексей.

Николай помолчал, потом спросил:

— А из РЖУ, значит, смылся?

— На эту тему я говорить не буду. После твоих угроз остерегаюсь.

— И правильно. Остерегайся. Не знаешь, не суди...

Алексей промолчал. Николай, лёжа на животе, мигал папирсой.

— Смылся... Все вы так о других. Посмотрел бы я, что ты на моём месте запел бы. А то — смылся... Уютного местечка, по-твоему, искал, да? Так если хочешь знать, именно таким, как ты, надо там работать. Чтоб во всех этих балках чёртовых и перекрытиях разбирались. Чтоб их вокруг пальца не обкрутили, как меня хотели.

— Не понял.

— Поработал бы, так и понял бы.— Николай зло усмехнулся.— На второй день понял бы. Подсунули бы аварийный домик, составить акт на ремонт — сразу бы понял. Особенно когда спросят потом, сколько тебе жильцы за это дали. Тихонько так спросят, с улыбочкой, между делом будто...

— Кто это спросит?

— Тот же Кочкин хотя бы, начальник. А потом подсунет другой домик, почище этого. Ты, мол, испугаешься, под неотложный ремонт не подведёшь, а он в один прекрасный день возьми да обвалится. Вот тебе и подсудное дело. А ты баран-бараном, глазами только хлопаешь — иди разберись, какая там балка гнилая, какая нет.

Николай выругался, щёлкнул окурком о стену.

— Эх, будь у меня знания... Нету вот, нету... Ну, хоть десятая часть тех, что у тебя. Разогнал бы! К чёртовой матери всю эту шпану разогнал бы...

Алексей улыбнулся в темноте.

— Иди учишь тогда. За чем же дело стало?

— Иди учишь...— Николай перевернулся на спину, уставился в небо.

Из комнаты донёсся звук заводимого будильника. Очевидно, Шура забыла завести его с вечера и заводила сейчас.

— Не спится что-то твоей жене,— сказал Алексей.

— Жарко в комнате, потому и не спится.

— Жарко, конечно.— Алексей помолчал, потом добавил тихо:— Грустная она у тебя почему-то. Всегда такая была?

— У неё умерла мать. При немцах ещё.

Опять помолчали.

— А ты давно женат? — спросил Алексей.

— С сорокового. Пятый год уже. А что?

— Да так просто. Я тоже был женат. И тоже ничего не получилось.

Николай повернул голову.

— Почему «тоже»?

— А ты считаешь не «тоже»?

— Я ничего не считаю. Просто не понимаю, о чём ты говоришь.

— О жизни, вот о чём. Сложная она штука... Как это твой старик говорил? Самое важное в жизни — это... Что-то там в семье, что-то на работе...

— Мир и благополучие в семье и удовлетворение работой.

Алексей зевнул и натянул на себя простыню.

— А как этого достичь, он не говорил? Спроси при случае. Обязательно спроси.— Он повернулся спиной к Николаю.— Давай спать, завтра вставать рано.

Мир и благополучие в семье. А что это такое?

Вот у Николая мир и благополучие в семье. Он вернулся к Шуру. Она вернулась к нему. Они живут тихо и спокойно. Они никогда не ссорятся. Утром они встают, завтракают, Шура кладёт в его спортивный чемоданчик чистые трусы и майку, завёрнутый в газету завтрак. Они уходят, каждый на свою работу. Вечером встречаются, пьют чай. «Ну, как твои ребята сегодня? Как Вадик Суханов?» Николай рассказывает о Вадике Суханове, о волейбольном матче, о предполагаемом походе за город. «Ну, а у тебя как? Кончили этот злополучный лист, о котором ты говорила?» — «Кончили. Беленький даже похвалил. В этом месяце, говорят, премиальные получу».

Мир и благополучие в семье? Конечно, мир и благополучие.

Николай никогда не говорит о Феде. Он нисколько не ревнует к нему и вспоминает о нём, только когда подходит к оставшейся после него в наследство карте, чтобы отметить продвижение наших войск. Федя, кажется, живёт сейчас в Риге, работает. Николай рад за него. Шура никогда не спрашивает Николая, увлекался ли он кем-нибудь на фронте. Она вообще не спрашивает его о фронте. А он её — об оккупации. Они не говорят о прошлом. Как будто его никогда и не было. «Ну, как твои ребята сегодня?» — «Как твой чертёж?»

По субботам и воскресеньям они ходят в кино. Они видели много хороших картин: «Кутузова», «Сражающуюся Францию», «Леди Гамильтон». Возвращаясь домой, они говорят о том, что им понравилось. Мужчины попережнему оборачиваются на Шуру — за последнее время она пополнила, стала лучше выглядеть, почти совсем разгладилась складки у рта, которые так поразили в первый раз Николая. Мужчины оборачиваются и смотрят на Шуру, и ему, как мужу, это должно быть приятно. Один раз на улице он слышал, как кто-то сказал: «Смотрите, какая хорошая пара». Это про него и Шуру.

Ну, конечно же, мир и благополучие... И что бы там ни говорил Алексей — «тоже не получилось», — всё это чепуха. У него, может, и не получилось, а у Николая получилось. А что он иногда вспоминает о Вале и как-то даже зашёл в Ботанический сад, разыскал ту самую пещеру, где они сидели с ней, и посидел там немного, вспоминая прошлое, — что же тут удивительного? Да, ему с ней было хорошо, он и не собирается скрывать это от себя. Но это было. И всё это уже позади. И хотя, может, это и плохо, что он ни разу с тех пор не был в шестнадцатой квартире, но пусть пройдёт время... Сейчас у него Шура, и в семье у него мир и благополучие, и никуда он не будет ходить.

Теперь другой вопрос: работа. Удовлетворён ли он своей работой?

Удовлетворён. У него не действовала рука — теперь она действует. Он учит ребят. Он готов круглые сутки возиться с ними, ходить на Днепр, красить лодку, составлять по карте маршруты походов. И, ей-богу же, он приносит им какую-то пользу, сколько бы там ни иронизировал Алексей.

Что же ещё надо?

А может, дело не только в том, доволен ли ты сам своей работой? Подумай-ка хорошенько. Проще всего ухватиться за что-то хорошее, что ты уже имеешь, и убеждать себя, что это именно и есть то, что нужно. Сделал какую-то работу, тебя похвалили, вот ты и доволен: видите, нас даже похвалили.

Нет, очевидно, важно не только это. Важно и другое — а то ли ты делаешь, что нужно? И если то, — в полную ли силу ты это делаешь, всё ли отдаёшь, что у тебя есть?

На фронте, например, Николай знал, что он делает самое нужное и отдаёт всё, что у него было. И задача была ясна. Она была крохотная и в то же время громадная. Он получал приказ захватить языка. Это бывало очень трудно, иногда просто невозможно. В Сталинграде он целый месяц не мог достать языка и взял его с величайшим трудом только к концу месяца. Его задача была — захватить языка, его задача была — разведать нейтральную полосу, обнаружить минные поля, определить, сколько у немцев пулемётов, тяжёлых и ручных. И его цель была — изгнать немцев из России, Украины, Белоруссии, уничтожить фашизм. И он это делал. Один из многих, один из миллионов таких же, как он, людей, сидящих в окопах, работающих в Сибири на заводе, взрывающих поезда в тылу у противника. Он это делал и сделал.

Но это фронт. А до фронта? До фронта у него тоже была своя задача. Не такая большая и важная, как на войне, но была. Он любил спорт и знал, что в этой области может неплохо работать. На втором курсе он завоевал уже второе место на городских соревнованиях и мечтал о первом. Сам Синцов, никогда и никого не хваливший, одобрил его прыжки с шестом...

А сейчас? Что должен делать он сейчас? В каком деле он может принести настоящую пользу, отдать себя целиком, как делал это на фронте? Ведь товарищи его, оставшиеся там, делая самое нужное сейчас, работают для будущего, для той мирной жизни, которая начнётся после войны и должна быть ещё лучше, чем довоенная... Что же делать ему сейчас?

О спорте можно уже не думать. Сделаешь два-три самых лёгких упражнения на перекладине и минут пять потом не можешь отдышаться. Врачи, правда, говорили, что раньше, чем через год, нельзя и мечтать о перекладине, а он вот работает и, говорят, даже не плохо. Но разве в руке дело? Не в руке — в сердце, а оно-то уже не прежнее. Значит, точка. Примирись.

РЖУ? Вот где, казалось, можно было поработать, пользу принести: город разрушен, людям жить негде, помогай им, — что может быть лучше? Но не вышло. Подготовки не хватило, знаний, чёрт бы их побрал! А без них и не суйся. Опять осечка...

Школа?

Вот это сложный вопрос. Когда тебя спрашивают, доволен ли ты своей новой работой, ты всегда отвечаешь: «Доволен. Ребята чудесные. Весёлые, азартные. И сдружились мы крепко». Ну, а если сам себя спросишь? Вот так вот, честно, положив руку на сердце: доволен?

Школа — не райжилуправление, что правда, то правда. Здесь мило, весело, ребята хорошие и директор тебе обрадовался — всё-таки пришёл фронтовик, член партии, — в школе почти все преподаватели беспартийные. А что толку оказалось? Сидишь на педсовете и чувствуешь себя, как в первый раз у Острогорских. Любите ли вы Андрея Болконского, Николая Ростова? А ты впервые о них слышишь. Может, и проходил когда-нибудь в школе, да разве всё упомнишь?

И вообще, какой ты, к чёрту, педагог? Учишь ребят гимнастике, а сам думаешь: вот этого ты сам уже не сделаешь и этого — тоже. Повёл как-то раз ребят поглядеть на соревнования и еле до конца досидел, обидно стало. Двадцать пять лет человеку, а что впереди? Топчись на одном месте и радуйся, что хоть что-то от прежнего осталось. И так всю жизнь? Как старик-певец какой-нибудь — отпел своё, вот и принимайся за молодёжь. Но тот хоть раньше пел хорошо, а ты?

Нет, не то всё это... Не то.

5

В конце апреля Шура уехала в Харьков. Поехала их целая бригада — человек пять инженеров и две чертёжницы: предстояла какая-то срочная работа на восстанавливаемом тракторном заводе, которую надо было выполнить на месте. Предполагалось, что к праздникам они вернутся, но, как это всегда бывает, что-то не утвердили, что-то надо было ещё переделывать, и только восьмого вечером пришла от Шуры телеграмма, что она приедет девятого, вечерним поездом.

Николай, как и все в эти дни, ходил возбуждённый и радостный. По городу распространился слух, что подписан мир. У громкоговорителей стояли толпы, во всех очередях говорили только об одном — о мире. Кто-то даже сам слышал по радио, что он где-то уже подписан. Но официальных сообщений не было. Репродукторы передавали лёгкую музыку, беседу о лауреатах Сталинской премии, «Ивана Сусанина» из Большого театра.

Восьмого вечером Николай вернулся домой поздно — педагогический совет затянулся и кончился только в начале одиннадцатого. Николай окинул взглядом комнату, подумав без особой радости, что к шуриному приезду надо будет её прибрать, и, не ужиная — лень возиться, завтра позавтракаю,— лёг спать. Алексей уже храпел на своём балконе.

Посреди ночи Николай проснулся оттого, что его кто-то тряс за плечо.

— Подъём! Подъём!

Спросонья стал шарить вокруг себя, ища спички.

— Подъём! Подъём! — с весёлой настойчивостью повторял над ним всё тот же голос, голос Ромки Видкупа.— И как у вас тут свет зажечь, чёрт вас заберит?

Николай наконец нашёл спички, чиркнул, зажгёт коптилку. Посреди комнаты стоял Ромка — рыжий, веснушчатый, сияющий.

— Выходи строиться! Живо!

Николай и Алексей, ничего не понимая, сидели на своих тюфяках, хлопали глазами.

— Война кончилась! Понимаете — кончилась! Кончилась, кончилась, кончилась...

Четвёртый час ночи. На дворе ещё темно.

Прошёл дождик — тёплый, весенний, оставив на тротуарах под деревьями светлые серые круги. С мокрых каштанов ещё каплет. Точно на глазах распустились их зелёные гусиные лапки. Вчера ещё были почками, а сегодня уже стали листьями. В воздухе пахнет свежим — опрыснутой дождём землёй, молоденькой зелёной травкой.

Они идут по улице, прямо по мостовой, по трамвайным путям, куда глаза глядят.

Откуда-то — то ли из раскрытого окна, то ли из далёкого уличного репродуктора — доносится голос Левитана. Где-то поют. Нестройно, вразнобой, стараясь друг друга перекричать: «Ой, Днипро, Днипро, ты силён, могуч...»

Сквозь молоденькую зелень сада виден университет — большой, печальный, с дырявыми, закопчёнными окнами, облупившимися колоннами. Ему грустно. Всем весело, а ему грустно. Ничего, старина, скоро и за тебя примутся, не грусти! Смотри, как хорошо разрослись вокруг тебя каштаны — уже касаются друг друга своими ветками, а ведь до войны совсем малютками были.

Взвилась ракета. Осветила улицу, сад, колонны сожжённого здания и погасла. Метнулся по небу луч прожектора. Раз-два, туда-сюда, расширился, сузился и тоже погас. Каждому хочется как-то отметить сегодняшний день.

Молоденький безбровый милиционер в белой гимнастёрке стоит на углу, скучает. Ему, бедняжке, тоже, вероятно, до смерти хочется так вот пройтись по улице, в обнимку, по мостовой. Петь песни.

— С праздничком тебя, старший сержант, с победой!

— И вас также,— и улыбается.

Визжа тормозами, подкатил «виллис».

— Как к вокзалу проехать, друг?

— Прямо, потом налево, до бульвара, а дальше увидите.

— Ну, спасибо. И за твоё здоровье по маленькой выпьем...

Опять улыбается. Ничего другого ему не остаётся.

Пошли дальше...

Восток уже порозовел. На небе чётко рисуется уступчатая колокольня Софии. Повезло тебе, очень повезло — пережила войну, и какую! Не тронули тебя. Не успели — убежали. Дай бог тебе столько же ещё стоять, сколько ты простояла, и ещё столько же.

Пошли, пошли дальше... Пошли к Андреевской. Смотри, как хороша она сейчас, стройная, лёгкая, с тоненькими своими колоколенками. И почему мы, дураки, не приходили сюда по утрам, именно по утрам, когда она так красива на золотистом утреннем небе? Теперь мы всегда будем приходить сюда по утрам, обязательно по утрам...

Как гулко звенят чугунные ступени! Как хорошо стоять, облокотившись о каменные перила, и смотреть на Днепр, широкий, разлившийся до самого горизонта! Он сейчас совсем розовый, как и небо на востоке. Только там, у Никольской слободки, осталось ещё немного синего и фиолетового. Тихо, тихо кругом...

И даже не верится, что были другие утра. С таким же прозрачным, как сейчас, небом, с капельками росы на траве и первыми появляющимися в воздухе самолётами. А потом всходило солнце, и начинался страшный, насквозь пронизанный рёвом моторов и разрывами бомб, нескончаемый, мучительно длинный день.

Тяжёлые дни войны. Тяжёлые, ох, какие тяжёлые... Июнь, июль сорок первого года. Немецкие листовки: «Сдавайтесь! Вы окружены! Штык в землю!» Горящие сёла, горящие города, осыпающиеся хлеба — какие хлеба! — и ползущие в них, обросшие бородами люди, прошедшие уже сотни километров, чтобы прорваться к своим... Сентябрь, октябрь. Страшная сводка Информбюро, когда бои шли уже на самых подступах к Москве. «Положение угрожающее...» Казалось, ещё шаг, ещё один только шаг... И вдруг... Брошенные в снег машины, подбитые танки, первые пленные, замёрзшие, закутанные в одеяла. «Зимний фриц»... И в эти дни — парад на Красной площади, в нескольких километрах от передовой. И потом прямо с парада — на фронт. Мимо Василия Блаженного по набережной, через Бородинский мост, на Можайское шоссе.

— Не так страшен чёрт, как его малюют,— сказал тогда Сталин.

Он стоял на Мавзолее в хмурый ноябрьский день, и перед ним проходили войска — пехота, танки, артиллерия, — войска, пришедшие с фронта и уходившие на фронт.

Кто его знает, может, это были самые счастливые минуты за всё время войны. Значит, умеем воевать! Умеем, чёрт возьми!

А потом Сталинград, Курская дуга, Польша, Германия, Берлин. И вот — всё!

Странное чувство. Вот так до войны никак нельзя было себе представить, а как же это будет, когда она начнётся. Так и сейчас. Всё, чем люди жили все эти годы, — страшное, тяжёлое и ставшее в этой тяжести чем-то даже привычным — кончилось.

В Сталинграде было не так. Там тоже было странное чувство. Только что ты ещё стрелял, согнувшись перебежал по окопам, с опаской погля-

дывал на небо — и вдруг конец. Тишина. Непонятная, незнакомая тишина. Только какой-нибудь весёлый сержант, не зная, куда девать патроны, пустит в воздух очередь из автомата.

Но там было другое. Там ты после пяти месяцев войны оказался вдруг в тылу. Но фронт ещё был. Далеко, за десятки километров, но был. И ты знал, что ещё попадёшь туда. А сейчас его нет. Совсем нет. Возьмёшь завтра газету, посмотришь на то место, где была сводка Информбюро, а вместо неё уже про комбайнеров пишут.

И всё-таки война кончилась. Кончилась в Берлине. Не на Волге, не на Урале, а в Берлине, в том самом Берлине, о котором мечтал каждый солдат. Все мечтали: вот придём в Берлин, разыщем среди развалин имперскую канцелярию, доберёмся до кабинета Гитлера...

Стало совсем светло. Подул ветерок. Откуда-то появились две девушки, какой-то танкист в шлеме, парень с баяном. Поёживаясь, тихо наигрывает что-то. Чего ты стесняешься? Смелей, смелей! Что-нибудь фронтовое — «Землянку» или «Тёмную ночь». Давай, не стесняйся. «Тё-ё-ёмная но-о-очь...»

Как любил эту песню Веточкин, славный, в кубаночке своей набекрень лейтенант Веточкин. И пел её хорошо. У него был чистый, высокий голос, и бойцы часто просили его спеть что-нибудь. И он пел. Последний раз это было недалеко от Ковеля, в лесу, на лужайке, за день до наступления. Он много пел в тот вечер. А на следующий день он подорвался на противотанковой mine. Никто не мог понять, как это произошло. Нашли только его пилотку и полевую сумку.

Нет его больше. И Кадочкина, замполита Кадочкина тоже нет. В последнем письме, откуда-то уже из Германии, Лёля писала, что он погиб во время бомбёжки. Похоронили в небольшом разрушенном селе, на берегу Одера, недалеко от Франкфурта.

Многих уже нет. Не дожили. Казаков, Трофимов, Майборода, медсестра Наташа, которую, как говорили, даже пуля жалела...

А ты вот жив...

Прозвенел где-то внизу, на Подоле, первый трамвай. Зажёгся кое-где уже свет в окнах. Люди собираются на работу. И может, даже не знают, что уже мир.

Лейтенант-танкист разложил на коленях карту, что-то показывает Алексею и Ромке. Должно быть, пройденный путь. Склонили головы, разглядывают.

Николай смотрит на лейтенанта. Немолодой уже, со следами ожогов на руке. Горел, должно быть. Повидал войну.

Николай смотрит на него и думает — вот встретятся они недели две-три тому назад, и он не то что позавидовал бы лейтенанту, но что-то ёкнуло бы в пруди. Парень, может, из госпиталя выписался, на фронт едет. А Николай уже не поедет, отвоевался.

Но это было бы две-три недели тому назад. А сегодня? Парень вот уже тоже вспоминает войну, карту показывает. Для него она уже кончилась, как и для Николая, как для всех. И скоро он скинет свои погоны и, может быть, так же, как и Николай, задумается — а что же дальше?

Но ему будет легче. Война уже кончилась. Самое главное в нашей жизни уже другое — не война.

И Николаю вдруг от этой мысли стало легко и весело. Именно здесь, в это свежее, радостное утро, ему вдруг стало ясно, что всё то, что его так мучило последнее время, — сознание, что ты делаешь не самое важное, не самое нужное, что ты пусть не по своей вине, но отстранился от самого важного и нужного, — что этого больше нет.

Как-то, укладывая завтрак в чемоданчик Николая, Шура обнаружила на дне серенькую плоскую книжицу — программу для поступающих в средние и высшие учебные заведения.

— Это что, твоё? — удивилась она.

— Моё, — ответил Николай.

— Зачем?

— Да так. Решил посмотреть.

Ответ был по меньшей мере уклончивый, но в тот же вечер Шура — при содействии, правда, Алексея — добилась более ясного.

Да, Николай решил попробовать силы. Дело, конечно, не лёгкое — за каких-нибудь два с половиной месяца надо подготовиться и по математике (в объёме десяти классов), и по русскому, и по истории СССР, и по иностранному языку, — но в конце концов у него скоро начнутся каникулы, и почему бы не попробовать.

Встал вопрос — куда?

Шура считала самым подходящим геолого-разведочный («был на войне разведчиком, вот и сейчас будешь»), но Алексей запротестовал:

— Только в строительный. Строительный, и никаких разговоров.

Во-первых, строители сейчас очень нужны, во-вторых (тут Алексей подмигивал Шуре), окончив институт, Николай сможет вернуться в своё РЖУ («будешь тогда знать, какая балка гнилая, а какая нет»), а в-третьих, и в самых важных, в начале будущего месяца Алексея демобилизуют (это почти наверно), а в институте он уже договорился о месте декана факультета ПГС (промышленно-гражданского строительства) — «иными словами, Николаю протекция обеспечена».

Какой именно из этих аргументов подействовал на Николая — трудно сказать. Возможно, что все три, а может, и ещё какие-нибудь. Много времени спустя Николай в шутку говорил, что поступил в строительный институт просто потому, что ему была знакома туда дорога. А может, и не только дорога, бог его знает... Так или иначе, по этим или другим причинам, но выбран был именно строительный институт.

Экзамены должны были быть в августе. Николай сел за книги.

Сергей, глядя на него, только посмеивался.

— Учишься? Ну, учишь, учишь. Авось и в академики выберешься. Возьмёшь меня тогда к себе шофёром, а?

Николай отмалчивался.

Не одобрил Николая и Яшка. Встретились они как-то на улице. Яшка ехал на своём грузовике и, увидев переходившего улицу Николая, заорал во всю глотку:

— Э-э, капитан!

Николай обернулся. Яшка круто подрулил к тротуару.

— Куда ж ты провалился, друг, а?

Николай посмотрел в сторону.

— Да так как-то всё... Работы много, и вообще... — Он повертел ручку двери. — В институт вот надумал поступать.

— Уговорили-таки? — Яшка иронически улыбнулся. — Ну, а друзей почему забыл?

— Что поделаешь — женатый человек. А жёны, знаешь, теперь какие — никуда не пускают.

Яшка раскрыл рот.

— Постой, постой! Какая ещё жена?

— Обыкновенная, довоенная.

— Нашёл, что ли?

— Нашёл.

Яшка протяжно свистнул.

— Вот это да, — и почесал свою лохматую голову. — А ведь такая парочка была, такая парочка...

Он стал рассказывать о шестнадцатой квартире. Анна Пантелеймоновна всё ещё болеет. Два раза было воспаление лёгких. Совсем сдала старуха, а ведь такая бойкая была. Зашёл бы всё-таки, навестил. Неловко как-то получается. Бэллочка в этом месяце, вероятно, родит. Муня работает как вол — на пелёнки зарабатывает. Старики Ковровы — как всегда. У Валерьяна Сергеевича опять кабак в комнате, ещё одну кошку завёл. Сам Яшка работает всё там же, в Союзтрансе.

— Напрасно ты тогда не согласился. Давали бы дрозда на пару. Жить всё-таки можно. Надоеет учиться — приходи, всегда устрою.

На этом разговор кончился, подошёл милиционер и велел Яшке следовать дальше, если он не хочет уплатить штраф.

— Есть, товарищ начальник, — весело козырнул Яшка и помахал Николаю рукой. — А зайти не мешало бы. Нехорошо друзей забывать, ей-богу, нехорошо.

— Зайду, обязательно зайду! — крикнул вдогонку Николай.

Но прошёл июнь, июль, а он так и не зашёл.

7

Всю ночь с тридцать первого июля на первое августа Николай не спал. В голову лезли какие-то формулы, длинная фраза из диктанта: «Большая, без единого деревца и кустика, освещённая красным, лишённым лучей солнцем, сухая степь казалась сейчас вымершей и пустынной на всём своём протяжении с севера на юг, от того места, где стоял офицер, до крохотного, почти незаметного курганчика на горизонте».

Проклятая фраза. Николай сделал в ней десять ошибок и надолго запомнил эту степь с курганчиком, солнцем, офицером... Потом вспомнилось почему-то, что три года тому назад, в эту самую ночь, с июля на август, он лежал где-то в степи, под Сталинградом. Лежал вот так же, как и сейчас, закинув руки за голову, смотрел на крупные немигающие звёзды и думал о том, что творится сейчас на правом берегу Дона, у Калача, и что ожидает его с товарищами в Сталинграде.

И вот прошло три года, ровно три года, и он так же лежит и опять никак не может заснуть. И отчего? Оттого, что завтра долговязый, желтолицый математик будет спрашивать его, что такое бином Ньютона или ещё что-нибудь похуже. Смешно. Ей-богу, смешно...

В семь он был уже на ногах. Есть не хотелось — выпил стакан чаю, с трудом впихнул в себя кусок хлеба с колбасой. Шура пожелала «ни пуха, ни пера», велела обязательно позвонить после экзамена к ней на работу. Он сказал, что непременно позвонит, чмокнул её в лоб и ушёл задолго до назначенного часа.

К двенадцати часам он освободился. Ему повезло. Желтолицый математик был вовсе не таким несимпатичным, как показалось вначале. Прежде чем дать пример, он спросил Николая, не родственник ли ему известный академик Митясов Сергей Гаврилович (вопрос этот вызвал неожиданное веселье у экзаменующихся), а после того, как Николай с грехом пополам решил пример, подмигнул и сказал:

— Ну как, на фронте легче?

В письменной Николаю помог его сосед, молоденький паренёк с торчащими ёжиком волосами, — сунул шпаргалку с решением не получавшейся у Николая задачи.

По телефону Николай сообщил Шуре:

— Всё в порядке. Трочка обеспечена.

Привычным жестом проверив, не выскочил ли обратно гривенник из автомата, он направился к выходу. В дверях его задержал паренёк с торчащими ёжиком волосами. Спросил, не знает ли он, где можно пообедать подешевле, — он, мол, приезжий и ничего ещё здесь не знает. Николай хотел ему сказать, что лучше всего в университетской столовой, что там даже пиво есть, но сказать это ему так и не удалось — из профессорской вышла Валя.

Она вышла с каким-то низеньким, очень толстым, лысым человеком — очевидно, тоже педагогом, — держа в руках большой лист бумаги, и о чём-то оживлённо с ним разговаривала. На ней была обычная её, только ещё более выцветшая гимнастёрка и полевая сумка через плечо.

Парень с ёжиком продолжал что-то говорить, но Николай не слышал его. Он прошёл через вестибюль и остановился возле профессорской. Валя стояла к нему спиной. Потом повернулась. И тут Николай, совсем неожиданно для самого себя, сказал:

— Здравствуй, Валя.

Лысый толстяк обернулся.

— Одну минуту. Неужели нельзя подождать одну минуту? Видите, мы заняты.

Валя спокойно, слишком даже спокойно, как показалось Николаю, посмотрела на него и сказала:

— Сейчас я кончу. Подожди.

Толстый и Валя ещё минут пять говорили о каком-то расписании — толстый говорил, что ему что-то неудобно в четверг, а что-то в пятницу, в конце концов выхватил у Вали из рук лист и с неожиданной быстротой побежал вверх по лестнице.

— Я сейчас, — сказала Валя Николаю и опять зашла в профессорскую.

Она похудела, осунулась, ещё больше стала похожа на Анну Пантелеймоновну. Он не видел её десять месяцев. И как спокойно она на него посмотрела! Как на любого другого студента. Или как будто они виделись только вчера и между ними ничего не произошло. Но, как бы там ни было, хочет этого Валя или нет, он пойдёт сейчас к ней, пойдёт к Анне Пантелеймоновне, а если её сейчас нет, она на работе, — придёт к ней вечером. Он не будет придумывать никаких предлогов, он скажет Анне Пантелеймоновне всё как есть. В конце концов последний разговор у него был именно с ней, и никто, кроме неё не поймёт его по-настоящему — не поймёт, как трудно после такого разговора приходиться...

Валя вышла из профессорской и, кивнув Николаю, быстро пошла к выходу.

— Ты домой? — спросил Николай.

— Домой.

— Я с тобой пойду. Можно?

Валя ничего не ответила. Они прошли несколько шагов молча. Да, она похудела, под глазами появились синяки. Неужели она не отдыхала всё лето? Рядом с загорелым, обветренным от своих школьных походов Николаем она казалась неестественно, болезненно бледной.

— Анна Пантелеймоновна сейчас дома или в библиотеке? — спросил Николай.

Валя, не поворачивая головы, сказала:

— В позапрошлом воскресенье мама умерла.

Николай остановился.

— Сердце не выдержало, — сказала Валя.

Они шли через пустырь, по которому столько раз ходили. Невдалеке от них группа сапёр привязывала верёвку к высокой одинокой стене,

которую, очевидно, собирались валить. Один из них сидел верхом на самом верху — бог его знает, как он туда забрался. Николай и Валя сели на груды кирпичей. Со стороны могло показаться, что они с интересом следят за этим сапёром.

— За два часа до смерти мама говорила о тебе. Она ни на минуту не теряла сознания... Она лежала лицом к окну и за два часа до смерти сказала: «Всё-таки как хорошо Коля полки починил, того пятна совсем не видно». Знаешь, какого? Которое выглядывало из-за той полки с толстыми журналами. Потом она сказала, тоже про тебя: «Так и не прочёл «Обломова». А я всё забываю вернуть. Напомнишь мне, когда я на работу пойду». А через два часа она умерла.

Умерла... Какая она была тогда маленькая на этом большом уютном диване. Он предложил ей зажечь коптилку. Она отказалась: «Не надо, Коля, я и так полежу». Он удивился — это было так непохоже на неё. Он вспомнил её глаза — в тот вечер они не были весёлые, они были серьёзные, непривычно серьёзные и какие-то смущённо-извиняющиеся. «На войне многое очень просто. Я знаю. Но это страшная простота. Не надо её...» Николай на всю жизнь запомнил эти слова, эти глаза. Она положила ему тогда на колено руку, маленькую, худую руку, и ему хотелось поцеловать её, руку человека, прожившего долгую, хорошую и такую тяжёлую жизнь.

К ним подошёл очень молоденький румяный лейтенантик в кокетливо сдвинутой на левое ухо пилотке и, козырнув, сказал:

— Придётся вас попросить. Сейчас рушить будем. — Он улыбнулся, сверкнув зубами. — Оттуда, с улицы, даже лучше видно будет.

Он не сомневался, что Валу и Николая больше всего интересует сейчас, как будет рушиться его стена.

— Филонов, погоди! — звонко крикнул он и побежал в сторону своих сапёров.

Валя и Николай встали и, миновав стену, начали спускаться с горы.

Николай видел много смертей. Он видел, как убивали юношей, почти мальчиков, самых дорогих ему людей. Но сейчас, когда ему сказали, что умерла молодая женщина, которую он знал всего каких-нибудь три-четыре месяца, он почувствовал такой прилив горя, что, не подойди к ним лейтенант, он, может быть, даже заплакал бы. В Анне Пантелеймоновне он почувствовал то, чего он не знал в своей жизни, — любовь старого человека, любовь матери.

Он проводил Валу до самого дома. Дальше он не пошёл, ему не хотелось никого сейчас видеть — ни Валерьяна Сергеевича, ни Ковровых, ни Яшку, ни Муню с Беллочкой.

— Так ты, значит, в наш институт поступаешь? — спросила Валя.

— Да, — ответил Николай.

— Ну что ж, пожалуй, это самое правильное.

Она протянула руку — он крепко её пожал, — повернулась и вошла в подъезд.

Валя ещё долго стояла на лестнице. Поднялась на самый верхний этаж и, облокотясь о подоконник, смотрела на улицу. Когда Валя была маленькой, она тоже приходила сюда. Тогда стёкла в окне были разноцветными — красными, зелёными, жёлтыми, — и очень забавно было сквозь них смотреть на город. Сейчас стёкла были обыкновенными, грязными и невымытыми, но Валя попрежнему сюда приходила, если хотелось побыть одной.

Когда она услышала голос Николая, его «здравствуй, Валя», ей показалось, что сейчас обрушится потолок или провалится пол. Что она ему

ответила и ответила ли вообще? Кажется, ответил Игнатий Петрович. Потом она ещё довольно долго о чём-то говорила с Игнатием Петровичем и всё время чувствовала Николая за своей спиной, даже слышала, как он чиркал спичками. О чём она говорила, что ей отвечал Игнатий Петрович, она не помнит. Потом эти проводы домой, сидение в развалинах...

У Вали странно сложилась жизнь. До двадцати лет она училась. В двадцать попала в армию. У многих в этом возрасте уже муж, дети. У Вали не было ни того, ни другого. Она вбила себе в голову, что семья — это конец свободной жизни, и хотя мужское общество всегда предпочитала женскому, происходило это главным образом потому, что она считала себя скорей «мальчишкой», чем «девчонкой».

В армии не все разделяли эту точку зрения, что, безусловно, осложняло и без того не слишком лёгкую жизнь сержанта 34-го зенитного полка. Но Валя была девушкой сильной, и кое-кто из весёлых лейтенантов почувствовал это на собственной шкуре, хотя об одном из них, о Толе Калашникове, командире артвзвода ОИПТД, никак нельзя сказать, чтобы он был так уж противен Вале. Но, что поделаешь, фронт остаётся фронтом — другого выхода у неё не было. В полку скоро свыклись с мыслью, что она «парень» и что держаться от неё надо подальше.

Когда в шестнадцатой квартире появился Николай Митясов, Валя подумала: «Ну, этот тоже...» — и в силу сложившейся за годы войны привычки сразу заняла активно-оборонительную позицию. Но Николай приходил, пил чай, рассматривал книги. Потом начались уроки английского языка, вечерние проводы... Николай одинок — Валя понимала это. У него в жизни что-то не получилось. Но и у неё-то самой после фронта тоже не было настоящих друзей. Любимая мать, хорошие соседи, институт. Нет, очевидно, в двадцать четыре года этого мало.

Потом Николай исчез. Это было настолько неожиданно, что Валя сначала подумала, не произошло ли какое-нибудь недоразумение. В её голове никак не укладывалось, что человек, в которого она поверила, который за каких-нибудь два-три месяца стал членом их семьи, человек, с которым ей было так легко и просто, который понимал её с полуслова и которого, чего уж тут скрывать, которого она полюбила, — она не могла поверить, чтобы он мог вот так вот просто повернуться и уйти. Но он ушёл.

Когда мать ей обо всём рассказала, она чуть только пожала плечами. Они ни разу потом об этом не говорили. Анна Пантелеймоновна часто заговаривала о Николае — она любила его. Валя слушала, но не отвечала ни слова.

Мать и дочь любили друг друга. И вот одной из них нет. Пустая комната, пустое сердце...

Валя стоит, облокотясь о холодный каменный подоконник, и смотрит, как галки выются вокруг старого сухого тополя. Когда-то он тоже был зелёным и рядом с ним стоял другой. При немцах его срубили.

А завтра она опять пойдёт в институт, и опять увидит Николая, и опять будет с ним разговаривать, и опять не сможет ему сказать, чтобы он не провожал её домой.

9

В этот день Шура ушла с работы на час раньше. Ей захотелось отметить чем-нибудь первый коллин экзамен — купить вина, чего-нибудь сладкого. Но магазины закрывались в шесть — тогда же, когда и шурина контора, — поэтому, придумав какой-то предлог, Шура пошла к Беленькому. Против ожидания, Беленький, несправимый формалист и педант, сразу же согласился, сказав, правда, что отпускает её только в порядке

исключения и только потому, что последние дни Шура много работает по вечерам.

Шура купила полбутылки портвейну, кэксу с изюмом — единственная сладость, которую признавал Николай, — а на последние десять рублей — два билета в кино на семичасовой сеанс. В шесть она была уже дома.

Николай лежал на кровати и смотрел в потолок.

— Я достала два билета в кино, — сказала Шура, — на «Крейсер «Варяг».

Николай рассеянно взглянул на неё и сказал, что в кино не пойдёт — картину эту он видел и она неинтересная. Где он мог её видеть, было не совсем ясно, она только что вышла на экраны, но потом выяснилось, что у него просто нет настроения, что он узнал о смерти близкого ему человека, «Анны Пантелеймоновны, я тебе говорил о ней, наша госпитальная библиотечка», и, чтобы не портить Шуре настроения, выйдет немножко прогуляться один.

Шура молча всё выслушала. Не разворачивая покупки, положила её в буфет, пошла на кухню, разогрела обед. Потом в одиночестве пообедала — Николай отказался, у него не было аппетита, — вымыла посуду.

По радио передавали музыку украинских композиторов. Козловский и ещё кто-то — Шура не расслышала фамилии — пели любимый её дуэт Лысенко «Колы розлучаються двое». Николай попросил выключить или хотя бы сделать тише. Шура выключила репродуктор и вдруг расплакалась.

Николай удивлённо на неё посмотрел.

— Ничего, ничего, — сквозь слёзы сказала Шура, — просто я очень люблю эту вещь.

— Тогда включи. Я не знал, что ты её любишь. Включи, ради бога.

— Не надо, — сказала Шура.

Николай встал, вышел на балкон, постоял там, выкурил папиросу.

«Сейчас вернётся и начнёт искать свой ремень», — подумала Шура.

Николай действительно вскоре вошёл в комнату и, застёгивая воротник, взглянул на стул, куда он обычно вешал ремень. Его там не было.

— Ты не видела моего ремня, Шура?

Шура подала пояс — он упал под стул.

— Ты к Вале? — спросила она.

— К Вале, — ответил Николай. — Надо зайти всё-таки. Ей сейчас, вероятно, очень одиноко.

Он стоял возле дверей, застёгивая ремень и старательно расправляя складки. Несколько раз провёл большим пальцем под ремнём, хотя все складки были уже расправлены.

Шура вышла на балкон.

Напротив, через улицу, строился дом — один из первых новых домов в городе. Шура любила на него смотреть, следить за каменщиками, за тем, как изо дня в день всё выше становятся стены. Обычно, глядя на него, Шура гадала, сколько в нём будет этажей. Если четыре — хорошо, он не закроет собой Черепановой горы, если пять — закроет и не будет уже видно лужайки, где они с Николаем сидели в первый раз.

Сейчас, выйдя на балкон, она увидела, что каменщики начали кладку пятого этажа, и подумала со злостью: «Ну и пусть, пусть будет пять, очень хорошо, пусть...»

То, что семейная жизнь у неё не получилась, Шура поняла не сразу.

Николай был заботлив и внимателен. Он старался помочь ей во всём. Бегал на базар, стоял в очередях за пайком. Когда она приходила по вечерам усталая и, сев на стул, не могла уже с него подняться — работать ей

приходилось главным образом стоя, — он всегда убирал со стола, мыл посуду. Соседи умилялись их дружбе, и на кухне, где женщины особенно любят поговорить на житейски-семейные темы, Митясовых часто приводили в пример, как надо жить мужу и жене.

Но вскоре Шура поняла, что это не так. Нет, не то что поняла — это не то слово. Умом, рассудком она пыталась убедить себя, что всё идёт хорошо. Но это умом, который всегда старается помочь — старается, увы, не всегда удачно. А вот тут где-то, внутри, каким-то чутьём, Шура понимала, что вовсе не так уж всё и хорошо. Скванность, появившаяся ещё при первой их встрече, когда они говорили о чём угодно, только не о том, что нужно было обоим, — эта скванность как появилась тогда, так и осталась. Николай заботлив и вежлив, это верно. Даже слишком. До войны он был куда менее заботлив. Он не умел «по-настоящему ухаживать», ходил в кино на её деньги (что было нарушением всех традиций), прибежал прямо с тренировки в спортивных шароварах и вылинявшей майке, иногда где-то пропадал с ребятами и потом её же за что-то отчитывал. Теперь он никогда не раздражался, не повышал голоса. Ей просто хотелось, чтобы он хоть раз рассердился на неё, обиделся, пусть даже накричал — что угодно, только не это сдержанное внимание, это ненужное благородство человека, любящего тебя только из жалости. Да, он её любит только из жалости. Когда он пришёл, она расплакалась, не выдержала и расплакалась. Вот он её и пожалел. Несчастливая, одинокая, пережившая оккупацию.

Оккупация... А может?.. Но нет. Шура гнала от себя эту мысль. Не может этого быть! Есть ещё, конечно, такие, которые смотрят на всех переживших оккупацию, как на людей сомнительных, чуть ли не изменников. Но при чём тут Николай? И как она могла о нём подумать? Нет, нет, нет...

Потом появилось другое. Сначала она гнала и эту мысль, потом всё чаще и чаще стала к ней возвращаться. Просто ему с ней скучно. Ему нужна совсем другая жена, не такая, как Шура, ему нужна умная жена, с которой можно поговорить и о том, и о сём, и о всяких там прочитанных книжках. Вот такая, как эта самая Валя. Она где-то там что-то преподаёт, и отец у неё, кажется, каким-то учёным был, и сама она, как Николай, была на фронте, а не в оккупации (ох ты, господи, опять эта оккупация!), ну и вообще... Она хотела как-то спросить Николая, сколько ей лет, — вероятно, столько же, сколько и Шуре, — но потом не решилась: а вдруг подумает... Нет, просто ему с ней скучно. Она возвращается с работы, а он уже за книгой. Никогда раньше столько не читал. А теперь уткнётся в книгу и молчит...

Однажды она пошла на хитрость — купила пол-литра, может, это по-может разговориться. Но, как назло, явился Сергей — у него какое-то чутьё на это дело, — и языки у них действительно развязались, но о чём они говорили? О своих солдатах, о всяких там танках, окружениях, Ваньках, Петьках — как не надоело только!

Потом появился Алексей. Николай сразу оживился, стал много говорить, смеяться — совсем как до войны. Шура начала ревновать его к Алексею. Вначале даже хотела, чтобы тот скорее от них уехал. Но когда он, получив какую-то каморку, действительно уехал, пожалела — Николай опять уткнулся в книгу.

Шура принялась старательно читать газеты. По вечерам рассуждала на международные темы и, как ей казалось, вовсе не так уж глупо. Но Николай только рассеянно поднимал голову и говорил: «возможно», «право не знаю», «да», «нет». Если бы то же самое говорил Алексей, он сразу оживился бы и, кроме этих слов, у него нашлись бы и другие...

Шура стояла на балконе. Она слышала, как Николай всё ещё ходил по комнате, звеня мелочью в кармане. Потом вышел на балкон, стал за её спиной.

— У тебя что, неприятности какие-нибудь? — спросил он.

Шура не ответила.

— По службе, что ли?

— Да... по службе...

— Опять твой Беленький?

— Нет, не Беленький.

— А кто же?

Он наклонился над ней, и Шура почувствовала на шее и затылке его дыхание.

— Кто же? Скажи мне.

Шура не выдержала.

— Ах, господи, боже мой... Не всё ли равно, кто. Как будто это тебя интересует.

Николай взял её обеими руками за голову и повернул к себе лицом.

— Шура, что это значит?

У неё дрожали губы.

— Уходи, — еле слышно сказала она. — Уходи... Уходи к своей Вале... — и опять расплакалась.

Николай несколько секунд стоял, держась рукой за перила, потом резко повернулся и вышел из комнаты.

10

Экзамены были сданы. Всё оказалось совсем не так страшно. Николай получил по всем предметам четвёрки, а через несколько дней в вывешенном списке обнаружил свою фамилию.

По этому случаю был устроен небольшой пир «в самом тесном кругу друзей». Все держали себя свободно и весело. Ромка Видкуп, забавно перебирая плечами, пел цыганские романсы под гитару, Сергей показывал чудеса жонглирования, разбив всего лишь две тарелки, Алексей прочёл «Оду на вступление Николая на учёную стезю».

Назавтра Николай уехал в Черкассы.

За день до того никто об этом даже не думал. План возник случайно на вечеринке. Оказалось, что у Ромки есть родители, отец и мать, и совсем недалеко, в Черкассах, что до начала занятий осталось больше двух недель и что вообще какого чёрта, говорил Ромка, околачиваться в городе, когда можно чудесно провести время на Днепре, поправляясь на родительских харчах? Шура и Алексей поддержали его, и на следующий день Николай с Ромкой выехали на старенькой осипшей «Десне» в Черкассы.

За два дня до начала занятий Николай вернулся домой. Шура, увидев его, всплеснула руками.

— Ой! Какой толстый! — и в голосе её чувствовался даже испуг. — Никогда тебя таким не видела.

Николай рассмеялся.

— Картошка, сметана, спокойная жизнь.

— А почему телеграммы не прислал? Я бы тебе пирог с яблоками испекла. Сейчас столько яблок...

Она побежала на кухню, а Николай, посмотрев её вслед, подумал: «Ну, вот и всё в порядке. Весёлая, собирается пирог печь».

Весь вечер они провели вместе. Николай рассказывал о полуметровых сазанах, которых они там ловили, о старике Кононовиче — ромкином отце, по вечерам заводившем бесконечные разговоры с Николаем. Шура делилась своими служебными новостями.

Следующий день был воскресеньем. Привыкший к реке, Николай вытащил Шуру на пляж, и, хотя был конец августа, Шура даже обожглась. Провели они на пляже целый день. Лежали под грибом, немножко поиграли в волейбол. Потом Николай демонстрировал Шуре прыжки в воду с вышки. Прыгал он хорошо — всякими щучками и ласточками, и Шура с удовольствием слушала, как опытные пловцы хвалят её Николая.

Вернулись последним катером, прошлись по тихому вечернему городу, рано легли спать, усталые от воздуха, солнца, воды — совсем как в старое, доброе время.

На следующий день Николай пошёл в институт.

Но оказалось, что аудитории для первого курса ещё не подготовлены и занятия перенесены на завтра, на вторник. Николай списал расписание, потолкался между ребятами в вестибюле. Потом зашёл в библиотеку — надо было захватить учебники, пока не поздно.

За столом, у самой стойки, сидела Валя. Наклонившись над книгой, она что-то выписывала из неё в блокнот. Николай прошёл мимо (она не подняла головы), попросил нужную ему книгу, полистал её, потом подошёл к Вале. Он не видел её целый месяц.

— Можешь меня поздравить, Валя, — сказал он негромко, перегнувшись через стойку.

Валя вздрогнула и подняла голову.

— Можешь меня поздравить, — повторил он. — Приняли.

Валя продолжала смотреть на него, повернув голову и прикусив губу. Потом сказала:

— Поздравляю. Я очень рада.

— Я тоже. — Николай почему-то улыбнулся. — Вот я и студент, значит.

— Студент, — повторила за ним Валя и посмотрела куда-то в сторону.

По всему видно было, что она не очень склонна к разговору. Но Николай не отходил. Ему не хотелось уходить. Придвинув ногой стоявший у стойки стул и опершись о него коленом, он смотрел на Валию.

— У тебя что, лекция сейчас?

— Да, через пять минут.

Николай помолчал, потом, чувствуя, что пауза затягивается, спросил почему-то о Бэллочке:

— Ну, как Бэллочка? Не родила ещё?

— Родила. Двойню.

Он не выдержал и рассмеялся.

— Бедный Муня! И давно?

— Говори тише. Здесь всё-таки библиотека.

Николай заткнул ладонью рот, потом вопросительно взглянул на Валию и спросил уже шёпотом:

— Вероятно, надо подарить что-нибудь?

— Твоё дело.

— Что же?

Валя ничего не ответила. Николай почесал затылок.

— Придётся на толкучку сходить.

Он посмотрел на часы — было без пяти двенадцать. Отодвинул стул, выпрямился. Валя кончила писать и всовывала блокнот в полевую сумку.

— Так у тебя, значит, ещё лекции? — спросил Николай.

— Да. До трёх.

— А после трёх?

Валя подняла голову.

— А тебе зачем?

— Просто так... Думал — может, вместе на толкучку ходим. Я ведь в этих вещах не очень...

— А я, по-твоему, очень? — Она чуть-чуть улыбнулась, и Николаю сразу стало хорошо, он не видел этой улыбки почти год.

В коридоре задребезжал звонок. Валя перекинула сумку через плечо и сказала:

— Прости, мне надо идти.

Николай до трёх часов бродил по городу. Прошёлся по садам, вдоль Днепра, затем, от нечего делать, зашёл на выставку проектов реконструкции города. Ему было весело и хотелось разговаривать. По выставке ходил недовольного вида старик в пенсне, с серебристой бородкой. Николай почему-то решил, что он художник, и завёл с ним разговор. Старик оказался не художником, а капельдинером оперного театра, но тем не менее критиковал проект с апломбом старожила и знатока.

— Ну чего это они всё придумывают? Удивить хотят. Строили бы, как оно раньше было, и никто б их не ругал. Разве плохо было? Я вас спрашиваю — разве плохо?

Николай говорил, что не плохо, но сейчас всё-таки другое время, и если уж строить заново, так зачем же строить так, как при царе Николае.

Старик качал головой.

— А зачем эти шпили? Не понимаю. Дом должен быть домом, с окнами, крышей, честь-честью. А они шпили какие-то.

Старик был рад собеседнику и попытался даже перейти с архитектуры на театр, но Николай понял, что это небезопасно, к тому же было уже без четверти три, и, распротясь со стариком, побежал за Валею.

Толкучка отняла у них часа полтора. Несмотря на поздний час, народу было так много, что к концу своего похода Николай с Валею чувствовали себя так, будто их полтора часа молотили цепями. Они долго стояли перед детской коляской на рессорах и резиновых шинах, но она была не по карману, и пришлось, уговорив себя, что младенцы всё равно в ней не поместятся, ограничиться покупкой двух чепчиков.

Чепчики были бумазные, в общем очень некрасивые, с какими-то голубыми бантиками, неизвестно для чего, но молодые родители пришли в восторг. Бэллочка утверждала, что чепчики очень даже к лицу младенцам. Николай, хотя никак и не мог понять, о каких лицах может быть речь, тоже соглашался и говорил, что очень мило. Муня держал обоих близнецов на руках и смотрел такими счастливо-умоляющими глазами, что не хвалить Аркадия и Ларису было бы просто бесчеловечно. И Николай хвалил, и Валя тоже хвалила, и Бэллочка сияла, а Муня просил разрешения распеленать их, чтобы показать, какие у них аппетитные спинки и животики.

Потом пришёл Яшка Бортник и стал совать им в рот папиросы. Муня пытался его оттащить, Яшка хохотал. Тогда Бэллочка сказала, что она будет сейчас кормить, и все ушли.

Валя отправилась на кухню что-то готовить. Николай зашёл к ней в комнату и с детской радостью стал рассматривать знакомые предметы — разбитое пресс-папье, под которым лежали квитанции за квартиру, куски кварца и горного хрусталя. Под чернильницу была засунута старая концертная программа.

Николай вспомнил этот концерт. Анна Пантелеймоновна с Валею заставили его как-то пойти с ними послушать музыку.

— Слух у вас есть, а музыки вы не знаете, — сказала тогда Анна Пантелеймоновна. — Надо приучать себя к хорошей музыке. Идите на кухню, почистите сапоги.

Он пошёл на кухню, почистил сапоги, а потом битых три часа сидел и слушал какой-то Бранденбургский концерт и ещё какие-то классиче-

ские вещи. В одном месте он, кажется, даже всхрипнул, но ни Валя, ни Анна Пантелеймоновна, к счастью, не заметили.

Обе они были в восторге — восхищались дирижёром, бледным, длинноруким человеком во фраке, страшно вспотевшим к концу вечера. Николай говорил, что ему тоже понравилось, но, когда ему предложили через неделю пойти опять, он под каким-то предлогом уклонился — музыку он любил, но предпочитал всё-таки ансамбль Александрова.

— Ладно, ладно, — говорила Анна Пантелеймоновна не унимаясь. — Вот придет Нейгауз, попробуйте тогда у меня отвертеться...

Николай засунул программу опять под чернильницу. Бедная Анна Пантелеймоновна, так и не дождалась она своего Нейгауза.

В комнату вошла Валя и стала накрывать на стол. Постелила скатерть, расставила тарелочки точно так, как это делалось при Анне Пантелеймоновне, и то, что это было сделано именно Валей, которая этого никогда раньше не делала, особенно как-то тронуло Николая. Вообще Валя держалась спокойно. О матери говорила мало, а когда говорила, то просто и сдержанно. Незнакомый человек мог бы даже подумать, что мать её умерла не месяц тому назад, а по крайней мере год. Но в каких-то мелочах — в еловой веточке над последним портретом Анны Пантелеймоновны, снятым перед самой войной, в приколотых булавкой к спинке дивана часах, которые всегда вешала туда Анна Пантелеймоновна, когда ложилась спать, в этой скатерти и тарелочках чувствовалась вся любовь и большое, настоящее горе дочери.

Она сказала Николаю:

— Ты знаешь, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что мамы нет. Вчера, например, в восемь часов пошла на кухню чайник ставить, чтоб к половине девятого успел закипеть. Ведь мать обычно к половине девятого приходила.

Николай чувствовал себя почему-то виноватым. Весь сегодняшний день ему было как-то особенно радостно и хорошо, и именно поэтому, сидя в комнате, где всё напоминало Анну Пантелеймоновну, он никак не мог отделаться от ощущения, что он держит себя не так, как надо, что у него глупо-счастливое лицо и что Валя это видит и ей это неприятно. И всё-таки ему было хорошо.

Вернувшись к себе, Николай сказал Шуре, что у него было шесть лекций, потом собрание, что он очень устал, ужинать не будет — он перекусил там с ребятами, — и сразу же лёг спать.

Это был первый случай, когда Николай солгал Шуре. Первый и последний.

11

Сергей Ерошик больше всего в жизни не любил свою службу в Осоавиахиме. Он был, что называется, широкой натурой. Если гулять, так уж так, чтобы чертям тошно было, — с музыкой, песнями, танцами; если работать, так уж работать, по-молодецки, с присвистом, чтобы пальцами на тебя указывали — вот, мол, он какой.

О том, что он станет лётчиком, Сергей мечтал чуть ли не с семилетнего возраста. Мастерил какие-то модели, вырезывал из книг и наклеивал в тетрадку фотографии самолётов и знаменитых лётчиков, с одним из них даже познакомился, правда не знаменитым и не военным, а гражданским, что было, конечно, не то, но знакомством этим горд был невероятно. Увлечение это кончилось тем, что, не закончив десятилетки, он поступил в школу мотористов, а перед самой войной — в лётное училище.

Занимался он хорошо, с увлечением, но образцом дисциплины не был никогда. Ещё в училище занимал далеко не последнее место по количе-

ству часов, проведённых на гауптвахте, а в полку чаще других имел не слишком уютные беседы с замполитом. Зато если уж речь заходила о воздушных боях, то чаще и больше всего говорили о паре Шелест — Ерошик. Дрались они оба действительно хорошо. Шелест спокойнее, увереннее. Сергей азартно, отчаянно, и, может, именно поэтому прибывшая из училищ желторотая молодёжь не сводила с него влюблённых глаз: «Вот это пилотяга так пилотяга!» Сергей снисходительно улыбался и, рискуя быть опять приглашённым на беседу к замполиту, выкомаривал в небе чёрт знает что: воевать — так с шиком! Молодёжь, не имея возможности походить на него в бою, подбрасывала на его манер затылок, ходила слегка вразвалочку, сдвинув шлем на макушку.

Но всё это было позади. И это и вольная — хотя и тошная, по правде сказать, — «доосоавиахимовская» жизнь с деньгами, гульбой. Сиди теперь на колченогом стуле, смотри в чернильницу, вспоминай о прошлом. И Сергей сидел, курил, швырял окурки под стол и ненавидел этот стол, ненавидел бумаги, отчётность, ненавидел своего начальника, подполковника в отставке, приносившего с собой на службу кефир и курившего махорку только потому, что в ней якобы меньше никотина.

— Мухи дохнут от скуки, как только зайдёт. Вот так вот, кверху лапками...

Чего Сергей хотел, он и сам не знал. Но только не этого.

Как-то на футбольном матче он встретил майора Анциферова, помпохоза полка, в котором они вместе служили в сорок первом году. Сейчас Анциферов работал в штабе округа. Тут же, с матча, зашли в ресторан «Динамо». Сергей стал ругать жизнь, работу, начальника с кефиром. Анциферов сочувственно и немного смущённо смотрел на Сергея, постукивая ножом о стакан, потом сказал:

— А почему бы мне не свести тебя с капитаном Сененко? А?

— Это что ещё за капитан?

— Хороший парень. Начальник аэроклуба. На той неделе встретил — говорит, ему люди нужны.

— Куда? В аэроклуб? Чего я там не видел? Пацанов? «Удвёшки»?

Анциферов улыбнулся.

— Всё-таки свежий воздух, молодёжь...

— К чёртовой матери! Не хочу. Нашли педагога...

Анциферов всё-таки вырвал из блокнота листок и записал на нём свой телефон.

— Заходи. У меня жена хорошая. Вареники с вишнями любишь? Так делает, что пальчики оближешь, — и посмотрел на часы, к девяти ему надо было в штаб.

Сергей проводил его до трамвая.

Аэроклуб?.. На кой дьявол он ему сдался! Смотреть, как другие летают? Анциферов всю жизнь протолкался помпохозом, фрицев только пленными видел... А он — истребитель. Плевал он на эти аэроклубы.

Через полчаса он был уже у Славки Игнатюка.

Круглолицый, губастый, с ленивым взглядом из-под полуопущенных век, Славка, увидев Сергея, улыбнулся:

— Жив?

— Как видишь.

— А морда кислая.

— Горькой хочется, потому и кислая.

Славка почесал свою жирную грудь.

— Что ж, можно... Давно тебя не видел.

— Давно.

В прошлом году, после ссоры из-за тапочек, они расстались и не виделись что-то около года. Сейчас Славка работал в райпотребсоюзе.

— Не то, что в прошлом году, но жить можно. А ты? Сколько имеешь?

— Шестьсот пятьдесят.

— Тю-ю... Женился, что ли?

— Нечего мне делать!

— Сдрейфил?

— Вроде.

Игнатюк криво усмехнулся:

— Твоё дело... А то мог бы устроить.

Они сидели в подвальчике. Игнатюк лениво поглядывал по сторонам.

— Жизнь, конечно, не фонтан, масштабы другие, но умеючи можно. На хлеб с маслом и эту штуку,— он щёлкал пальцами по бутылке,— хватает.

Сергей молчал.

— Да ты рубай, не стесняйся. — Игнатюк вилкой подвинул тарелку с селёдкой и вялыми, серыми огурцами.— Надоело, вижу, бумажки свои писать? Спокойнее, что и говорить, а всё-таки... Как это Валька Костюк говорил? Десять тысяч всегда лучше одной. А ну, отец, дай-ка нам ещё.

Сергей ковырял вилкой огурцы.

Десять тысяч всегда лучше одной. Смешной парень был этот Валька. Посадили. А Игнатюк — дрянь. Умный, хитрый, но дрянь. Да и он сам, Сергей, тоже дрянь. Разве не дрянь? Хорошо Николаю — Шура, семья, две ноги. У Анциферова тоже жена... вареники с вишнями...

Вернулся Сергей домой уже ночью. Спал как убитый. На работу опоздал — пришёл к двенадцати. Начальник ел кефир и мрачно поглядел на Сергея. Потом спросил:

— Заболели, что ли?

— Да.

В четыре часа Сергей ушёл. В пять он условился встретиться с Игнатюком. Надо было только предварительно позвонить по телефону. Стоя в тесной, исписанной со всех сторон будке, долго искал листок с номером телефона. Наконец нашёл. Набрал номер.

— Вас слушают,— ответил знакомый, чуть-чуть хриловатый голос.— Кто говорит?

— Это я, Сергей.

— Алло! Кто говорит? Алло! Да нажмите вы кнопку.

Сергей нажал — какой дурак их только придумал!

— Говорит Ерошик. Мне надо...

— А, Сергей? Привет. Ты сейчас свободен? Заезжай, Чкалова, 58. Жёлтый дом с белыми колоннами. Я тебя буду ждать на углу. У меня как раз перерыв.

Сергей повесил трубку. Что за чёрт! Голос был явно не славкин... Он стал рыться в бумажках. Ну, конечно же, он позвонил Анциферову. Балда! Перерыл все карманы — славкиного телефона не было.

В стекло уже кто-то стучал монетой. Сергей вышел, порылся опять в карманах, плюнул и пошёл на Чкалова, 58. Через час Анциферов уже знакомил его с капитаном Сененко.

Капитан оказался штурманом бомбардировочной авиации, сбитым в апреле сорок пятого года над Берлином, потерявшим одно ухо и приобретшим шрам — от того места, где ухо было, до самого подбородка. В синем комбинезоне с засученными рукавами и в сдвинутой на затылок фуражке, он водил гостей по полю и говорил:

— А вон то ангар,— он указывал на какой-то полуразвалившийся сарайчик.— А вон там вот, отсюда не видно, за ангаром, наша техника. На прошлой неделе получили.

Из-за сарая выглядывала видавшая виды, насквозь простреленная «удвёшка» — самолёт «У-2» — без мотора. Сергей скептически посмотрел на него, заглянул в сарай, именовавшийся «ангаром», почесал затылок.

— М-да...

— Что поделаешь, война. — Капитан тоже почесал затылок, сдвинув фуражку на лоб. — Обещают помочь.

— Обещают...

Зашли в «ангар». С десяток хлопцев, лет семнадцати-восемнадцати, в одних трусах, возились вокруг распиленного на части мотора.

— Учебные пособия, — пояснил капитан.

Ребята, оказывается, разыскали где-то на свалке два старых мотора, притащили их сюда, промыли в бензине, распилили пополам цилиндры, картеры, поршни и теперь красили разрезы красным.

— Всё собственными руками, что поделаешь.

Загорелый паренёк в изорванной и измазанной суриком майке подошёл к Сененко.

— Ездил в горсовет сегодня, товарищ капитан. Опять отказали.

— Опять?

— Опять. Без проекта, говорят, нельзя.

Капитан выругался.

— А ты им говорил?..

— Всё говорил, товарищ капитан. — Парень кивнул в сторону другого, цыганского типа парнишки, старательно, высунув язык, водившего кистью по разрезу. — Мы вот с Малым вместе ездили. И слушать не хотят.

— А ну их... — Капитан в сердцах плюнул, глянул на Сергея. — При ребятах не хочется, а то я тебе сказал бы, что за люди там попадают. Аудиторию надо построить — так проект им подавай. Кирпич достали, лес достали, теперь им проект подавай. Скоро на курятники проекты требовать начнут. — Он хлопнул хлопча по загорелой спине. — Ладно, Костя, завтра вместе двинем.

Анциферов вскоре уехал — перерыв его кончился. Сергей остался. Скинув пиджак, засучив рукава, стал возиться с нераспиленным ещё мотором с «Фокке-Вульфа-190». В воздухе он с этим самолётом сталкивался — эти «Фокке-Вульфы» появились впервые на Курской дуге, — с мотором же до сих пор не встречался.

Сененко с трудом оторвал его от этого занятия.

— Закругляйся, друг. Девятый час уже. Ребятам завтра на работу вставать.

С поля доносился смех. Ребята смывали с себя краску бензином. Сергей вышел. Помылся. Возился долго — запах бензина его возбуждал. Капитан крутился возле.

— Ну, так как? — спрашивал он уже в пятый или шестой раз.

— Что как?

— Пойдёшь к нам?

— К вам?

— К нам.

— А кем?

— Да я же тебе сказал. Инструктором по теории пилотирования.

Сергей рассмеялся, бросил ветошь в стоявший у входа ящик с песком.

— На чём? На том корыте без мотора?

— Смейся. Поедем в Москву, добьёмся и с мотором. Было бы желание и люди. Люди — это главное. А то ведь один, совсем один. Разрываешь на части. И то и сё, и пятое и десятое. Ног не хватает.

— А сколько платить будете?

— Шестьсот. И литературная карточка.

Сергей поморщился.

— Маловато.

— Товарищ капитан! — крикнул кто-то со двора. — Автобус гудит. Опоздаем.

До города было минут тридцать езды. Трясло немилосердно. Ребята хохотали, валясь друг на друга. Капитан сидел мрачный, смотрел в окно. Прощаясь, протянул Сергею руку.

— Ну, так как?

Вопрос был задан, кажется, в седьмой раз, и было ясно, что теперь уже просто для очистки совести.

Сергей искоса взглянул на капитана.

— А гроши е?

— На трамвай, что ли?

— Да при чём тут трамвай? Надо же смочить это дело, как по-твоему?

12

Как-то, вернувшись домой, Шура обнаружила на своей кровати спящего Сергея. Он давно уже не появлялся, чуть ли не с того дня, когда жонглировал, и сейчас эта распостёртая на кровати фигура несколько удивила её.

Сергей потянулся и зевнул.

— Привет.

Шура подошла к балконной двери и открыла её. Уходя, она обычно закрывала её, чтобы не наносило пыли.

— А накурил-то как! Не продохнёшь. Ты где пропадал?

— Не пропадал, а работал.

— Рассказывай!..

— А чего мне рассказывать. Только что из Москвы вернулся.

Звучало не очень правдоподобно.

— А что ты там делал?

— Не гулял, конечно. — Он сел на кровати и протёр глаза. — Помыть-ся у вас можно на кухне?

— Да погоди ты. Расскажи сначала толком.

Сергей встал, снял с гвоздя полотенце и перекинул его через плечо.

— Вот какие все женщины любопытные. Ну, сменил я профессию, вот и всё.

Шура недоверчиво взглянула на него.

— Опять тапочки?

— Нет, на этот раз не тапочки.

— А жаль, — сказала Шура. — Мои совсем уже кончились. — Она кивнула головой в сторону валявшейся в углу совсем уже растоптанной пары белых тапочек.

Сергей посмотрел в угол. Потом молча подошёл туда, наклонился, взял тапочки в руки, несколько секунд внимательно их рассматривал и вдруг, замахнувшись, вышвырнул их в балконную дверь.

— Чтоб больше я их никогда не видел...

Шура улыбнулась.

— Ну ладно, ладно, — и, чтобы переменить разговор, спросила: — Так какую же ты профессию выбрал?

— Инструктор по теории пилотирования при аэроклубе, — мрачно сказал Сергей. — Хорошо звучит, а?

Он козырнул и отправился на кухню.

— Значит, опять летаешь? — спросила Шура, когда он вернулся из кухни чистенький, с невытертым в ушах мылом.

— Чёрта с два! Только название, что инструктор. Гоняю по учреждениям, выколачиваю доски, гвозди, цемент. Завхоз, в общем.

Он повесил полотенце на гвоздь, вышел на балкон и развалился в своём любимом плетённом кресле.

— Сидят там эти бюрократы, дюймового гвоздя из них не выколо-тишь. Животы себе поотрачивали, канцелярские души. Хлопцев жаль, хорошие подобрались, а то плюнул бы, ей-богу, и послал бы всех к такой-то матери... Лезешь за шестьсот рублей из кожи вон, а им, начальникам этим, подавиться бы им на том свете, хоть бы хны...

Он стукнул кулаком по колену. Шура улыбнулась и, зная, что, если во-время не перебить Сергея, он в своём гневе дойдёт до нецензурных слов, спросила:

— А в Москву чего ездил?

— Как чего? Не гулять, я ж тебе сказал. Голоса там лишился, все кулаки об столы оббил, но дело сделал — к весне «удвёшка» будет. Покричишь — всего добьёшься.

Он стал рассказывать о Москве. До этого он был в ней только раз — в середине октября сорок первого года. Тёмная, тревожная, с висящими в небе аэростатами, она произвела тогда на него мрачное впечатление.

То были самые трудные дни в жизни Москвы. Учреждения эвакуировались. По пустынным улицам проезжали машины, гружённые шкафами, стульями. На окраинах и на самых широких улицах строили баррикады, расставляли в несколько рядов железные ежи. Дома были раскрашены в нелепые, яркие цвета. На некоторых нарисованы были деревья и целые рощи. У людей были напряжённые лица.

Сейчас не то. Лётчицкое сердце Сергея не могло нарадоваться обилию машин. Их было так много, столько их бегало теперь по улицам, что Сергей часами, забыв обо всём, спорил с шофёрами о преимуществах тех или иных марок и с упоением возился, уткнувшись вместе с шофёром в закапризничавший карбюратор. Ненавистный всем москвичам запах бензина нравился ему.

Метро ему тоже понравилось. Но не красотой своей — все эти мраморы и граниты на Сергея мало действовали, — а чистотой — спичку даже не уронишь! — и чёткостью работы. Сергей любил чёткость и безотказность механизма, в метро он это нашёл.

Кроме того, он был в планетарии и стереокино. Но ни то, ни другое ему не понравилось.

— Большой интерес на звёзды смотреть. А в кино этом только шея болит. Ну его...

И всё-таки поездкой своей Сергей остался доволен. Зато, когда он вернулся домой и ввалился в свою сырую, засыпанную окурками комнату, ему стало вдруг скучно.

— Берлога, одно слово, берлога. Решил к тебе зайти.— Сергей искоса посмотрел на Шуру.— Дай хоть картинку какую-нибудь на стенку или цветов горшочек.

— Бери,— сказала Шура.

— А тебе не жалко?

— Чего их жалеть? Музейная ценность, что ли?

Сергей посмотрел на Шуру.

— Что-то вид у тебя неважный. Работаете всё?

Шура ничего не ответила.

— Денежки всё зарабатываешь? — Он прошёлся по комнате.— Так я эту возьму, с волнами, она как будто побольше.— Он влез на стул и снял картину. Тяжело соскочил.— Проклятый протез, опять натирать стал. Газета есть? Старая какая-нибудь.

Шура указала на этажерку. Сергей взял и старательно завернул картину.

— А где благоверный? На занятиях, что ли?

— Очевидно...

— И утром и вечером? В хвост и в гриву? Держись только! Попался парень... Кстати, скажешь — из Москвы ему привет привёз. От одного парня, с которым воевал. Скажешь, от Матвеева. Где-то они на Украине вместе грязь месили.

Шура кивнула головой.

— Ну, а цветы в другой раз. — Сергей посмотрел на стоящие на окне и балконе кактусы, фикусы, бегонии. — Или к чёрту. Всё равно завянут. Поливать не буду, солнца нет... — Он вздохнул. — Жаль всё-таки, что супруг твой из той жилищной лавочки ушёл. Надоела мне что-то моя дыра. Стареть, наверно, стал. К уюту потянуло.

Он стоял у двери с картиной подмышкой и всё почему-то не уходил.

— Пришла бы хоть прибрала. И вообще, почему ты чаем не угощаешь?

— А ты хочешь? — Шура подняла голову.

— Хочу. Или, вернее, домой не хочу. Поставь-ка чайник.

Шура вышла на кухню, потом вернулась. Сергей опять удобно расположился в плетёном кресле и положил ногу на перила — последнее время она стала у него почему-то отекать.

— Помнишь, как ты меня тогда всё обедом угощала, — сказал он смеясь. — А я всё отказывался, говорил, что тороплюсь куда-то. А Федя твой всё по карте мне показывал, какие города наши заняли. Помнишь?

Шура поставила на стол два стакана, баночку с повидлом. Подложив дощечку, стала резать хлеб.

— А где он сейчас? В Риге всё?

— В Риге.

— Пишет?

— Нет.

— А в общем неплохой парень. — Сергей рассмеялся и подмигнул одним глазом. — Чем он только тебя опутал, никак не пойму. Пацан ведь.

Шура серьёзно посмотрела на Сергея.

— Ты знаешь, я не люблю, когда ты так разговариваешь. Мне это неприятно.

— Ладно, ладно, не буду. — Он опять рассмеялся. — Нельзя уж и подразнить. При Кольке же я не говорю.

— Николай здесь ни при чём, — сказала Шура.

— То есть как это — ни при чём? Муж — и ни при чём. Вот это мне нравится!

Шура подошла к шкафу и, не оборачиваясь, сказала:

— Николай здесь больше не живёт.

— Как не живёт?

— Очень просто. Не живёт — и всё.

Сергей свистнул. Подошёл к Шуре, потом к столу, опять вышел на балкон.

— Я ему переломаю все кости, — тихо сказал он. — Все до одной. Понятно?

Шура так же спокойно ответила:

— Нет. Ты ему ничего не сделаешь.

— Нет, сделаю.

— Тогда уходи домой. Если будешь так говорить, уходи домой. И не появляйся здесь.

Шура была совершенно спокойна. Немного побледнела, но спокойна. — Пей чай, — сказала она. — Ты ведь чаю хотел. Сахару только нет. Придётся с повидлом.

— А ну его...

Сергей откинулся на спинку стула и долго смотрел в потолок — большая трещина, начинавшаяся около розетки, извиваясь, ползла от одного угла к другому.

13

Николай сидел в скверике против университета.

В институт он опоздал. Последние спешащие на работу служащие торопливо прошли через сквер. Появились первые няньки с младенцами. Вокруг памятника Шевченко пышно цвели какие-то цветы, яркокрасные и жёлтые, на длинных стеблях. В прошлом году их не было, тогда только жиденькая трава росла. Университет обносят забором — собираются восстанавливать. С деревьев тихо падают первые, одинокие ещё листья клёнов — верный признак жаркого лета и близкой осени.

Николай на всю жизнь запомнит этот день. И эти цветы. И этого мальчика в штанах из плащ-палатки, старательно лепящего возле фонтана песчаный городок. И самый фонтан — гипсовый карапуз с уткой в руках, у утки отбита голова. И этого медленно бредущего старика с козлиной бородкой, — не капельдинер ли это из оперы? Нет, не он... И садовника, волочащего по дорожке кишку...

Второе сентября 1945 года. В этот день кончилось для него что-то очень большое, очень важное.

И сколько раз уже в его жизни что-то кончалось, кончалось навсегда, и начиналось другое, совсем новое... В сороковом, когда он женился на Шуре, и в сорок первом, когда вспыхнула война, и через три года, когда врачи испытывали его руку электрической машинкой. И потом, когда он вернулся к Шуре. И вот сейчас опять.

Николай сидит на скамейке, старательно ковыряет оторвавшийся кусок коленкора на чемодане. В чемодане бельё, несколько книжек, бритвенный прибор и шурина карточка, та самая, где они сидят вдвоём. Они снялись перед самой войной, в воскресенье, — как раз за неделю до начала войны. И в этом же скверике. Только ближе к бульвару, там была фотография — голубенький павильон с замазанными белой краской окнами.

Всё это позади...

Когда он год тому назад пришёл к Шуре и увидел её плачущей, с тряпкой в руках, ему вдруг показалось, что вернулось прошлое и что лучше этого прошлого — дружного, хорошего, о котором так мечталось всю войну, — нет ничего на свете.

Но не получилось это дружное, хорошее, прежнее. Ну вот, живут они в одной комнате, живут тихо и мирно, и Николай старается не думать о Вале. Но ведь всё это не так, всё это обман. И то, что они живут вместе, что это семья и что он не думает о Вале...

Как трудно было об этом говорить! Шура допивала свой чай, сосредоточенно разглядывая стоящую на столе сахарницу с отбитой ручкой, и только кивала головой — она понимает, она всё понимает. И лицо у неё было такое, как всегда, только губы плотно сжаты. И ни одного упрёка, ни одной слезинки.

Он проводил её до трамвая. Потом вернулся, поставил всё на своё место, сложил шурины чертежи на столе. Долго писал записку — глупую записку со словами какой-то благодарности. Зачем? Зачем он её написал? Разве можно об этом писать? Милая, сдержанная, замкнутая, всё понимающая Шура, не читай ты этой записки, не читай этих слов.

Николай сидит, курит, смотрит на старика-садовника, почтительно поливающего большие красные цветы вокруг памятника. Потом встаёт, берёт чемодан и медленно направляется к выходу.

14

Если идти по Андреевскому спуску к Подолу, на правой стороне, чуть ниже Андреевской церкви, стоит дом. Мальчишки, которые приходят сюда со всех окрестных и даже далёких улиц, прозвали его «Замок Ричарда Львиное сердце». Он действительно похож на замок. Он стоит над самым обрывом, весь в башенках, окружённый подпорными стенками с бойницами, несимметричный, с маленьким двориком, таинственными лестницами, какими-то ходами, переходами.

Одна из таких лестниц, кирпичная, перекрытая сводом, выводит на прилепившуюся к дому горку. С горки виден Подол со всеми его фабриками, элеваторами, церквушками, виден Днепр, железнодорожный мост, дальние вышгородские леса.

Ещё в детстве, когда Острогорские жили неподалёку, на Рейтарской улице, Валя часто приходила сюда, играла здесь с мальчишками в «рыцарей и разбойников», пускала вместе с ними змею.

Сегодня она тоже пришла сюда.

По расписанию у неё должно было быть четыре часа, но Игнатий Петрович, как всегда, что-то напутал, хотя сидел над расписанием целую неделю, и вторые два часа, оказалось, не с кем проводить.

Домой не хотелось. Вообще с того дня, как умерла мама, Валя любила свою комнату. Она в ней только ночевала, остальное время возилась с блейбмановскими младенцами, помогала Марфе Даниловне в хозяйстве, часто у Ковровых же и обедала.

Но сегодня не захотелось ни к тем, ни к другим. Потянуло на свою горку — давно здесь не была.

День был ясный, чуть-чуть прохладный. Пожилая женщина в очках и накинутом на плечи платке сидела на табуретке и читала книгу. Маленькая девочка в беленькой шапочке на пуговках играла рядом в куклы. Мать — а может, бабушка, — наклонясь, сказала ей что-то. Девочка подбежала к Вале и спросила, который час. Валя ответила, но девочка захотела сама посмотреть на часы. Ей очень не понравилось, что цифры на часах римские, — дома у них есть часы, так там цифры настоящие, а сами часы в виде маленького домика и сверху в домике сидит совсем уже маленькая кукушка, но сейчас она в отпуску и не кукует. Так они разговаривали, пока девочка вдруг не спохватилась и не убежала. Уже пробежав несколько шагов, вдруг обернулась и сказала: «Спасибо».

Валя подумала, что и у неё могла быть такая же девочка, даже старше. Или мальчик. Бегал бы так по горке и, как все мальчишки, не слушался бы её. А может, и слушался бы. Толя Калашников, командир взвода противотанкового дивизиона, её слушался. Он, гроза всех артиллеристов, при Вале смущался, сопел и, краснея, дарил ей какие-то особенные кинжалы с цветными ручками. Это было три года тому назад. Ей было тогда двадцать лет, она ходила в белой мохнатой ушанке с «Вальтером» на боку, и ей очень нравилось, что такой вот большой и сильный Толя при ней теряется и не знает, что сказать.

Это было три года тому назад. А теперь...

Десять месяцев она не видела Николая. И ещё один месяц. Бесконечный месяц, когда она думала только о нём — о нём и о Шуре. Она пыталась себе представить её. Какая она? Сколько ей лет? Какие у неё глаза? Вале почему-то казалось, что она маленькая, с ямочками на щеках, хохотунья... Валя не выдержала и спросила. Это было вчера. Николай

сидел на валике дивана, закинув руки за голову и грыз мундштук. Она — рядом, поджав под себя ноги, смотрела на его круглую, коротко стриженную голову, на широкий, горьковский, как говорила мама, нос, на маленький мундштучок, который он перебрасывал из одного угла губ в другой. «Спросить или не спросить?» Она спросила.

Он, не поворачивая головы, протянул к ней руку и ошупью поймал её ладонь.

— Не надо об этом говорить,— сказал он.

— Почему? — и так как он ничего не ответил, повторила: — Почему не надо?

— А просто так, не надо...

Он повернулся и посмотрел на неё.

— А ты её любишь?

Валя даже не уверена, спросила ли она его об этом, может быть, только подумала. Вместо ответа он положил свою круглую, колючую, тёплую голову к ней на колени. Так ничего и не сказал.

Во дворе «Замка Ричарда» появились ребята с мячом. Сделав из двух кирпичей ворота, стали забивать голы. Мяч часто скатывался с горки вниз, и ребята, препираясь и обиняя друг друга, спускались за ним и карабкались потом наверх, цепляясь за кусты.

Откуда-то донеслись радиосигналы — проверка времени. Валя встала, надо ещё готовиться к вечерним лекциям.

На Владимирской у репродукторов стояли группы людей, ждали какого-то сообщения. Вероятно, о Японии. И так же, как в первые дни мая, когда на углах стояли и ждали сообщения о мире, никакого сообщения не было: передавали обзор «Комсомольской правды».

Валя постояла и пошла дальше.

Завтра она поговорит с Николаем. Она твёрдо это решила. Хотела вчера, перед его уходом, но не вышло — не смогла. Всю ночь лежала и думала. В институт он не пришёл. Она даже в его аудиторию заглянула, его не было. Значит, завтра.

Она ни слова не скажет о его жене, она только попросит, чтобы он к ней больше не приходил.

Войдя в квартиру, Валя, как обычно, сунула руку под шкаф — по старой привычке, она там всё ещё оставляла ключ. Его не было. Валя почувствовала, как у неё вдруг забилось сердце. Она сделала несколько шагов и вошла в комнату — дверь была не заперта.

Николай сидел на балконе, на ящике из-под картошки, что-то читал, на полу стояла пепельница, набитая окурками. Он не слышал, как Валя вошла.

Господи, вот оно... Сейчас.

Валя вышла на балкон. Николай поднял голову. Захлопнул книгу, встал. Он приоткрыл рот, как будто хотел что-то сказать, но, увидев её лицо, ничего не сказал. Молча, как будто спрашивая, смотрел на Валу.

— Ты из института? — спросил он наконец.

— Да, из института.— Вале показалось, что это сказала не она, а кто-то стоящий рядом с ней.

Она подошла к перилам. Виноград уже стал краснеть. Она сорвала листок и растёрла его между ладонями. Николай тоже подошёл и тоже сорвал листок. Год тому назад они так же стояли на этом балконе и Валя так же срывала листья. Только тогда был вечер, недавно прошёл дождик, пахло свежей землёй и отцветающим табаком и из комнаты доносился грохочущий яшкин хохот. Сейчас кругом тихо. Только изредка доносится детский писк из бэлочкиной комнаты.

— Мне надо с тобой поговорить, Николай,— сказала Валя. — Даже не поговорить, а попросить об одном одолжении.

Николай молчит. Может быть, он кивнул головой — Валя не смотрит в его сторону. Она вдруг чувствует, что не находит слов.

— Дай мне папиросу, — говорит она.

Николай вынимает из кармана пачку. Валя на ощупь берёт папиросу, спички, закуривает, делает несколько затяжек. Опять закружилась голова — как в тот раз...

— Так вот, — говорит она. — Я думаю, лучше всего будет, если ты... В общем, не приходи больше. Не надо. — И помолчал: — Мне это неприятно.

— Неприятно?

— Да, неприятно.

Молчание. Валя срывает ещё несколько листьев и бросает их вниз. Они падают на тротуар.

— Но это же неправда, — говорит Николай очень тихо и отдельно.

— Нет, правда. И если ты честный человек, ты должен сам понять.

Несколько секунд Николай ещё стоит. Потом она слышит, как он проходит по комнате, как скрипят половицы. В глубине квартиры хлопает дверь.

Вот и всё...

Валя возвращается в комнату, ложится на диван и долго лежит, уткнувшись лицом в подушку.

15

Первый курс любого института всегда самый трудный. Особенно для того, кто попал на него прямо с фронта или почти прямо с фронта.

Первое время кружится голова. В переносном и даже в буквальном смысле. Необычная обстановка, непривычные люди, профессора и преподаватели, с которыми не знаешь, как держаться, книги, в которых ничего не понимаешь, логарифмы, интегралы, абсциссы, дифференциалы — сам чёрт ногу сломит. И многие бросают. Не выдерживают и бросают...

Николай не бросил. Но не потому, что ему было легче, чем другим. Напротив, ему было труднее, чем очень многим. Но именно в этой трудности, может быть, и заключалось как раз то, что было так необходимо ему сейчас.

День загружен до предела. Вставать приходится в половине восьмого. В восемь начинаются лекции, в три кончаются. Вечером иногда бывают семинары — правда, не часто: два, а то и один раз в неделю. Кроме того, надо готовиться к следующему дню, ещё три-четыре часа просидеть над книжкой и ложиться в два-три, иногда даже в четыре часа ночи. На первых лекциях Николай часто засыпает. Преподаватель о чём-то говорит, Николай слушает и дремлет, потом вдруг видит, что ребята над ним смеются. Впрочем, они тоже часто засыпают. Получается, как на фронте, — больше всего хочется спать.

Трудно. Трудно вставать в половине восьмого, когда ложишься под утро. Трудно сидеть за партой — в институте почему-то не столы, а узенькие школьные парты, ноги всё время во что-то упираются. Трудно следить за тем, что говорит и пишет на доске преподаватель. Ещё труднее всё это записывать, а потом дома разбирать.

Особенно трудно с математикой и начертательной геометрией. Николай до сих пор никогда не чертил и не рисовал (в армии ему всегда доставалось за плохо сделанные схемы), и все эти проекции и аксонометрии никак ему не даются. Но математика хуже всего — хуже «начерталки», хуже физики.

Читает её профессор Корчагин — тихий, спокойный, никогда не раздражающийся. Он читает аналитическую геометрию. Возможно, это даже и интересно, но когда Николая вызывают к доске, он вдруг чувствует, что

весь покрывается потом. Перед командующим армией так не волновался, как перед этим спокойным, с усталыми, никогда не улыбающимися глазами человеком, стоящим у исписанной формулами доски.

— Ну, что ж, садитесь,— говорит он, печально глядя на гвардейский значок Николая.— Понимаю, что трудно. Садитесь. Просмотрите к следующему разу ещё раз материал.

И Николай всю ночь сидит в общежитии над книгой, просматривает к следующему разу ещё раз материал, а голова — как камень, ничего не понимает.

Кроме этого, приходится ещё отвечать за всю группу.

Курс состоит из двух групп. В своей Николай самый старший — почти все остальные моложе двадцати четырёх лет. К тому же он единственный коммунист, остальные — беспартийные, комсомольцы и только два кандидата партии,— поэтому его избирают старостой. Опять стал чем-то вроде командира, многие даже называют его капитаном.

Есть на курсе две девушки — Поступальская и Гарф. Ходят всегда вместе, сидят рядом, стесняются. Да и все другие присматриваются ещё пока друг к другу, держатся особняком.

Почти треть группы — девять человек из тридцати не только учатся, а ещё где-то работают, и это, конечно, отзывается на успеваемости. Секретарь партбюро, немолодой уже, по-чапаевски усатый, спокойный и всех умеющий успокаивать Хохряков говорит Николаю:

— Знаю, что у тебя многие работают, всё знаю. Но те, которые не работают, могли бы получше заниматься. Фронтовички твои как? Не качают?

— Да ничего,— уклончиво отвечает Николай.— Трудновато, конечно, что и говорить, на троечках больше выезжаем.

— Подтяни их, Митясов, подтяни. Не к лицу тебе, чтоб твоя группа отставала. Подтяни.

И Николай подтягивает.

С фронтовиками, за исключением одного, действительно тяжелее всего. На курсе их, не считая Николая, пять человек — Казанцев, Григорчук, Антон Черевичный, комсорг группы Лёвка Хорол и Громобой. Настоящая его фамилия Громовой, но иначе, как Громобой, на курсе его не зовут.

Казанцев и Григорчук к концу первого семестра «отсеялись» — один не выдержал нагрузки, ушёл на работу, другой переехал с семьёй в Харьков. Остались трое — Антон Черевичный, Лёвка Хорол и Громобой. С ними-то Николай и сблизился, сначала с первыми двумя, потом и с третьим.

Лёвка и Антон очень не похожи друг на друга. Лёвка — то, что называется «интеллигентный мальчик», ходивший чуть не до войны в бархатных курточках, собиравший марки, учившийся на скрипке (отец его был довольно известным в кругу музыкантов скрипачом) и неожиданно для всех ушедший вдруг семнадцати лет добровольцем на фронт. Антон — шахтёр и сын шахтёра — почти всю войну, с сорок второго года, провёл в плену, и только благодаря своему здоровью смог перенести всё то, что он перенёс в Германии. Одному двадцать лет, а на вид и того меньше, и только перед самой войной он окончил десятилетку, другому же двадцать шесть, семилетку он окончил около десяти лет тому назад, потом год проучился в железнодорожном строительном техникуме, но вынужден был бросить по семейным обстоятельствам. Один совсем недавно, краснея, впервые побрился в парикмахерской, у другого уже семья и двое детей, которым он регулярно из своей стипендии высылает деньги куда-то в Донбасс. Один по-юношески лёгок, весел и шутя, не заглядывая в книги, сдаёт все зачёты. Другой молчалив, застенчив, кривошпеч — у него отбито одно лёгкое,— молча на всех смотрит своими голубыми, ясными,

чуть-чуть печальными глазами и с невероятным трудом одолевает премудрости науки.

И тем не менее у них есть что-то общее. На первый взгляд даже трудно сказать что — очень уж они не похожи. Только потом, значительно позже, Николай понял, в чём было это сходство и почему его потянуло к ним. Оба они были именно такими, какими были, они ничего не делали, чтобы казаться лучше, чем они есть.

Лёвка Хорол всегда бодр и весел. Это не значит, что он всё время смеётся или шутит,— и то и другое он делает в меру, не больше и не меньше других. Но достаточно появиться ему, румяному, свежему, всегда почему-то растрёпанному, с какими-то вихрами на затылке, в расстёгнутой даже зимой рубашке, с забавной своей родинкой на самом подбородке, — и сразу всем становится легко и весело. Он плохой рассказчик — после контузии он слегка заикается, — но то, что он рассказывает, всегда интересно и, главное, весело. Даже когда рассказывает о войне, и то почему-то получается весело, как будто на войне, кроме забавного, ничего не случилось.

Лёвка много читал, но он не книжник. Он относится к тем счастливым натурам, у которых на всё хватает времени и желания. Он азартно и небезуспешно ухаживает за самой хорошенькой девушкой института, третьекурсницей Ксеничкой Антоновской, но если подвёртывается весёлая мальчишеская компания или чей-нибудь день рождения в общежитии, махнув рукой, идёт на день рождения.

Николай смотрит на Лёвку Хоролу и думает: вот кому легко в жизни будет! Всем интересуется, всё умеет, всё схватывает на лету, все его любят, и он всех любит. Станет прекрасным инженером или архитектором — Лёвка мечтал перевестись на архитектурный факультет,— и будет у него чудесная жена, чудные дети, и жить они будут дружно, весело...

С Антоном Черевичным Николай сошёлся не сразу. Сначала Антон показался ему сумрачным и замкнутым. Он молча приходил на лекции, молча садился за свой стол, молча ходил и курил по коридорам во время перерывов, и голоса его, за исключением тех случаев, когда его вызывали к доске, никто не слышал. Николаю была понятна эта замкнутость — как-никак, столько лет провести в плену,— поэтому он считал неудобным заводить с ним разговоры. Да на первых порах он и сам по горло был занят всякими физиками и математиками, не до Черевичного было.

Потом он понемногу стал присматриваться к нему. Бросалась в глаза поразительная трудоспособность и настойчивость Антона. Он мог восемь — десять часов сидеть над учебниками, и это (если не считать двух лет плена и побоев) доводило его иногда до обмороков. Ребята его растирали, он вставал и опять садился за учебники.

Присмотревшись к Антону, Николай понял, что он вовсе не сумрачен и не замкнут, а просто очень застенчив. Антону всегда казалось, что он кому-то мешает, что с ним неинтересно, он очень стыдился своих обмороков. Но достаточно было его расшевелить, проявить интерес к нему, к его жизни, как он сразу становился другим.

Как-то, заполняя какую-то анкету или список, Николай спросил его, где он родился.

— В Нью-Йорке,— спокойно ответил Черевичный.

— Брось дурака валять. У меня времени нет. Где ты родился, я спрашиваю?

— В Нью-Йорке, я ж говорю,— и улыбнулся.— Это в Сталинской области. Посёлок такой шахтёрский есть, Дзержинского района. Честное слово. Можешь в паспорте посмотреть.

— Неужели есть?

Оказалось, что действительно есть.

— Так, может, и нью-йоркский райком партии есть?

— Нет, райкома нет. А поселковый Совет нью-йоркский есть. И председателем его был до войны человек по фамилии Дэвис.

Николай и стоявшие рядом ребята рассмеялись. Действительно, получалось очень смешно.

Вообще Антон умел подмечать смешное, но держал его в себе и высказывал только случайно, в ответ на какой-нибудь вопрос. Антон много видел и пережил, но и об этом не рассказывал просто так, чтобы рассказать. Если его, например, спрашивали: «Ну расскажи, Антон, как у вас там в лагере было?» — он пожимал плечами и говорил: «Да как во всех. Не лучше и не хуже». — «Били вас?» — «Били». — «Сильно били?» — «Основательно». Больше из него ничего выжать не удавалось.

Но иногда, если это приходилось к слову, он вдруг начинал рассказывать, и вот тогда-то слушатели сидели молча, раскрыв рты.

Как-то на квартире у Лёвки Хорола — Лёвка подтягивал товарищей по математике — произошёл такой случай.

Прозанимались весь вечер. В двенадцатом часу сели за стол. Лёвкин отец — маленький, подвижной, в тёплой пижаме, с поблёскивающими из-за пенсне глазами, великий любитель поговорить, — развернув газету, стал комментировать заявление нашего посла в Бельгии. В заявлении шла речь о том, что группу советских граждан, которых ещё задерживают в Бельгии, вместо того чтобы репатриировать, посадили в тюрьму.

Илья Львович возмущался. Подумать только, до чего обнаглели! И кто? Бельгийцы, которые и трёх дней не воевали. Им всех их генералов вернули, а они, сукины сыны, людей в тюрьму сажают. И кого — людей, которые столько времени просидели в лагерях, в фашистских лагерях...

Он шуршал газетой и никак не мог успокоиться.

— Где это мы с тобой читали, Лёвик, о каком-то лагере в Бельгии? Возле Брюсселя, кажется...

— Бреендонк? — сказал вдруг Антон, обычно всегда молчавший и сосредоточенно пивший свой чай.

— Вот-вот, Бреендонк, совершенно верно. Там ведь бог знает что творилось. Где это мы с тобой читали, Лёвик? — Он повернулся к Антону. — Вы тоже читали?

Тот смутился и поперхнулся чаем.

— Нет, не читал..

— Откуда же вы знаете?

Антон покраснел и, не отрываясь от скатерти, сказал:

— Я в нём сидел, в этом лагере. Это в тридцати километрах от Брюсселя. Потом бежал оттуда.

Оказывается, он пробыл в этом, одном из самых страшных немецких лагерей около трёх месяцев. Потом бежал во Францию, попал к партизанам в Савойе, воевал вместе с ними, потом их отряд накрыли, он через Альпы бежал в Италию, там попался, приговорён был к расстрелу, опять бежал, опять попался, но на этот раз ему повезло — его не расстреляли, а вернули в Германию и бросили в лагерь. Потом освободили наши.

— Вот чёрт! Так ты пол-Европы, выходит, исколесил?

— Исходил, скорее.

— И в Париже был?

— Был. И в Бельфоре был и в Милане. Но вообще в городах не очень. Больше в горах и деревнях.

В этот вечер Антон был королём. Вначале он смущался — не привык к такому вниманию к своей особе и вообще неловко себя чувствовал, но потом как-то окреп, развязался. В этот вечер ему пришлось рассказать о многом. О том, как попал в плен тяжело раненный на Юго-Западном фронте, как собственными средствами лечился, с помощью молодень-

кого фельдшера-казаха, как в первый раз бежал из лагеря (а бежал он шесть раз), как сдружился с французскими партизанами — жителями Савойи, гористой местности на границе Швейцарии и Италии, одной из самых бедных провинций Франции.

В довершение всего оказалось, что он неплохо говорит по-французски.

Софья Петровна — маленькая, живая, говорливая, — улыбаясь и красиво картавя, задала ему несколько вопросов. И — о чудо! — Антон стал отвечать, не так быстро и не так красиво картавя, но стал отвечать. И так несколько минут они разговаривали и как будто даже понимали друг друга.

— Ну и парень же ты, — говорил по дороге Николай, когда они наконец вырвались от Хоролов. — Могила, а не человек. Я бы на третий день обо всём этом уже рассказал, а ты... Странный парень, ей-богу...

Антон ничего не ответил — за один сегодняшний вечер он сказал больше, чем за всё время своего пребывания в институте.

16

С Громобоем дружба завелась тоже не сразу.

Очень большой, с кажущейся маленькой на его широченных плечах красивой головой донского казака, коротконосой и чубатой, он всегда ходил, звеня орденами на весь коридор. По натуре своей человек добрый и отзывчивый, он был вспыльчив и крайне обидчив. Ему всё время казалось, что чем-то унижается его фронтовое достоинство, что к нему не так относятся, как того требуют его заслуги и ордена, и каждую минуту он готов был любыми средствами защищать свою честь.

Громобой был сталинградцем. В Сталинграде же был ранен, потом воевал в Польше, Германии, Чехословакии, награждён был шестью орденами, из них двумя польскими и одним чехословацким. Поэтому считал, что многое ему дозволено.

Чуть ли не в первый день занятий у него произошёл конфликт с маленьким, тщедушным Куныком из-за того, где кто будет сидеть. Он швырнул книги Куныка в угол, двинул его чуть-чуть плечом так, что Кунык полетел вслед за книгами, а сам преспокойно уселся на его место, вытянув чуть ли не до середины комнаты красивые, обтянутые хромовыми низкими сапожками ноги.

Николай подошёл к нему и спокойно сказал:

— Подбери книги, извинись перед Куныком, а сам перебирайся туда, к окну.

Громобой взглянул исподлобья.

— А ты кто такой, интересно мне знать?

— Моя фамилия Митясов. С сегодняшнего дня я староста группы и предлагаю тебе сделать то, что я сказал.

Громобой смерил Николая с ног до головы презрительным взглядом и, ничего не сказав, повернул к нему свою могучую, перетянутую портупеей — он до сих пор носил портупею — спину.

Николай молча поднял край скамейки, на которой сидел Громобой, и тот с грохотом, звеня орденами, полетел на пол. Николай положил брошенные книги на стол и сказал Куныку:

— Твоё место будет здесь. Ясно? Садись.

В этот момент вошёл преподаватель. Громобоею пришлось сесть к окну.

В перерыве он подошёл к Николаю и, не глядя в глаза, мрачно сказал:

— Хоть ты и староста, а блин я из тебя сделаю. Понял?

— Что ж, — сказал Николай, — можно после лекций выйти прогуляться. Я не возражаю.

Но после лекций Громобой куда-то исчез, а на следующий день подошёл как ни в чём не бывало.

— А ты, друг, оказывается, тоже сталинградец. Я и не знал. У кого воевал?

После этого случая некоторое время всё шло более или менее нормально. Однажды, правда, Громобой опять с кем-то «завёлся», считая, что к нему не так отнеслись, как надо, но после вмешательства Николая дальнейшие эксцессы, в общем, прекратились. Вообще, как ни странно, Громобой слушался Николая.

Заниматься ему было трудно. Как и Николаю, ему труднее всего давались математика и физика.

— Не моих мозгов дело. Не переваривают, что поделаешь? Туп.

Николай, по правде говоря, тоже не совсем понимал, почему Громобой не поступил, например, в физкультурный институт, где его мышцы были бы более уместны. Он как-то даже спросил его об этом.

Тот немного удивлённо посмотрел на Николая.

— А я знаю? Получилось так, и всё. Когда демобилизовался, спросили: хочешь учиться? Хочу, говорю. В военное какое-нибудь техническое училище хочешь? Нет, говорю, не хочу. А куда ж ты хочешь? А бог его знает, вам виднее — в механический, что ли? В механическом, говорят, мест нет, хочешь в строительный? Строительный так строительный, один дьявол. Вот и попал в строительный. Перевестись всегда успею, если надоест.

— А в физкультурный не пробовал?

— Улыбнулся мне физкультурный. Доктора говорят, сердце ни к чёрту. Война испортила.

— А в военную школу почему не захотел?

— Э-э... Пусть молодёжь идёт. С меня хватит. Осколков нахватался, — и, засовывая книги за шинель, добавил: — Да, брат, это тебе не фронт, не Сталинград...

А вскоре, на зачёте по физике, Громобой опять отличился. Правда, физик был тоже неправ, и, может быть, только это дало Николаю возможность замять поступок Громобоя, который вряд ли закончился бы так благополучно.

Громобой напутал что-то в ответе. Физик, усталый после пятичасового сидения за столом, зевая, посмотрел на его листок и велел подумать ещё. Громобой стал думать, но у него ничего не получалось. Тогда физик подошёл к нему и, взглянув на его грудь, украшенную орденами, сказал:

— Я бы на вашем месте, молодой человек, имея столько орденов, из армии не уходил бы, — и, наклонившись, взял двумя пальцами висевший на груди Громобоя польский крест «Виртути милитари». — Это какой?

— А ты не лапай! Не тебе дали!

Громобой оттолкнул руку физика и, бросив на пол листок с задачей, красный, с круглыми от бешенства глазами, направился к выходу. Николай заслонил ему дорогу. Громобой стиснул зубы.

— Пусти!

Николай не двинулся.

— Пусти, а то...

Лицо его стало совсем пунцовым. Физик, бледный, дрожащими руками складывал свои тетрадки.

— Ты сейчас же попросишь извинения, — тихо и внятно сказал Николай. — Слышишь? Сейчас же...

Громобой сжал челюсти так, что скрипнули зубы. Потом повернулся, тяжело шагая, подошёл к столу и негромко сказал:

— Извините, я не...

Физик торопливо, не глядя, закивал головой:

— Хорошо, хорошо... Я понимаю. Я поставлю вам удовлетворительную оценку, но...

— А он разве решил задачу? — всё ещё стоя в дверях, спросил Николай.

— Нет... Но я вижу, что товарищ...

— Тогда ставьте двойку. Товарищ подзаймётся и сдаст.

Громобой молча кивнул головой.

Николай попросил физика о происшедшем никому не говорить, а когда тот вышел, подошёл к Громобойу и сказал резко:

— Солдат тоже... Истерики закатывает. Смотреть на тебя противно. Развесил ордена и пыжишься, как павлин.

Громобой сидел на столе, опустив голову, и смотрел на носки своих начищенных сапог. Потом вдруг поднял свою красивую чубатую голову. Николаю показалось, что ему чудится, — по щекам Громобоя текли слёзы.

— Не кричи на меня, Колька... Не кричи... — и запнулся.

Николай опешил. Он всего ожидал, только не этого.

Громобой соскочил со стола, подошёл к окну и облокотился о подоконник. Николай обнял его за плечи.

— К чёрту! Пойду к директору, — по-детски всхлипывая, говорил Громобой. — Пусть отчисляет. Я не виноват, ей-богу, не виноват... Ну, не понимаю я. Что я могу поделывать? Не понимаю я всех этих, чёрт его знает, как они называются... Даже названия запомнить не могу... Пусть отчисляет. Я и сам знаю, что мне здесь не место... Пойду вот и скажу.

Николай смотрел на этого большого, сильного, увешанного орденами человека, по щекам которого катились слёзы, и всё это ему было так знакомо, так понятно.

На следующий день Громобой пришёл на лекции без орденов, даже без планок.

Случай этот напомнил Николаю о Сергее.

Не виделись они месяца три, а то и больше, — со дня отъезда в Черкассы. Как-то потом Николай заходил к нему — это было в первые дни ухода от Шуры, когда всё было горько и противно, — но не застал. Хозяйка сказала, что он не то на работе, не то в отъезде — с ним разве поймёшь.

Сейчас, после случая с Громобоем, Николая опять потянуло к нему. Захотелось увидеть его усатую физиономию, узнать, где он, чем занимается, бывает ли попрежнему у Шуры. Сергей был одним из тех немногих людей, с которыми можно было говорить просто и обо всём. С Алексеем было не просто, да и вообще встречались они теперь мельком, на лестнице или на партсобрании, или когда Николай забежал к нему в деканат, так сказать, по долгу службы. Перекидывались двумя-тремя словами и расходились. С Валеёй встречи происходили тоже на лестнице или на собрании. Когда-то с ней было тоже просто и легко. Сейчас они только слегка кивали друг другу головой и расходились в разные стороны.

Как-то после лекций Николай собрался к Сергею. Захватил с собой Громобоя и пошёл. Но и на этот раз их постигла неудача. На дверях сергеевой комнаты висел замок. Мало того, выглянувшая из соседней комнаты женщина, повязанная платком, сказала, что он здесь уже не живёт.

— Выехал. Совсем недавно выехал.

— А куда, не знаете?

— Не знаю, голубчик, не говорил. Теперь здесь бухгалтер один живёт.

Больше ничего узнать не удалось.

— Жаль,— сокрушался дорогой Николай,— жаль парня. Боюсь, как бы опять с пути не сбился. У него это есть, разгульность такая. Держится, держится, а потом как ахнет — всем тошно станет. А хороший парень, очень даже хороший. Жаль.

Они шли с Громобоем по улице, подняв воротники своих выдавших виды шинелей,— моросил дождь,— и Николай рассказывал ему о Сергее, об их первой встрече, о сложной, никак не получавшейся жизни его.

— И вот провалился. Был бы Фимка, мы б сразу его нашли, а теперь ни того, ни другого.

Но Николай ошибался. Если бы даже и существовал ещё Фимка со своим заведением, Николай не нашёл бы там Сергея.

17

Дней через десять после ухода Николая Шура снова уехала в Харьков. Обычно Шура старалась уклониться от командировок, но сейчас ей так вдруг захотелось куда-то вырваться, так неуютно было возвращаться в свою пустую комнату, что она, охотно приняв предложение, в одно прекрасное сентябрьское утро уложила чемодан и отправилась на вокзал.

Сергей тоже приехал на вокзал.

— Ну к чему эти проводы? — говорила Шура, делая вид, что сердится, а на самом деле радуясь приходу Сергея.— Подумают ещё, что ты...

— Ну и пусть думают, нам какое дело.

Они вышли на перрон.

— Не люблю я почему-то Харькова,— сказала она, рассеянно смотря на подходящий к перрону поезд.— Неуютный он какой-то, скучный. И площадь эта с Госпромом. Пустырь, а не площадь.

— Ничего,— сказал Сергей.— Через две недели вернёшься домой.

— Это говорится только, через две недели. Раньше октября не вернёмся. Я уж знаю. Все цветы мои погибнут за это время. Попросила Ксению Петровну за ними следить, да она и своих-то не поливает.

— Не погибнут. Чего их там поливать особенно.

— Кактусы не погибнут. И плющ, может, тоже. А вот бегонии и олеандры... Ты всё-таки иногда заглядывал бы. Будет свободное время — загляни, напомним Ксении Петровне.

— Можно и заглянуть, нам не трудно.

— Кактусы часто поливать не надо. Они не любят воды.

— Ладно. Не буду.

Они помолчали. Потом Сергей спросил:

— А ты зачем в Харьков едешь?

— Как зачем? — удивилась Шура.— Ты же знаешь.

— А всё-таки зачем?

Поезд лязгнул буферами. Из вагонов, толкаясь, стали выскакивать провожающие.

— Ну ладно,— сказал Сергей, поднимая шурин чемоданчик.— Садись, а то останешься.

Шура села в вагон, и поезд почти сразу же тронулся. Сергей помахал рукой и ушёл.

На следующий день он зашёл проверить цветы. Выставил их все на балкон — их было так много, что пришлось внести с балкона в комнату плетёное кресло,— и старательно полил их из кувшина. Через день спать зашёл, а потом стал приходить чуть ли не каждый день.

За месяц шурино́го отсутствия цветы буйно разрослись, олеандры покрылись розовыми бутончиками, а старый фикус неожиданно вдруг выпустил длинное зелёное остриё, которое через день распустилось и превратилось в свежий, ослепительно зелёный листочек. Сергей был очень горд, пригласил даже соседней посмотреть, как весело растут цветы под его «чутким руководством».

Приходил он вечером, после работы, поливал цветы, иногда подметал комнату и вытирал пыль со всех предметов, так как балконная дверь была всегда открыта и с улицы наносило пыль.

Как-то, снимая половой щёткой паутину над голландской печкой, Сергей обратил внимание, что потолок в этом углу от копоти стал совсем чёрным. Став на табурет, он попытался почистить щёткой, но получилась только хуже — исцарапал потолок.

«Надо его просто побелить», — подумал Сергей и на следующий же день явился с двумя малярами, стариком и вертлявым мальчишкой с бельмом на глазу.

Старик, посапывая, долго смотрел на потолок и стены, потом сказал: — Что ж тут белить? Тут надо целый ремонт делать. Обои-то ещё довоенные. В тридцать пятом такие продавали. Содрать надо. Всё равно заляпаем. И двери покрасить.

Сергею эта мысль понравилась. Немногочисленные вещи были вынесены в коридор, старые обои содраны и сожжены на кухне. Через три дня комната была неузнаваема. Потолок сверкал изумительной, непередаваемой белизной, розетка посреди комнаты и лепные карнизы покрыты были лёгкой позолотой, а серебристо-голубые стены усеяны какими-то цветочками, которые, по мнению Сергея, должны были гармонировать с висящим над шуриной кроватью ковриком.

Ремонт обошёлся дешевле, чем в то время мог обойтись, — маляры были знакомые и за работу взяли по-божески, — но, как это всегда бывает, он потянул за собой ещё целый ряд дополнительных расходов.

Во-первых, был куплен и повешен большой оранжевый абажур с бахромой, от чего комната сразу приобрела тот уют, которого, как казалось Сергею, ей ещё не хватало. Во-вторых, на толкучке была приобретена крохотная настольная лампа с красным пластмассовым абажурчиком, а к кровати проведён специальный штепсель, так что теперь, засыпая, Шура могла не бегать каждый раз к двери тушить свет. Кроме того, на стену был повешен большой портрет Пушкина, паркет начищен до зеркального блеска, стол накрыт новой клеёнкой, перила на балконе выкрашены небесно-голубой эмалевой краской, а шарики на перилах — белой.

Всё получилось очень красиво, и Сергей с нетерпением стал дожидаться шурино́го возвращения. В письме Шура написала, что приедет пятнадцатого, но приехала только восемнадцатого, и три дня Сергей с непонятым замиранием сердца подходил к шуриной двери.

«Что за чепуховина? — думал он, подымаясь по лестнице на пятый этаж. — И с чего бы это я так?..»

Он был растерян. Дожив до двадцати четырёх лет, он ни разу не влюблялся, держался с женщинами просто и грубо, как с товарищами, но не отдавал им той любви, которую отдавал товарищам. И вот теперь, встретившись вдруг с женщиной, в которой увидел совсем не то, что видел в женщинах до сих пор, он вдруг растерялся.

Он сам не понимал, что происходит. Ему казалось, что он просто жалеет Шуру, что ему обидно за неё, за то, что Николай её не понимает, а когда Николай ушёл, по-настоящему рассердился на него. Но что всё это и есть любовь, этого он не понимал.

Тем не менее, получив от Шуры письмо — несколько строчек о том, что она много работает и, вероятно, раньше, чем через две недели, не вернётся, — он столько раз его перечитывал, что под конец, кажется, выучил наизусть. Прибирая комнату после ремонта, он по несколько раз переключивал шурины вещи и стащил даже маленькую фотографию, лежавшую на столе под стеклом, на которой Шура была снята верхом на трёхколёсном велосипеде. На этой карточке Шуре было всего семь лет, но выражение лица было совсем такое, как и теперь, когда она чему-нибудь радуется, — сияющее и чуть-чуть удивлённое.

Когда Шура приехала, первыми её словами было:

— Ну зачем ты это сделал? Зачем, спрашивается?

Сергей мрачно молчал, покручивая ус.

— И во сколько это обошлось?

— Во сколько надо, во столько и обошлось.

— И абажур этот. Он стоит триста рублей, я знаю. И не говори мне, пожалуйста, что тебе его подарили. Ты заплатил за него триста рублей, сознайся.

— Сколько надо, столько и заплатил.

— Сумасшедший, честное слово, сумасшедший. Лишние деньги завелись? Так и знай — буду тебе из каждой получки выплачивать.

— Что ж, выплачивай, — согласился Сергей.

— И буду. А что ты думаешь?

— А я и не протестую. Дело хозяйское.

Потом они пили чай на новой клеёнке. Шура всё время дразнила Сергея, говорила, что к голубым стенам нельзя было покупать оранжевый абажур, что клеёнка пластмассовая и скоро покоробится. Сергей был мрачен и молчалив. Ушёл около двенадцати, сказав на прощание:

— О перила пока не облакачивайся. Там краска ещё не просохла.

Шура обещала не облакачиваться, проводила Сергея до двери, потом вернулась, зажгла свою новую лампочку с красненьким абажуром и до часу ночи читала. Лампочка ей очень понравилась. Вообще она была рада, что вернулась.

18

Сергей вставал рано. Когда надо было идти в главк, выколачивать что-нибудь, можно было вставать и попозже — в учреждениях работа начиналась в девять. Но если выколачивать было нечего, вставать приходилось в шесть. Аэроклуб, как и все аэроклубы, находился за городом, возле аэродрома, и, чтобы не канителиться с попутными машинами, Сергей ездил туда автобусом, который отправлялся от Аэрофлота в семь утра.

Большинство ребят днём работало, но те, что были в отпуску, весь день проводили в аэроклубе. К четырём-пяти стекались и остальные. Строительство шло полным ходом. Ребята оказались азартными и предприимчивыми. Чего не могли достать Сергей и Сененко официальным путём, ребята доставали неофициальным. Среди хлопцев оказался и шофёр, так что транспортный вопрос тоже решился сам собой. Кое в чём помогли лётчики с соседнего аэродрома — здесь уж Сергей проявил инициативу. Одним словом, к первым морозам сарайчик с двумя пристроенными к нему «аудиториями», именуемый ангаром, был готов, а в скором времени в «аудиториях» появились и первые учебные пособия. Все ходили измазанные маслом и краской. Впереди была зима, но говорили уже о весне и первых тренировочных полётах.

Так проходил день. Часам к семи Сергей говорил: «Ну что ж, пора закругляться. Жучков, покомандуй тут за меня» — и, скинув комбинезон и помыв руки бензином, отправлялся к Шуре. Правда, случалось это теперь не каждый вечер. Более того, если раньше Сергей приходил «про-

сто так», «от нечего делать» и целый вечер сидел на балконе в плетёном кресле, то теперь он всегда являлся под каким-нибудь предлогом. То ему книжка нужна была — не может ли Шура спросить в своей библиотеке, то вернуть эту самую книжку, то узнать что-то у соседки, Ксении Петровны.

Шура всегда была рада его приходу, но почему-то, когда бы он ни пришёл, обязательно была чем-то занята — то стирка, то глажка, то недоделанная чертёжная работа. Вытянуть её из дому не было никакой возможности. Вообще с Сергеем она держалась сейчас иначе, чем раньше. Разговаривая с ним, начинала вдруг дразнить его, попрекать разбросанными по всей комнате окурками, смеяться над его привычкой сидеть в плетёном кресле, положив ногу на перила. Сергей огрызался, но чувствовал себя почему-то неловко и, посидев с полчаса, начинал прощаться. Шура его удерживала, но он говорил, что ему завтра рано вставать, да и Шуре тоже, и уходил.

Как-то раз ему всё-таки удалось вытащить Шуру в Дом офицера — кажется, в День артиллерии. Сначала всё шло хорошо. Показывали хроникальную картину «Оборона Сталинграда». Сергей с удовольствием узнавал знакомые места и даже стал рассказывать какие-то военные эпизоды, что с ним случалось довольно редко. Но потом, когда начались танцы и какой-то молодой человек с подбритыми усиками пригласил Шуру танцевать, Сергей надулся и до самого конца не проронил ни слова.

Больше в Дом офицера он Шуру не приглашал.

И заходить стал реже. Даже аэроклубовские ребята заметили:

— Что-то вы, Сергей Никитич, по вечерам стали задерживаться. Раньше, как только семь часов, сразу за бензинчик, а теперь...

Сергей делал вид, что не понимает намёка.

— Да вот мотор этот. Хочу с ним разделаться, — и возился с ним ещё добрый час.

Потом возвращался домой, валился на свою койку, смотрел в потолок, курил.

«Чёрт его знает, — думал он, — вот так вот и околеешь в этой дыре. Собачья жизнь. Выпить, и то не с кем. Ни денег, ни компании...»

Правда, случай вскоре подвернулся. Возвращаясь как-то из аэроклуба, Сергей столкнулся на улице со своим старым приятелем ещё по авиационному училищу Толькой Лукониным. Не виделись они года три, а то и больше. После окончания училища Сергей и Анатолий попали на разные фронты: Сергей — на Юго-Западный, Анатолий — на Центральный, потом воевал в Польше, Германии. Сейчас вернулся из Австрии, ждал демобилизации.

В училище Луконин был худеньким прыщавым парнишкой, которого прозвали «голоусик»: на верхней губе, несмотря на все ухищрения и старания, у него ничего не росло. Сейчас это был рослый, румяный, увешанный орденами детина, поминутно оглядывающийся на девиц. Заграничную жизнь он ругал, говорил, что скучно, что хочется домой, но время от времени поглядывал на хорошенькие часики на стальном браслете и несколько раз, ища что-то в кармане, вынимал и клал на стол похожую на сигару самопишущую ручку.

Сергей молча слушал и заказывал ещё пива. Из ресторана вышли в третьем часу ночи, когда в зале уже потушили свет. Машин на улице не было, пошли пешком. Днём моросил дождь пополам со снегом, к вечеру подмёрзло. Сергей поскользнулся, упал и растянул связки на ноге.

Часто потом, вспоминая этот вечер, Сергей, смеясь, говорил, что причиной всех происшедших после этого перемен в его жизни был Толька

Луконин. Не встретить он его тогда на улице, он не попал бы под дождь, и не упал бы, и не провалялся бы неделю дома, и к нему не пришла бы Шура, и не заахала бы, в какой дыре он живёт и кто же его обслуживает, кто убирает, кто стирает бельё...

Шура пришла к нему на четвёртый день его лежания и тут же, в отместку за ремонт, выкинула все окурки из комнаты, достала у соседней ведра и тряпку, вымыла пол, затем всю посуду.

Сергей, лёжа на своей скрипучей койке, следил за шуриными движениями и говорил:

— Бессмысленная трата времени. Всё равно завтра опять накидаю.

— А я тебе блюдец для окурков поставлю.

— Привычки нет. Люблю на пол.

— Заберу тогда папиросы.

— Попробуй.

— А чего мне пробовать — заберу и всё. Где твоё бельё?

Бельё оказалось под кроватью. Шура выгатила оттуда все рубахи и прочие принадлежности и связала их в небольшой узел.

— И чему вас в армии только учили? Лётчик, называется, старший лейтенант.

Через два дня она принесла бельё выстиранным, выглаженным и аккуратно, стопочками, уложила его в чемодан. Потом покрыла стол принесённой из дому скатертью и разложила на ней ужин — плавленный сыр и консервированное мясо.

— И это всё? — разочарованно спросил Сергей.

— Всё.

Шура пошла к соседке за чайником, а Сергей тем временем, порывшись под кроватью, выудил оттуда недопитую четвертинку.

Весь вечер Шура возмущалась, как может Сергей так жить.

— Грязь, сырость, смотреть даже противно. И солнце здесь, наверно, никогда не бывает. Я б с ума сошла в такой комнате...

— В землянках похуже было, — оправдывался Сергей.

— Так то землянки, а то комната. Война уже кончилась.

— Как для кого...

— Не говори глупостей.

— Разве это глупости?

— Конечно, глупости. У тебя есть работа, хлопцы. Хорошие хлопцы. И работа хорошая.

Сергей улыбнулся.

— Ну? Ещё что?

Шура вдруг покраснела.

— А чего тебе ещё надо? Честное слово, я никогда не видела таких нытиков, как ты. Всё ему не нравится. Осоавиахим не нравится, аэроклуб не нравится... И все ему не нравятся.

Сергей поморщился, почесал нос и сказал:

— Почему все? Вовсе не все...

Шура старательно вынимала вилкой консервы из коробки.

Сергей вдруг рассмеялся.

— Да выпей ты водки, чёрт тебя возьми, — и протянул ей свой стакан.

Шура стала протестовать, замахала руками, но выпила.

— И кто её придумал только... Бр-р-р... — и тут же стала поносить всех пьяниц, в том числе и Сергея, доказывая, что только непьющие, порядочные люди умеют устраивать свою жизнь, а такие, как Сергей, потому и живут в таких дырах, что только думают о водке.

— Да я вовсе не думаю о ней, — сказал Сергей. — Я её просто пью.

— Просто пью... И на фронте тоже просто пил?

Сергей усмехнулся.

— Эх, Шурочка, Шурочка, на фронте-то у меня настоящее дело было. Шура злилась, а Сергей улыбался — ему нравилось, как Шура на него злится.

На следующий день Шура опять пришла, и они опять поссорились, то есть Шура опять его в чём-то обвиняла, а он смеялся и не соглашался.

На третий день было то же самое. Уходя, Шура даже хлопнула дверь.

А через неделю Сергей переехал к Шуре, вернее, перешёл — кроме чемодана с бельём, стакана и двух тарелок, у него ничего не было.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Небольшая, восьмиметровая комната общежития, в которой жил Николай, имела весьма странный вид. Во-первых, она была круглая — первое неудобство, так как разместить в круглой, да ещё восьмиметровой комнате четыре койки, стол и стул — минимальное, что нужно четверым живущим в ней студентам, — оказалось задачей почти неразрешимой. Во-вторых, находилась эта сама по себе нелепая комната в ещё более нелепой башенке, прилепленной архитектором к углу дома, очевидно, только «для красоты», так как ничего более полезного, при всём желании, найти в ней нельзя было (чтобы попасть в неё, надо было пройти весь чердак и подняться ещё по винтовой лестнице). Наконец, в-третьих, в комнате этой был собачий холод: отопления в ней не было, а три узких окошка, выходящих на восток, юг и запад, с видом на занесённые сейчас снегом крыши, Багринову гору и далёкую Шулявку — вид чудесный, ничего не скажешь, — создавали идеальные условия для сквозняков.

Одним словом, комнатёнка была среднего качества, и если Громобой, обнаруживший её во время субботника по чистке чердака, ухватился за неё, так только потому, что у неё было одно неоспоримое преимущество — она была изолированной. В общежитии это кое-что да значит.

После недолгих, но бурных переговоров с комендантом и заместителем директора, ломаная мебель и какие-то листы фанеры, бог его знает для чего хранимые там комендантом, были выкинуты на чердак, и в башне поселились Николай, Громобой, Антон Черевичный и Витька Мальков — невозмутимый, флегматичный парень, примечательный главным образом тем, что, получая из дому посылки — а получал он их довольно часто, — он сразу же, не откладывая дела в долгий ящик, съедал половину.

Обстановка «башни», кроме упомянутых уже шести предметов — четырёх коек, стола и стула, — состояла ещё из двух чертёжных досок, двух десятков книг и электрической плитки, заменявшей отопление. Против плитки комендант пытался было возражать и даже пригрозил, что перережет проведённую Черевичным по чердаку проводку, но Громобой просто-напросто выставил его, не вступая в переговоры.

Комендант больше не являлся.

Днём комната пуста. Жизнь начинается ночью. Плитка придвигается поближе к столу, и так как четверым сразу заниматься невозможно, Антон с Мальковым сидят от ужина до двенадцати, Николай — от двенадцати до двух-трёх часов ночи, а Громобой — с пяти утра до начала занятий. Днём времени не хватает.

От двенадцати до трёх — это самые тихие часы. Громобой и двое остальных похрапывают, в углу скребются мыши, сквозь полужамёрзшее окно видны дрожащие огни вокзала. Накинув на плечи шинель, время от времени грея над плиткой руки, Николай сидит над «Высшей математикой» Привалова, шелестит страницами, курит.

И вот тут-то, где-то между вторым и третьим часом ночи, на смену эллипсам и параболам приходит то, что за последние месяцы отодвинулось институтской жизнью, новыми товарищами, новыми интересами, заботами, волнениями куда-то далеко-далеко.

Почему всё так произошло? И кто в этом виноват? И виноват ли вообще кто-нибудь в чём-нибудь? И стоит ли об этом думать, возвращаться к этому?

Стоит или не стоит, но возвращаешься.

Вот жил он когда-то с Шурой. И любил её. И она его. И ничего им больше не надо было. Потом воевал. Потом вернулся назад. Оказался Федя... Нет, об этом не надо говорить — Федя здесь ни при чём, просто это было тем первым, что помешало. Именно помешало, осложнило — не больше. Бóльшим было другое. Иногда Николай думает, что причиной всему — три года разлуки. Он воевал, Шура ждала. Сжалась в комочек и ждала. Он узнал что-то новое, большое, настоящее, а Шура только ждала. И как всякий человек, для которого прошлое лучше настоящего, она мечтала об этом прошлом. А он, хотя тоже мечтал о нём, но вдруг, столкнувшись с ним, понял, что оно для него тесно, не хватает воздуха... Нет, и это не то. Чепуха всё это, выдумки. Совсем не так это было. Шура за три года поняла не меньше, если не больше самого Николая. Не надо оправдывать себя, придумывать то, чего не было на самом деле.

Шуры больше нет, и не вспоминай о ней. И о Вале не вспоминай. Она тебе прямо сказала — ей неприятно с тобой встречаться. Ты спрашиваешь — почему? А ты не спрашивай. Не задавай вопросов. Перед тобой Привалов — вот и читай его. Завтра спросят, опять знать не будешь...

Маленькая, совсем крохотная мышка появляется вдруг из-под кровати. Поводит носом, смотрит на Николая. Это старая его знакомая. Она всегда в это время появляется из-под кровати, к чему-то долго прислушивается, потом по одеялу вскарабкивается на кровать, с кровати на окно — к тому месту, где лежат завернутые в газету хлеб и колбаса на завтрашнее утро.

Николай тушит свет. Пришла мышь — пора спать. Плотнее укутывается в одеяло — из окна немилосердно дует, — на какую-то крохотную долю секунды вспоминает, что завтра, до лекций, надо провести политинформацию, а в четыре часа... Но до четырёх часов дело не доходит. Николай спит.

2

Кончился первый семестр. С двадцать пятого января начались каникулы. Самое приятное в них то, что можно отоспаться. И все отсыпаются, отсыпаются всюю.

Отсыпается и «башня». Встают в десять, а то и в одиннадцать, не торопясь умываются, ввели зарядку. Потом не торопясь завтракают, чистят сапоги, пришивают подворотнички. Потом расходятся: у Громобоя завелась какая-то «дама сердца», и он по вечерам, а иногда даже и по утрам пропадает у неё. Витька Мальков поехал домой. Антон тоже было собрался, но потом почему-то раздумал, очевидно из-за денег, и целыми днями занимается благоустройством «башни». Вместо плитки он сделал специальный обогревательный прибор из обмотанной проволокой кана-

лизационной трубы, развесил по стенам — «чтоб красивее было» — какие-то плакаты (один из них — колхозник и колхозница, призывающие подписаться на заём, — оказался муниной работы, и это очень обрадовало Николая), провёл настольную лампу и радио — одним словом, целый день был занят. Николай помогал ему — он тоже любил такого рода возню — или, пристроившись у печки, читал. По вечерам, когда не был занят на агитпункте, ходил в кино, несколько раз побывал на катке — зима была сухая, снежная, хорошая.

Не обошлось и без маленького празднества — тридцать первого января, в день третьей годовщины победы под Сталинградом. Начали дома, потом, как обычно, потянуло в ресторан. Денег не было, но в таких случаях они всегда находятся, нашлись и сейчас, и хотя их было не много и перед заказом пришлось на обратной стороне меню сделать кое-какие подсчёты, время в «Театральном» прошло неплохо. Наперебой вспоминали, немного привирая (по этой части особенно силён был Громобой), потом подсади к каким-то морячкам — те тоже особой скромностью в своих воспоминаниях не отличались, — вместе с ними заказывали фронтовые песенки, потом танцевали, здесь опять же на первом месте оказался Громобой.

Часов в одиннадцать Громобой заторопился куда-то. Антон тоже встал — пора уже. В Николая вцепился лейтенант-моряк.

— Идём ко мне. Я тут недалеко. Комната отдельная. И хозяйка ничего. И патефон есть, — на это он особенно напирал. — И пластиночки...

Пошли. Но хозяйки, которая «ничего», дома не оказалось, пластинки, выяснилось, все старые и наполовину перебитые, да и вообще стало вдруг скучно. Николай посидел минут десять, выслушал довольно скучную историю о какой-то девице, с которой лейтенант недавно познакомился и не знал, что дальше с ней делать, совета никакого не дал, распрощался и ушёл.

Вышел на улицу. Кругом пусто. Ветер раскачивает фонари, крутит сухой, рассыпчатый снег. Николай пошёл вниз по бульвару. Знакомый бульвар. И дома знакомые. Четырнадцатый, шестнадцатый, восемнадцатый номер. Двадцатый... На лестничке подъезда стоит парочка — парень в шинели и девушка в короткой жакетке с меховым воротником. Лиц не видно. Целуются...

Уже поздно — в окнах нет света. Только в одном, на пятом этаже, ещё светится. Из него, из этого окна, виден почти весь город — от купола музея до колючих башен костёла и разбросанных среди Голосеевского леса белых корпусов Лесного института. Сейчас построили дом напротив, и костёла, вероятно, уже не видно.

Николай стоит и смотрит на светящееся окно. Зачем он пришёл? Ведь всё кончено. Давно уже кончено. Совсем кончено... И о чём им говорить? Посидят, помолчат, и всё... Зачем же он пришёл? Вверху в окне как будто дрогнула занавеска. Зачем, зачем... Да низачем. Просто так. Просто хочется её видеть, больше ничего.

Николай проходит мимо парня и девушки — те даже не оборачиваются, — подымается по лестнице, останавливается перед дверью с почтовым ящиком, на котором написаны три фамилии. Нажимает голубенькую кнопочку. Тишина. Потом шаги. «Вам к кому?» Щёлкают запоры — крючок, задвижка, цепочка. В дверях — Ксения Петровна в накинутом на плечи платке.

— Здравствуйте, Ксения Петровна. Не узнаете?

— Здравствуйте, — говорит она. — Узнаю, почему же? — и больше ничего не говорит.

Николай захлопывает дверь, проходит по коридору, сворачивает направо. Стучит в дверь.

— Да, — отвечает мужской голос.

Николай входит. За маленьким письменным столом, спиной к нему сидит Сергей. Он полуобернулся, но голова его заслоняет лампу, поэтому лица его не видно.

Николай делает несколько шагов.

— Ты здесь? — говорит он.

— Здесь.

Голос у Сергея глухой, слегка охрипший.

— Садись, — говорит он.

Николай садится. Садится на стул возле стола. На столе — новая клеёнка. Чайник, покрытый матрёшкой, кусок хлеба. Повидло в баночке. На стуле — шитьё с воткнутой иглой, моток ниток, ножницы. Совершенно сточившийся ножик — жив ещё... А этажерка почему-то передвинулась вправо. И Пушкина этого не было.

— Чай будешь? — спрашивает Сергей.

Он встал из-за стола. Стоит, опершись на него, смотрит на Николая. Николай — на него. В глазах Сергея — серых, чуть-чуть хитроватых обычно — недоверие, насторожённость. Оба молчат.

Так вот оно что! А он и не знал. Ничего не знал. Не догадывался даже. Эх, Сергей, Сергей...

В комнату входит Шура. На ней вязаная кофточка, на шее сантиметр. Николай пожимает протянутую руку. Рукопожатие очень короткое — Шура сразу разжимает пальцы.

— Ты похудел, — говорит она и смотрит на Николая.

А она нет. Даже пополнела. Немного переменила причёску, сейчас у неё посредине головы ряд. Взгляд совсем спокойный, хотя по плотно сжатым губам Николай догадывается, что она всё же волнуется.

Шура берёт со стола чайник.

— Будешь пить? Я сейчас разогрею.

— Спасибо, буду, — говорит Николай, хотя ему совсем не хочется.

Шура направляется к двери. В дверях оборачивается.

— Может, есть хочешь?

— Нет, спасибо, есть не хочу.

Шура выходит.

Сергей топчется на одной ноге вокруг стола, сметает крошки, переставляет зачем-то тарелки. Потом подсаживается поближе к Николаю. Молчит. Слышно, как в кухне шипят примусы. Потом Сергей говорит:

— Сам не верю, Колька... Не верю вот. Иной раз... — Радостная, растерянная улыбка появляется вдруг на его лице. — Что ни скажет, всё делаю. Скажет: не пей — не пью. Ребята приглашали — отказался. Не веришь? — Он обнимает Николая рукой, притягивает к себе, говорит в самое ухо: — А ведь никого на свете не любил, никого...

Несколько секунд они молчат. Потом Николай говорит:

— Я рад за тебя, Серёжка. И за Шуру рад... По-настоящему рад.

Он говорит это очень тихо, не глядя на Сергея. В эту минуту ему действительно кажется, что он рад, рад за Сергея, за Шуру и за себя рад, — рад, что видит Сергея, что сидит с ним рядом.

Опять пауза. Обоим немного неловко.

— Ну, а ты как? — спрашивает наконец Сергей. — Ведь мы не виделись с тобой...

— Полгода. С августа. С той вечеринки.

— Да... Полгода.

— Я заходил к тебе.

— Туда? В дыру?

— Там бухгалтер какой-то теперь живёт.

— Ну и пёс с ним... А ты где?

— В общежитии.

— В общежитии? — Сергей слегка отодвигается, внимательно смотрит на Николая.

— В общежитии. Заходи. Ребята у меня хорошие.

Сергей, видимо, хочет ещё о чём-то спросить, но не спрашивает.

Возвращается Шура с чайником. Ставит его на стол. Всё тот же, медный, с припаянным носиком.

— Жаль, сладкого ничего нет,— говорит она.— Халву и ту съели. Целую неделю лежала.

Николай по привычке садится на то место, на котором обычно сидел, спиной к двери. Потом пересаживается поближе к балкону. Пьют чай. Разговор самый обыкновенный. Как работа? Как Беленький? Беленького уже нет, на его месте другой, как будто ничего. А работы попрежнему, даже больше прежнего, много сейчас строится. А Сергей? Всё ещё в своём Осоавиахиме? Да нет уж, давно расплевался. Молодёжь в аэро-клубе воспитывает. Смешно? А вот воспитывает. И неплохо воспитывает. Спрашивали даже, почему в партию не вступает. Да, да, на прошлой неделе Сененко спрашивал.

— Вот каким стал товарищ Ерошик, а ты говоришь... За это и выпить не грех, а?

Но Шура не разрешает. Поздно, нельзя. Завтра вставать в семь.

Сергей вздыхает.

— Видал?

Николай смотрит на часы.

— Ты что смотришь? Не смотри.

— Пора. У нас в двенадцать дверь закрывают. Дисциплина.

— А может, всё-таки... — Сергей почёсывает шею чуть пониже подбородка.— Сбегать к старику Платонычу? У него всегда есть, он ею зубы лечит.

— Никаких Платонычей,— говорит Шура.

Сергей вздыхает.

— Вот она, семейная жизнь...

Николай встаёт, прощается.

— Заходи,— говорит Шура.

Николай кивает головой — обязательно, как же.

Сергей провожает его до двери.

— Как-нибудь вырвусь к тебе в общежитие. Вечерком как-нибудь в субботу или воскресенье.— И стискивает его плечи.— Эх ты, студентоночка, капитан...

Николай крепко жмёт ему руку. Спускается по лестнице. На улице ветер гонит по сухим тротуарам снег. Начинается метель. Николай подымает воротник.

Ну, вот и всё. Совсем как тогда, на лужайке. А почему у тебя гипса нет, как кормят, как лечат?

А за Сергея он рад. По-настоящему рад. И за Шуру тоже. Ну, конечно же, тоже...

3

На втором семестре добавляется четыре новых дисциплины: строительные материалы, теоретическая механика, инженерно-строительное черчение и иностранный язык. По иностранному можно выбрать одну из двух групп — немецкую или английскую. Большинство, в том числе и Громобой с Черевичным, выбирает английскую (немецкий и за войну надоел, ну его!), Николай — немецкую. Английскую ведёт Валя.

День уплотняется ещё больше. Ни на что уже не остаётся времени. Даже пообедать, и то не всегда успеваешь. А тут ещё подошёл как-то к Николаю Чекмень и, взяв его за локоть, отвёл в сторону и сказал, что хочет рекомендовать его в факультетское партийное бюро. Николай только руками замахал.

— Ты что, спятил? Да где ж я время найду? И кто заниматься за меня будет?

— Ничего, потянешь. Парень ты двужильный. А нам как раз такие, как ты, нужны в бюро — фронтовики, настоящие хлопцы. На кого ж опереться, если не на вас?

Но Николай категорически отказался. До второго курса пусть его не трогают, пусть дадут крепко на ноги стать, нельзя же всё сразу...

Чекмень покачал головой, сказал: «Жаль, жаль, а то поддержали б твою кандидатуру» — и отошёл.

Николай немного слукавил. За эти несколько месяцев он не очень, правда, ещё прочно, но на ноги всё-таки встал. Появилась даже какая-то уверенность. Исчез невольный страх перед логарифмами и интегралами. В том, что совсем недавно казалось случайным набором цифр, стала улавливаться закономерность, стройность, стало даже интересно. На смену вечным тройкам начали появляться первые, не частые ещё четвёрки. Случилась даже одна пятёрка. Правда, одна, и то по строительным материалам, самому лёгкому из всех предметов, но Николай радуется ей не меньше, если не больше, любого школьника-четырёхклассника. «Ну, как сегодня?» — спрашивают его. «Порядок, на счету уже пятёрочка», — и в голосе его чувствуется та же чуть-чуть небрежная и самодовольная интонация, с которой года три тому назад он докладывал по телефону: «Порядок, товарищ пятый, отвоевали железнодорожную будку, закрепляемся».

Из новых дисциплин больше всего нравится Николаю курс строительных материалов. Может быть, потому, что курс этот нетрудный (слава богу, никаких формул) и много времени в нём уделяется лабораторным занятиям, которые студенты всегда предпочитают теоретическим, но вероятнее всего потому, что читает его профессор Никольцев.

Высокий, худой, с чуть наклонённой набок головой и копной совершенно белых, отливающих желтизной волос, откинутых назад, в чёрном, наглухо застёгнутом френче, какие носили ещё в двадцатых годах, он с немного виноватым видом входил в аудиторию (Никольцев всегда почему-то опаздывал), клал на стол свой до отказа набитый чем-то портфель с оторванной ручкой, подходил к окну, как будто рассматривая что-то на улице, потом поворачивался и начинал читать лекцию. Нет, чтением это нельзя было назвать. Это был разговор. Тихий, спокойный рассказ о том, например, как где-то под Парижем какой-то садовник, делая из цемента кадки для растений, решил для прочности ввести в цемент металлическую сетку. Так родился железобетон — материал, вызвавший в строительном искусстве переворот, равный, как говорил Никольцев, перевороту, вызванному появлением паровой машины и электричества. И тут же вынимались из громадного портфеля фотографии мостов, арок, вокзалов, и оказывалось, что этот мост он строил ещё студентом в тысяча восемьсот каком-то там году, а это перекрытие чуть не рухнуло, так как подрядчик торопился и не выдержал положенного срока, а это вот незначительное как будто сооружение выдерживало удары одиннадцатидюймовых японских снарядов. Константин Николаевич указывал длинным подагрическим пальцем на пожелтевшую фотографию, где группа круглолицых, с маленькими закручивающимися усиками солдат, в лихо сбитых набок бескозырках, стояла возле какого-то сооруже-

ния, напоминающего капонир. А рядом с ними тоненький офицерик с бородкой клинышком — сам Никольцев.

Оказывается, этот, такой комнатный и мирный на вид старик не только был участником двух войн — японской и немецкой четырнадцатого года, — но даже был в числе тех немногих офицеров, которые после обороны Порт-Артура отказались дать честное слово не воевать против японцев и более года провели в плену.

Обо всём этом Константин Николаевич не успевал, конечно, рассказывать на лекции, но так как на эти темы, как и всем старикам, ему поговорить хотелось, а ребята не прочь были послушать («старик-то, старик, даже японского императора видел!»), то доканчивать ему приходилось обычно уже на улице, а то и дома.

— Вы не очень торопитесь? — говорил он, останавливаясь у своих дверей, всегда немного смущаясь, наклонив голову набок, глядя на своих попутчиков. — А то, может, заглянете? Попьем чайку, поболтаем.

Многих соблазняло именно это «попьем чайку» — у старика он подавался за маленьким круглым столиком, очень крепкий и всегда с каким-нибудь печеньем или пирогом, — но Николай оба раза, которые был у Никольцева, от чая отказывался — уж очень выразительно подкусывала губы старуха-нянька, с которой жил одинокий Никольцев, — и ограничивался воспоминаниями и рассматриванием коллекций, которыми заполнена была вся комната.

Молодёжь остаётся молодёжью — над стариком иногда подсмеивались. Он повторялся, по несколько раз рассказывая одно и то же, часто вставлял одни и те же слова в уста различных людей. Но подсмеивались любя, интерес к его лекциям от этого не уменьшался, и только на них (если не считать теоретической механики, но там больше из страха) никто никогда не читал посторонних книг и не играл в самодельные шашки. К тому же у Никольцева была ещё одна незамеченная черта, за которую его нельзя было не любить, — он никого никогда не «резал». «Дело не в ответе, а в заинтересованности предметом, в том, как вы воспринимаете его», — говорил он и ставил студенту тройку или четвёрку, которых, по совести говоря, тот не всегда заслуживал.

Одним словом, старика любили. Поэтому, когда в середине второго семестра по институту поползли вдруг слухи, что профессор Никольцев якобы уходит на покой, что строительные материалы будет читать его ассистент Духанин (он знал своё дело, но был «скудняком», как называли его студенты, и забывал делать перерывы), а кафедра перейдёт в руки кого-то, кого — ещё неизвестно, но во всяком случае Константин Николаевич заведовать ею уже не будет, — никто этим слухам не поверил. Чепуха! Какой там покой? Да он без студентов сразу зачахнет. Придумают же ещё...

Но через несколько дней слух этот, косвенно правда, подтвердился. Произошло это на факультетском собрании. С докладом, подводящим кое-какие, пока ещё лишь предварительные итоги учебного года, выступил Чекмень. В обычной своей полушутливой-полусерьёзной манере (он знал, что она нравится студентам, поэтому его всегда и слушают и не выходят в коридор курить) он говорил, что факультет, в общем, «не подкачал», справляется со сложными задачами первого послевоенного года, что успеваемость на факультете не только не осталась на уровне довоенных лет — «а мы, скажу вам по секрету, боялись мечтать даже об этом», — но возросла, что первый курс — «опять же по секрету скажу, мы не очень-то в него верили», — в общем, не так уж и плохо, что надо только не снижать раз набранного темпа и мобилизовать все свои силы, чтобы добиться наилучших показателей.

— Кстати, — заканчивая своё выступление, сказал Чекмень, — воспользуюсь случаем, чтобы обрадовать вас всех приятной новостью. Несколькими днями тому назад прибыло новое штатное расписание, и мы имеем теперь возможность расширить и укрепить наши преподавательские кадры новыми, молодыми, вернувшимися сейчас из армии научными силами. Думаю, что все мы будем только приветствовать это новое пополнение.

Он хлопнул папкой по кафедре и, сойдя с неё, сел на своё место возле стола. Предчувствуя скорое окончание, зал оживился.

Николай повернулся к Лёвке.

— Пахнет Никольцевым. Как по-твоему?

— Ну и бог с ним. — Лёвка полез за папиросами. — Пошли курить.

Из президиума донёсся голос председателя:

— Будут вопросы по докладу декана?

— Всё ясно, — проворчал Лёвка, — кончать пора.

Сзади сказал кто-то:

— У меня есть вопрос. Можно?

— Прошу.

Поднялся тонколицый, бледный парень, кажется, со второго курса.

— Мне хотелось бы, чтобы декан уточнил заключительную часть своего доклада, — сказал он, пытаясь перекрыть возникший в зале шум. — И что подразумевает он под словом «пополнение»?

Чекмень встал и, опершись о стол, посмотрел в конец зала, где сидел парень.

— Мне кажется, я достаточно ясно сказал. Руководство предполагает пригласить ряд специалистов, которые пополнили бы наш профессорско-преподавательский состав. Разве это непонятно?

— А кого и по каким дисциплинам? — опять спросил парень. — И думают ли заменить кого-нибудь или это только пополнение?

В зале стало вдруг тихо. Выходившие остановились в дверях.

Чекмень улыбнулся и немного театрально развёл руками.

— Чего не знаю, того не знаю. Но думаю, что всякое пополнение влечёт за собой и известное перемещение. И ничего удивительного здесь нет. Я думаю, мне не надо доказывать вам, что преподавание, иными словами, воспитание людей, — вещь не лёгкая. Не правда ли? Дело не только в знаниях. Знания знаниями, но нужен ещё и известный политический кругозор. Нужно умение отвечать новым требованиям, повышенным требованиям...

— Конкретнее, — раздался сзади чей-то голос.

Чекмень повернулся в сторону крикнувшего.

— Конкретнее, к сожалению, ничего не могу вам сказать. Чего не знаю, того не знаю, — и сел, давая понять, что с этим вопросом покончено.

Задвигали стульями, стали выходить.

— Никольцев. Факт, — сказал Николай.

Лёвка пожал плечами.

— Иди разберись. — Он посмотрел на часы. — Ты куда сейчас?

— Домой.

— А может, ко мне ходим? Мать там что-то готовит. По случаю шестидесятилетия моего родителя.

В дверях показался Алексей. Увидев Николая, через головы кивнул ему.

— А что если я у него спрошу? — сказал Николай. — Мне-то он скажет.

— Ничего он тебе не скажет.

Лёвка оказался прав. Алексей куда-то торопился.

— Прости, дорогой, спешу. Зайди ко мне завтра утречком, перед лекциями, ладно? — и слегка хлопнул Николая по плечу. — Ну и любопытные же вы, черти, спасу нет...

4

С этого, в сущности, всё и началось.

Началось то, на отсутствие чего жаловался как-то на одном из партсобраний Хохряков, секретарь факультетского партбюро.

— Замкнулись вы, товарищи, в себе, — говорил он тогда, — замкнулись каждый в своей группе, на своём курсе. Не живёте жизнью всего института. Загрузкой оправдываетесь. Но загрузка загрузкой, а жизнь жизнью. Если уж очень нажмёшь на вас, выпустите раз в год стенгазету, да и то её только мухи читают, вызовете кого-то там на соревнование, и точка — никто этого соревнования не проверяет. Нельзя так, товарищи, надо шире жить. Большой институтской жизнью жить.

Трудно сказать, что подразумевал Хохряков, когда говорил о «большой институтской жизни», — то ли, что надо выпускать стенгазету, которую не только мухи читали бы, то ли систематически проверять соцсоревнование, — одним словом, никто так и не понял, на чём он настаивал. Но в одном он был безусловно прав — группы действительно жили обособленно.

Николай, например, кроме своей, знал ещё параллельную группу и кое-кого со второго курса, знал своих преподавателей, Хохрякова и четырёх членов бюро, знал Чекменя и его секретаршу Софочку — милую блондиночку, у которой всегда можно было узнать, что происходило в деканате, — и этим, собственно говоря, и ограничивался круг людей, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Где-то там «наверху», за обитой клеёнкой дверью директорского кабинета и в кабинетах его заместителей, составлялись какие-то планы, происходили совещания профессорско-преподавательского состава, кто-то с кем-то иногда там не ладил — о замдиректоре говорили, например, что он боится как огня главного бухгалтера, а тот в свою очередь зависит целиком от своего старшего бухгалтера, — но всё это на первых порах было где-то далеко, «наверху», и говорилось об этом главным образом в очередях за получением стипендии. Жизнь же в основном проходила в маленькой аудитории на втором этаже, с балконом, выходящим в сад, в кабинетах — физическом и строительных материалов — да на лестнице, куда выходили покурить. Головы забиты были формулами реверберации звука, сроками схватывания цемента и ненавистными Николаю немецкими спряжениями.

Дурно это или хорошо — это уж другой вопрос, но так было.

С этого же дня, самого обыкновенного, ничем не отличающегося от других дней, когда Чекмень выступил со своим докладом, начались в институте события, которые вовлекли Николая в орбиту «большой институтской жизни».

Потом уже, много времени спустя, вспоминая эти дни, Николай, со свойственной ему привычкой обдумывать прошедшее, часто спрашивал себя: что было толчком ко всему тому, что произошло? И почему вдруг именно он оказался в центре этих событий, которые в конце концов могли пройти и мимо него?

Часто случается так, что событие — важное, серьёзное событие — проходит мимо нас, а потом мы только ахаем и охаем — вот если бы нам во-время сказали!.. Возможно, такой зацепкой в этом деле послужил мимолётный разговор Николая с Алексеем после собрания. Правда, на следующий день, когда Николай зашёл к нему, он оказался чем-то занят, и может, на этом и закончилось бы участие Николая, а вместе с ним

и Лёвки, и Громобоя, и Черевичного во всей этой истории, — затёрлись бы в своих делах. Но тут, как нарочно, подвернулся Хохряков, и, вероятнее всего, если уж искать первопричину, именно с этой встречи всё и началось.

Встретились на улице. Хохряков с корзиной в руках, слегка прихрамывая — у него была прострелена левая нога, — торопливо переходил мостовую. Николай догнал его.

— Ты это куда с корзиной?

— В больницу, к жене.

— Больна, что ли?

— Третий месяц уже.

Они подошли к трамвайной остановке. Николай поговорил о жене и ребёнке, потом спросил:

— Скажи, а что это за разговоры насчёт Никольцева? Он что, действительно уходит от нас?

— А ну их всех... — раздражённо сказал Хохряков. — С трамваями вместе. Опять передачу не примут. Шестой час уже.

Николай удивлённо посмотрел на Хохрякова — он таким его никогда не видел. Тот, повидимому, почувствовал какую-то неловкость. Перехватив корзину в левую руку — трамвай, сплошь обвешанный людьми, появился уже из-за угла, — сказал, точно оправдываясь:

— Ничего не успеваешь за день. Как белка в колесе, — и уже из трамвая, из-за чих-то спин крикнул: — Вечером в партбюро буду, заходи.

А часа через два, на семинаре по марксизму, Лёвка Хорол сообщил Николаю:

— А ты, кажется, прав. Чекмень-то твой целый день сегодня с каким-то типом возился. С низеньким таким, в очках. Заходил в лабораторию стройматериалов, осматривал там всё. Очевидно, на место старика.

— А тому известно?

Лёвка пожал плечами: вероятно.

Сидевший впереди Быстриков, всегда всё знавший раньше всех, повернулся и подмигнул хитрым голубым глазом:

— Точно. Старика по боку. Молодым кадром заменяют.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю, — загадочно улыбнулся Быстриков и отвернулся.

После семинара Николай зашёл в партбюро.

Хохряков, стоя у шкафа, складывал какие-то бумаги. Увидев Николая, кивнул головой — заходи, мол.

Хохрякову было уже сильно за тридцать. В институт он поступил, когда тот находился в эвакуации, прямо из госпиталя. Сейчас учился на третьем курсе. Это был на редкость спокойный (поэтому-то Николай и удивился сегодняшней его раздражительности), сильно окающий волжанин с большими, как у Чапаева, усами и серьёзными, немного утомлёнными глазами. Разговаривая, он всегда тёр пальцами нос или лоб и, глядя куда-то в сторону, очень внимательно слушал. На лоснящемся от ветхости пиджаке его, над левым кармашком, приколот был орден Красного Знамени, полученный ещё за Халхин-Гол. Других орденов он не носил, хотя имел их, кажется, не один.

Николай сел на стоящий в углу несгораемый ящик — стульев в комнате не было, унесли на какое-то собрание и, как обычно, не принесли обратно.

— Что это за тип с Чекменем ходит? — спросил он. — В очках, лысый. На место Никольцева, да?

— А почему это всех вас так интересует? — вопросом на вопрос ответил Хохряков, продолжая рыться в шкафу.

- Кого — вас?
- Ну, тебя.
- Потому, что в институте упорно говорят, что старика убирают, поэтому и интересуюсь.
- Никто никого не убирает. Разговоры.
- Хохряков вынул из шкафа папку и положил её на стол.
- А что это за человек? — спросил Николай.
- Какой человек?
- Который с Чекменем всё ходит. Ты его знаешь?
- Ну, знаю. Супрун его фамилия, доцент, Чекмень его очень хвалит.
- Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула бритая голова Кагальницкого — председателя профкома.
- Напоминаю о чехословаках, Хохряков.
- Помню, помню. Завтра?
- Завтра, в четыре часа. Не забудь.
- Бритая голова исчезла. Хохряков посмотрел на Николая.
- Тебе тоже надо будет. Чехословацкие студенты приезжают. Надень ордена и тому подобное.
- Это зачем?
- Да так уж, для парада. Чтоб видели, кто у нас учится.
- У меня лекции.
- Лекции в четыре кончаются. А они после четырёх придут.
- Николай ничего не ответил. Хохряков складывал какие-то бумаги в папку.
- Ну так как же? — спросил Николай.
- Это полчаса займёт, не больше. От тебя требуется надеть ордена и побриться. И ребятам скажи. А то ходят, как обезьяны.
- Нет, я не об этом. Я о Никольцеве.
- Хохряков сел, вздохнул, почесал пальцем нос.
- Ну что Никольцев? Хороший старик Никольцев, знаю...
- Николай молчал. Хохряков опять вздохнул.
- Но все вы забываете, что ему всё-таки семьдесят лет.
- Иными словами...
- Иными словами... — Хохряков опять почесал нос. — Трудно ему всё-таки. И кафедра и лекции. Семьдесят лет всё-таки, не двадцать.
- Иными словами, старика убрать, а на его место этого очкастого?
- Почему? Старик будет попрежнему читать лекции, а на кафедру... Ты сам понимаешь, трудно ему и то и другое...
- А с ним говорили?
- Чекмень, кажется, говорил.
- Кажется, кажется. Ничего он не говорил.
- Николай почувствовал, что начинает раздражаться. Ну, чего он мнётся? Нос чешет, перебирает бумаги.
- Ничего он не говорил. Ручаюсь тебе. Хочешь, давай сходим к нему? — Николай встал.
- Хохряков посмотрел на часы.
- Сейчас не могу. У меня в девять бюро райкома.
- Вот всегда у вас так. Обязательно что-нибудь должно помешать. — Николай посмотрел на Хохрякова. У того был очень усталый вид — худой, осунувшийся, под глазами мешки.
- Ладно, — сказал Хохряков вставая. — Поговорим. Вот в четверг бюро будет, тогда и поговорим. — Он опять посмотрел на часы. — А теперь, прости, мне надо ещё протоколы и ведомости проверить. Мизин такого там наворачивает...

5

Бюро назначено было на шесть, но Чекмень опоздал. Минут двадцать все сидели, разговаривая преимущественно о погоде — зима, мол, закругляется, и если пойдёт так дальше, то, чего доброго, через недельку можно будет уже и без пальто ходить.

Громобой, тоже вызванный на бюро — у него появились двойки, — сидел мрачный у окна и курил. Из членов бюро, кроме Хохрякова, за столом сидели Мизин, ассистент Никольцева Духанин и заместитель секретаря Гнедаш — бледный, с тонкими, совершенно бесцветными губами. На заседаниях он всегда сгибал и разгибал какую-нибудь проволочку или рвал лежавшую перед ним бумажку на мелкие клочки.

Потом прибежал запыхавшийся Лёвка Хорол, как всегда расстёгнутый, красный, в сдвинутой на затылок кепке. На его присутствии, как комсорга группы, настоял Николай, хотя сам Лёвка на этом совсем не настаивал.

— Ну на кой дьявол я там нужен? Без меня, что ли, не обойдутся? Затеял ты эту канитель, ну и ходи, а я тут при чём?

И стал вдруг доказывать, что вообще всё это дело яйца выеденного не стоит. Он, мол, хорошо знает профессорскую среду — всегда они чем-то недовольны и на что-нибудь обижаются.

По этому поводу они с Николаем даже вроде как поссорились, и сейчас, придя на собрание, Лёвка прошёл мимо него, сел в угол и, не глядя ни на кого, принялся листать журналы.

В половине седьмого пришёл Чекмень.

— Прошу простить за опоздание, — весело, как всегда, сказал он, здороваясь за руку со всеми. — Ованесов задержал. Болтлив всё-таки невероятно. — Он посмотрел на окно. — Может, откроем? Денёк сегодня — май...

Но окно оказалось замазанным, и он просто скинул пиджак и повесил его на спинку стула.

— Ну что ж, начнём, пожалуй?

— Начнём. — Хохряков зашелестел бумагами. — Мизин, веди протокол.

Николай взял папироску, протянутую ему через плечо Громобоем, и стал слушать.

Всё шло, как и положено на любом собрании, обсуждающем повседневные очередные дела. Кто-то гозорит, остальные слушают, что-то рисуют, записывают, председатель время от времени постукивает карандашом по столу, чтобы не шумели.

Говорил Чекмень. Опершись коленом о стул и держась рукой за его спинку, он говорил, как всегда, легко и свободно, весело оглядываясь по сторонам, точно в кругу своих друзей. Вряд ли он сможет сообщить что-нибудь новое по сравнению с тем, что он говорил на собрании. Пока ещё никаких окончательных решений не принято, ещё всё находится в подготовительной стадии, в стадии переговоров. Тем не менее, поскольку бюро пожелало выслушать его информацию — да и чего греха таить, в институте и так уже слишком много говорят, — он скажет, что ему известно.

Он улыбнулся и заговорил о том, что профессора Никольцева все хорошо знают, что он крупный специалист, человек с большими знаниями, воспитавший не одно поколение инженеров, и вряд ли найдётся в институте кто-нибудь, кто так ценил и уважал бы Константина Николаевича, как сам Чекмень...

Тут он сделал небольшую паузу.

— Но есть одно маленькое «но». Противное маленькое «но», с которым всем нам раньше или позже придётся столкнуться.

Он заговорил о том, что Константину Николаевичу, к сожалению, не тридцать и не сорок лет, а целых семьдесят, если не больше, и, что там ни говори, это, конечно, чувствуется. Сколько бы старик ни молодился — а этот грешок за ним есть, — ему всё-таки трудновато. И незачем закрывать на это глаза. Нет-нет да и напутает что-нибудь в плане, часто допускает неточности в своей работе, не всегда умеет уловить потребности жизни. А жизнь не стоит на месте, жизнь движется вперёд.

— Константин Николаевич прекрасно знает предмет... — негромко перебил Духанин, подняв голову. Он сидел рядом с Николаем и сосредоточенно чистил бритвенным ножиком какое-то пятно на брюках.

— Знаю, знаю, Всеволод Андреевич. — Чекмень рассмеялся. — Кто же этого не знает? Но согласитесь сами: знание предмета и умение руководить — вещи всё-таки различные. И если первого у Никольцева никто не отнимает — что есть, то есть, — то второе у него — ну скажем так — не всегда получается. Короче, товарищи, чтоб вас не задерживать, я просто задам вам один вопрос: имеем ли мы право взваливать на плечи одного, притом, мягко выражаясь, пожилого человека непосильное для него сейчас бремя и не правильнее ли будет от какой-то части этой нагрузки его освободить, переложив её на более молодые плечи?

Николай подумал: «Что ж, как будто и верно. Вероятно, действительно трудно и тем и другим заниматься...»

— Вы кончили? — спросил Хохряков.

— Кончил.

Мизин, писавший протокол, спросил:

— А кто эти молодые плечи?

— Молодые плечи — это Супрун Александр Георгиевич. Хохряков знает, я его знакомил с ним.

Кто-то из членов бюро спросил, знает ли Чекмень лично этого самого Супруна. Чекмень ответил, что знает, вместе с ним воевал, что человек он толковый, энергичный, напористый. Потом задали ещё несколько мало-значущих вопросов. Чекмень ответил. Мизин старательно всё записывал — он умудрился уже заполнить три тетрадные страницы и вопросительно оглянулся, не задаст ли ещё кто-нибудь вопроса. Духанин оторвался от чистки своих брюк и спросил:

— А с Константином Николаевичем вы говорили об этом?

— О таких вещах обычно говорят, когда уже принято определённое решение.

— Значит, оно ещё не принято?

— Насколько мне известно, решение принимает не декан, а директор. Это уж его прерогатива. Мне пока ничего не известно.

Духанин опять принялся за свои брюки.

— Ну что, будут ещё вопросы? — спросил Хохряков. — Или всё ясно?

Николай поднял руку. Хохряков кивнул головой.

— У меня к тебе два вопроса, Алексей Иванович, — сказал Николай вставая. — Не можешь ли ты сказать, какие именно неточности и погрешности допускает Никольцев в своих планах и что ты имел в виду, когда говорил, что он там чего-то не улавливает в жизни?

— Совершенно верно, — кивнул головой Чекмень. — Не всегда может уловить потребности жизни.

— Это первый вопрос. И второй. Нормально ли, по-твоему, то, что до сегодняшнего дня об этом деле знает весь институт и не знает один только Никольцев?

— Что ж, могу ответить. — Чекмень встал. — На второй вопрос я ответил, по-моему, достаточно ясно, а на первый... Видишь ли, если говорить уж начистоту, то дело, конечно, не в этих погрешностях и неточностях. Дело в другом. — Он слегка поморщился, как это делают всегда, когда

говорят о том, о чём говорить не хочется.— Я знаю, что мне сейчас скажут. Скажут, что студенты, мол, любят старика, что он пользуется у них авторитетом и что нельзя, мол, его обижать, пусть уж дотягивает до конца. Ведь ты об этом думал, Митясов?

Николай кивнул головой.

— Так вот что я могу ответить на это,— продолжал Чекмень.— Авторитет и любовь — вещи бесспорно хорошие, но, давайте говорить прямо, важно ещё и другое. Важно, какими путями этой любви и авторитета добиваются. Мы с вами, товарищи, не в игрушки сейчас играем. Мы заняты работой. И нелёгкой работой. Не за горами конец года. Через каких-нибудь два месяца, даже меньше,—экзаменационная сессия. Одним словом, работы по горло, успевай только. И особенно тебе, Митясов, это должно быть понятно. Последнюю работу по химии еле-еле на тройку вытянул. Да и с основами марксизма могло быть получше.

Николай отвёл глаза. Чекмень выдержал паузу, потом продолжал:

— Одним словом, на всякого рода развлечения и шуточки у нас времени не хватает. Надо нажимать, нажимать вовсю. И вот это-то, к сожалению, не всегда доходит до сознания нашего уважаемого Константина Николаевича. Старик стал болтлив. К сожалению, это так. Говорят, болтливость — удел всех стариков. Возможно. Но когда она начинает переходить определённые границы, это, знаете ли, уже...— Чекмень развёл руками, будто не находя подходящего слова. — Ну, скажите мне сами, к чему эти бесконечные паломничества к нему на квартиру? Сейчас, когда так дорога каждая минута. К чему всё это? — Чекмень недоумевающе пожал плечами.— Старик ищет популярности у студентов. Ставит направо и налево четвёрки и пятёрки, либеральничает, затаскивает людей к себе, угощает чайком с печеньем. Засоряет головы студентов всякой ерундой. А на это у нас нет ни времени, ни охоты. Одним словом, товарищи,— Чекмень заговорил совсем серьёзно,— при всём уважении к профессору Никольцеву мы вынуждены сейчас отказаться от его услуг как заведующего кафедрой. Как руководитель он сейчас не годится. Это ясно. Нужен сейчас человек более энергичный, волевой, напористый, скажем прямо — с перспективами на будущее. Мы не собираемся отстранять его совсем, какие-то часы консультаций у него останутся, но...— Чекмень опять развёл руками.— Мне кажется, всё достаточно понятно.

Он сел на свой стул и, как всякий человек, привыкший часто выступать, посмотрел на часы. Он говорил недолго — минут семь-восемь, не больше.

Несколько секунд все молчали. Гнедаш сгребал ладонью клочки разорванной бумаги и делал из них маленький холмик. Мизин всё писал и писал протокол.

И тут вдруг заговорил Лёвка Хорол. С того самого момента, как Чекмень упомянул о паломничестве студентов к Никольцеву, он отложил журнал в сторону, вытащил папиросу, закурил, потом стал грызть ноготь — первый признак беспокойства.

— Можно мне? — глухо спросил он, вставая и подходя к столу.

Краска сошла с его лица, он был бледен, сосредоточен, от этого казался старше.

— Простите меня, товарищи, но я не понимаю, что сейчас происходит,— негромко, сдержанно начал Лёвка, глядя поочерёдно то на Хохрякова, то на Чекменя.— О чём, в конце концов, идёт речь? О том, что профессору Никольцеву трудно в его возрасте руководить кафедрой, или о том, что он разлагает молодёжь? Простите, Алексей Иванович, но я именно так вас понял. И вообще, какое отношение к заведению кафедрой имеет хождение студентов к Никольцеву на дом? И почему это хождение рассматривается как некий криминал?

Громобой, пересевший поближе к Николаю, задышал ему в ухо:

— Что это — криминал?

— Молчи, потом.

Лёвка посмотрел на Громобоя — тот улыбнулся и закрыл рот рукой, — потом перевёл взгляд на Чекменя и, глядя ему прямо в глаза, продолжал:

— Вот вы говорили про чаёк с печеньем. С какой-то брезгливостью говорили. Зачем? Зачем вы об этом говорили? При чём тут чай с печеньем? Сначала вы упоминаете о каких-то погрешностях в планах, потом о неумении итти в ногу с жизнью — это всё-таки какие-то, доказанные или недоказанные, но во всяком случае обвинения. И вдруг всё упирается в чай. — Он огляделся по сторонам. — Вы что-нибудь понимаете, товарищи? Я — ничего.

Все молчали. Чекмень иронически улыбнулся.

— Да! Ещё одна деталь. Весьма любопытная деталь. Что значит, что за Никольцевым останутся какие-то часы консультаций? А лекции? Вы, значит, его и с лекций собираетесь снять? А кто их читать будет? Супрун? Всё тот же Супрун, напористый и энергичный, о котором вам, очевидно, больше нечего и сказать. А мы ведь не футбольную команду подбираем.

Он посмотрел на Чекменя, и в светлоглубых, обычно весёлых глазах Хорола появилось выражение, которого Николай до сих пор никогда у него не замечал, — пренебрежительно-брезгливое.

— И неужели вам не стыдно, Алексей Иванович? Неужели вы не испытываете неловкости, когда обо всём этом говорите? Трудно даже поверить.

Он кончил как-то неожиданно, на полуслове, провёл рукой по торчащим во все стороны волосам и вдруг направился к своему месту.

Чекмень улыбнулся. Он сидел на стуле, свободно перекинув руку через спинку. Хохряков вопросительно взглянул на него, но Чекмень только кивнул головой и повёл бровями, что должно было обозначать, что, когда все выступят, он скажет своё слово. Хохряков посмотрел на Николая.

— Ты?

Николай встал. Как ему казалось, говорил он очень плохо. Почему-то волновался, не находил нужных слов, перескакивал с одного на другое, и всё это слишком громко, возбуждённо. В двух или трёх местах запнулся. В основном он пытался объяснить, почему студенты любят Никольцева. Говорил о том внимании и интересе, с которым студенты слушают его, об умении его к концу лекции всё сжато суммировать, облегчая составление конспекта. Говорил и понимал, что всё это не то, что надо о чём-то другом, а другое не получалось.

Чекмень спокойно слушал, изредка иронически поглядывая на Николая.

Потом выступил Духанин. Высокий, нескладный, в узкоплечем пиджаке, измазанном мелом, он говорил сдержанно, не полемизируя с Чекменем, давая оценку Никольцеву как своему руководителю. О «чае с печеньем» тоже упомянул, сказав, что не видит в этом ничего дурного: «Почему студентам не провести вечер у старика и не послушать его рассказов? Видел он много и рассказать умеет».

Когда он кончил и, неловко цепляясь за стулья, вернулся на своё место, поднялся Чекмень.

— За каких-нибудь двадцать минут слово «чай» было повторено по крайней мере раз десять, — поправляя часы на руке, начал он. — Согласен с вами, дело, конечно, не в этом напитке. И когда я говорил о нём, я говорил, конечно, фигурально. Меня не поняли. Придётся, очевидно, поставить точки над «i». Об этом не хотелось говорить, но, видимо, придётся. Товарищ Хорола, — он сделал лёгкий поклон в его сторону, — очень тем-

пераментно здесь выступил, обвиняя меня в нелогичности, в каком-то, очевидно, передёргивании, озлобленности. Одним словом, не декан, а зьерь. Нет, товарищ Хорол, я не зверь, а именно декан. И как декан и как коммунист отвечаю за студентов. Целиком отвечаю. И вот, когда эти самые студенты, люди молодые, во многом ещё не устоявшиеся, проводят целые вечера у человека, который... Не будем закрывать глаза — мы знаем профессора как хорошего специалиста, но грош цена этому специалисту, если он не умеет строго, по-деловому подойти к студенту. Бесконечные пятёрки Никольцева только разбалтывают людей, отбивают у них охоту заниматься, рождают недоучек. А то, что вместо знаний преподаватель он им у себя дома, всё это — ну как бы сказать точнее... Человек всё-таки, вы все это прекрасно знаете, два с половиной года провёл в оккупации. Два с половиной года! Говорят, что он, мол, отказался от какой-то там должности, которую ему предлагали в Стройуправлении. Может, это и верно. Но почему он отказался? Кто это знает? Кто может об этом рассказать? Люди, оставшиеся при немцах? Простите меня, но я таким людям не верю. А на какие средства он жил? Говорят, продавал книги. Простите меня, но я и этому не верю. На одних книжечках два с половиной года не проживёшь. Да ещё в таком возрасте. И вообще... — в голосе Чекменя послышалась вдруг резкая, несвойственная ему интонация. — И вообще, чтоб прекратить этот затянувшийся, бессмысленный спор, должен вам сказать...

Но сказать ему не удалось. Громобой вдруг встал и, упершись руками в спинку стула, перегнувшись через неё, весь красный, с надувшимися на шее жилами, не сказал, а выпалил:

— Старика прогнать хотите? Да?

Хохряков стукнул кулаком по столу.

— Громобой, Громобой! Спятил, что ли?

— Не спятил, а пусть только попробует старика убрать. Пусть только... — Он хотел ещё что-то сказать, но слов не нашёл, покраснел ещё больше и сел на своё место.

6

Весь вечер в «башне» только и разговору было, что о бюро. Громобой, красный и возбуждённый, расхаживал в тесном пространстве между четырьмя койками и столом, грозился расправиться с Чекменем («по-нашему, по-ростовски, чтоб охоту отбить»), порывался куда-то итти. Николай сначала слушал, потом разозлился и прикрикнул на него. Громобой обиделся, надулся, лёг на кровать и мгновенно заснул. Лёвка прикрыл его одеялом. В противоположность Громобойу, он возмущался не так Чекменем, как Хохряковым.

— Чекмень — понятно, — говорил он, стоя в пальто и шапке в дверях и всё не уходя. — Он корешка своего устраивает. И вообще у него что-то там, кажется, с Никольцевым из-за кафедры произошло...

— Ну, это со слов Быстрикова, — перебил Николай. — Источник не слишком верный.

— Ну, и бог с ним, я не о нём сейчас, я о Хохрякове. Вот кто меня удивляет. Секретарь бюро, называется... На его глазах обливают грязью человека, а он, вместо того чтобы встать и стукнуть кулаком по столу, сидит себе и рисует что-то на бумажке. А потом унылым голосом заявляет, что Чекмень, мол, дал не совсем правильную оценку Никольцеву. Не совсем!..

Антон, завернувшись в одеяло (знаменитый его обогревательный прибор из канализационной трубы вдруг вышел из строя), сидел на кровати и, как человек мирный, больше всего в жизни ненавидевший скандалы,

только сокрушался, глядя на всех своими печальными, всегда немножко удивлёнными глазами. Кому это всё нужно? Неужели нельзя жить мирно, дружно? Кончилась война, а тут, пожалуйста, между собой грызню заводят.

Витька Мальков в споре не принимал участия. Человек он был флегматичный, в высшей степени трезвый и на вещи смотрел с чисто философским спокойствием.

— И охота вам нервы портить,— говорил он, заворачивая остаток сала в бумагу.— Первый час уже. А завтра контрольная. Тушите свет. Хватит.

Свет в конце концов потушили. Легли спать.

Николай долго ещё ворочался. Даже сейчас, после всего, что произошло на бюро, он пытался найти какое-то оправдание Алексею. Ведь что ни говори, он знает его лучше, чем другие. Алексей упрям, не переносит, когда ему перечат, в пылу спора может брякнуть лишнее, но чтобы он был способен на подлость... И из-за чего? Из-за того, что, по словам этого трепача Быстрикова, старик отказался принять его к себе на кафедру? Чепуха! На Никольцева это, правда, похоже, старик упрям, как пень. Но чтобы Алексей из-за этого стал обливать его грязью — не может быть! Этот Быстриков всегда всё раньше и лучше других знает...

Но тут же всплывали в памяти последние слова Алексея, грубые, резкие и, если уж говорить то, что есть, смахивающие просто на ложный донос. «На одних книжечках два с половиной года не проживёшь». Что ж, Никольцев в гестапо служил? Это он хотел сказать? И неужели он сам этому верит? Ведь все знают, что старик при немцах чуть не умер с голоду, последние месяцы пластом лежал,— об этом и Степан, институтский сторож, рассказывал,— но работать к немцам не пошёл. И вообще, почему всё приняло такой нелепый оборот? Не из-за Лёвки же! Лёвка правильно говорил. Ерунда какая-то...

После лекции Николай зашёл к Алексею.

Тот стоял над своим столом в накинутой на плечи шинели — очевидно, собирался уже уходить,— складывал какие-то бумаги в папку. Увидев Николая, мрачно посмотрел на него.

— Хорошо, что пришёл. Поговорить надо.

— Для того и пришёл,— так же мрачно ответил Николай.

Алексей старательно завязывал шнурки папки.

— Ты можешь мне объяснить вчерашнее ваше поведение? — спросил он не глядя.

— А ты своё можешь? — в тон ему спросил Николай.

— Могу.

Алексей сунул папку в ящик, щёлкнул замком и подошёл к Николаю.

— Могу. А вот ты — не знаю. Всё-таки можно было догадаться, что когда выступает член бюро, то делает он это не только за свой страх и риск. И если выступает, то, очевидно, перед этим всё-таки кое с кем проконсультировался, поговорил. Неужели это так трудно понять?

— Очевидно, трудно,— сказал Николай.

— Я думал, ты умнее.

— Как видишь, нет.

Алексей вдруг рассмеялся.

— Ох, Николай, Николай... Смешной ты всё-таки парень. Иногда вот смотрю я на тебя — жаль, что редко теперь видимся,— и думаю: парень как парень, а чего-то тебе не хватает.

— Ума, очевидно. Сам сказал.

— Нет, не ума. Парень ты неглупый. А чего-то вот нет. Сам не пойму чего. Жизнь прожил нелёгкую, воевал — что к чему, как будто должен знать. А вот...

Он, точно оценивая Николая, прищурил один глаз и посмотрел на него. Тот молча сидел на подоконнике и внимательно разглядывал кончик папиросы.

— Вот заступаетесь вы за старика. Похвально, ничего не скажешь. Со стороны смотреть, даже приятно. Старика, видите ли, обижают, а мы вот в обиду не даём. Вот мы какие! А спросить вас, для чего вы это делаете — вы толком и не ответите. Ну, я понимаю ещё, Хорол, интеллигентский сынок. Тянется к профессорам. Кастровое, так сказать. Но ты — простой парень, фронтовик. Погоди, погоди, не перебивай.

Алексей присел к Николаю на подоконник, поставил ногу на стул.

— Ну, посуди сам. Старику семьдесят лет. Многого он не понимает, что поделаешь? Деятнадцатый век... Иногда такое ляпнет на совете, что мы только переглядываемся. Говоришь ему: нельзя, Константин Николаевич, двоек не ставить, за это нас тягают. А он только брови подымет — люди, мол, только с фронта пришли, нельзя их сразу же и резать. И упрётся, как бык, с места не сдвинешь.

— Всё это я прекрасно понимаю, — сказал Николай. — Но если уж...

— Нет, не понимаешь. Не понимаешь самого простого. Сел бы на моё место, как ты мне когда-то советовал, сразу понял бы. Самые элементарные вещи до старика просто не доходят. Отстал от жизни по меньшей мере на пятьдесят лет, если не на все сто. Забывает, что сейчас всё-таки сорок шестой год, а не какой-нибудь там шестьдесят шестой прошлого века. — Алексей хлопнул Николая по коленке, словно ставя точку. — Так что напрасно вы, друзья, в бутылку лезете. Поверь мне, в этих вопросах нам всё-таки кое-что виднее, чем вам.

Николай рассеянно смотрел в окно. Казалось, его больше всего интересуют сейчас гоняющиеся друг за другом по улице мальчишки.

— Хорошо, — сказал он, наконец, повернувшись. — Допустим, что так. Ответь мне тогда на такой вопрос. Правда или нет, что Никольцев отказался принять тебя к себе на кафедру?

Алексей соскочил с подоконника, сунул руки в карманы шинели. Рассмеялся неестественным, деревянным смехом, каким смеются, когда смеяться совсем не хочется.

— Понятно... Нашли уже, значит, причину. Ну что ж, пусть будет так.

Он подошёл к столу, поискал ключ, один за другим запер все ящики, проверил их, снял с вешалки свою ушанку.

— Ну, а ты как? — сказал он, подходя к Николаю. — Уже и рад? Развесил уши?

Николай смотрел куда-то мимо него.

— Нет, не рад, Алексей. Совсем не рад.

— Чему не рад? Ну вот, скажи мне, чему не рад? — Алексей стоял, засунув руки в карманы шинели и позванивая ключами. — Тому, что мы хотим укрепить наш институт? Этому ты не рад? Тому, что из армии наконец возвращаются люди — настоящие, крепкие, наши люди, люди, на которых можно опереться, люди, которым мы верим. Верим потому, что рядом с ними воевали, за одно воевали. Этому ты не рад? Что ж, твоё дело, а мы будем драться за них. И, если надо, пожертвуем даже Никольцевыми, несмотря на все их знания и прочие там заслуги. Пожертвуем, потому что самое важное для нас сейчас — это сделать побольше инженеров, из вас сделать, из тебя. И сделаем, поверь мне. Только делать будем своими руками. Не чужими, а своими, понял?

Алексей большими шагами ходил по комнате, задевая шинелью какие-то лежащие на столе чертежи и не обращая на это внимания.

— И то, что ты сейчас защищаешь Никольцева, хочешь ты этого или не хочешь, но этим ты только оказываешь нам медвежью услугу. Неуже-

ли ты этого не видишь? Удивляюсь, честное слово, удивляюсь. Ведь он не наш человек, пойми ты это, не наш!

Алексей остановился вдруг перед Николаем — тот всё ещё сидел на подоконнике, — несколько секунд молча глядел на него, потом сказал с лёгкой усмешкой:

— Ты думаешь, я не понял, почему ты о кафедре заговорил? Не пускает, мол, туда, вот я и мщу ему за это. Так ведь? Думаешь, я не понял, к чему это? Всё понял. И, если хочешь знать, плевал на это. Чего надо, я добьюсь, поверь мне. Но раз уж заговорили, так давай говорить. Ведь не пускает же, факт. Окопался на своей кафедре и сидит, как медведь в берлоге.

— А Духанин? Как-никак, он всё-таки член бюро.

Алексей только рукой махнул.

— Член бюро... Горе он наше, а не член бюро. И как его только выбрали. Чёрт его знает. Судак вяленый. Погряз с потрохами в своей лаборатории, клещами не вытащишь. Потому его Никольцев и терпит. Учёный, видите ли. Сидит сутками над иглой Вика и растворами. И никуда носа не суёт. А мы суём! Вот в чём загвоздка. Мы таким, как Никольцев, мешаем, раздражаем их, мы им чужие. Понимаешь — чужие...

— Кто это мы? — тихо спросил Николай.

— Мы? — Алексей, сощурившись, посмотрел на него. — Мы — это мы, советские люди.

Николай поднял голову и посмотрел Алексею в глаза.

— А они, значит, не советские? Так по-твоему? И их надо поливать помоями?

Алексей резким движением запахнул шинель и пошёл к двери.

— Знаешь что? Если ты уж действительно так глуп, то говорить мне с тобой не о чем. Уходи!

Глаза его стали совсем маленькими, колючими. Лицо покраснело.

— И вообще, можешь меня не учить. Обойдусь как-нибудь и без тебя. Лучше своих болтунов поучил бы, как на бюро себя держать. Хорола и того, второго, истерика, которого давно уже пора гнать из института. И держим-то только из-за тебя. Чтоб не срамить тебя и твою группу. Думаешь, я не знаю, что у него там с физиком было? Всё знаю. Тоже герой нашёлся. Защитник угнетённых.

Николай молча, не мигая, смотрел на Алексея. Потом сказал очень тихо:

— Я не о нём говорю... Я о Никольцеве.

— А при чём тут ты, в конце концов?

Алексей стоял красный, в расстёгнутой шинели, в сдвинутой набок ушанке.

— А при том, что я коммунист и был на бюро и слышал, что ты там говорил, — делая ударение на каждом слове, сказал Николай.

— Что? Ну, что говорил?

— Ты лучше меня знаешь. Про оккупацию, про чай с печеньем. Зачем?

— А что, неправда? Не проторчал он три года в оккупации? Как маленький просидел. И чёрт его знает, чем ещё там занимался. Книжечки продавал. Знаем мы эти книжечки. Статейки в газетах их сволочных, небось, пописывали, большевиков ругали, а потом, как наши стали приближаться, сразу вот такие вдруг оказались борцами за советскую власть. Врут они все! Все, кто под немцами был...

— И Шура под немцами была. И Черевичный был. Они, по-твоему, тоже врут?

— Это какой же Черевичный? Припадочный твой, долговязый? — Алексей рассмеялся. — Не лучше других, поверь мне. И обморокам его не

верю. Липа всё. Сплошная липа. Три четверти из них добровольно сдавались. Те, кто хотел...

Докончить ему не удалось. Николай соскочил с подоконника, схватил Алексея за грудь, за гимнастёрку, рывком потянул к себе и с размаху ударил его по щеке — раз и два...

7

Когда Николая спрашивали, что он собирается сейчас предпринять, он отвечал: «Ничего».

— То есть как это ничего?

— А всё так, ничего.

— И в райком не ходил?

— Не ходил.

— Странный ты человек. Что за пассивность?

— Пассивность или не пассивность, а бегать никуда не буду.

Спрашивающий только пожимал плечами. Человека собираются исключить из партии, а он ходит себе попрежнему в институт, готовится к лекциям. Чудак-человек!

Громобой из-за этого даже разругался с Николаем, а Лёвка сказал, что, если Николай не пойдёт в партком, он сам отправится к Курочкину и поговорит с ним об всём. Даже тихий, мирный Антон удивлялся:

— Не понимаю я тебя, ей-богу, не понимаю.

Николай отмалчивался. Ему не хотелось спорить.

Внешне он был совершенно спокоен. В перерывах между лекциями разговаривал о стипендии, о Софочке, о первых троллейбусах, пошедших по городу, даже о Никольцеве, о котором рассказывали, что он подал заявление об уходе и, по одной версии, директор его подписал, а по другой — отказался. Но это не было спокойствием. Не было даже той внешней сдержанностью, которой пытаются часто скрыть горечь, или обиду, или злость. Это нельзя было назвать ни горечью, ни обидой, ни злостью. Ничего этого не было. Было что-то другое. Что-то, больше всего похожее на то, что ощущает человек, когда его ранит. Николай, например, когда его подстрелили в Люблине, не испытывал ни боли, ни страха, ни даже слабости (он сам дошёл до медсанбата, находившегося в пяти километрах от города), просто было чувство какого-то недоумения. Вот была рука — и нет её: висит, как плеть. Даже пальцами не пошевелишь. Так вот и сейчас.

Впрочем, не совсем так...

Когда на партбюро, созданном по настоянию Чекменя в тот же день, через час после всего случившегося, Николая спросили, осуждает ли он свой поступок, он сказал: «Нет». И сказал это после того, как Хохряков, отведя его перед бюро в сторону, посоветовал осудить свой поступок и извиниться перед Чекменем. Ребята потом говорили Николаю, что он вёл себя неправильно, что, в конце концов, хотя Чекмень и получил по заслугам (Николай в подробности не вдавался, сказал, что ударил за Никольцева, и всё), но лицо он всё-таки официальное, декан, притом член бюро, и настаивать на том, что именно так надо было поступить, просто глупо. Но разве Николай настаивал? Просто не осудил. Дал и дал. Так ему, мерзавцу, и надо.

И вот именно в этом «дал и дал, так ему, мерзавцу, и надо» заключалось отличие от ощущений после ранения — если уж продолжить эту параллель. Там он совершенно точно знал, что поступил опрометчиво — незачем было перебегать площадь, когда на чердаках сидят автоматчики. Поступил глупо, по-мальчишески. А сейчас? Дал и дал. Так ему, мерзавцу, и надо. Николай не испытывал никакого раскаяния.

Это было первой, непосредственной реакцией. Потом всё пошло вглубь.

Ну хорошо, думал Николай, допустим, я виноват. Даже не допустим, а действительно виноват. Ударил человека и за это должен понести наказание. Какое — другой вопрос, должен, и всё. Но почему же, чёрт возьми, никто на бюро не поинтересовался, за что он ударил Чекменя? Сам он не мог об этом говорить. Не мог и не хотел. Свидетелей при их разговоре не было, доказательств тоже нет, поэтому он и говорить об этом не будет. Пусть Чекмень расскажет, если ему не стыдно. Так он и сказал на бюро. Но Чекмень промолчал. Сидел в углу и молчал. Духанин, правда, попытался что-то спросить, но Гнедаш его сразу обрезал: «Что и отчего, нас сейчас не интересует. Речь идёт о хулиганском, безобразном поступке, несовместимом с высоким званием члена партии. Вот об этом и будем говорить». Бельчиков и Мизин его поддержали. Хохряков тоже выступил против Николая, хотя потом, когда голосовалось предложение Гнедаша — исключить из партии, — не поддержал его, а голосовал за строгий выговор с предупреждением. Духанин тоже был за выговор. Чекмень в голосовании участия не принимал.

Потом, после бюро, Хохряков подошёл к Николаю.

— Сходил бы ты всё-таки в партком, к Курочкину, поговорил бы... Видишь, как дело повернулось. Нехорошо повернулось.

— Больше, чем на бюро, не скажу. Пусть собрание решает.

Ребята за это тоже на него злятся: упёрся, мол, гордость свою показывает. Чудаки. А при чём тут гордость? Никакой гордости нет. Захочет Курочкин — вызовет, а раз не вызывает — что ходить?

На следующий день совершенно неожиданно подошла к нему в коридоре Валя. С таким же лицом, какое у неё было на балконе в последний раз, она спокойно сказала:

— Я слыхала о том, что вчера было. Надеюсь, ты не будешь оправдываться?

— Не собираюсь, — ответил Николай и тут же спросил: — А если б стал?

— Это уж твоё дело. Я бы не стала. Тебе не в чем оправдываться.

— То есть как не в чем? — Николай даже улыбнулся. — Ведь я, в некотором роде, всё-таки...

Валя сердито на него посмотрела.

— Ничего смешного тут не вижу, — повернулась и пошла.

Вечером того же дня он опять встретил её. При выходе из института. Но она прошла мимо, даже не посмотрев на него.

Партийное собрание, на котором должен был обсуждаться поступок Николая, назначено было сначала на четверг, а потом, по каким-то причинам, перенесено на пятницу.

В этот день Николай не пошёл в институт. К десяти ему надо было на ВТЭК для очередного переосвидетельствования, а после ВТЭКа какие уж там занятия! Да и вообще захотелось побыть одному. Стала вдруг тяготить участливость товарищей. Трогала и в то же время тяготила. Лёвка приглашал на какой-то вечер в педагогический институт, Антон прибил набойки к сапогам и попришивал все пуговицы на шинели, на что у Николая за зиму не нашлось времени. Даже Витька Мальков и тот вдруг стал угощать салом. О собрании все молчали — как сговорились. Один только Громобой подмигнёт иногда и скажет: «Да, брат, переиграл тебя Чекмень» — и вздохнёт.

Николай и сам понимал это. Понимал, что всей этой историей он несколько не помог Никольцеву, — напротив, он отвёл внимание на себя, на свой поступок, и теперь, вместо того чтобы нападать, вынужден сам держать ответ перед партсобранием...

В институте многие оборачиваются на Николая. Что и говорить, популярность не слишком соблазнительная. Николай с особой остротой почувствовал это сейчас, когда страсти несколько поулеглись и случившееся стало видно в какой-то перспективе. И то, что Курочкин, секретарь парткома, не вызывал его к себе, тоже тяготило. Ни Курочкин, ни директор, хотя в решении бюро есть пункт: поставить вопрос перед дирекцией о возможности дальнейшего пребывания Митясова в институте. Но вот не вызывают... И хотя Николай попрежнему своего решения — ни к кому не ходить — не менял, сейчас это уже было только упрямством.

Ребята, как всегда, к восьми ушли в институт. Николай до их ухода лежал, делая вид, что спит, хотя проснулся часов в шесть, когда было ещё совсем темно. Никто его не будил, ходили на цыпочках, говорили шёпотом. Потом ушли. Николай встал, сбежал за тёплой водой, побрился. Потом подшил свежий подворотничок, начистил сапоги. Подсчитал деньги — на баню и стрижку хватит.

В бане повезло. Парилка работала, и Николай вместе с каким-то кряхтевшим от наслаждения стариком подавали пару, а потом растерли друг другу спины. Старик похлопывал себя по животу и долго потом, красный как рак, сидел в раздевалке и вспоминал с таким же, как и он, стариком, банщиком в клеёнчатом переднике, как парились в старину и почём было мясо, почём пуд овса.

После бани, посвежевший и немного расслабленный, Николай отправился на комиссию.

В военкомате, как всегда на ВТЭКе, толпилось несметное количество народу. Слонялись по коридорам, курили, в который уже раз рассказывали друг другу, где кого ранило.

Только к двум часам Николай попал в кабинет. Старенький подслеповатый врач-невропатолог в белой шапочке и очках полумесяцем заставил его несколько раз сжать и разжать кулак, пощупал кисти, потом бицепсы на обеих руках.

— Любопытно, даже травматической атрофии нет. Физкультурой, что ли, занимаетесь?

— Вроде как, — ответил Николай.

— Небольшой тендовагинит на правой кисти ещё есть, но это пройдёт, — и взглянул на Николая поверх очков. — Ничего не скажешь — годен. Где ваше направление?

Николай протянул листок. Врач написал своё заключение и вернул обратно.

— Что ж, можете опять воевать, молодой человек. — Он улыбнулся. — Надеюсь только, что не скоро придётся.

Николай тоже улыбнулся, подумал: «Не дальше как сегодня вечером придётся», застегнул гимнастёрку, ремень и вышел.

Стоял первый по-настоящему весенний день, какие бывают на Украине в марте, — ясный, ослепительно голубой, с весёлыми ручейками вдоль тротуаров, первыми подснежниками и таким одуряющим воздухом, что в голову начинают лезть всякие глупые мысли и меньше всего хочется думать об институте и обо всём, с ним связанным.

Николай давно так не гулял — просто так, без дела. Нижняя часть бульвара Шевченко, против Крытого рынка, обнесена забором. Возводится пьедестал для памятника Ленину. Николай подумал, что место не очень удачное, вот бы где-нибудь над Днепром, чтобы отовсюду видно было. Он пошёл в сторону Днепра. Вдоль всей улицы разбирали завалы. Вокруг экскаватора — они недавно только появились — стояли толпы и смотрели. Николай тоже постоял. Потом смотрел, как устанавливают фонари. О них, об этих фонарях, очень высоких, на гранитных постамен-

тах, много говорили в городе. Говорили, что каждый из них стоит не то двадцать, не то сто двадцать тысяч и что лучше бы вместо них построили несколько домов. Но Николаю фонари понравились — сразу стало как-то похоже на улицу.

Горластый мальчишка в отцовской ушанке с примятым мехом на месте бывшей звёздочки, надрываясь, предлагал всем крохотные букетики подснежников. Стоили они по рублю. Николай порылся в карманах и нашёл сорок копеек.

— Ладно, берите...

Николай понюхал букетик. Пахло травой. Весна! Скоро лёд тронется. И сапёры будут его взрывать. И, как в прошлом году, все будут прислушиваться к взрывам, и каждый что-нибудь скажет о войне. В прошлом году в это время она ещё громыхала. Где-то в Польше, в Германии... А сейчас вот фонари ставят, натягивают троллейбусный провод, садовники обрезают ветки на молоденьких липах. Их посадили прошлой осенью. Привезли в ящиках и посадили.

Весна...

А за весной лето. В июне экзамены. Потом практика, каникулы. Совсем недавно ещё строили планы, как и где их проводить. Антон приглашал к себе — у него там домик, Донец недалеко, Лёвка соблазнял Кавказом — мешки за плечи, и куда глаза глядят. На прошлой неделе ещё говорили...

Дойдя до площади Сталина, Николай пошёл вверх, мимо Верховного Совета, Арсенала, по разрытой Никольской, где переключивали трамвайные пути, потом повернул налево, вниз по тополевой аллее, к Аскольдовой могиле. Здесь пахло землёй, древесной корой и ещё чем-то, вероятно, просто весной. Сквозь деревья белеет скованный льдом Днепр. Но по тропинкам на льду никто уже не ходит — запретили, видно.

Морячок в кургузом, в обтяжку, бушлате фотографирует девушку. Девушка облокотилась о гипсовую вазу, повернув голову в сторону, — очевидно, считает, что в профиль она лучше. В руках у неё такой же, как у Николая, букетик подснежников. Волосы медно-рыжие, совсем как у Вали. Только Валя красивее — улыбкой, взглядом, кто его знает чем. Особенно когда смеётся — раскраснеется вся, и волосы как будто ярче становятся. И в последний раз она тоже была красивая, хотя и не смеялась. Серьёзная такая, брови сдвинула, и только чуть-чуть губы дрогнули, когда сказала: «Ничего смешного тут не вижу»...

Милая Валя... Милая, смешная Валя, сержант рыжий. Была бы ты сейчас здесь. Сейчас, сегодня...

Морячок подошёл к Николаю и попросил щёлкнуть их вдвоём с девушкой. Показал, куда надо смотреть и где нажать. Потом отошёл и ловко вскочил на вазу. Девушка — у его ног. Николай щёлкнул, морячок поблагодарил.

— А день-то какой, а? Всем дням день.

И улыбнулся. Улыбка у него была хорошая, весенняя, такая же, как день.

Да, всем дням день. Солнечный, ясный, прозрачный.

А вечером соберутся в физической аудитории — в ней всегда проводят собрания, — и Мизин будет вести протокол, Гнедаш рвать бумажки, Бельчиков сумрачно на всех смотреть, а Хохряков...

Вчера у Николая произошёл разговор с Хохряковым. Разговор довольно странный и неожиданный. Встретились они в коридоре, поздно вечером. Все уже спали. Хохряков на корточках сидел возле «титана» и подбрасывал сырые щепки. Щепки шипели, трещали, горели плохо.

— Как жена? — спросил Николай.

— Ничего, спасибо, — ответил Хохряков, выгребая из поддувала золу. — Дома уже. Вчера перевёз.

— Ну, вот и хорошо, — сказал Николай и подсел к нему.

Несколько минут оба молчали, глядя на огонь. Потом Хохряков спросил, не поворачивая головы:

— Так и не ходил к Курочкину?

— Нет.

— Напрасно. Он парень хороший.

Николай мрачно улыбнулся.

— Да по-твоему и Чекмень хороший. — И вдруг, глядя прямо на Хохрякова, спросил: — А чего вы все его боитесь?

— Боимся? Кто боится?

— Да все вы. И ты, и Гнедаш твой, и Мизин, и Бельчиков. Все боитесь. Смотреть стыдно было. На ваших глазах с человеком расправляются, а вы рисуночки на бумажках рисуете...

Хохряков молчал. Сжав губы, смотрел на огонь. Николаю вдруг показалось, что Хохряков может расценить его внезапно вспыхнувшую злость как обиду.

— Ты не думай, что я из самолюбия, — сказал он. — Расчихвостили, мол, меня, вот я и обиделся. Нет. Ей-богу, нет. Просто понять тебя не могу. Ну вот, не могу... Непонятный ты для меня человек.

Хохряков помолчал, очевидно ожидая продолжения, потом, поскольку его не последовало, сказал:

— Может, объяснишь всё-таки?

Николай пожал плечами. Ему вдруг вспомнился эпизод, свидетелем которого он был год тому назад, когда работал ещё в райжилуправлении. Этот случай его тогда поразил, и он долго потом о нём думал. Сейчас он опять всплыл в памяти.

В райжилуправлении было тогда всего два члена партии. Прикреплены они были к довольно большой партийной организации Музфабрики. И вот на одном партийном собрании обсуждалось неэтичное поведение коммуниста Серебрякова — бухгалтера из управления фабрики. Николай, как сейчас, помнил этого маленького, неказистого, узкоплечего человека в синей застиранной рубашке и потрёпанном пиджаке, стоявшего на трибуне, бледного, взволнованного, поминутно пьющего воду. Его обвиняли в том, что он бросил жену с тремя детьми, отказывается платить алименты, а сам женился на другой и живёт с ней припеваючи. Здесь же была и жена — толстая, краснолицая женщина в пуховом платке, говорившая жалобным голосом на одной ноте и рисовавшая своего бывшего мужа как изверга, тирана, мота и распутника... Глядя на самого Серебрякова, маленького, растерянного в оборванном своём пиджачишке, трудно было поверить всему тому, что говорила бывшая супруга о его прошлой разгульной жизни и о том, что он теперь, мол, живёт припеваючи. Но и она, и роскошный, громогласный мужчина в очках — заместитель директора Калужный, и ещё два-три человека поменьше калибром с таким азартом доказывали вину Серебрякова, что у присутствовавших на собрании начинало складываться впечатление, что Серебряков действительно распутник, изверг и негодяй.

Рядом с Николаем сидел голубоглазый малый в военной форме без погон, с бесчисленным количеством планок на груди. Он внимательно слушал, поминутно закуривал, а один раз у него даже вырвалось:

— Свернут-таки ему шею, сволочи...

В перерыве Николай подошёл к нему. Он с ним был уже знаком по предыдущим собраниям, как-то раз даже распил бутылку пива, и па-

рень, в общем, понравился Николаю — воевал в Севастополе, несколько раз был ранен.

— Ты хорошо знаешь этого самого Серебрякова? — спросил его Николай.

— Серебрякова? Конечно, знаю. Мухи не обидит.

— Значит, всё, что здесь говорят...

— Чепуха! Сплошная чепуха. Счёты сводят... Грязная, в общем, история.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что не Серебряков бросил жену, а она его, потому что он не захотел помогать замдиректору в его комбинациях, которые должны были принести определённые выгоды и замдиректору, и бухгалтеру, а заодно и его жене. Оказалось, что деньги он регулярно пересылает жене без всякого суда, по доброй воле, но он мешает замдиректору и тот хочет от него избавиться и вот привлёк даже бывшую жену. Об этом мало кто знает, но он, Кудрявцев — так звали парня, — в курсе всего и...

— Одним словом, ополчилась вся эта шайка на беднягу Серебрякова, и будет ему крышка. Факт.

— Так чего ж ты молчишь? выступи и скажи.

Парень удивлённо на него посмотрел.

— Спасибо тебе в шапочку. С Калюжным только спутайся... Нет уж, как-нибудь без меня обойдётся. Если хочешь, можешь выступить — ты здесь человек чужой, а я тебе всё рассказал.

Дело, правда, кончилось и без вмешательства Николая, притом довольно плачевно для Калюжного — ему вlepили строгий выговор и сняли с работы, но Николай на всю жизнь запомнил этого красивого голубоглазого парня с его планками на груди, который, видно, неплохо воевал и так искренне удивился предложению Николая.

Вот этого-то парня невольно и вспомнил сейчас Николай, глядя на Хохрякова, на его орден боевого Красного Знамени, орден, который не так просто было получить.

Николай не рассказал этой истории Хохрякову — пожалел его. Он только сказал:

— Не понимаю я тебя. Войну провоевал, и как будто неплохо провоевал, а сейчас...

— Что сейчас? — тихо спросил Хохряков.

— Другие, когда надо, воюют и сейчас. А тебя я что-то не пойму...

Прошёл мимо, шлёпа надетыми на босу ногу калошами, маленький Кунык из николаевой группы, потом вернулся обратно.

— Беседа у костра?

Хохряков молча кивнул головой, и только когда в конце коридора хлопнула за Куныком дверь, заговорил:

— Непонятный, значит, человек? Да? Кто его знает, может, и так, не знаю. Но как подумаешь... Иной раз лежишь вот так дома... И всякие мысли лезут. С проектом не ладится, и по статике тройку получил. С других требовать, а сам вот — в глаза людям стыдно смотреть. Прожил ты тридцать восемь лет и за эти тридцать восемь лет в четырёх войнах участвовал и шесть раз был ранен, и чёрт его знает сколько осколков в тебе ещё сидит. А живёшь дурак дураком, дубина неотёсанная. И читать надо. И в райкоме нажимают... — Он протянул руку: — Дай-ка, я докурю. И вот лежишь так, в темноте, и голова трещит от всего этого. А утром встанешь, и начинается. То то, то сё, то пятое, то десятое... Ты не думай, что я оправдываюсь. Просто так, прорвалось как-то. Обидно...

Хохряков говорил медленно, глухим, усталым голосом. Говорил о войне. Почти всю жизнь он провоевал. С двенадцати лет, когда, потеряв

отца и мать, прилепился к проходящей части. Почти до самой Варшавы дошёл. Потом коллективизация, кулачье. Две пули заработал, сюда и сюда. Рано женился, дети, жена всё болеет. Потом Халхин-Гол, Финляндия, три года сейчас. Мирной жизни почти не видел. Воевал и думал — вот кончится всё это и тогда-то... Хоть бы теперь передохнуть, институт кончить, человеком стать...

Хохряков посмотрел на Николая.

— Вот я на тебя гляжу. Тоже трудно. Как мне. Привычки нет. Всё с бою берёшь, с бою. Сдашь сопромат или статику и лоб вытираешь, точно высотку штурмом взял. — Он поковырял в печке валявшимся рядом старым штыком. — Силёнок не хватает, вот и бережём.

«Титан» давно уже кипел. Дрожал, фыркал, переливался через верх. Хохряков подставил чайник. Кран был неисправен, и большой жестяной чайник наполнялся долго. Наконец наполнился.

— Ты в Берлине был? — спросил он вдруг.

— Нет, не был. Я в сорок четвёртом кончил.

— Я тоже не был.

— А что?

— Да так... Рассказы слышал. Говорят, последние дни трудно воевать было. — Он сунул ещё одну чурку в огонь и закрыл дверцу. — Знали, что завтра-послезавтра мир, и не хотели умирать. Никто не хочет. Но люди всё-таки воюют... А были и такие. Человек в Сталинграде воевал, в Севастополе — ничего не боялся. А тут вдруг прижимается к земле... Слышал про такое?

— Слышал...

Висевшие на стене часы прохрипели что-то неопределённое, то ли час, то ли два. Хохряков поднялся.

— Ну, да что говорить... Всего не выговоришь. Спать пора.

И они разошлись.

Откуда-то, неизвестно откуда, набежали тучки и закрыли собой солнце. Всё вдруг стало серым, плоским. Поднялся ветер.

Николай запахнул шинель и пошёл.

Шёл и думал о вчерашнем разговоре. Вот тебе и Хохряков... Хороший как будто ларень, а вот ведь как скрутило, к земле прижало. И тут же подумал: а тебя не прижало? А? Вспомни-ка прошлый год, позапрошлый. Вспомни госпиталь, шестнадцатую квартиру с вечерними её чаями, разговорами... Может, потому и ушёл оттуда, что почувствовал приближение этого самого? Может, потому и тянуло на фронт? А может, и сама эта тоска по фронту была тем же прижиманием к земле?

Николай шёл по дорожке вдоль днепровских обрывов. Откуда-то снизу, с набережной, доносились автомобильные гудки. Ветер стих. Опять появилось солнце. Николай расстегнулся — жарко.

Да, но всё это уже позади. Преодолею всё-таки! Преодолею это проклятое чувство, это самое хохряковское «силёнок не хватает, бережём». А для кого бережём? Для себя, только для себя, чего уж тут скрывать! И кто это говорит? Человек, у которого вот здесь вот, в боковом кармане, маленькая красненькая книжечка, такая же самая, как та, которую хотят отнять сегодня у Николая. И за что? Именно за то, что в ту минуту он меньше всего думал о себе...

Николай в десятый, в сотый раз представил себе, как будет проходить сегодня собрание, как Гнедаш, поджав губы, внимательно будет слушать всех ораторов, кивая головой, а потом встанет и, сказав что-нибудь вроде того, что партию надо очищать от балласта, что никто не дал права Митясову позорить высокое звание коммуниста, предложит

своим тихим скрипучим голосом отобрать партийный билет. И бюро его поддержит.

Отобрать? Чёрта с два. Попробуйте только. Не вы давали, не вам и отнимать. Не те вы люди, товарищи Гнедаш и Мизин. Посмотришь на вас — всё у вас чистенько, гладенько, ни к чему не придерёшься. План работы есть — всегда под рукой, в шкафу, в папочке, — говорить вы умеете, очень даже убедительно умеете, заседания проводите, протоколы пишете, в райком относите их без опоздания, стенгазету выпускаете регулярно, отчёты партторгов заслушиваете. Что ещё надо? Со стороны посмотреть — полный порядок. А копнёшь поглубже — и страшно становится. Что Чекмень хочет, то вы и делаете. Мешает Никольцев — пожалуйста, поможем избавиться. Понравился Супрун — тоже поможем, подскажем дирекции. Чекмень — хозяин. Он умён, он умеет выступать, он всегда знает, чего хочет, и всегда добьётся этого — так и сказал: «Чего надо, я добьюсь, поверь мне» — и будет добиваться, это ясно! Людей он знает. И на кого опереться, тоже знает: Хохряков, Гнедаш, Мизин, Бельчиков. Духанина к чёрту — мешает. Другого подберём. А «подбирать» — навязать, протащить — он умеет. Ох, как умеет! Вот и Николая чуть так не «подобрал», когда в бюро его сватал: «Нам как раз такие, как ты, и нужны — фронтовики, настоящие хлопцы». Теперь всё понятно. Понятно, какие хлопцы ему были нужны. Холопы, а не хлопцы.

И вот эти люди, эти Чекмени и Гнедаши, будут пытаться решать его судьбу — быть ему в партии или нет... Правда, не только они будут решать. Будут и другие. Люди, которым он верит. Будет Лёвка. Ему он верит. И не потому, что он его товарищ, а просто потому, что он честный, настоящий коммунист. И Антону он верит. И Промобою верит. Даже Сергею, забулдыге Сергею, будь он сегодня на собрании, и то...

Николай вдруг остановился.

Сергей... Забудлыга Сергей... Почему он так подумал?

Вот Алексей говорит: мы настоящие, крепкие, хорошие... Сергей этого никогда не скажет. Ни настоящим, ни хорошим он себя не называл. Наоборот — дрянью, пьяницей, бузотёром. Но это ж не так! Неправда это! Всё это наносное, прилипшее, чужое.

«Хочется мне, чтоб у тебя всё хорошо было» — вот где весь Сергей. Это тогда ночью он говорил, у себя на койке. «Иди к ней, иди к Шуре. Она тебя ждёт. Тут что-то не так, я знаю». Сидел красным, злой, кулаком по коленке стучал. О себе, что ли, тогда он думал? Или тогда, в первый раз, после разговора на лужайке, когда у Николая вдруг прорвалось всё наружу... Кто Сергея просил к Шуре ходить? Никто. А он вот пошёл. Для себя, что ли?

Потому-то и тянутся к нему люди. Потому и Николая потянуло. Когда всё вверх тормашками полетело — к кому он побежал? К Сергею. К нему потянуло. Потянуло же! И не только его. Вот и Шуру потянуло. И Васью его тянуло. Наверное же тянуло... А вот теперь и ребят аэроклубовских. Шура рассказывала — дня без него прожить не могут, оторвать от него нельзя. И Николай знает, что это так. Он видит Сергея среди этих мальчишек, видит влюблённые их глаза — влюблённые потому, что для Сергея люди и работа, настоящая, живая работа, — это всё. Потому, что он умеет увлекаться, и не только увлекаться, но и увлечь других. Потому, что ему, как и самим этим мальчишкам, хочется сейчас, чтобы они скорее, как можно скорее стали лётчиками, смелыми, сильными, которыми могла бы гордиться вся Советская страна. У него появилась цель, а без этого в жизни очень трудно, и ради этой цели он ничего не пожалеет. И когда первый из его мальчишек подымется в воздух на старенькой, собранной собственными руками «удвёшке», он будет стоять

на поле, задравши голову, и сердце у него будет сжиматься, но уши он уже затыкать не будет.

Эх, Серёжка, Серёжка, счастливый ты человек... И плюнь ты той цыганке в глаза, которая нагадала тебе какую-то ерунду — всё, мол, у тебя будет: любовь, друзья, деньги, а счастья не будет. Дура она, твоя цыганка. Есть оно у тебя. И я рад за тебя, ей-богу же рад. И за Шуру. Ей будет хорошо с тобой. Я по глазам её понял. В тот самый вечер, в последний раз, когда был у тебя.

И не смей ты называть себя дрянью, пьяницей, бузотёром. Слышишь — не смей! Совсем ты не такой. Вот сказал бы мне сегодня: «Неправ ты, Митясов, кругом неправ», — и я бы поверил тебе. Но ты не сказал бы так, я знаю.

9

В президиум избрано было семь человек — Хохряков, Гнедаш, Мизин, два студента со второго курса, председатель профкома Кагальницкий и — Николая это удивило и обрадовало — Лёвка Хорол. Председательствовал один из второкурсников, спортивного вида, подстриженный под бокс парень в клетчатой ковбойке.

Николай забрался на самый верхний ряд — собрание было в физической аудитории, расположенной амфитеатром, — и просидел там до самого конца, не выходя даже покурить, — курил в кулак. Рядом сидел Черевичный и ещё несколько ребят из его группы. Громобой не пришёл. «Не пойду, — сказал он, — в пузырь ещё полезу. Скажете, что болен».

Против обыкновения, открытая часть собрания тянулась очень долго. Бельчиков, шурша бумагами и без конца перечисляя фамилии лучших агитаторов, подводил итоги прошедшим выборам в Верховный Совет. Потом двух человек принимали в партию.

Закрытая часть началась уже около девяти.

Хохряков кратко сообщил о случившемся и прочитал по бумажке решение бюро: «За хулиганский, антипартийный поступок, выразившийся в нанесении побоев декану факультета ПГС тов. Чекменю А. И. при исполнении им служебных обязанностей, рекомендовать партсобранию товарища Митясова Н. И. 1919 года рождения, члена ВКП(б) с 1942 года, русского, учащегося, — из партии исключить».

«Мизинский язычок, — подумал Николай. — Бумажная душа...»

Председатель вопросительно посмотрел на Хохрякова, кашлянул, поправил лежавшие перед ним на столе бумаги.

— Так что ж, товарищи, предоставим, так сказать, слово...

— Разрешите мне, — раздалось откуда-то справа, снизу. Николай узнал голос Алексея.

Председатель посмотрел на Хохрякова. Тот кивнул головой.

— Пожалуйста, — сказал председатель.

Алексей подошёл к кафедре.

— Буду краток, — твёрдо и громко сказал он. — Я нарочно взял слово первым, чтобы сразу внести ясность во всё это дело. Не буду останавливаться на подробностях и оправдывать Митясова, но скажу прямо — кое-какие основания для его, выражаясь формулировкой решения бюро, хулиганского поступка были. Я незаслуженно оскорбил его товарища. Это фаз. Второе. На заседании бюро я не голосовал, но если бы и голосовал, то воздержался бы. И не только потому, что я в этом деле лицо, так сказать, не совсем объективное, а потому, что считаю меру наказания — исключение из партии — слишком суровой. Думаю, что, учитывая фронтное прошлое Митясова, можно ограничиться строгим выговором, а может, даже и выговором.

Антон толкнул Николая в бок. Видал, куда завернул? Николай пожал плечами. На бюро Алексей не говорил, сидел и молчал.

Слово взял Гнедаш. Бледный, худой, с поджатыми бескровными губами, стуча в такт своим словам карандашом по кафедре, он говорил, что удивлён выступлением Чекменя. К чему это благородство? Митясов совершил хулиганский, антипартийный поступок. Совершил в стенах института. И совершил ли он его, обидясь за своего товарища, или по какой-либо другой причине, это никого не интересует. Он его совершил. Но и это не всё. Митясов до сих пор считает, что поступил правильно. Он и на бюро так сказал. Вот до чего он дошёл. Интересно, что он сегодня скажет. Короче, Гнедаш считает, что резолюция бюро абсолютно правильная — из партии исключить (он так и сказал — «исключить») и из института тоже, не нужны нам такие студенты. И такие коммунисты тоже.

Стукнув в последний раз карандашом по кафедре, он сел. Выступивший вслед за ним Мизин повторил в других выражениях то же самое. Он, как и Гнедаш, не согласен с Чекменем. Незачем оправдывать хулиганский, антипартийный поступок Митясова какими-то былыми его фронтовыми заслугами. Заслуги заслугами, но тем-то и позорна вся эта история, что затеял её человек, для которого, как для члена партии, понятие дисциплины должно быть абсолютно святым. Что ж это получится, если каждый студент станет доказывать свою правоту (допустим даже, что Митясов был в чём-то прав) таким способом? В армии за это трибунал — и точка. И Митясову это известно лучше, чем кому-либо другому. И вообще, зачем доказывать то, что и без доказательств ясно? Митясов своей выходкой и своим дальнейшим поведением на бюро запятнал весь факультет, весь институт. Он заслуживает самого сурового наказания, поэтому Мизин голосовал и будет голосовать за исключение из партии.

Выступление Бельчикова ничем не отличалось от двух предыдущих. Он, так же как Гнедаш и Мизин, настаивал на исключении.

Духанин — четвёртый член бюро — заявил, что считает меру наказания слишком суровой. Он и на бюро голосовал против исключения. И вообще он считает вопрос недостаточно разобранным. Пусть и Митясов и Чекмень выступают и скажут, что, в конце концов, между ними произошло и что послужило причиной конфликта. Он предлагает выслушать сейчас Митясова, тем более, что полагается с этого начинать, а потом уже выступать другим товарищам.

Предложение это было принято.

Николай спустился по лестнице и подошёл к кафедре. Он не совсем ясно представлял себе, о чём будет говорить. Он вообще не умел говорить. Особенно когда перед ним столько людей. Сидят и смотрят на него, — а что он скажет? Лёвка нахмурился, грызёт ноготь, тоже смотрит. Хохряков чинит карандаш. Откуда-то взялся Громобой. Уселся в первом ряду и тоже уставился. А ведь сказал, что не придёт.

Спускаясь по лестнице, Николай встретился взглядом с Алексеем. Алексей сидел во втором ряду, прямо против трибуны. Когда Николай проходил мимо него, он поднял голову и снизу вверх посмотрел на Николая. В маленьких, чуть-чуть раскосых глазах его не было сейчас обычной иронии. В них было другое — и Николай успел это увидеть: «Я заступился за тебя, учти это». Николай отвернулся. Ему вспомнился вдруг старенький врач в белой шапочке и очках полумесяцем: «Годеи, ничего не скажешь. Можете опять воевать».

Что ж, повуюем. Николай поднялся на трибуну.

Присутствовавшие на собрании говорили потом, что никто из них даже отдалённо не подозревал, что Николай умеет так выступать. Сна-

чала говорил он тихо, в последних рядах даже плохо слышно было, но постепенно разошёлся, а к концу, по выражению Громобоя, «рубанул правильно, на всю железку». Но Николай ничего этого не помнил. Он помнил только Громобоя, сидевшего перед ним в первом ряду, — его глаза, напряжённо прикушенную губу, его «правильно!» в каком-то месте. Впоследствии выяснилось, что это испытанный ораторский приём — выбрать кого-то из публики и обращаться именно к нему. Николай этого не знал, но поступил именно так. И, может, это и помогло ему собраться, преодолеть охватившее его волнение.

Витька Мальков, трезвый, в любых обстоятельствах совершенно трезвый и в этой трезвости доходивший до цинизма, перед самым собранием сказал ему, криво усмехаясь:

— Спокойствие прежде всего. Запомни это. И признание ошибок. Вот и всё. Как в том анекдоте — лучше пять минут быть трусом, чем всю жизнь покойником. — И отошёл, весьма довольный сказанной гадостью.

Но признания, о котором говорил Витька и на которое, очевидно, рассчитывали Гнедаш и Мизин, не получилось. Получилось совсем иначе. Николай говорил недолго, минут пять, не больше. Дело партийного собрания — оценить его поступок, сказал он. Если виноват, надо осудить. Мера осуждения — как совесть подскажет присутствующим. Что касается самого Николая, то он, не оправдывая своего поведения, может сказать только одно — чувства вины, большой, непоправимой вины перед партией, которую хотят сейчас освободить от него, он не чувствует. На бюро он не говорил о причинах, заставивших его поступить так, как он поступил, — не говорил потому, что у него не было доказательств. У него и сейчас их нет. Чекмень в любой момент может встать и сказать: «Неправда», и ему нечего будет ответить. Единственное его доказательство — это честное слово коммуниста.

Николай сделал паузу, отпил воды из стакана.

— Я не буду оправдываться. И не хочу. Я ударил человека и за это понесу наказание. Я должен был сдержаться, знаю, но я не смог. Не смог потому, что, когда в твоём присутствии...

Николай повернулся к Алексею. Тот сидел прямо перед ним, подперев руками щеки, и, не мигая, глядел куда-то в пространство между трибуной и президиумом.

— Вот он говорил сегодня, что оскорбил моего друга. Нет, ты не друга моего оскорбил. Ты оскорбил всех, кто попал в плен, в фашистские лагеря, в оккупацию. Всех, без разбора... Мы знаем — там были разные люди. Были среди них и сволочи и предатели — всё это мы знаем. Но сколько их было? И кто они? Кучка негодяев. А народ ждал нас. Кто мог — убегал в лес, партизанил. Да что говорить... Нужно быть последней сволочью, чтобы... Простите меня, товарищи, но я прямо скажу — я не знаю ещё, как бы каждый из вас, сидящих здесь, поступил, если б в его присутствии человек, да ещё коммунист — нет, не коммунист, он только билет в кармане носит, — словом, если б такой вот человек сказал вам, что три четверти людей, попавших в плен, пошли туда добровольно. что все, кто под немцами был, все, без разбора, подлещи и мерзавцы... Не знаю, что бы вы сделали... Я ударил. Не выдержал и ударил. Вот и всё... — Николай через плечо взглянул на Алексея. — Теперь можешь ты говорить. Если у тебя совесть ещё есть. Я всё сказал.

Когда Николай вернулся на своё место, Антон молча, не поворачиваясь, взял его руку, чуть повыше локтя, и крепко сжал... Только сейчас Николай почувствовал волнение — во рту пересохло, неистово заколотилось сердце.

В зале — тишина. С улицы в открытое окно время от времени доносится скрежещущий звук заворачивающегося на углу трамвая.

Председатель долго просматривает лежащие перед ним на столе бумаги, перекладывает их с места на место, наконец отрывается от них и вопросительно смотрит на Чекменя.

— Вы будете?

Чекмень, не вставая с места, говорит:

— Я думаю, пусть товарищи сначала выскажутся. Я подожду. Вот товарищ Хорол, я вижу, хочет.

Лёвка подымает голову. Он бледен, он всегда бледнеет, когда волнуется.

— Хочу, — говорит он. — Вы не ошиблись, — и встает.

Говорит он негромко, с тем подчеркнутым спокойствием, которое бывает у людей, хотящих скрыть своё волнение.

— Я не собираюсь оправдывать Митясова, — начинает он. — Своё отношение к его поступку я ему уже высказал. И совершенно прав был Мизин, когда сказал, что, будь ты даже тысячу раз прав, нельзя таким способом, как Митясов, доказывать свою правоту. Но дело сейчас не в этом, товарищи...

— А в чём же? — вставляет сидящий на краю стола Мизин. — Ведь мы, по-моему, дело Митясова рассматриваем, а не кого-либо другого.

— Вот об этом-то я и хочу сказать, товарищ Мизин. О том, что хотя мы и рассматриваем дело, но не совсем то дело и не совсем так рассматриваем. Самое простое, товарищи, — судить человека так, как мы его сейчас судим. Оскорбил? Оскорбил. Виноват? Виноват. Исключить? Исключить. Записали в протокол, и по домам. Просто и ясно. Нет, не просто и не ясно! С другого конца начинать надо. Оскорбил? Да, оскорбил. Виноват? Да, виноват. Но он ли один? Вот тут-то и заковыка. Кто больше виноват — Митясов или Чекмень? Митясов в том, что ударил, или Чекмень в том, что довёл его до этого. А почему довёл — вы знаете. Знаете и молчите...

— Кто это — вы? — перебивает Гнедаш. Он сидит рядом с Хоролом и старательно сворачивает из бумаги фунтики.

— Кто? Хотя бы вы, уважаемый товарищ Гнедаш. И вы, и Мизин, и Бельчиков, и Хохряков — все те, кто прекрасно знает, в чём дело, и молчат. Все вы молчите. Все, кроме Духанина. Молчите, потому что куда проще расправиться с Митясовым, чем не угодить Чекменю. Чекмень всё-таки декан, все мы под ним ходим...

Кто-то из президиума — Николай не разобрал, то ли тот же Гнедаш, то ли Бельчиков — возмутился:

— Выбирайте свои выражения...

Председатель, явно растерявшись, постучал стеклянной пробкой о графин:

— Товарищи, товарищи, порядочек! — И взглянув на Лёвку: — Вы кончили?

— Нет, не кончил. — Лёвка поднял руку, словно успокаивая зал. Но в зале — тишина. Напряжённая тишина. Никто даже не кашляет. — Мы обсуждаем сейчас персональное дело Митясова. Но есть и другое дело, не менее, а может быть, даже и более важное, чем это. Дело, из-за которого весь сыр-бор загорелся. Я говорю о поступке товарища Чекменя, который на позапрошлом бюро пытался очернить и оклеветать профессора Никольцева при полном попустительстве членов бюро. Виноват, большинства членов бюро. Я считаю, что партсобрание должно разобрать этот случай, тем более, что, судя по всему, кое-кто из сидящих здесь заинтересован в том, чтоб сегодняшним митясовским делом отвлечь внимание от другого дела, куда более важного, — никольцевского, вернее, чекменевского. — Лёвка вытер ладонью вспотевший лоб. — Короче. Вношу предложение: в повестку дня после пункта «персональ-

ное дело товарища Митясова» знести ещё один пункт — «персональное дело товарища Чекменя».

Сказал и сел.

Тишина кончилась. Зал загудел. Председатель попытался поставить предложение Хорола на голосование. Гнедаш запротестовал — в ходе собрания нельзя менять повестки дня, это надо было делать в начале, когда председатель спрашивал, будут ли у кого-нибудь дополнения. Кто-то крикнул: «Формальный подход!» Тогда вмешался Мизин. Покрывая своим могучим басом шум, он стал доказывать, что всякий вопрос, прежде чем его поставить на партсобрании, должен быть заслушан на партбюро и что поскольку вопрос о Чекмене до сих пор никем не поднимался, то...

— Испугались? — крикнул кто-то из зала. — Ставь на голосование!

Поднявшемуся на трибуну Бельчикову не дали говорить. Махнув рукой, он сошёл с неё.

— Голосую предложение Хорола, — с трудом перекрывая шум, объявляет председатель. Сразу становится тихо. — Кто «за»? — Поднимаются руки. — Большинство. Ясно. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять... Десять против. Кто воздержался? Три. Предложение принято.

Опять шум. Хлопки. Кто-то с места просит слова и, когда ему наконец дают, спрашивает, почему на собрании нет секретаря парткома.

— Курочкин болен. — выкрикивает с места Гнедаш.

— А почему из райкома никого нет? Вы райком-то поставили в известность?

Мизин наклоняется к Хохрякову, потом встаёт и даёт путаное объяснение: должен был быть инструктор райкома, но его куда-то срочно вызвали, а когда позвонили в райком, оказалось, что там никого уже нет. Ответ этот вызывает ещё больший шум. С разных концов зала доносятся выкрики: «Чекмень! Чекмень! Пусть Чекмень выступит!»

Чекмень через плечо оборачивается, оглядывает зал и медленно поднимается, упершись руками в парту. Сразу становится тихо.

— Что ж, — говорит он, полуобернувшись к залу, — могу сказать. Первое. Всё, что говорил здесь Митясов, — ложь и клевета!

Николай, не отрываясь, смотрит на него. Ложь и клевета! Так. То, чего он ждал и чего боялся, произошло. Ложь и клевета! Как докажешь, что это не так? Как докажешь, что это не ложь и не клевета? Как? Доказательств нет... Ну и пусть... Важно другое: важно, что Чекмень испугался. Побоялся признаться. Вот что важно — не может признаться в том, что сказал...

Николай что-то пропустил. Чекмень стоит всё так же, полуобернувшись к залу и слегка постукивая ладонью по парте.

— ...не мне этим заниматься и не мне оправдываться. Я обвиняю Митясова в клевете. Нет, не только в клевете — в желании подорвать мой авторитет как декана и как члена бюро. Но не выйдет, товарищ Митясов, смею вас уверить. И вы, Хорола, тоже учтите это. Учтите хорошенько, потому что мы ещё поговорим на эту тему. И о вас поговорим, товарищ Хорола, и о Митясове, и о вашем подзащитном, главном вдохновителе всего вашего антипартийного поведения. Но не сегодня и не здесь поговорим, а в другой раз и в другом месте... Вот тогда я уже всё скажу...

Он хлопнул крышкой парты и сел.

— Видал, каков? — дышит в самое ухо Николаю Антон. — Оттянуть хочет, оттянуть, чёрт, хочет, подготовиться...

Зал, точно очнувшись, опять начинает гудеть. Откуда-то с самого верха доносится: «В каком это ещё месте? Сегодня! Сегодня пусть говорит...» И вот тут-то, среди общего гула, слово берёт наконец Хохряков.

Он медленно выходит из-за стола, в своём поношенном пиджаке, с орденом на груди, поднимается на кафедру, осматривает всех своим грустным, как всегда усталым взглядом (в аудитории сразу становится опять тихо), проводит рукой по волосам.

— Совершенно ясно, товарищи,— говорит он, откашливаясь,— что провели мы это голосование или не провели, но рассматривать вопрос о товарище Чекмене мы не можем...

— Можем! Можем! Опять сдрейфили!

Хохряков поднимает два пальца, дожидается, пока опять не становится тихо.

— Повторяю, товарищи,— очень тихо, но твёрдо, глядя куда-то поверх голов, говорит он,— повторяю, рассматривать его мы сейчас не будем. Не будем, потому что с кондачка такие вопросы не решаются. На то вы и избрали нас в члены бюро. («Напрасно избрали!» — голос Громобоя.)... Это уж другой вопрос — напрасно или не напрасно, но пока что нас никто не переизбирал, и я до сих пор ещё секретарь. — Он делает паузу, точно ожидая возражений. Но все молчат. — И как секретарь заявляю: ни один неподготовленный вопрос на стихийное обсуждение мы ставить не будем. Ясно или не ясно? («Не очень!» — Хохряков пропускает реплику мимо ушей.) И по той же причине, товарищи, мы не будем рассматривать сейчас дело Митясова. Не будем, потому что... — Опять пауза, глоток воды из стакана. — Просто потому, что оно не подготовлено, товарищи. — В зале шепоток. — Более того, скажу и другое. Во всей этой истории, которая произошла между Митясовым и Чекменем, я в первую очередь виню нас, бюро (голос Гнедаша: «Ого!»), и себя особенно как его секретаря. В подробности — отчего и почему — вдаваться сейчас не буду. Вношу предложение: вопрос отложить, бюро разобраться во всём этом деле и поставить его на следующем собрании. Прошу проголосовать моё предложение.

Предложение принимается. Против трое — Гнедаш, Мизин и Бельчиков. Воздержавшийся один — Алексей.

На этом собрание кончается.

10

Валя сидит в библиотеке и читает «Кэнтервильское привидение». Она знает его наизусть, но ничто другое в голову сейчас не лезет. К тому же в библиотеке, кроме этого томика, из английских книг есть только технические журналы и Диккенс, которого Валя не любит.

В десять библиотека закрывается, но библиотекарша что-то возится с каталогом, значит можно ещё посидеть. Валя сказала ей, что дома у неё дымит печка и невозможно работать.

В половине одиннадцатого на лестнице раздаётся топот. Валя топорливо сует книжку на полку («что-то подозрительно рано кончилось») и, забыв даже попрощаться с библиотекаршей, выходит в вестибюль.

В раздевалке уже толпится народ. Из разговора трудно что-либо понять. Сумбур какой-то. Валя подходит к одному из первокурсников и, хотя знает, что не положено осведомляться о том, что было на закрытом партсобрании, спрашивает, будто между делом, натягивая пальто: «Ну, как?» Парень весело улыбается: «Дали дрозда!» — и убегает. Ничего не понятно. Кто, кому?

За спиной Вали слышен голос Николая: «И моё возьми, Антон, я сейчас». Валя оборачивается. Николая уже нет. Группа студентов, человек в десять, стоя у барьера раздевалки, подсчитывает деньги. Увидев Валу, один из них — громогласный, всегда о чём-то спорящий Громобой, он из валиной группы, — весело подмигивает ей:

— Ресурсы подсчитываем. Выходной завтра.

Кто-то говорит:

— Почему выходной? Суббота завтра.

— Ну, не выходной, суббота. Один чёрт.

Откуда-то появляется Николай. Гимнастёрка на нём расстёгнута, вытирает шею платком.

Зажав между колен планшет, он влезает в шинель. И в этот момент глаза их встречаются. Они смотрят друг на друга поверх чьих-то голов и спин. Николай улыбается. Моргает глазами. Потом подходит и, продолжая натягивать шинель, говорит:

— Здравствуй, Валя.

— Здравствуй,— говорит Валя.

Ночь. Мартовская ночь. Тёмная, почти без звёзд мартовская ночь. Иногда подымается ветер. Он несёт откуда-то из-за города запах полей, леса, земли, талого снега. Шумит ветвями, срывает с головы шапку, забирается в расстёгнутый ворот, в уши, в ноздри. И вдруг прекращается так же неожиданно, как начался.

Чуть-чуть морозит. Подмёрзли ручейки вдоль тротуаров. На улицах пусто. Только сторожа у магазинов. Который же это час? Час, два, три?

— ...и самое странное то, что я знал, что так будет. То есть не так, не так именно, как было, и не то что знал... Ну, как бы это сказать? Вот на фронте, например, так бывало. Иной раз кругом тихо-тихо, ни одного выстрела, как будто и войны нет, а внутри, вот здесь, что-то сжимается, тоска... А другой раз, наоборот,— ад кромешный, голоса своего не слышишь, земля дрожит, а ты вот спокоен, уверен как-то. Бывало у тебя такое? У меня — да. И сейчас вот так было. Ну, не то чтоб совсем спокоен был,— волновался, конечно, особенно когда на трибуну вышел, а кругом головы, головы, головы... Но посмотрю на Громобоя — он как раз передо мной сидел,— да ты его знаешь, в твоей группе учился,— посмотришь на него, и сразу легче становится. Вот он сидит, думаю, а там наверху Антон, и Петровский, и Сагайдак. А за спиной — Лёвка. Ты знаешь Лёвку? Хорола? Растрёпанный такой. Не можешь не знать. Его все знают. Ну, познакомлю. И с Антоном Черевичным, и с Куныком нашим маленьким, со всеми познакомлю. Да ты застегнись. Фронтотвичка фронтотвичкой, а март месяц, знаешь, какой? Нет, самое важное не это. Я о чём-то другом хотел. Вот чёрт... Ага! Помнишь, когда я с комиссии вернулся и мы пили с Яшкой, а Муня дрых. И ты тут пришла. И мы немножко поцапались. А потом сидели с мамой и чай пили. Потом спать разошлись. Я долго тогда не спал. Тоска напала. По фронту, по хлопцам. И потом бывало, часто бывало. Тоскуешь, грустишь — один, мол, остался, нет хлопцев, нет солдат твоих... А ведь за них отвечать надо было. У каждого жена, ребята, мамаша, а задание выполнять надо — и вот посылаешь на смерть. Тяжело. А вот как не стало всего этого, ещё тяжелее стало. Почему? Ну вот скажи мне — почему? Да застегнись ты, Христа ради, вот упрямая. В отца, что ли? Анна Пантелеймоновна совсем не такая была.

Они идут по пустынным, затихшим улицам, сворачивают направо, налево, проходят через какие-то пустыри, мимо заборов новостроек, опять выходят на улицу, опять налево, направо — куда их чёрт занёс? А не всё ли равно...

— Вот ты объясни мне, Валя (господи, как он много сегодня говорит), объясни мне, почему люди такие разные? Нет, не то... Ты не смейся, я не то хотел сказать... Не умею я говорить, что поделаешь. Начнём с примеров, это легче. Вот три человека — Алексей, Хохряков и Лёвка. И Сергей — четвёртый. Ты его не знаешь — подбитый лётчик, безногий,

чудесный парень. В водке, правда, чуть не утонул. Чего ты смеёшься? Чудесный, да. И ничего смешного тут нет. Познакомись, сама поймёшь... Так вот, все четверо они воевали. И каждый из них узнал на войне то, что и все узнали. И страх, и усталость дикую, когда ни о чём думать не хочется, и то, что кровь из носу, а надо выполнять приказ, и что сидишь вот ты с человеком и покуриваешь, а через минуту от этого человека может ничего не остаться. И не останется потому, что ты ему сказал «иди». И сказал ему это потому, что он лучше других, а не хуже. В общем, ты всё это знаешь. Так вот, четыре человека, и все четверо воевали. И остались живы. Но ведь каждый остался жить по-своему. Вот в чём загвоздка. Один только для себя, а другой... Это очень важно, Валя, очень важно, ты послушай. Это, может быть, самое важное в жизни — уметь жить не для одного себя. А то уставившись в собственный пуп и смотришь. Или, как страус, голову под крыло. Я долго так сидел. И, знаешь, казалось, что даже хорошо. Потом выглянул. Повертел головой — направо, налево. Кинулся в институт. И зарылся в книжки. С головой зарылся. Книжки, книжки, книжки — и стало мне легче... Ну, чего ты смотришь? Как будто не знаешь, почему тяжело было? Знаешь же, всё знаешь. Сколько раз я хотел подойти к тебе. Но посмотришь — идёт, брови сдвинула, не подходи! — и не подходишь. Чем я хуже её? Да, так о чём это я? О книжках? Да, так вот, так и получилось. Забывал ими голову, чтобы о другом не думать. Вроде как Хохряков. Ну, не совсем вроде, у него по другой причине, — но оба мы уши заткнули. Вот это самое страшное. Не знаю, что страшней — Алексей или это... Чёрт его знает... А я ведь верил ему, понимаешь, верил Алексею. Даже завидовал в чём-то. Умный, образованный, что ещё надо? А вот сегодня смотрел я на него... Ты б видела, как он себя держал. Глазом не сморгнул. От всего отрёкся. В другом месте, мол, поговорим. Чёрта с два! Мы там тоже поговорим. Посмотрим ещё, кто кого... Господи, до чего же всё-таки ошибаешься в людях. Вот Лёвка, например. Каким я его считал? Хороший, ничего не скажешь. Весёлый, неунывающий, всегда рад помочь. Но вот посмотришь на него и думаешь: всё у тебя гладко, хорошо, слишком хорошо. Даже разозлился на него как-то — утруждать, мол, себя не хочешь, гладенькую жизнь эту свою портить. А вот, оказывается, ошибся. И в Серёжке ошибся. Нет, не ошибся — не понял просто. Его с первого взгляда не поймёшь. Ворчит, ругается, всем недоволен. А присмотришься, подойдёшь поближе, и вдруг оказывается... Ну, что ты смотришь на меня? Надоел? Заговорил тебя? Ну ладно, помолчу. Говори ты...

И опять говорит. Говорит, говорит, говорит... А Валя слушает. Прижалась к нему — так тепло с этой стороны, и рука его большая, тёплая, Валя сквозь перчатку чувствует. Идёт рядом и слушает. Ему хочется выговориться — она понимает, у него сегодня такой день, но всё-таки... Ну, да ладно, говори, говори, о чём хочешь.

Ведь прошло столько времени — сентябрь, октябрь, ноябрь... Господи, почти семь месяцев.

— А вот и то место, где мы с тобой лазили, помнишь? — Они у рёшётки Ботанического сада.

— Перемахнём, а?

— Погоди. Пусть милиционер отойдёт.

В саду темно-темно — на улице, там хоть фонари, — под ногами грязь, скользко. «Держись за меня, крепче держись». Опять поднялся ветер. Деревья шумят.

— Ты любишь, когда они шумят?

— Люблю.

— А ещё что?

— Что — что?

- Ещё что любишь?
- Ещё что? Когда паровозы так гудят. И почему ночью всегда так слышно?
- Не знаю. А ещё что?
- Слушай, я куда-то провалилась.
- Ну вот, говорил тебе — держись крепче. Фронтювчкка...
- Здесь, по-моему, болото.
- Какое тут может быть болото?
- А я говорю — болото. У меня полон сапог воды.
- Давай тогда сюда. Держись за шею. Раз...
- Ну и хватит. Дальше я сама пойду. Ну вот, до того дерева — и хватит. Там уже сухо.
- Сухо, сухо... Тебе только по асфальту ходить.
- Ну и ладно.
- Пауза.
- А который это час, интересно?
- Бог его знает. Не всё ли равно?
- А ребята?
- Что — ребята?
- Ведь они ждут тебя.
- Не ждут. Они всё понимают.
- Что — всё?
- То, чего ты не понимаешь.
- Ох, и глупый же ты...
- Пауза.
- Слушай, а зачем ты тогда подошла?
- Когда? Во вторник?
- Да.
- Просто так...
- И действительно считала, что не надо оправдываться?
- Не знаю, может, и думала. А потом рассердилась на тебя.
- Почему?
- Почему, почему... Сам догадайся.
- Не могу. Я поглупел. Ну вот совсем поглупел. И вообще, давай сядем на эту скамейку.
- Она мокрая.
- Ну и ладно. Мы всё равно на неё сядем. Сядем, и я тебе расскажу об одном товарище.
- Опять о Лёвке или Сергее своём? (Господи, опять о смысле жизни?)
- Нет, не о Лёвке. О другом. Ты его не знаешь. Так себе, рядовой товарищ. Жил-был, потом воевал, потом попал в госпиталь. Вот здесь вот этот госпиталь был, на горе. Потом познакомился он с одной девушкой. А девушка была глупенькая, ничего не понимала. Потом они поссорились...
- По его вине...
- А ты её разве знаешь?
- Встречала...
- Тогда ты должна знать, чем у них всё кончилось.
- А разве кончилось?..
- Но на этом поставим точку. Хватит. На вокзальных часах уже четверть пятого. И на востоке уже стало светать — видны трубы, антенны. И вообще ничего умного эти товарищи сегодня уже не скажут. Не будем их винить за это...



МАРК МАКСИМОВ

★

СКАЗКА

Маринке

1

В некоем государстве в пять морей,
в некотором царстве без царей
сказочная девочка жила:
мать её в теплушке родила.

Да, в теплушке, горестной порой —
в ночь под новый год, сорок второй.

Ты мети-мети, метелица, мети,
рваный дым по полю стелется в пути!
Ты мети-свисти, метелица, свинцом,
чтоб скорее дочке встретиться с отцом!
Ты мети-гони, метелица, снега,
чтоб и следа не осталось от врага!

Рвались бомбы с четырёх сторон,
и пурга мела, мела, мела.
Уходил к востоку эшелон,
девочка кричала и — жила.

Ну, да ладно! Эта боль в груди —
присказка, а сказка — впереди.

2

Я бинокль достану полевой,
с незажившей ранкой пулевой,
у окна всю ночьку просижу,
сны подросшей дочки подгляжу.

Бровки чёрные у ней дугой.
Спи, глазок, спи, другой...

Спит она в палатке, вдалеке,
на подушке тёплая щека,
спать под ней уложена рука,
распустились косы по руке.
Красный галстук с огненным значком
прикорнул на тумбочке бочком.

А на море штиль и тишина,
чуть звенит волна у валуна,
или это, уходя в зенит,
лунная дорожка чуть звенит,
и по ней на цыпочках с луны
через море к детям ходят сны.

Вот и сказка: ходит царь Додон,
Золушка царевной входит в дом,
важно ходит птица-пеликан,
катит колесницу великан...
Мягкими шагами взад-вперёд
на цепи всё ходит мудрый кот...

И чтоб снился девочке покой,
ходит крейсер по волне морской!
Охраняют девочек Артек
двести миллионов человек,
из руин восставший Сталинград,
и ракетных лётчиков парад,
и стеной стоящие хлеба,
и стволов учебная пальба,
и зарницы сварок по стране...

Девочка! Ведь это не во сне.
Ты была в теплушке рождена,
так проснись, глазок, и погляди,
какова теперь твоя страна.

Это ли не сказка? Нет, поди,
присказка. А сказка — впереди.

3

Древний белокаменный дворец.
День рожденья дочки. Новый год.
Вот она и сказка наконец,
в эту сказку девочка идёт.

Сквером вдоль канавки, по застывшей травке
идёт она маленька, на ней шубка аленька,
опушка бобровая, сама чернобровая.
Вот ворота Спасские
распахнулись сказкою.

Терема боярские.
Елке — полный век.
И подходит к девочке взрослый человек.
У него усталый, неволшебный вид,
а речь такую сказочную
он ей говорит:

— Трон алмазный, девочка,
жемчуг, кружевьё,
колечки витые, крючки золотые
да по стенам горницы золотые горлицы —
это всё твоё!

Шапка та, что нашивал Владимир Мономах,
голуби, живущие здесь, в колоколах,
да страна огромная
с пашнями и домами —
это всё твоё!

Девочка воспитана. Говорит ему:
— Большое спасибо. Подросту — приму.—
И бежит на ёлку...

В царском тронном зале
сказочную песню
принцы запевали:
«Взвейтесь кострами, синие ночи,
мы пионеры, дети рабочих...»

...Дальше что? Выходит, как из сказки,
Золушка в ботинках «скороход»,
и позёмка из ворот из Спасских
шлейф, как за царевною, несёт.

А пред ней Москва в алмазах света,
А пред ней — пути, пути, пути...
И всего важней, что даже это —
Присказка. А сказка — впереди!



НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ

★

СВОЕМУ СЕРДЦУ

Сердце мне сказало:

я устало,

Не кори меня и не суди,
Вспомни, как нас в жизни помотало,
Глянь, какие дали позади.

Пусть тебя не соблазняют схватки,
Не влекут бессонные дела —
Знаешь сам, что нервы не в порядке,
Что в крови убавилось тепла,

Что хотел бы к тем, кто помоложе,
Да не можешь дотянуться в ряд.
Сдал, видать, отяжелел, похоже,
В землю стал расти, как говорят!..

Сердце, ты напрасно разболталось,
Хоть и нету дыма без огня,
Подожди, повремени-ка малость,
Помолчи и выслушай меня.

Не святой глупец и не ханжа я,
И, какая б ни была она,
Жизнь моя мне вовсе не чужая,
А своя и по зарез нужна.

Только, как ты ни кричи об этом
И в какой ни уличай вине,
Не хочу тащиться за кюветом
От большой дороги в стороне,

Не могу стоять затылком к бою,
Перед новым делом быть в долгу,
С ненавистью давней и любовью,
Плачь не плачь, проститься не могу,

На усталость жалобой моею,
Выходом из строя хоть на миг
Огорчить друзей моих не смею
И врагов порадовать моих.

Бейся ж, сердце, сколько можешь биться,
А когда почувствуешь беду —
Не проси меня остановиться,
Можешь разрываться на ходу!



САЙФИ КУДАШ

* *
*

С башкирского

Присвоив насильственно славу поэта,
Расплатишься рано иль поздно за это.
Её, как любовь, не удержишь силком.
Она, если вовсе тебя не оставит,
Измучит изменами, на́круг ославит,
И ты состраданья не встретишь ни в ком.

Но если поэтом зовёшься по праву,
Ты нежной подругой почувствуешь славу,
Тебя ни на миг не покинет она.
Ты сам, умирая, расстанешься с милой,
Ты сам позабудешь о ней за могилой,
И всё же она тебе будет верна.

Перевод М. Петровых.



КОНСТАНТИН СИМОНОВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Памяти Бориса Горбатова

1

Умер друг у меня — вот такая беда...
Как мне быть — не могу и ума приложить.
Я не думал, не верил, не ждал никогда,
Что без этого друга придётся мне жить.
Был в отъезде, когда хоронили его,
В день прощанья у гроба не смог постоять.
А теперь вот — приеду — и нет ничего;
Нет его. Нет совсем. Нет. Нигде не видать.
На квартиру пойду к нему — там его нет.
Есть та улица, дом, есть подъезд тот и дверь,
Есть дощечка, где имя его и теперь,
Есть на вешалке палка его и пальто,
Есть налево, за дверью, его кабинет...
Всё тут есть. Только всё это вовсе не то,
Потому что он был, а теперь его нет!
Раньше как говорили друг другу мы с ним?
Говорили: spoём, посидим, позвоним,
Говорили: скажи, говорили: прочти,
Говорили: зайди ко мне завтра к пяти,
А теперь привыкать надо к слову: он был;
Привыкать говорить про него: говорил,
Говорил, приходил, помогал, выручал,
Чтобы я не грустил — долго жить обещал.
Ещё в памяти все твои живы черты,
А уже не могу я сказать тебе: ты.
Говорят: раз ты умер — таков уж закон,—
Вместо «ты» про тебя говорить надо: «он»,
Вместо слов, что люблю тебя, надо: любил,
Вместо слов, что есть друг у меня, надо: был.
Так ли это? Не знаю. По-моему, нет!
Свет погасшей звезды ещё тысячу лет
К нам доходит. А что ей, звезде, до людей?
Ты добрей был её, и теплей, и светлей,
Да и срок не велик — тыщу лет мне не жить,
На мой век тебя хватит — мне по дружбе светить.

2

Умер молча, сразу, как от пули,
Поблуднев, лежит — уже ничей.
И стоят в почётном карауле
Четверо немолодых людей.

Четверо, не верящие в бога,
Провожают раз и навсегда
Пятого в последнюю дорогу,
Зная, что не встретят никогда.

А в глазах такое выраженье,
Словно верят, что ещё спасут,
Словно в год войны из окруженья,
На шинель подняв, его несут.

3

Дружба настоящая не старится,
За небо ветвями не цепляется,
Если уж приходит срок, так валится
С грохотом, как дубу полагается.

От ветров при жизни не качается —
Смертью одного из двух кончается.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. КАВЕРИН

★

ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ

1

Моя литературная юность сложилась счастливо. Я был в переписке с Горьким, который внимательно следил за моей работой, с которым я мог советоваться обо всём, что в ту пору волновало меня. Юрий Тынянов, известный наш исторический романист, был моим старшим другом, относившимся к моей работе взыскательно и с любовью. Я начинал вместе с Фединым, Вс. Ивановым, Тихоновым, творчество которых определило многое в молодой советской литературе.

Сравнивая теперь мои книги, написанные в начале двадцатых годов, я отчётливо вижу, что, несмотря на всё старание сделать их непохожими друг на друга, они похожи, и сходство заключается в том полном отсутствии жизненного опыта, которое я напрасно старался возместить стилистической «игрой» и острыми поворотами сюжета. Это были фантастические рассказы, в которых действовали алхимики, фокусники, средневековые монахи — и автор, время от времени собиравший своих героев, чтобы посоветоваться с ними о дальнейшем развитии событий. Первым, пока ещё очень робким выходом из этого круга узколитературных представлений была повесть «Конец Хазы», в которой я попытался изобразить бандитов и налётчиков нэповских лет, «блатной мир» Ленинграда. Собирая материал для «Конца Хазы», я читал уголовную хронику, ходил на заседания суда и, случалось, проводил вечера в притонах, которых в ту пору было ещё немало. Я готовился к работе именно так, как это делали мои старшие товарищи, неоднократно и справедливо упрекавшие меня в незнании жизни, в стремлении укрыться от неё за стенами студенческой комнаты, заваленной книгами по истории литературы. И тем не менее почти всё, что мне удалось узнать о налётчиках и бандитах, осталось в моей записной книжке, а повесть была написана с помощью «готовых схем» и юношеского воображения. Лишь одна её сторона чуть-чуть открыла своеобразие «блатного мира» — самый язык налётчиков, воровское «арго», которое заинтересовало меня как лингвиста.

Повесть имела успех — впрочем, скандальный. Одна из рецензий на неё называлась: «О том, как Госиздат напечатал руководство к хулиганству».

Зимой 1928 года я встретился у Юрия Николаевича Тынянова с одним литератором, живым и острым, находившимся в расцвете дарования и глубоко убеждённым в том, что ему ведомы все тайны литературного дела. Говорили о жанре романа, и литератор заметил, что этот жанр был не под силу даже Чехову, так что нет ничего удивительного в том, что он не удаётся в современной литературе. У меня нашлись возражения, и он с иронией, в которой всегда был необыкновенно силен, выразил сомнение в моих способностях к этому сложному делу. Взбесившись, я сказал, что завтра же сяду за роман и это будет книга о нём — о скан-

далисте, который всю жизнь возится с сознанием своей исторической роли. Он высмеял меня — и напрасно. На другой же день я принялся писать роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». Повидимому, только молодость способна на такие решения и только в молодости можно с такой откровенностью ходить с записной книжкой по пятам своего будущего персонажа. Он смеялся надо мной: «Утилизационный завод имени Каверина», — я записывал и это. Он сыпал шутками, блистал остроумиями, подчас необычайно меткими и запомнившимися на всю жизнь, — я краснел, но записывал. Вероятно, он был вполне убеждён, что из романа ничего не выйдет, иначе, пожалуй, был бы осторожнее в этой необычной дуэли.

Мне вспомнилась эта история потому, что это был мой первый «набросок с натуры» и работа над ним впервые заставила меня увидеть ещё вдалеке смутные очертания реалистической прозы. Живой, «видимый невооружённым глазом» герой не мог существовать в безвоздушном условно литературном мире. Должна была начаться — и началась — борьба с традиционным сюжетом. Пора было серьёзно подумать над социальными отношениями героев, над проблемой интеллигенции и революции, над теми, «кто не шутил», и над теми, кто хотел «отшутиться от современности».

2

К тому времени, о котором идёт речь, я был профессиональным литератором, написавшим довольно много книг и в том числе одну историко-литературную, посвящённую жизни и деятельности Осипа Сенковского, известного журналиста тридцатых годов прошлого века. Разбирать их — не моё дело. Довольно и того, что я некогда — хорошо или плохо — написал эти книги. Сейчас меня интересует только одна сторона многолетней работы — путь к реалистической прозе. Возможно, что рассказ о нём окажется полезным или хоть интересным для нашей литературной молодёжи.

Летом тридцатого года я поехал в Сальские степи, чтобы посмотреть знаменитый зерносовхоз «Гигант». Ничего особенного не было в этой поездке, тем более, что в «Гигант» ездили тогда очень многие, — работники совхоза даже жаловались, что делегации мешают работать. Но для меня, в сущности комнатного, погружённого в книги, хотя и совсем ещё молодого человека, эта поездка оказалась двойным открытием — открытием новых людей в новых, ещё небывалых обстоятельствах и открытием собственной возможности писать об этих людях. Впрочем, в этой последней возможности довелось убедиться не сразу. Как неопытный, начинающий литератор, я бросился записывать решительно всё, что видел, не имея никакого понятия о том, что буду писать — очерк, роман, пьесу? Вернувшись, я с глубокой тщательностью (на которую даже не считал себя способным) написал книгу путевых рассказов «Пролог».

Наступление на косный мир сложившейся в течение веков деревенской жизни, борьба за сознание крестьянина, остановившегося в изумлении перед тем, что совершили люди «Гиганта», — вот тема этой маленькой, но очень дорогой мне книги.

Каждый из нас может, вероятно, предъявить свой счёт критике — кто подлиннее, а кто покороче. Меня резко критиковали и до «Пролога». Но счёт хотелось бы начать именно с этой книги. Мне труден был переход, о котором рассказано выше. Я сомневался в своих силах, боялся, что у меня нет — или почти нет — того писательского зрения, без которого нечего было надеяться на удачу в новом, непривычном для меня жанре. По инерции, которая ещё и до сей поры властвует над некоторыми критическими умами, меня встретили в штыки. Книга была

разругана без малейшего снисхождения. Один из рецензентов обвинил меня, к моему изумлению, в континанстве. Почему не в кантинанстве, которое в равной мере не имело ни малейшего отношения к моим путевым рассказам, это осталось для меня неразрешённой загадкой.

3

Трудно передать странное ощущение, с которым писались первые главы романа «Исполнение желаний». Как будто впервые в жизни я взял в руки перо — так неловко, неумело приставлялась строка к строке, фраза к фразе. Мне казалось, что я совершенно разучился писать, — грустная догадка после тринадцати лет почти ежедневной работы! Всё нужно начинать снова. Но как начинать? Стоит ли?

Я продолжал работать, преодолевая робость, даже ужас, охватывавший меня, когда после долгих часов работы мне удавалось написать лишь несколько фраз. И постепенно для меня стало ясно, что решительный поворот в сторону реального изображения жизни должен был повлечь за собой совершенно иную, чем прежде, стиливую манеру. До сих пор я писал стилистически сложно, не только не стремясь к простоте и отчётливости языка, но, нужно сознаться, стесняясь этой простоты, если она неволью проступала. Теперь я стал писать самым обычным разговорным языком, в той единственно возможной манере, которая была продиктована переходом к совершенно новому для меня изображению действительности.

Но дело было не только в этом. Прежняя стиливая манера как бы позволяла мне обходить те впечатления и размышления, то знание жизни, которым я действительно обладал, но которое казалось мне слишком простым и попросту скучным для художественной литературы. Теперь я догадался, что напрасно считал себя человеком, лишённым опыта и жизненных наблюдений.

Я знал Ленинградский университет двадцатых годов, в котором старое и новое столкнулись с необычайной остротой и силой. Для меня был ясен тимирязевский бунт одних профессоров и средневековая косность других. Мне была понятна жизнь архивов, застывшая, но хранящая тысячи тайн, и чтение рукописей было для меня увлекательным и азартным делом.

Опыт был, но, чтобы воспользоваться им, нужно было сделать (разумеется, для себя) открытие в литературе. Всё пригодилось для «Исполнения желаний», даже семинар по древнерусской письменности, даже огромный рваный плащ, в котором (дань увлечения немецкими романтиками) я некогда ходил на этот семинар. С ключом в руках, очень весёлый, я бродил по всему своему хозяйству и открывал разные потайные ящики и ларцы, хранившие полузабытый материал, от которого я до сих пор не видел никакого толку.

Впоследствии, перечитывая толстовские дневники, я понял, что беспощадный самоанализ был для Толстого не чем иным, как школой самопознания — психологической и технологической школой, определившей многое в его гениальных произведениях. Каждый из нас стремится выразить себя в своих книгах, и, работая над «Исполнением желаний», мне удалось впервые сознательно воспользоваться собственной, пока ещё очень маленькой, скажем, двухклассной, школой самопознания.

Роман писался долго, более трёх лет. Ключ, открывший для меня собственную юность, не мог, к сожалению, помочь мне в другой, очень важной стороне дела. До сих пор мои герои действовали либо вне времени, либо одновременно с автором, который записывал их «по живому следу». Теперь мне пришлось оценить недавнее прошлое взглядом исто-

рического романиста. Именно исторического, хотя действие романа происходит в конце двадцатых годов, а писался он в середине тридцатых. Огромное расстояние, которое пробежала страна за этот короткий срок, превратило современный материал в исторический, требующий другого, куда более сложного метода изучения.

Не полагаясь на память, я перелистывал газеты и журналы, расспрашивал товарищей по университету, словом, выстраивал (пока ещё очень несмелой рукой) исторический фон, декорацию эпохи. Дело немного облегчалось тем, что я был всё-таки историком литературы, учившимся у очень строгих и требовательных учителей, так что чувствовал себя свободно в библиотеках. Но изучение людей, как известно, не является задачей истории литературы.

Не говорю уже о том, как много хлопот доставила мне работа над сюжетом «Исполнения желаний». Я всегда был и остался писателем сюжетным, и никогда не понимал, почему это могучее оружие находится в пренебрежении у многих писателей и критиков, считающих, что сюжетность и второсортность суть близкие, если не тождественные понятия. За пристрастие к острому сюжету критики преследовали меня всю жизнь, и если бы не Горький, внушивший мне, ещё когда я был юношей, что мне следует дорожить этой своей склонностью, я, вероятно, стал бы в конце концов писать бессюжетные, скучные произведения. Огромное значение композиции, над которой с таким упорством трудились Толстой, Тургенев, Достоевский, недооценено в нашей прозе.

Не буду рассказывать о том, как сюжет «Исполнения желаний» помог мне нарисовать картину развития двух молодых людей с разными характерами и биографиями, но с одинаковыми «билетами дальнего следования» в будущее Советской страны.

4

В 1936 году в санатории под Ленинградом, где я отдыхал, зашла речь о романе Островского «Как закалялась сталь». Почтенный профессор — человек умный и образованный, но несколько старомодный — холодно отозвался о романе. Его собеседник, молодой учёный, горячо возразил ему, и меня изумило волнение, с которым он защищал любимую книгу: он побледнел, он не мог удержаться от резких выражений.

Спор этот глубоко заинтересовал меня — и не только потому, что я в ту пору задумал роман, посвящённый истории советского молодого человека. Успех книги Островского поразил профессиональных писателей. Тема изумления перед возможностями, которые открывает в себе человек, новая для нашей литературы, была выражена в ней искренне и верно. Нетрудно было догадаться, что пылкий защитник Островского прочитал в его книге свою биографию.

Мы оказались за одним столиком. Он был сумрачен, утомлён, и мы разговорились не сразу. Но день ото дня наши отношения становились всё ближе. Это был человек, в котором горячность соединялась с прямодушием, а упорство — с удивительной определённой целью. Он умел добиться успеха в любом деле, будь то даже партия в карамболь, которым мы тогда увлекались. Ясный ум и способность к глубокому чувству были видны в каждом его суждении.

В течение шести вечеров он рассказал мне историю своей жизни — необыкновенную, потому что она была полна необыкновенных событий, и в то же время похожую на жизнь сотен других советских людей. Я слушал, потом стал записывать, и те сорок или пятьдесят страниц, которые тогда были записаны мною, легли в основу романа «Два капитана».

Вернувшись домой, я с жаром принялся за работу и закончил её в три месяца с непривычной лёгкостью и быстротой. Рукопись была отправлена в один из московских журналов и возвращена с вежливым, но вполне определённым отказом.

Неудача была болезненная, острая. Я отложил рукопись и принялся за давно задуманную книгу о великом русском геометре Лобачевском.

Лобачевским я интересовался давно. Мой первый, понравившийся Горькому рассказ назывался «Одиннадцатая аксиома» и был построен на той кажущейся мне теперь очень странной мысли, что если (согласно Лобачевскому) параллельные линии сходятся в пространстве, так почему бы не сойтись во времени двум параллельным сюжетам?

Меня занимало многое и прежде всего вопрос, откуда в Казани, в медвежьем углу, да ещё во времена Магницкого, когда профессор Казанского университета Никольский доказывал теоремы следующим образом: «С божьей помощью эти два треугольника равны между собой», — откуда взялась эта чистая смелость ума, не согласившегося с тем, что две тысячи лет казалось абсолютно бесспорным? И вот, когда я принялся за работу, оказалось, что все мои представления о Лобачевском неверны с самого начала. Оказалось, что внешнее благополучие его биографии не имеет ничего общего с теми очень печальными и страшными событиями, которыми была полна жизнь этого человека. Я не буду рассказывать о них, это заняло бы слишком много времени. Но мне хочется рассказать, хотя бы очень коротко, историю его гениального открытия. Он сделал его в 1826 году и в течение всей своей жизни прилагал всевозможные усилия к тому, чтобы добиться если не признания, так по меньшей мере внимания. Свои исследования, разработанные с разных точек зрения, он напечатал семь раз — четыре раза на русском языке, два — на немецком, один — на французском. Всё было напрасно. В лучшем случае на его «пангеометрию» смотрели, как на безобидное чудачество, в худшем — негодовали и издевались. Нельзя без глубокого волнения читать рецензии на его книги; я вспоминаю в особенности одну из них, напечатанную в «Библиотеке для чтения» и, вероятно, мало кому известную, полную издевательских насмешек и обидных намёков на учёное невежество Лобачевского. На все обиды, выпады и намёки Лобачевский ответил только один раз, и то в примечании. Но всю жизнь он настойчиво искал ученика, которому мог бы завещать свою работу. Слепнув, уйдя из университета, он посещал все экзамены по математике, до последних дней надеясь встретить такого человека. «В актовом зале он входил тихо, осторожно, опираясь на палку. Его вели под руки, и все как бы избегали его. Он шёл, устремив вперёд свой невидящий взгляд и стараясь держать прямо седую голову. На губах его была беспомощная улыбка. Он как бы стыдился своего положения. И находились люди, которые смеялись над ним. Смеялись над тем, что жена Лобачевского за руку водила его на экзамены. Смеялись над подписью, которую он ставил на официальных бумагах» (Н. Вагнер. «Из жизни великого геометра»).

У Лобачевского были талантливые ученики — Попов, Бельцони. Но ни один из них не понимал его и не разделял его воззрений.

В науке своего времени он был не только осмеян, но и забыт. Так, в 1853 году в сочинении своём о параллельных линиях известный Буняковский не упомянул о нём ни одним словом.

Но особенно сильное впечатление производит чтение речей, произнесённых над гробом Лобачевского деятелями Казанского университета. О чём угодно говорили его друзья и враги — о том, что он был отличным ректором и превосходным попечителем, о том, что он был отцом для студентов, о том, что к казённым суммам он относился с похвальной

щепетильностью. Но о том, что он сделал в науке, не упомянул ни один из ораторов — даже те, которые относились к нему с уважением. Именно потому, что они относились к нему с уважением, они считали неудобным упоминать о каких-то злосчастных фантазиях, составивших несчастье этого отличного профессора и примерного семьянина. И в этом они действительно были правы. Для меня нет сомнения в том, что если бы Лобачевский не сделал своего открытия, он прожил бы счастливую и спокойную жизнь.

Нет нужды подробно рассказывать о том, каким образом хотел я использовать историю Лобачевского в своём романе. Упомяну только о том, что я вовсе не предполагал закончить его смертью великого человека. Во второй и важнейшей части хотелось мне написать вторую жизнь Лобачевского, которая началась очень скоро после его фактической смерти и которая продолжается до сих пор, — жизнь, полную признания, преклонения перед ним и мировой славы. Те же самые люди, которые над его гробом стеснялись даже упоминать о «пангеометрии», через несколько лет уже гордились тем, что учились в одном университете с гениальным учёным.

5

Я не написал романа о Лобачевском, хотя провёл более полугода за чтением печатных и рукописных материалов. Мне казалось, что без ясного понимания того, чему была отдана жизнь учёного, написать о нём невозможно, а в математике я никогда не был силён. И после долгого раздумья я вернулся к первому, неудавшемуся наброску «Двух капитанов».

Прошло ли время, необходимое для того, чтобы оценить написанное другими глазами, или помогло изучение Лобачевского, — не знаю. Но, перечитав рукопись, я сразу понял, что в ней не хватает основного — взгляда главного героя на собственную жизнь, идеала, которому он следовал, картины советского общества, которому он был обязан своим развитием. Между мной и моим героем была огромная разница в возрасте, образовании, происхождении. Я искал сложных решений там, где для него всё было просто. «Вы знаете, кем бы я стал, если бы не революция? Разбойником», — мне вспомнились эти слова, которыми закончил свой рассказ мой собеседник. Увидеть мир глазами юноши, потрясённого идеей справедливости, — эта задача представилась мне во всём её высоком значении. И я решил — впервые в жизни — писать роман от первого лица.

С первых же страниц решено было не выдумывать ничего или почти ничего. И действительно, даже столь необычайные подробности, как немота маленького Сани, не придуманы мной. Его мать и отец, сестра и товарищи написаны именно такими, какими они впервые предстали передо мной в рассказе моего случайного знакомого, впоследствии ставшего моим другом. О некоторых героях будущей книги я узнал от него очень мало; например, Кораблёв был нарисован в этом рассказе лишь двумя-тремя чертами: острый, внимательный взгляд, неизменно заставлявший школьников говорить правду, усы, трость и способность засиживаться над книгой до глубокой ночи. Остальное должно было дорисовать воображение автора, стремившегося изобразить фигуру советского педагога.

В сущности, история, которую я услышал, была очень проста. Это была история мальчика, у которого было трудное детство и которого воспитало советское общество — люди, ставшие для него родными и поддерживавшие мечту, с ранних лет загоревшуюся в его прямом и справедливом сердце.

Почти все обстоятельства жизни этого мальчика, потом юноши и взрослого человека сохранены в «Двух капитанах». Но детство его проходило на Средней Волге, школьные годы в Ташкенте — места, которые я знаю сравнительно плохо. Поэтому я перенёс место действия в свой родной городок, назвал его Энском. Недаром же мои земляки легко разгадывают подлинное название города, в котором родился и вырос Саня Григорьев! Мои школьные годы (последние классы) протекли в Москве, и московскую школу начала двадцатых годов мне было легче изобразить, чем ташкентскую, которую я никогда не видел в натуре.

Мне много пишут по поводу романа «Два капитана». Одни корреспонденты спрашивают, выдумал ли я историю капитана Татарина. Другие разыскивают эту фамилию в географических книгах, в энциклопедических словарях и недоумевают, убеждаясь в том, что деятельность этого капитана не оставила заметных следов в истории завоевания Арктики. Третьи хотят узнать, где в данное время живут Саня и Катя Татарина и какое воинское звание присвоено Сане после войны.

Когда были написаны первые главы, в которых рассказывается о детстве Сани Григорьева в Энске, мне стало ясно, что в этом маленьком городке должно произойти нечто необычайное — случай, событие, встреча. То необычайное, которое озарит и согреет жизнь моего героя, а может быть, — тогда это было ещё туманно — поведёт его за собой. Роман писался в конце тридцатых годов, принесших Советской стране огромные, захватывающие воображение победы в Арктике, и я понял, что «необычайное», которое я искал, — это свет арктических звёзд, случайно упавший в маленький, заброшенный город.

И, вернувшись к первой странице, я рассказал историю утонувшего почтальона и привёл письмо штурмана Климова, открывшее вторую линию романа. Казалось бы, что общего между трагической историей девятилетнего мальчика, оставшегося сиротой, и историей капитана, пытавшегося пройти в одну навигацию Великий Северный морской путь? Но общее было. Так в романе появилась мечта, и впервые мелькнула мысль о двух капитанах.

Здесь, кстати, уместно будет вспомнить ещё об одном вопросе, который задают мне мои корреспонденты: в какой мере автобиографичен этот роман? В значительной мере всё, что видел с первой до последней страницы Саня Григорьев, видел собственными глазами и автор. Но, когда в книгу вошла профессия Сани Григорьева, мне пришлось оставить «личные» материалы и приняться за изучение жизни лётчиков, о которой я прежде знал очень мало. Вот почему нетрудно понять мою гордость, когда с борта самолёта, направившегося в 1940 году под командованием Черевичного на исследование высоких широт, я получил радиограмму, в которой штурман Аккуратов пожелал мне удачи.

Должен заметить, что огромную, неоценимую помощь в изучении лётного дела оказал мне старший лейтенант С. Я. Клебанов, погибший смертью героя в 1943 году. Это был талантливый лётчик и прекрасный, чистый человек. Я гордился его дружбой. Работая над вторым томом, я наткнулся (среди материалов Комиссии по изучению Отечественной войны) на отзывы однополчан С. Я. Клебанова и убедился в том, что моё высокое мнение о нём разделялось его товарищами по боевым делам.

Трудно или даже невозможно с исчерпывающей полнотой ответить на вопрос, как создаётся та или другая фигура героя литературного произведения, в особенности если рассказ ведётся от первого лица. Помимо наблюдений, воспоминаний, впечатлений, в мою книгу вошли исторические материалы, которые понадобились для моего второго главного героя, капитана Татарина.

Не следует, разумеется, искать это имя в энциклопедических словарях! Не следует доказывать, как это сделал один мальчик на уроке географии, что Северную Землю открыл Татаринов, а не Вилькицкий. Для моего «старшего капитана» я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера. У одного я взял мужественный и ясный характер, чистоту мысли, ясность цели — всё, что обличает человека большой души. Это был Седов. У другого — фактическую историю его путешествия. Это был Брусилов. Дрейф моей «Св. Марии» совершенно точно повторяет дрейф брусиловской «Св. Анны». Дневник штурмана Климова, приведённый в моём романе, полностью основан на дневнике штурмана «Св. Анны» Альбанова — одного из двух оставшихся в живых участников этой трагической экспедиции. Однако только исторические материалы показали мне недостаточными. Я знал, что в Ленинграде живёт художник и писатель Николай Васильевич Пинегин, друг Седова, один из тех, кто после его гибели привёл шхуну «Св. Фока» на Большую Землю. Мы встретились, и Пинегин не только рассказал мне много нового о Седове, не только с необычайной отчётливостью нарисовал его облик, но объяснил трагедию его жизни — жизни великого исследователя и путешественника, который был не признан и оклеветан реакционными слоями общества царской России. Кстати сказать, во время одной из наших встреч Пинегин угостил меня консервами, которые в 1914 году подобрал на мысе Флора, и, к моему изумлению, они оказались превосходными. Упоминаю об этой мелочи по той причине, что она характерна для Пинегина и для того круга интересов, в котором я оказался, посещая этот «полярный» дом.

Впоследствии, когда первый том был уже закончен, много интересного сообщила мне вдова Седова.

Летом 1941 года я усиленно работал над вторым томом, в котором мне хотелось широко использовать историю знаменитого лётчика Леваневского. План был уже окончательно обдуман, материалы изучены, первые главы написаны. Известный учёный-полярник Визе одобрил содержание будущих «арктических» глав и рассказал мне много интересного о работе поисковых партий. Но началась война, и мне пришлось надолго оставить мысль об окончании романа. Я писал фронтовые корреспонденции, военные очерки, рассказы. Однако, должно быть, надежда на возвращение к «Двум капитанам» не совсем покинула меня, иначе я не обратился бы к редактору «Известий» с просьбой отправить меня на Северный флот. Именно там, среди лётчиков и подводников Северного флота, я понял, в каком направлении нужно работать над вторым томом романа. И мне стало ясно, что облик героев моей книги будет расплывчат, неясен, если я не расскажу о том, как они вместе со всем советским народом перенесли тяжёлые испытания войны и победили.

По книгам, по рассказам, по личным впечатлениям я знал, что представляла собой в мирное время жизнь тех, кто, не жалея сил, самоотверженно трудился над превращением Крайнего Севера в весёлый, гостеприимный край — открывал его неисчислимые богатства за Полярным кругом, строил города, пристани, шахты, заводы. Теперь, во время войны, я увидел, как вся эта могучая энергия была брошена на защиту родных мест, как первые завоеватели Севера стали неукротимыми защитниками своих завоеваний. Мне могут возразить, что в каждом уголке нашей страны произошло то же самое. Конечно, да, но суровая обстановка Крайнего Севера придала этому повороту особенный характер.

Незабываемые впечатления тех лет лишь в небольшой степени вошли в мой роман, и когда я перелистываю свои старые блокноты, мне хочется приняться за давно задуманную книгу, посвящённую истории советского моряка.

На одном литературном вечере в общежитии МГУ — это было вскоре после войны — зашла речь о том, что у нас совершенно нет книг, посвящённых росту творческого сознания в науке. «А между тем, — сказала одна пылкая девушка, очень сердившаяся на советскую литературу, — наука проникла в самую глубину нашей жизни и определяет движение страны вперёд, к коммунизму!»

Девушка была совершенно права. Но едва ли она ясно представляла себе весь тот объём труда, который нужно вложить в произведение, посвящённое людям науки.

В сущности, на протяжении всех тридцати лет работы я с разных сторон подходил к подобному произведению. Мой первый рассказ, «Одиннадцатая аксиома», был послан на конкурс начинающих писателей под девизом: «Искусство должно строиться на формулах точных наук». Я пытался рассказать жизнь Лобачевского. В «Исполнении желаний» изображены поиски и надежды молодого историка литературы. Мне всегда казалось, что самые принципы научного творчества поучительны и важны для человека, недаром изучение их всегда с такой плодотворностью отражалось в литературе.

Но как подойти к делу? На каком научном материале остановиться? Должен ли он иметь познавательный характер или войдёт в общий исторический фон?

Эти и многие другие вопросы решились сами собой, когда я остановился на микробиологах, которых знал давно и за работой которых следил с восхищением. Русскую микробиологию всегда вели вперёд люди сильного характера, смелые оптимисты, готовые к самопожертвованию и явно представляющие то место, которое предстоит занять этой молодой науке среди других наук о природе. Таковы Мечников, Заболотный, Гамалея. Эти высокие традиции сохранились и в наше время.

Работая над «Двумя капитанами», я окружил себя книгами по авиации и истории Арктики. Теперь их место заняли микробиологические труды, и это, к сожалению, оказалось гораздо сложнее. Прежде всего нужно было научиться читать эти труды не так, как читают их сами учёные.

Восстановить ход мысли учёного, прочесть за сухими краткими строками научной статьи то, чем жил этот человек, понять историю и смысл борьбы против врагов (а иногда и друзей), которая почти всегда присутствует в научной работе, — вот задача, без решения которой нечего было и браться за подобную тему. Нужно было уметь понять именно то, что выбрасывает за скобки учёный, — психологию его творчества. Как известно, учёные не считают нужным заниматься этим делом, напротив, считается, что чем более кратким и сухим языком написана научная статья, тем лучше. Почему-то считается общепринятым называть себя во множественном числе — «мы», а не «я», подобно тому, как называл себя в манифестах покойный император всероссийский, и это влечёт за собой странные, а подчас и просто нелепые обороты. «Работая венерологом на сельском участке, мы поставили целью», — прочёл я в одной научной статье...

Впрочем, оговорюсь. Есть научные книги, написанные неуклюжим, на первый взгляд, языком, но стоит всмотреться — и легко заметить, что эти черты не мешают, а помогают понять мысль. Так, например, писал Павлов. Мне кажется, что в прозе эти черты соответствуют до некоторой степени той разговорности стиля, которой с такой старательностью пренебрегают некоторые беллетристы. Итак, изучение научного материала — это была первая трудность.

Вторая — и ещё бóльшая — заключалась в том, что в основе задуманного романа (я принялся за него вскоре после «Двух капитанов») лежала история женщины, рассказанная ею самой.

Герой «Двух капитанов» был всё-таки близок мне, несмотря на всю разницу возраста и образования. В «Открытой книге» рассказ ведётся от лица девочки, потом девушки, потом от лица вполне сложившегося человека — голос рассказчицы, её отношение к близким, к самой себе, к своему делу меняются от части к части. Меняются одновременно стилистические особенности, подчёркивающие — одну за другой — ступени развивающегося творческого сознания. Присоедините к этому необходимость профессионального колорита — ведь героиня романа трудным путём приходит в сложную, быстро развивающуюся область науки... Словом, я бы не взялся за это дело, если бы ясно представлял себе, какие неожиданные загадки таит в себе эта сторона работы.

И в прежних книгах немало труда стоило мне то, что лишь приблизительно можно назвать историческим фоном. Действие трилогии «Открытой книги» происходит в течение тридцати пяти лет. Нечего говорить о том, как важно было это «движение во времени» дать характерными чертами — и не только характерными, но тесно связанными с развитием советской науки. Память легко обманывает, и каждый, даже незначительный, факт прошлого требует тщательной проверки. Ошибиться нельзя даже в мелочах. Попробуйте допустить неточность, и двадцать читателей с обидной снисходительностью немедленно на неё укажут. Во второй части трилогии я отправил своих героев на сельскохозяйственную выставку в двухэтажном автобусе. «Ошибка!» — уличили читатели. На выставку в 1940 году ходил двухэтажный троллейбус. В «Двух капитанах» я воспользовался весьма неразборчивым факсимиле письма лейтенанта Брусилова к матери, и один дотошный школьник не только добрался до источника, но доказал мне, что два слова брусилковского письма были прочитаны неверно.

Но не только потому «Открытая книга» пишется так медленно и с таким трудом, что мне приходится читать книги по микробиологии или тщательно изучать «исторический фон». Задача моя заключается в том, чтобы нарисовать рост характера советского человека в связи с ростом его научного сознания — вот ещё одна трудность, нарастающая с каждой новой страницей.

По мнению критиков, писавших об «Открытой книге», тема любви заняла в ней слишком большое место. Думаю, что они неправы. Самое понятие романа как жанра теснейшим образом связано с этой темой. Такие талантливые писатели, как Мопассан, почти полностью отдавали ей свои дарования. Лишь один её вариант — неравный брак — создал литературу, на изучение которой не хватило бы человеческой жизни.

И все эти бесчисленные произведения были построены на могущественном в капиталистическом мире материальном интересе. В особенности убеждаешься в этом, читая Бальзака, который каждую черту жизни современного ему общества неотразимо объясняет материальной основой. Так, в «Блеске и нищете куртизанок» любовь банкира становится чем-то вроде промышленного предприятия, на котором наживаются десятки людей. И Бальзак с беспощадностью гения ведёт бухгалтерские книги этого предприятия. Но в самой тщательности его подсчётов таится глупая горечь.

Советское общество впервые в истории человечества создало и закрепило законами брак, лишённый материального расчёта. Это отнюдь не абстрактная формула. Стоит оглянуться на свою жизнь, на жизнь своих друзей и знакомых, своих детей, чтобы убедиться в том, что брак,

основанный на любви, стал характерной чертой советского общества — чертой, с которой мы встречаемся на каждом шагу.

Но много ли и, главное, хорошо ли пишем мы о любви? С поэтической силой раскрыта во многих произведениях идея гражданского подвига — идея, которая была и остаётся главной темой нашей литературы. Романтическим светом озарён в советской литературе труд — величайшее богатство нашей страны. Значит ли это, что о любви мы можем писать небрежно, холодно, грубо?

Разумеется, эти соображения принадлежат мне, а не моей героине, которая просто любит, не спрашивая себя, какое место занимает тема любви в нашей художественной прозе.

Сюжет моей трилогии — история открытия, оказавшего глубокое влияние на развитие медицинской науки, начавшего в этой науке новую эру. Но, работая над третьей частью, я понял, что история Тани Власенковой давно вышла за пределы этого сюжета. Вот почему мне начинает казаться, что я нащупал в своей работе какую-то новую ступень. Лев Толстой говорил, что его герои действуют не так, как он им приказывает, а так, как они не могут не действовать. Думается, что этот закон является одним из самых важных законов реалистической прозы.

Сознаюсь откровенно — я и сам неясно представляю, в каком жанре пишется моя третья часть. Я только вижу, что снова учусь писать, не знаю только, который раз в жизни.



КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

★

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Поэт Вяземский говорил, что целость русского языка должна быть для нас так же священна, как и неприкосновенность наших границ.

Но Вяземский, как человек проницательный, понимал, что борьба за прямолинейно понятую целость языка может быть губительной для того живого словесного потока, что, переливаясь из года в год и из века в век, должен становиться всё шире, громче и полноводнее. Поэтому Вяземский тотчас оговорился, что завоевания в области языка (иными словами — его постоянное обогащение) нельзя почитать за нарушение этой драгоценной целости.

Вяземский коротко и ясно выразил задачу, которую некоторые писатели начали сейчас, к нашему общему стыду, забывать.

Второй съезд советских писателей должен призвать всех писателей к борьбе за чистоту и обогащение могучего, точного, свободного и действительно волшебного русского языка, русского слова.

Я предвижу вопрос, заданный с холодным недоумением: «Что же происходит такое, что писателям нужно защищать русский язык? От кого? Уж не от самих ли себя?»

Да, от самих себя. Потому что рядом с обогащением языка, с завоеваниями у иных писателей идёт заметный процесс иссякания образных его качеств, процесс словарного обеднения.

Есть писатели, которые «работают» всего двумя-тремя тысячами слов и таким образом сводят наш неисчерпаемо богатый язык до уровня языка самого примитивного.

Богатство языка писателя — следствие его любви к своей стране и к своему народу. Скудость языка — первый признак равнодушия писателя и к народу и к стране, сколько бы этот писатель ни бил себя в грудь и ни произносил громких слов.

В этом случае старинное выражение: «Язык мой — враг мой» — получает новое и острое содержание. Не только «Стиль — это человек», но и «Язык — это человек». Язык выдаёт с головой.

Поэтому мы с законной тревогой замечаем просачивание в нашу литературу языка, характерного для обывателя и бюрократа, — языка плоского и стандартного. У этого языка есть несколько оттенков, но все они одинаково мёртвые. Прежде всего — напыщенность и любовь к дурной иностранщине, идущая от чеховского телеграфиста Ять. Писатель вместо простых и хороших русских слов пользуется словарём протоколов. Например, вместо «подарил» он пишет «преподнёс», вместо «пошёл» — «направился», вместо «сказал» — «заявил», вместо «живёт» — «проживает». Что-то есть индюшечье и глуповатое в этом стиле. Таких примеров можно привести множество.

Но это только одна из окрасок обывательского и бюрократического языка. Есть и другие. Помимо неистребимого пристрастия к совершенно

ненужным иностранным словам и нелепым сокращениям, этот язык отличается таким же пристрастием к тяжеловесным и нелепым выражениям, никак не свойственным самому духу русского языка, вроде пресловутого «зажимщика самокритики».

Борьба за полноценный, щедрый, бесконечно разнообразный и выразительный язык, достойный своего времени, — вот, повторяю, одна из задач, которую обязан поставить перед писателями съезд.

Нельзя отразить свою эпоху и писать о нашем будущем, пользуясь тупым и примитивным словесным оружием.

Никому не позволено низводить язык нашего времени до косноязычной мешанины, особенно нам, получившим в наследство блистательный, отточенный, истинно народный и могущественный язык Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Горького, Чехова, Маяковского.

Нельзя, конечно, обобщать и говорить, что все мы теряем органическое чувство и знание своего языка. Наша советская литература дала великолепные образцы этого языка хотя бы в прозе Алексея Толстого, Пришвина, Федина, Леонова, Шолохова и многих других.

Сколько раз наши старшие товарищи — к ним я причисляю не только Горького и Маяковского, но и всю плеяду наших классиков — звали нас учиться живому языку у народа, у бывалых людей, наконец, у писателей, обладавших даром особо выразительной речи.

Не знаю, многие ли из нас последовали этому совету. Одно ясно — на бесконечных табачно-дымных заседаниях в Союзе писателей вряд ли обогатишь свой язык.

Чтобы закончить этот короткий разговор о языке, я хочу привести один простой случай.

Как-то осенью в лесах под Спас-Клепиками я шёл со старым лесником Тихоном Малявиным на глухое озеро Орса.

Вблизи озера сосновый лес отступил, и начались мхи и золотое берёзовое мелколесье.

Среди мха я заметил круглое оконце. В нём была налита до краёв тёмная и совершенно прозрачная вода. Со дна этого маленького колодца била тихая струя и вертела палые листья и румяные ягоды брусники.

Мы, конечно, напились из этого лесного колодца ледяной и смолистой воды.

— Родник! — сказал Малявин, вытирая седую бороду. — Вот вы книги пишете, и я потому хочу вас спросить об одном.

— О чём?

— Связь слов меня интересует. Идёшь так вот по лесу и соображаешь. В лесу думать очень вольно и очень спокойно. Вот, к примеру, родник. Отчего он так назван? Оттого, я думаю, что вот здесь, у нас под ногами, зародилась вода.

— Да, должно быть, — согласился я.

— Родник! — повторил Малявин. — Вроде как родина воды. Должно быть, и Волга родилась вот так-то — во мху, в кукушкином льне.

Я ответил, что это действительно так. И всю дальнейшую дорогу думал о том, что мне сказал лесник.

Слова «родник», «родина», «народ» возникали и ложились в один поэтический ряд. Там, в лесу, эти слова приобрели какой-то особый, дорогой для сердца и широкий смысл, стали почти осязаемыми. Всё окружающее как бы соединилось в них — от слабого шелеста слетающих листьев до горьковатого запаха перестоявшихся грибов и болотной воды.

С необыкновенной силой я понял, что всё это — родина, родная земля, любимая до последней прожилки на лимонном листке осины, до едва уловимого курлыкканья журавлей в высоком и прохладном небе.

Ощущение родины вошло в сознание, как эта богатая осень с её чистотой и обилием красок и запахов, с её синими далями, затишьем озёр и дымом деревень, уже собравших с полей урожай. Всё это было вызвано словом «родник».

С тех пор это слово кажется мне одним из самых образных и поэтических в нашем языке. Оно было внутренне пережито, и потому оно могло дать толчок целому потоку свежих образов и мыслей, целой повести или рассказу.

Мне кажется, что вот такое осязаемое знакомство с языком, с первоначальной чистотой слова ценно и само по себе как обогащение нашего писательского словаря. Оно вызывает у нас страстную жажду познания русского языка во всей его сложности и красоте.

Образный строй обывательского и бюрократического языка убог, беспомощен и фальшив.

Он находится в полном и вопиющем противоречии с необычным нашим временем, с его размахом, с великими историческими сдвигами и пафосом труда, которым живёт страна.

Для обрисовки советских людей зачастую существуют всего две-три обязательные и стёртые черты. Если девушка, то, конечно, «с золотистыми волосами», «гибкая», «с озорным огоньком в глазах». Если юноша, то обязательно «сильный, волевой, с упрямой прядью волос, падающей на лоб». И так далее и тому подобное.

Но это ещё полбеды. Беда в том, что все эти сусальные и самоуверенные герои отличаются полным отсутствием интеллекта и самых обычных человеческих качеств и свойств. Они — эти бодряки всех возрастов и состояний — не страдают и ни в чём и никогда не сомневаются, а живут по выработанному неведомо где трафарету, по убогой шпаргалке.

Именно здесь, в этих писаниях, заключается настоящая неправда о советском человеке, а не там, где он показан во всём многообразии человеческих свойств, пусть даже (о ужас!) с ошибками и колебаниями.

Если бы наши потомки стали судить о нашем поколении по книгам писателей-лакировщиков, то каким скучным и ничтожным оно показалось бы им. И какое горькое недоумение вызвал бы у этих потомков непонятный и необъяснимый разрыв между великими делами нашего времени и теми манекенами, которые якобы совершают эти дела (если хотя бы на минуту поверить свидетельству таких писателей).

С тем большей резкостью мы должны начисто изгнать из нашей литературы всю мертвечину, всё, что тянет в липкое болото обывательщины, всех этих раскрашенных под положительных и отрицательных героев манекенов.

Советские писатели не имеют права писать плохо. Нельзя никому давать этого права, ссылаясь на то, что нам, мол, нужна и средняя литература. Средняя литература существовала и будет существовать. Но только честная.

Нельзя допускать в нашей литературе даже в самых малых дозах фальшь и приспособленчество.

Мало целебной для творчества суровости в нашей писательской жизни.

Однажды художник Ромадин рассказал мне, как он работает. Он редко бывает в Москве. Почти весь год он проводит в глубинах страны. Он подолгу живёт то на волжских пристанях, то в лесных сторожках, то в рабочих посадах, то прямо под открытым небом.

Всюду в его живописной работе ему сопутствует народ. Народ для художника не только собеседник и оценщик, но и соавтор. Поэтому кар-

тины Ромадина и пропитаны до сердцевины, до самого грунта той лирической силой, широтой и душевной светлостью, какие характерны для простого русского человека.

Пример Ромадина поучителен для нас, писателей. Слишком мало от наших рукописей пахнет полями, сосновой хвоей, озёрной водой, хлебом и дымком паровозов. И, может быть, поэтому так однообразен бывает в писаниях разных авторов наш человек.

Раз я вспомнил Ромадина и живопись, то, пожалуй, уместно сказать о необходимости для писателей хорошо знать родственные области искусства, в частности живопись. Мы в большинстве умеем смотреть, художники же умеют увидеть. Знакомство с живописью и работой художников обогащает прозу. Часто встречаются прозаические вещи — рассказы, повести и романы, — лишённые освещения и красок. Всё происходит как будто в сплошных сумерках или при белёсом и скучном свете пыльного дня. Пристальное изучение живописи раскроет нам опромное количество разновидностей света и столь же огромное количество красок во всём, что окружает нас повседневно.

Ромадин, конечно, работает правильно. При такой крепкой способности жить для творчества источники его, должно быть, никогда у этого художника не иссякнут. Я привёл Ромадина в пример, полагая, что у нас, писателей, должны быть настоящие творческие биографии.

У многих они есть. Многие писательские биографии неотрывны от жизни народа, от времени и нашей действительности. Многие, но далеко не все.

Союз писателей, который я представляю себе как содружество людей, объединённых единой целью, хотя и совершенно разных по характеру своего творчества, — Союз писателей вправе указать иным писателям на несоответствие между их жизнью и тем высоким и трудным призванием, какое они приняли на себя.

Призвание обязывает. Литература — не занятие, не ремесло, не мастеровщина и не лёгкая жизнь. Прежде всего она служение народу. Блок говорил: «Я человек занятой. Я служу литературе».

Между тем у нас есть известное число писателей, чей жизненный путь так скуден, что заставляет нас опасаться за их будущее. Первая книга, успех, всеобщее признание, благополучие и почему-то часто возникающее из этого успеха чрезмерное самомнение и зазнайство.

Талант, пытливість быстро заплывают жирком. Место творчества занимает околослитературная возня. Исчезает то «святое беспокойство», что свойственно каждому человеку, ищущему наилучших путей.

Кто виноват в этом? Отчасти критика, порой не знающая чувства меры, отчасти Союз писателей, для которого каждая новая и признанная книга как бы лишний отличный балл за поведение. А что будет дальше с этим вознесённым на неожиданную высоту писателем, никто не думает.

Советская литература за последние двадцать лет создала величайшие ценности. Но можно ли считать, что она достигла вершин? Конечно, нет.

Совершенно ясно, что наша литература должна быть не только самой передовой по содержанию, но и самой мощной и современной по форме. Литература — представительница нового общественного строя — не может быть консервативной и архаичной по форме. Она должна дать свою форму — простую, прозрачную и действенную.

Поиски новой формы, соответствующей духу нашего общества, не только законны, но просто необходимы. Каждый писатель имеет право на эти поиски. Пусть он ошибётся — что за беда! Важна советская суц-

ность человека, а не его случайные ошибки. Не ошибаются только бездельники и люди с ленивой мыслью.

Нельзя устанавливать железные каноны в области формы, как это иногда пытаются сделать люди, считающие себя наиболее преданными делу советской литературы. Канонизировать ту или иную, но единственную форму — это значит тянуть литературу на путь окостенения.

Если мы хотим, чтобы у нас были новые Горькие, Маяковские, Толстые и Чеховы, то нельзя ограничиваться призывом: «Будьте, как Горький! Будьте, как Маяковский!»

Нет! Будьте, воспитавшись на великом наследстве и на передовых идеях нашей страны, самими собой. Не теряйте своей писательской индивидуальности, чего бы это вам ни стоило, своего своеобразия, своей манеры письма. Только при этом условии и появятся новые Горькие и Маяковские.

Как можно создавать новые формы жизни и литературы, не будучи окрылёнными мечтой о будущем! Поэтому так наивны и вредны упорные попытки некоторых писателей заземлить и забытовить наших людей, сделать жизнь сплошной и нудной прозой, подвести борцов, созидателей и поэтов под рубрику ханжей и резонёров.

Широкое дыхание романтики сопутствовало революции и строительству. Нельзя забывать об этом. Практицизм, не освещённый сиянием романтики, мёртв. Такой практицизм родился в Соединённых Штатах Америки и пусть там и чадит. Он чужд нам, он не наш, и мы не должны давать ему места в нашей литературе.

Нам нужны критики — строгие и беспристрастные друзья литературы, а не надзиратели над ней. Преданных критиков-друзей у советской литературы много. Но наш лучший критик и друг — многомиллионный читатель. Он строг, но справедлив.

Некоторым критикам пора понять, что свист критического бича не есть наилучший звук для выражения их критической мысли.

Я сознательно говорю о недостатках. От них надо освободиться, а не стыдливо отводить глаза. Наша сила — в нашей откровенности, а не в том, чтобы трусливо замалчивать то, что задерживает рост нашей литературы. Ждать и мириться нельзя.

Единственная и самая высокая наша задача — писать, писать и писать. Писать, пока пальцы держат перо.

Мы просто обязаны вкладывать в каждую свою вещь всё самое ценное, чем мы обладаем. Не щадить себя, отдавать всё своё самое лучшее и сокровенное народу и не тянуться, как скупцы, за возвратом. Работать, «усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя награды за подвиг благородный».

Только так мы сольём неразрывно свою работу с работой народа, свою жизнь — с его жизнью, своё сердце — с его сердцем.



М. ПРИШВИН

★

ЗАВЛЕКАЮЩИЙ РАССКАЗ*

На моей памяти ещё наша Русь была вовсе неграмотная. Бывало, мастеровые люди, особенно портные и сапожники, помогали своей работе пением: шили, стучали и пели. Случалось, пели очень даже неплохо.

Посмотришь на прошлое с одной стороны — кажется, века пережил, посмотришь с другой — вот вчера только, кажется, в подвальных помещениях свистели и пели, а теперь везде заливается радио.

А что случилось, спрашиваешь себя, с теми пожилыми людьми, кого грамотное время застало врасплох? Как они справились, когда без грамоты стало жить невозможно?

Ходить далеко не надо мне для разрешения этого вопроса.

По правде говоря, председатель нашего маленького колхоза, старик Фёдор Иванович, человек не очень грамотный. Подписать своё имя или разобрать бумагу он, конечно, может, но что это за грамота! И всё-таки он, очень неглупый человек, живёт, как современный, вполне грамотный гражданин.

Секрет его грамоты в том, что он не выключает своего радиоприёмника и соответственно никогда не выключает в себе внимания к слышанному. Так он добивается понимания жизни, как грамотный. Если же в политике является ему что-нибудь, своими средствами необъяснимое, он при очередном своём походе в район по делам спрашивает.

Вот и я тоже, когда в жизни что-нибудь недопонимаю, то при случае обращаюсь к таким мудрецам.

— Скажите мне, Фёдор Иванович, — обратился я к нему в этот раз, — почему это я, старый писатель, часто бываю недоволен писаниями молодых? Остарел ли я сам и не могу их понять, или у них что-нибудь неладно?

— Нет, — ответил он, — глупеют к старости люди глупые, а умный человек в старости всё твердеет.

— Значит, — говорю я, — если дело не во мне...

Вопрос мой всколыхнул старика до всех основ, и в этом деревенском человеке на мгновение мелькнули мне древние типы времён Шуйского и Годунова.

Как он прищурился, как подмигнул, как языком показал и вдруг щёлкнул всеми пальцами!

— Я скажу! — молвил он, но не сразу ответил. Раздумывая, он протянул верёвочку перед самым челом печки, снял сапоги, развесил на верёвочке сырые портянки и только уж после этого сел на лавку рядом со мной и так сказал:

* Литературные заметки М. М. Пришвина относятся к последним месяцам жизни покойного писателя.

— В наших новых книгах и статьях всё хорошо, и быть лучше не может ни в какой стране. Я этому радуюсь, знаю: к хорошему ведут писатели. Только мало у молодых против старых — Гоголя и Пушкина — завлекательности, и, бывает, услышишь начало — и про себя скоро догадываешься о том, какой будет конец. Читаешь, конечно, читаешь, всё очень пользительно, а завлекательности нет: вперёд знаешь — кто добрый, кто злой и чем кончится.

СЕКРЕТ МАСТЕРСТВА

Вскоре после этого разговора с председателем колхоза о художественной литературе я с новым горячим чувством вернулся к вопросу о «завлекательности».

Лично я беру первую примету достойного рассказа у Льва Толстого: он увлекает нас тем, что люди у него всегда живые, а за живым человеком охотно идёшь.

Вторую свою примету беру у себя как читателя: поднимает ли рассказ в себе самом пережитое, задевает ли чем-нибудь тебя самого.

В живом рассказе о живых людях мы все узнаём этих людей и в их лицах, как в зеркале, отчасти видим себя. И несомненно, что если бы все могли писать правдиво и живо, то насколько сократился бы срок ожидания голубя с зелёной веточкой мира.

А если так, если мы договорились до этого и каждый писатель это хорошо понимает, то, несомненно, у каждого шевельнётся вопрос: почему же у нас так обидно мало пишется хороших рассказов?

Нельзя ли, спросим и мы, понять причину возникновения хорошего, настоящего рассказа и взять это дело в свои руки, подобно тому, как взял же Мичурин в свои руки дело преобразования и управления природой?

Вопрос этот до крайности серьёзный, и приходится обратиться к своему собственному опыту. Пишу я уже ровно столетия, и самое дорогое мне в моём достижении — это несколько детских рассказов, удостоенных места в хрестоматиях. А ведь это немало, не всякий писатель удостоен такой награды.

Вот почему я и буду разбираться в том, как мне удалось написать первый удачный рассказ.

Давно, давно я вышел за пределы эгоизма роста, и, говоря как будто о себе, я говорю только о той золотоносной жиле, на которую удалось мне натолкнуться, говорю о себе не по гордости обладания, но, скорее, по слабости своей, по бессилию своему перед открывшимся мне великим богатством жизни, в чаянии, что придут на зов мой другие и помогут поднять драгоценные пласты.

Мне посчастливилось в молодости, и первое, что я услышал о себе, было: «Это талант божией милостью».

Ужасно, вот именно ужасно было приятно: словом талант я был поставлен в такое положение, что стою где-то высоко на месте, все глядят на меня и ждут с вопросом: ну что же дальше?

А я стою на месте и не могу тронуться, и за что-то взяться, и понять, откуда же пришло мне такое ужасное счастье.

Кажется, вот тебе всё тут: рассказ, как вкусный блин, сошёл со сковороды, вот она, горячая сковорода, пеки блин другой. Но тут, в деле искусства слова, оказывается, что на каждый новый блин требуется новая сковорода.

Ах, если бы можно было уйти назад от этого ужасного счастья, если бы можно было вернуться к тому простому делу, которому учился много лет.

Но искусство необратимо, после каждого шага назад всё обваливается, итти можно вперёд и только вперёд.

Вскоре я понял, что талант, как причина моего счастья, ничего не значит, что талант к чему-нибудь есть почти что у каждого, и счастье не в том, что у тебя есть какой-то талант, а в том, что ты сам нашёл его в себе и стал им управлять, как человек управляет природой.

Но разве я управляю своим талантом, если стою на месте в упоении своим счастьем и не могу тронуться?

Так оказывается, что объяснить происхождение моего рассказа талантом всё равно, что объяснить одно неизвестное другим неизвестным.

В далёкое старое время искали происхождение живых образов в поэтическом вдохновении, но это было совершенно такое же неизвестное, как и талант.

Потом перешли к мастерству, заняв это слово у средневековых художников, своими руками составлявших краски.

В наше время слово «мастерство» стало излюбленным, и о себе самом я уже много раз читал: «Замечательный мастер» — и, признаюсь, оставался в деле осознания моего творчества не дальше, чем при первой похвале: «Талант божией милостью».

Правда, мастерство в наше время применяется в смысле превосходства человеческой организующей силы против стихийной силы природы: талант — это природа, а мастерство — человеческая способность преобразования, или творчества.

Туман как будто расходится.

Мне самому всегда казалось так, что талант — это что-то вроде коня, на котором я еду, и пусть уверяют меня, что мой конь хорош. Это, конечно, очень приятно, только ведь этого коня я же сам вырастил, выходил, выездил, и я сам, а не кто-нибудь, им управляю и еду в ту сторону, куда я сам хочу.

Обиднее получается, если сравнивать талант не с конём, а с собакой. Стали бы все хвалить мою охотничью собаку и совершенно забыли бы, что это я нашёл на помойке выброшенного щеночка, я подобрал его, выпоил на коровьем молочке, выходил в поле, научил, и собака моя получила золотую медаль.

Но спрашивается опять: где же научиться такому мастерству?

Если взять школу, даже и высшую, то эта школьная выучка, без сомнения, очень полезна и мало-мальски способного сделает грамотным литератором, но поэтом при помощи такого мастерства в стихах и прозе не сделаешься.

Некоторые думают, что в литературе так же, как и в живописи и в музыке: пили-пили смычком с малолетства — и заиграешь на скрипке. Пиши-пиши хорошо — и допишешься до картины, как: стреляй, стреляй — и достреляешься до белой лебеди.

Откуда-то взялась и распространилась такая мысль о литературных делах, что литературной специальности можно научиться всякому, как и зубоврачеванию. В своё время я сам был на этом пути и мысль эту понемногу распространял.

Понимаю теперь, откуда это взялось. Первое было в том, что мы, старшие писатели, после революции очутились как бы в огромном классе всего народа учителями и, понятно, брали пример с наших классических учителей: тоже задавали сочинения на тему с последующими грамматическими поправками.

В этой плоскости понимания искусства слова, конечно, всё зависело от мастерства.

Второе было в общем заблуждении, будто литературное искусство движется по тем же законам, как живопись или музыка, и требует такого же к себе отношения. Вот откуда появились такие выражения, как «писатели больших полотен» и т. п.

А между тем в обучении искусству слова и живописи нет ничего общего. Мы учимся искусству слова с первых дней жизни от матери и потом от всех окружающих нас людей, в школе нас с первых лет учат родному языку и теоретически и практически.

Позвали меня однажды в один литературный кружок, и я — казалось, при общем хорошем внимании и понимании — часа два трудился рассказывать о своих собственных путях, показывая, с чего настоящие писатели берут своё начало.

Я был так уверен, что меня молодые люди хорошо поняли, и осмелился сказать такие слова:

— А вот так-то писать романы, чтобы только «мастерить», этому каждого я могу научить в два месяца.

Послышались голоса:

— И напечатают?

Я ответил:

— Мало ли печатают вещей...

В ответ послышалось:

— Научите, научите!

Молодых людей тургеневского времени соблазнял очередной идол: так называемый стиль. Сам Тургенев, великий стилист, смеялся над этим идолопоклонством в искусстве.

Вот и в наше время надо тоже зорко следить, чтобы голое умение не заняло место этого поверженного идола.

Надо уберечь детей наших от соблазна «мастерить» произведения искусства и печь их, как печёт повар блины, — сотнями на одной сковороде.

Без достаточного опыта никак не объяснить, почему повар искусства, или артист, должен для каждого своего блина готовить новую сковороду.

Может быть, тут и таится загадка таланта, стиля, вдохновения, всех родов мастерства: почему каждое новое произведение искусства требует для себя новой формы, почему настоящий актёр трепещет, выходя на сцену в старой роли, почему художник не может в точности скопировать свою картину, почему Рафаэль и Рембрандт существуют в одном экземпляре, почему Лев Толстой сам не может точно переписать свою рукопись...

ТВОРЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

И вот для общего дела надо мне спуститься в глубочайшие погребки своего творчества и догадаться по тем пластам отложений опыта о происхождении немногих, мною самим любимых и с почётом устроенных в хрестоматиях вещей.

В этой глубине пережитого с первых детских шагов я застаю себя в вечной борьбе того, что мне самому Хочется, с тем, что Надо моим старшим. При каждой встрече этого моего лично желанного с родительским необходимым происходит катастрофа с криком, слезами и шлепками.

После наказания я всегда в душе сознаю, что они правы по-своему.

В то же самое время я не могу отказаться от своего Хочется, и не по детскому упрямству, а потому, что я тоже прав: мне хочется.

В постоянной борьбе этих двух начал моей жизни мало-помалу складывается мой характер и моё поведение.

Вот теперь я могу верно и твёрдо сказать: последняя причина возникновения поэтического произведения — не талант, не вдохновение, не стиль, не мастерство романтическое, не мастерство рационалистическое, последняя причина есть поведение самого мастера, скажем: творческое поведение.

Очень далеко это поведение от того поведения, каким нас в детстве встретила жизнь. То моё поведение определилось неудовлетворительными отметками в графе моего кондукитного журнала. То поведение было одно-стороннее, оно отмечалось только с точки зрения моего гимназического Надо.

Другая сторона творческого поведения, с точки зрения моего личного Хочется, конечно, не могла отмечаться в гимназии.

Так, под этим гипнозом одностороннего поведения я закончил высшее образование. Установилось даже хорошее моё общественное положение.

Но совершенно случайно я однажды попробовал писать, и это было, как если бы я нажал кнопку электрического тока или поджёг шнур зажига-тельный к окладам динамита моей души.

Однако этот взрыв не был концом борьбы общественного Надо с моим личным Хочется... Борьба продолжалась в том же духе, но это новое творческое поведение уже не было односторонним.

Теперь я, взрослый, законченный человек, сам определял своё пове-дение.

И если я определял его правильно, то сочинительство моё выходило хорошо, если делал самовольно, без отношения или даже вопреки тому, что Надо, выходило неправильно.

Теперь я вижу, что правдивости и жизненности не добьёшься никаким умением без особого усилия, почти геройства и что геройство, скорее всего, стало сейчас свойством самых обыкновенных, простых людей, делом их поведения, определяемого точками схождения личного с обще-ственным.

Русская классическая литература выделяется из всей мировой лите-ратуры тем, что наши люди называют правдой, чем питалась издавна народная наша культура и что я, пока не найдя своего подходящего слова, называю творческим поведе н и е м.

Это бы и надо сейчас нашим критикам делать и этим поднимать целину: раскрывать секреты творческого поведения русского художника слова, делающие мастерство лёгким, как всякое любимое дело становится лёгким через любовь к той конечной цели, во имя которой это дело делается. Тогда человек говорит: «Своя ноша не тянет».

ДОРОГА К ДРУГУ

Каждый простой человек думает, и сколько их таких мне лично высказы-вались: «Если бы мою жизнь описать! Вот бы получилась книга!» Не знает этот человек, что, может быть, из-за того-то и пишут романы и рассказы о других, что нет ничего труднее, как описать свою собственную жизнь. Но кажется, что это очень легко и соблазнительно.

Я был в своё время одним из таких простаков, уверенных в том, что собственная жизнь непременно должна быть очень интересна, если её описать.

Но, конечно, с первых же шагов оказалось, что себя в себе нельзя увидеть и, чтобы увидеть себя, надо смотреть на другого.

Так я повёл свой дневник, как путь от себя к другому человеку, своему другу, и в дневнике так с самого начала и обращался: «Друг мой!», хотя прямо глазами друга этого не видел.

Так я и думаю сейчас, что поведение писателя — это его дорога к другу, мастерство же должно состоять в том, как бы найти ему такую форму, чтобы читатель видел в героях не самого писателя, а догадывался бы больше сам о себе.

У великих творцов мастерство, может быть, и является формой их поведения и приходит к ним само на пути к другу-читателю, как приходит

аппетит во время еды. Как нужно нам теперь, чтобы простой человек — писатель — в борьбе за мастерство не истратил бы своё поведение!

Может быть, по такой-то исключительной трудности быть совершенно простым и правдивым в рассказе о себе «мастера» слова изобретают искусство рассказать жизнь другого человека, как жизнь собственную.

Вот, наверно, почему иногда мастера слова, увлекаясь сравнительной лёгкостью рассказа внешнего о другом человеке, чем о себе, превращаются в словесных жонглёров, вот почему возникает формализм — «искусство для искусства».

Великие писатели потому великие, что они, владея всем возможным мастерством в словесном деле, сохранили в себе веру самого наивного, самого простого человека в возможность рассказать свою жизнь, собственную и единственную, в свете правды нашей общей жизни.

Все произведения Толстого являются огромным дневником, а Гёте сам о себе высказал, что его сочинения являются единым дневником, отрывками единственного произведения. С этого началось и моё скромное писательство, с писем какому-то другу в форме своего дневника.

Мысль художника находится в сердце нашего времени, и вот почему дневник писателя — всё, что он пишет: повести, поэмы, романы, — всё это есть лицо его дня.

СЧАСТЛИВЫЙ РЫБАК

Раздумывая обо всём этом, я вспомнил из своей скитальческой жизни одного рыбака. Он вытащил из озера огромную щуку и с ней прошёл по селу. Голова этой щуки торчала выше плеча рыбака, и протетая сквозь жабры верёвочка не давала щуке дальше съезжать по спине. Хвост же рыбий, хотя человек был очень высокий, волочился по земле и поднимал пыль.

— Вот это счастье! — сказали на селе.

Так было и мне, когда я начал писать охотничьи рассказы, то же самое говорили:

— Вот это талант!

И я думал, думал об этом и спрашивал сам себя: что же это значит — «талант»?

Как не чувствуешь своего голоса, записанного на пластинку, так сам и своего таланта не чувствуешь. А люди понимают талант, как заготовленное от рождения счастье.

Это самое переживал, по-моему, и тот счастливый рыбак: ему казалось — он сделал особое усилие и заслужил свою щуку, они же его усилие называли «счастьем».

Село было большое, народу встречалось много, и все говорили:

— Какое счастье, как же ты её вытащил?

Рыбак спокойно и чуть-чуть насмешливо всем отвечал:

— Без труда не вынешь рыбки из пруда!

Сколько лет прошло с тех пор — не помню, но рыбак не только не выходит из памяти, а, напротив, всё яснее, и бывает, что я даже сам себя понимаю теперь по тому рыбаку и на похвалу «таланту» повторяю про себя:

— Без труда не вынешь рыбки из пруда!



В. ТЕНДРЯКОВ

★

В ЗАЩИТУ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ

Случайно я столкнулся на улице со своим старым товарищем. Мы вместе учились в Литературном институте, жили в одном общежитии, спорили на семинарах, занимали перед стипендией друг у друга на обед деньги. Как у него, так и у меня была одна страсть — литература, одно желание — стать писателями. Мы давно не виделись, и оба обрадовались встрече.

Но через полчаса мы шли по улице и громко спорили, уже не скрывая друг перед другом своего раздражения и досады.

Началось с того, что товарищ начал рассказывать, как он ездил по колхозам и собирал материал для повести, которую он сейчас заканчивал:

— Год был проливной. В сенокосы дня не проходило без дождей. Кто успел скосить, кто сгноил траву. Сено вздорожало, а этим пользуются. Один председатель колхоза вместе с членами правления стогами начал торговать. Плати деньги и вывози из лесу. Колхозники, конечно, видят, ворчат между собой, а возразить боятся. Попробуй докажи...

— Вот-вот, надо говорить о таких вещах,— согласился я.

— Где, в повести?.. Ну нет, кому интересно, чтобы новые подлещи в литературе появились? Прикроют, замусорят они положительное. Конечно, без показа отрицательного не обойтись, но его надо подавать в меру, осторожно. Не в этом сила! Главное — показ положительного!..

Не слушая моих возражений, он стал объяснять мне, что жизнь находится в состоянии непрерывного обновления и развития; новое рождается, старое отмирает, вытесняется новым; важно прежде всего не то, что в данный момент кажется прочным, но уже начинает отмирать, а то, что возникает и развивается... Значит, важно и типично новое, рождающееся, то есть положительное, его и надо показывать, а отрицательное нетипично, зачем же тратить силы на то, чтобы писать о нём?

Мне было тем более досадно слышать всё это, что товарищ, разгорячившись, начинал считать меня чуть ли не противником показа положительного, сторонником одних только чёрных красок в литературе. Я же, как и всякий начинающий писатель, мечтаю когда-нибудь создать настоящего положительного героя. Другой разговор, хватит ли у меня сил и способностей на это. Но мечтаю о настоящем — не урезанном, не поставленном на литературные ходули положительном герое.

Можно бы и не упоминать об этом случайном споре, если бы некоторые критики и писатели не придерживались примерно таких же мнений, что высказывал мой товарищ, если бы они прямо или косвенно не указывали, что отображение (точнее — обличение) отрицательных явлений нашей жизни — задача отнюдь не первостепенной важности.

Но такая позиция, на мой взгляд, наносит вред в первую очередь, как это ни странно, именно показу положительного героя.

Не может быть никакого сомнения в том, что в нашей жизни новое, нарождающееся вытесняет старое, что только положительное может быть новым. Но при этом нельзя забывать и другого: всё в жизни находится в тесной взаимосвязи, новое — положительное — находится в постоянной борьбе со старым — отрицательным, которое не просто уступает место новому, но отчаянно сопротивляется. И потому хорошее нельзя ярко показать, не показав и плохого. Нельзя вообразить себе положительного героя, борющегося с... пустым местом. Из правильных посылок мой товарищ сделал неправильные выводы.

Продолжая спор со мной, он утверждал, что не настаивает на том, чтобы плохое вовсе отсутствовало. Но ведь писатель не фотограф. Разве не в его силах сделать, чтобы хорошее лучше замечалось читателем, чтобы оно стало более наглядным, более выпуклым? Разве не вправе он выдвинуть, приподнять, расцветить его, а плохое затушевать, сгладить, отодвинуть на второй план? Разве это не соответствовало бы требованиям социалистического реализма?

Нет! Не соответствовало бы потому, что заглаживание, урезывание отрицательного не может не отразиться на положительном. Литературное произведение отражает жизнь, а в жизни все явления «...органически связаны друг с другом, зависят друг от друга и обуславливают друг друга» (И. В. Сталин).

Мне скажут: да, мол, были грехи в недалёком прошлом, выразившиеся в бесконфликтности некоторых наших произведений, в лакировке действительности. Но это прошло, теперь никто никого не заставляет сглаживать, притушёвывать, урезывать отрицательное. Да и никакого вреда нет в том, что наши критики постоянно напоминают о положительном, наоборот — огромная польза. Будем чаще напоминать о положительном герое, больше их появится на страницах книг — будет с кого брать пример нашим читателям. Против чего возражаете? Против настойчивого напоминания о показе положительного?

Прежде чем ответить на эти возражения, мне хочется задать вопрос:

— Почему в последнее время мало появляется таких положительных героев, как Павел Корчагин, как Макаренко из «Педагогической поэмы», как Давыдов из «Поднятой целины»?

Может быть, это просто случайность?

Я думаю, тут значительную роль сыграл и тот факт, что у нас зачастую недооценивается показ отрицательного, подлежащего отмиранию, то есть того, с чем должны бороться положительные герои.

В книге «Как закалялась сталь» Николай Островский показал, с одной стороны, Павла Корчагина, его товарищей — комсомольцев и коммунистов, с другой — их врагов, петлюровцев, белогвардейцев, дворянчиков типа Лещинских. Эти две стороны находятся в жесточайшей, непримиримейшей борьбе, и враг показан не приглаженным, не урезанным. Тем больше величие Павла Корчагина и его товарищей, побеждающих этого врага.

В «Педагогической поэме» обаятельнейшим, живым и глубоким встаёт перед читателем А. С. Макаренко — герой, он же и автор книги. Макаренко борется с той грязью, которую наложила улица на детей-беспризорников, с педантами-педологами, даже с вынужденной бедностью, в которой оказалась колония, начинавшая жизнь в тяжёлые для страны дни. И въевшиеся в детские души привычки уличной жизни, и бюрократы-педологи, и временная бедность — всё это враги, и автор их не пригладил, не затушевал. Оттого-то и веришь в силу характера героя книги, сумевшего победить всё это.

Однажды в Кичменско-Городецком районе, Вологодской области, я беседовал с одним председателем колхоза. Этот человек был направлен райкомом партии для укрепления. Колхоз ему попался большой, разбросанный. На каждом шагу трудности — нехватка рабочих рук, неурядицы с МТС.

— Тяжело приходится, прямо скажу, тяжело, — жаловался он мне.

— Уйти собираешься? — спросил я.

Он помолчал и ответил:

— Нет. Задумаешься, да вспомнишь — Давыдову-то тяжелей приходилось.

— Какому Давыдову? — переспросил я, думая, что речь идёт о каком-либо председателе соседнего колхоза.

— Как это — какому? Давыдову из «Поднятой целины». И сознательность у прежних колхозников была не та, и машин не имели — на быках ворочали. У нас хоть и трудно, но разве сравнишь... Колхозники уже не те... Хоть и не часто добрым словом МТС вспоминаешь, но она есть... Не всегда же тракторы простаивают. Нет, что ни говори, я понимаю Давыдова, туго парню приходилось. А мы с ним — одного поля ягоды. Его тоже партия посылала.

О литературном образе он говорил, как о живом, хорошо знакомом ему человеке. Вот положительный герой, который стал для читателя примером, моральной поддержкой в трудную минуту!

А достиг бы Шолохов такой силы в своём герое, если бы он всё, с чем сбросился Давыдов, пригладил, стусевал и частично удалил? Как обеднел бы образ Давыдова, если бы в хуторянах Гремячего Лога не показана была дедовская страсть к собственничеству, если бы они без особых противоречий приняли новую форму жизни — колхоз, если бы свирепый враг Половцев выглядел неумным, не волевым, просто убогим человеком.

Далеко не все современные писатели следуют теми путями, которыми шли классики советской литературы.

По моему мнению, в своих романах С. Бабаевский смягчает недостатки, имеющиеся в нашей жизни, зачастую вовсе убирает их. Круг борьбы Сергея Тутаринова, этого, по мнению автора, носителя всего передового и положительного, искусственно сужен, ему негде развернуться, ему трудно показать свой характер.

У Бабаевского Сергей Тутаринов приходит из армии в колхоз сразу же после войны, в нелёгкий для страны 1946 год. Он не видит разрушенных врагом построек, не видит тракторных станций с износившимся за годы войны парком, не видит трудностей в жизни и быту колхозников. Счастливая жизнь, ломящиеся от снеди столы уже встречают Сергея Тутаринова, заранее определённого в положительные герои, — что же ему остаётся ещё завоевывать?

Всякий, кто пытается хотя бы частично замолчать недостатки, сгладить острые углы противоречий, прикрыться славословием, тем самым не признаёт движущего закона нашей жизни — закона критики и самокритики.

У нас много говорят о партийности литературы и в то же время зачастую снисходительно относятся к произведениям писателей, которые искусственным путём сглаживают недостатки, умалчивают о них, урезают их. Партийность и сглаживание недостатков — явления несовместимые.

Очерки Овечкина ценны тем, что автор непримирим к недостаткам, к отрицательным сторонам нашей действительности. В борьбе с этими недостатками и носителями их, людьми типа Борзова, вырастает его положительный герой — секретарь райкома партии Мартынов.

Можно было и умолчать о романах Бабаевского, если бы некоторые критики настойчиво не указывали, что именно этот писатель шёл по верному пути в создании положительного героя, что недостатки его произведений, если они существуют, касаются лишь художественной стороны. Я думаю, что это неверно.

Есть опасность в том, что критики, так настойчиво твердящие о положительном, волей или неволей отодвигают в тень отрицательное. Как писателями, так и читателями показ новых явлений начинает восприниматься как нечто отвлечённое, метафизически оторванное от изображения дурного, враждебного. Результат такой односторонности будет один — нежизненность, бледность героев произведения. Вынужденные бороться с мелкими явлениями жизни, с робкими намёками на недостатки, они сами неизбежно становятся мелкими, робкими, искусственными.

Хочется напомнить о том, что лакировка и парадность сами по себе противоречат принципу партийности нашей литературы. В новом Уставе Коммунистической партии говорится: «Зажим критики является тяжким злом. Тот, кто глушит критику, подменяет её парадностью и восхвалением, не может находиться в рядах партии».

Возникают вопросы: могут ли появляться в нашей литературе произведения, где все герои только положительные или, наоборот, где все герои только отрицательные?

Я считаю, что в принципе как те, так и другие имеют право на существование.

Возьмём такую примитивную ситуацию. Двое друзей любят одну девушку. Все трое они настоящие советские люди. Имея под рукой жизненный материал, писатель сможет показать и благородство этих людей, раскрыть их духовную красоту в такой степени, что они станут примером для читателей. -

Все герои рассказа С. Антонова «Поддубенские частушки» — хорошие люди, но было бы ошибкой упрекать автора за это. Самый жизненный материал, подмеченный писателем, требовал таких образов.

Однако мне кажется, что конфликт хорошего с хорошим (не надуманный, а жизненный) — частность для нашей литературы. Останавливаться только на этом — значит отказаться от широкого показа нашей жизни. Основным источником, питающим нашу литературу, всё равно должна быть борьба между новым и старым, отживающим и вступающим в силу.

Произведение с одними отрицательными героями не только возможно, — наша литература пользовалась и будет пользоваться специальными жанрами, где в основном действуют только отрицательные герои, такие, как фельетон и памфлет. По этому же принципу может быть написан и рассказ, очерк и даже повесть. Но только в том случае подобного рода произведение станет приемлемым для советского читателя, если автор займёт свою определённую позицию по отношению к отрицательному, и не только определённую, но партийную позицию, и сумеет художественно передать её читателю. Если в рассказе или повести действуют одни отрицательные герои, то это не значит, что тут нет борьбы с ними. Отношение автора к этим героям, разоблачение их перед лицом общественного мнения — всё это уже и есть борьба. В данном случае взаимоотношение нового со старым распределяется так: новое, положительное — авторское отношение, старое, отрицательное — герои автора.

Случается иногда и так, что автор сознательно направляет в своём произведении основной удар на отрицательных персонажей, рисует их широко и всесторонне, и показ положительных героев не является для

него самоцелью — они лишь подчёркивают, ярче оттеняют недостатки, помогают обличению. В этом случае, если только автору удалось передать своё партийное отношение ко всему мешающему нашему развитию, всё равно произведение сыграет свою воспитательную роль.

Как ни обаятельно сыграет актёр Велосипедкина, но всё-таки основная ценность «Бани» не в том, что В. Маяковский изобразил Велосипедкина, а в том, что он вывернул наизнанку, с необычайной силой показал в истинно непривлекательном виде таких, как Победоносиковы, Оптимистенко и прочая бюрократическая шваль, выразив всем этим отношение к ним и передав его зрителям.

Партийное отношение автора к отрицательному, как это уже не раз справедливо замечалось в предсъездовских выступлениях, обязательно во всех случаях. Если его нет, то такое произведение не имеет права считаться произведением социалистического реализма.

Пусть не поймут меня товарищи, что я выступил против положительных начал в нашей литературе. Я выступил в их защиту, ибо говорить о положительном и забывать, что оно не может существовать без своего антагониста, — значит оказывать медвежью услугу писателям, которые стремятся создавать жизненных, деятельных, истинно советских героев.



ЮРИЙ ГЕРМАН

★

БУДЕМ СТРОГИМИ К СЕБЕ

В предсъездовские дни, когда каждый советский литератор ещё и ещё раз умственным взором оглядывает минувшее, с тем чтобы яснее и чётче увидеть путь в будущее, — в эти дни размышлений многие из нас, естественно, обращаются к тем великим труженикам русской литературы, которые на протяжении всей нашей жизни были нам неизменными добрыми и строгими советчиками, по книгам которых мы жадно, кропотливо учимся, стараясь по мере наших сил разгадать тайну грандиозного мастерства этих замечательных художников.

В письмах, в записных книжках, в рассказах, очерках, романах наших классиков, в мемуарах, связанных с именами Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Чехова, Горького, Куприна, — повсюду рассеяны крупницы жизненно необходимых для нас мыслей, фразы, полные глубокого смысла, живущие и по сей день, тревожащие и нынче сердце каждого, кому дороги судьбы советской литературы. Немыслимо себе представить Пушкина, не знающего допушкинскую отечественную литературу, так же как немислимо себе представить Лермонтова без великого пушкинского наследия. Всем известно, какую роль в творчестве Льва Толстого играл Пушкин, известны взаимосвязи Толстой—Чехов—Горький. Кто не знает пушкинских предсмертных слов, обращённых к книгам? Мы не Иваны, не помнящие родства, — советские литераторы крепко и тесно связаны со всем лучшим, что было в истории нашей словесности, и, следовательно, нам далеко не бесполезно иногда посоветоваться с писателем, имя которого каждый из нас — пишущих — произносит с гордостью и благоговением.

В последнее время слово «идеал» довольно часто стало появляться в статьях, посвящённых литературе. Чехов писал: «В заглавии «Идеал» слышится что-то мармеладное». Это, разумеется, правильно. Слово это, отнесённое к героям художественных произведений, кажется нам чужим, несвойственным нашему правдивому, мужественному, отнюдь не сентиментальному творчеству.

А на страницах печати это слово бытует. И читаешь его с некоторым чувством неловкости, потому что и не хочется и скучно представлять себе нашего живого, милого сердцу работника-современника с такими крылышками, которые по штату положены «идеалу». Да и призыв к написанию «идеала» есть, по существу, призыв к написанию ангелоподобного существа, лишённого человеческих черт, ибо «идеал» не может быть человеком. Живой же человек в его прекрасной противоречивой сложности куда интереснее «идеала».

Простой пример:

Иванов в бою. Это первый бой. Разумеется, Иванову жутко, может быть, даже страшно. Не бывает человека, которому совсем не страшно в бою. Но, зная, что для дела коммунизма надобно итти в атаку, надобно

оторваться от земли, от которой, как известно, очень трудно оторваться для атаки, Иванов всё-таки встаёт и с честью выполняет свой воинский долг. По-нашему, Иванов есть истинный сын нашего времени, впоследствии, быть может, даже герой. С точки зрения теоретиков «идеала» Иванов почти что клевета, ибо он позволил себе помедлить, испугаться, ибо в душе его происходила некая борьба долга и страха. Но такая борьба обязательно происходит, недаром Салтыков-Щедрин писал: «Нет такого человека на свете, который был бы сплошь злодеем или сплошь добродетельным, сплошь трусом или сплошь храбрецом».

Призыв к тому, чтобы разрисовывать «идеал» серебряной, золотой или розовой краской, ни к чему хорошему привести не может. Мы знаем такого рода «произведения» и знаем их судьбу. Читатель не верит таким книгам, не волнуется судьбами серебряных и розовых героев и, что самое главное, не считает этих героев героями.

— Нежизненно у вас отображено! — говорит читатель твёрдо и неколебимо. — Не бывает так!

И всё. И апеллировать к тому, что вы послушались советов критиков, бесполезно. Книгу от этого читать не станут, героя не полюбят. Не полюбят, потому что любить можно живого человека, а не мёртвую схему добродетелей.

«Лица, выводимые писателем-художником, перед ним не виноваты, — писал Н. А. Некрасов, — он (писатель) не судья им, он не имеет права питать к ним злобу, определять и наказания, точно так же, как не его дело награждать, раздавать венки и выставлять образцы добродетели или примеры для подражания. Это всё дело самой жизни, самих лиц. Смотрите в них прямо и открыто, и они, как в чистом зеркале, отразятся в вашем произведении. И нравственный урок скажется сам собой».

Так писали великие писатели. И так создавались в литературе такие образы положительных героев, как Пьер Безухов, как Андрей Болконский, как Нехлюдов, Левин, Базаров, Дымов из чеховской «Попрыгуньи». Таковы и молодогвардейцы Фадеева и Павка Корчагин Островского. Благодаря тому, что писатели смотрели прямо и открыто на своих героев, нравственный урок сказался сам собой. Ложь, заранее выстроенная мёртвая концепция — страшный враг искусства. Не может писатель сказать себе: сём-ка напишу я идеал, — ничего из этого не выйдет, не скажется тогда нравственный урок. Н. С. Лесков, совершивший немало тяжких ошибок на своём творческом пути, искренне и справедливо писал на основании своего собственного горького опыта: «Литература есть записанная жизнь, и литератор есть в своём роде секретарь своего времени. Он записчик, а не выдумщик, и где он перестаёт быть записчиком, а делается выдумщиком, там исчезает между ним и обществом всякая связь. Слово его теряет внушительность, мысль его не имеет опоры и не находит отклика, образы его становятся мертвы и не возбуждают сочувствия. Связь литератора с обществом такая органическая, что нарушение её с одной стороны тотчас же разрушает её и с другого конца; неверно понимающий и несправедливо воспроизводящий явления писатель покидается общественным вниманием одновременно с тем, как он покинул жизнь в своём воспроизведении».

Такова расплата за самомалейшую ложь в искусстве, и не имеет никакого смысла тащить советскую литературу от изображения нашей живой действительности в некие надзвёздные, идеальные области. Нам есть чем гордиться, мы прошли большой и нелёгкий путь, и никто из нас — ни читатели, ни писатели — не нуждается ни в каком украшательстве, как не нуждается в этом наша советская власть.

«Выявлять и раскрывать высокие душевные качества и типичные положительные черты характера рядового человека» — такова задача,

определённая XIX съездом партии. Глубоко верные, точные и ясные слова. Ими и должны мы руководствоваться, ибо они выражают подлинное требование многомиллионного советского читателя к своей литературе.

Много лет тому назад Л. Толстой писал:

«Литература народа есть полное всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху».

Об этом не должны забывать мы, советские литераторы. Слова эти через несколько десятилетий, более чем через полвека, адресованы как бы нашему времени. Народ, распрямивший плечи, великий советский народ достоин того, о чём мечтал Толстой.

В предсъездовские дни и об этом следует нам задуматься и здесь проверить себя...

«Ах, подруженьки, как скучно! — писал больной А. П. Чехов. — Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке...»

И эти горькие слова написаны непосредственно после возвращения с Сахалина, после того, как Чехов массу перевидал, после длительного, очень тяжёлого пути. А вот ещё строчки из письма:

«Нужно много писать, между тем материал заметно истощается. Надо бы оставить Лопасню и пожить где-нибудь в другом месте. Если бы не бациллы, то я поселился бы в Таганроге года на два, на три и занялся бы районом Таганрог — Краматоровка — Бахмут — Звереве. Это фантастический край...»

Из другого письма:

«И в беллетристическом отношении после «Мужиков» Мелихово уже истощилось и потеряло для меня цену...»

Хорошо известно, как любил А. П. Чехов свою профессию врача, как скромно гордился ею, каким отличным доктором был. Но, думается, не только потому Чехов любил медицину, что был врачом, но ещё и потому, что специальность врача позволяла ему видеть жизнь гораздо глубже, чем видел бы он её как писатель, вернее, только как писатель. Чехов никогда не отказывался от посещения больных. Разумеется, докторская, врачебная верность долгу здесь имела место — трудно себе представить более человеческого человека, чем Антон Павлович, — но совершенно несомненно и другое обстоятельство: работа врача широко распахивала перед Чеховым двери тех деревенских изб, тех купеческих домов, тех особняков, куда писатель не мог бы войти запросто; работа врача давала Чехову возможность видеть жизнь такой, как она есть, во всей её глубине, сложности и противоречивости. Работа врача была нужна писателю Чехову — она была его верной помощницей, его добрым и строгим соавтором. Доктор Чехов знал всех людей в округе Мелихова, и его знали все — не как живущего тут барина-виту-писателя, но как своего человека, понимающего все нужды, все дела, все радости и беды окрестного трудового населения. Недаром поразительно скромный Чехов мог написать о себе: «По деревне я прохожу не часто, и бабы встречают меня приветливо и ласково, каждая наперерыв старается проводить, предостеречь насчёт канавы, посетовать на грязь или отогнать собаку...»

То счастье, которое мы испытываем, читая чеховские рассказы, надо отнести не только к гению Чехова, но и к тому доктору Чехову, который открыл Антону Павловичу так широко и полно двери в жизнь.

А разве Лев Толстой когда-нибудь был только писателем? Разве не служил он офицером, разве не вкладывал всю свою душу в школу, разве не занимался сельским хозяйством? Вспомним профессии Горького, Куп-

рина, Лескова, вспомним жизнь Лермонтова, вспомним, что и как перевидал за свою жизнь Александр Сергеевич Пушкин, вспомним Герцена, Салтыкова-Щедрина, Гончарова, вспомним, наконец, что Станюкович был моряком и именно море, близость с моряками сделали его популярным и широко известным писателем.

К сожалению, ещё есть литераторы, которые, полагаясь на своё профессиональное умение, на знание неких «законов ремесла», на таинственную «специфику» избранного ими на каждый данный случай жанра, «ваяют» без знания жизни, без вдохновения именно ею, жизнью, а следовательно, и без сознания цели. Л. Н. Толстой писал:

«У него (речь идёт о Вронском) была способность понимать искусство и верно, со вкусом подражать искусству, и он подумал, что у него есть то самое, что нужно для художника, и, несколько времени поколебавшись, какой он выберет род живописи... он принялся писать. Он понимал все роды и мог вдохновляться и тем и другим; но он не мог себе представить того, чтобы можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать к какому-нибудь известному роду. Так как он не знал этого и вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посредственно жизнью, уже воплощённой искусством, то он вдохновлялся очень быстро и легко и так же быстро и легко достигал того, что то, что он писал, было очень похоже на тот род, которому он хотел подражать...»

Многие наши литературные беды объясняются до чрезвычайности просто: человек написал дурно, потому что имел лишь общее представление о том предмете, о котором решил написать.

У А. П. Чехова есть знаменательные слова:

«Пожалуйста, не возлагайте литературных надежд на мою сахалинскую поездку. Я еду не для наблюдений и не для впечатлений, а просто для того, чтобы пожить полгода не так, как я жил до сих пор».

Давно и много мы говорим о способах познания жизни литераторами. Разумеется, рецептов тут не отыскать, но одно совершенно неоспоримо, если, конечно, говорить не о беллетристике, не о сочинениях-однодневках, а о литературе. Неоспоримо то, что литератор видит по-настоящему тогда, когда перестаёт быть сторонним, командировочным и наблюдающим товарищем, а товарищи, с которыми он имеет дело, привыкают к нему настолько, что забывают, что здесь присутствует литератор, который их описывает или опишет в будущем. Блокнот и вечное перо — опасные спутники. К приезду с блокнотом и вечным пером можно повернуться и в «три четверти», как поворачиваются к фотографу, — так, дескать, я лучше выгляжу. А что из этого получается впоследствии — всем ясно. Поэтому слова Чехова о поездке на Сахалин могут быть приняты к руководству всеми советскими литераторами, — так мне думается.

В дореволюционной России писателю было чрезвычайно трудно стать участником интересного, живого, большого дела. Однако сильные волей побеждали. Вспомним Гончарова и его плавание. А ведь если бы автор «Фрегата «Паллады» был только пассажиром, разве увидел бы он то, что и по сей день привлекает нас в его книге? Конечно, нет!

Нынче литератор — желанный друг в каждом большом государственном деле. В любое плавание, в далёкую экспедицию, на пограничную заставу, в авиационный перелёт попасть нетрудно, но нужно расстаться с тем, с чем спокойно и привычно расстаются другие участники задуманного предприятия. Нужно расстаться с налаженным бытом, с писательской дачей в писательском дачном посёлке, с писательской квартирой в писательском доме, с дружескими беседами в кулуарах Дома писателей...

И, бывает, не растает писатель годами, десятилетиями, а то и больше. Пишет сначала о своём детстве, о том времени, когда он был просто мальчиком и потому видел вокруг себя подлинную жизнь, потом пишет роман, в котором современники наши напоминают тени и только детские их годы, воспоминания о детстве наполнены жизненными соками, затем создаёт какой-либо пространный очерк, этакие записки просвещённого странника — путешествие на пароходе по Волге. Здесь всё мертво, всё уныло, всё напоминает известные слова Салтыкова-Щедрина: «Происшествия, которые он рассказывает, или, лучше, размазывает в своём сочинении, суть происшествия самые несложные, даже почти глупые. Это просто обыденные физические отправления, которым подвержен всякий человек, независимо от его внутренних определений, и которые повторяются с однообразием, могущим составлять предмет наблюдений для физиолога, но никак не для романиста».

Окончено и путешествие, и из путешествия выжато всё. О чём ещё написать?

Измученный тяжкими недугами, М. Е. Салтыков-Щедрин жаловался: «Да и кроме того старость пришла, материал оскудевает. Где я его возьму — никуда почти не выезжая?» А уж знания жизни, житейского опыта, наблюдений у Салтыкова-Щедрина было хоть отбавляй! И, конечно, не об экскурсиях тосковал великий наш сатирик. Он великолепно понимал, что значит писателю отстать от жизни, что значит быть не в самом центре её, знал ещё и потому, что отдавал себе ясный стчёт в целях и задачах деятельности писателя и всей литературы в её целом: «Взятая в общем фокусе, литература есть тот очаг общественной мысли, который служит представителем не только насыщенной физиономии и насущных потребностей общества, но и тех стремлений, которые в данную минуту хотя и не вошли ещё в сознание общества, но тем не менее существуют бесспорно и должны определить будущую его физиономию».

Вспомним Н. Островского, Фурманова, Серафимовича, Макаренко, Горбатова. Жизнь, живая жизнь в её сложностях и противоречиях, участие в жизни, активная деятельность в ней пропитали, как соком, сознанием цели их книги, и вы чувствуете эту цель не умом, а всем своим существом. И от этого мы, кроме жизни, какая есть, чувствуем ещё и ту, которая должна быть. Чувствуем потребности общества, которые определяют будущую физиономию этого общества...

Знание жизни обязательно для писателя — с этим, разумеется, никто спорить не станет. Но есть и иные, на наш взгляд бесспорные, истины, которым усердно и даже с раздражением возражают. Есть писатели, которые с пренебрежением и скукой в голосе говорят о сюжете — что-де не собираются они потрафлять низким вкусам обывателя, что работают они не в приключенческом, а в эпическом жанре, что настоящему, полноценному читателю сюжет не важен, а важны лишь идея, размах, полотно, пейзаж, характер и т. д. и т. п. Нам думается, что товарищи, столь презрительно относящиеся к сюжету, не вполне искренни в лучшем случае и дело тут не в принципиальном отрицании необходимости сюжета в том или ином произведении, а дело тут просто-напросто в неумении организовать сюжет, в нежелании потратить свои силы для этой работы. Механически приставляется глава к главе, вяло и скучно развивается некое подобие действия, и, несмотря на то, что литератор и знает свой материал и имеет что сказать своему читателю, читатель не читает с тем живым интересом, который мог бы иметь место, если бы автор данного сочинения не отнёсся пренебрежительно к сюжету. Знание жизни, знание материала определяют желание истинного

художника найти ещё и сюжет, который помог бы наиболее энергично, сильно, выпукло, действительно подать то, что уже кипит в душе литератора. Всем известно, что Гоголь, великий Гоголь, постоянно и очень настойчиво искал сюжета, выпрашивал «анекдоты» — жизненные факты — и у Прокоповича, и у Жуковского, и у Аксакова, и у Шевырёва. Сюжет — анекдот о потере чиновником ружья в Финском заливе, — несомненно, родил в конечном счёте «Шинель». В пору, когда Н. В. Гоголь был весь преисполнен характерами, образами, судьбами людей, когда гениальный писатель был «готов» к началу процесса писания произведения вообще, у него ещё не было того, что помогло бы вызвать из небытия на бумагу и Землянику, и городничего, и двух дам. «Сделайте милость, — писал Гоголь Пушкину, — дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский чисто анекдот... Как только дан будет сюжет — духом будет комедия из пяти актов».

Пушкин говорил Нащокину, что «главная завязка» «Пиковой дамы» не вымышлена. «Живой труп» Л. Н. Толстого, как известно, навеян рассказом юриста Давыдова. Сюжет — жизненная история супругов Гимер — дал возможность Льву Николаевичу высказать всё то, что наполняло его, великого художника, что существовало, жило, думало, страдало, что было характерным для всего того времени, но не могло стать произведением только потому, что не имело сюжета. Может быть, впоследствии Толстой и нашёл бы возможность иначе выразить идею «Живого трупа», но была ли бы она так гениально понятно раскрыта, так просто и ясно выражена, читалась ли бы с таким захватывающим интересом, как в пьесе, построенной на судьбе супругов Гимер? Тут нельзя ещё не учитывать всегдашнее прекрасное стремление Толстого быть понятным всем, не только избранным, добраться до сердца читателей всех слоёв тогдашнего русского общества. «Нельзя говорить про произведение искусства — вы не понимаете ещё, — говорил Л. Толстой. — Если не понимаете, значит произведение искусства не хорошо, потому что задача его в том, чтобы сделать понятным то, что непонятно».

Дело супругов Гимер было непонятно, загадочно, трагично. Яркий свет гения Толстого объяснил всему миру трагедию Гимеров. Убрав случайное, наносное, мелкое, не типическое из самого сюжета, Толстой создал прекрасное произведение, исполненное жизненной правды и, кроме того, захватывающее по своему содержанию. Великий писатель земли русской отлично знал, что драматургическое произведение, кроме всех прочих своих достоинств, непременно должно иметь сюжет, который и даст жизнь, движение, силу всей вещи в целом, который полнее раскроет характеры, который осветит и лицемерие закона, и ложь общества, и весь страшный механизм уничтожения человека, Человека с большой буквы.

И «Анна Каренина», и «Воскресение», и «Фальшивый купон», и «Полиушка» имеют сюжеты сильные и простые, сюжеты, которые можно пересказать, хотя, разумеется, грандиозность всего написанного Толстым держится не только на сюжетах. В данном случае мы говорим о частности, но о частностях важных и существенных. При отсутствии сюжета произведение, даже талантливое, может оказаться менее значительным, чем могло бы быть. Толстой именно в этом смысле говорил: «Если читатель услышит болтовню, то он не отнесётся со вниманием. Нужно сразу схватить читателя и не выпускать его — не выпускать из того подъёма, в который он поднялся».

Зная войну, пережив с советским народом все её тяготы и испытания, зная, чем живут наши люди ещё с давних дней партизанских боёв, писатель-коммунист А. Фадеев был, несомненно, внутренне готов к созданию

книги о подвиге советского народа, о моральной неколебимой стойкости советского человека в тяжелейших испытаниях войны с фашистскими захватчиками. Великая эпопея краснодонцев вызвала наружу, помогла процессу создания одной из самых замечательных книг в истории советской литературы. Творческий процесс, быть может, начавшийся в сознании писателя задолго до факта подвига краснодонцев, закончился написанием «Молодой гвардии» — книги величайшего оптимизма и прекрасной веры в людей.

Факты, которые легли в основание трагедии Ольги Берггольц «Верность», в своё время были известны огромному количеству и читателей и писателей. И женщины, стиравшие для медсанбатов, и уничтожение предателя Жиго, и возникновение подпольной советской власти в Севастополе во время немецкой оккупации, и партизаны в севастопольских руинах — обо всём этом писалось в газетах, однако же искра не высклалась, удара кремня об огниво не происходило до тех пор, пока весь этот материал не вошёл в творческое соприкосновение с дарованием Ольги Берггольц. Художник, переживший ленинградскую блокаду, тонко и точно почувствовал патетическую, величественную трагедию севастопольцев, близкие нам люди заговорили искренними, сильными, трогательными сердцем стихотворными строфами, сюжет, сотворённый жизнью, вызвал к жизни одно из значительных произведений советского искусства.

Но сюжет, привнесённый жизнью, ещё не всё. В сюжете всегда существуют и элементы случайные. Уметь отшелушить случайное от типического — долг художника. Известно, что Гоголь, выслушав анекдот о чиновнике, уронившем ружьё в воду Финского залива, не просто написал рассказ об этом чиновнике и о ружье, но лишь воспользовался этим сюжетом как отправной точкой для подготовки своего, гоголевского, сюжета «Шинели». Писатель обязан не просто воспроизводить существующий факт, но и придавать ему направленность в том смысле, о котором говорил Л. Н. Толстой: «Писателю нужны две вещи: знать то, что должно быть в людях и между людьми, и так верить в то, что должно быть, и любить это, чтобы как будто видеть то, что должно быть, и то, что отступает от этого».

В эти толстовские слова стоит вдуматься.

Когда появились повести Карамзина, поэт Глинка спросил автора «Бедной Лизы»:

— Откуда у вас такой дивный слог?

— А из камина, батюшка!

— Как так из камина?

— Простым манером: напишу, переправлю, перепишу, а старое — в камин. Потом подожду денька три, опять за переделки примусь, снова перепишу, а старое — опять в камин. Так-то, мой батюшка! Всё из камина!

Всем известно, как работали над своими произведениями такие колоссы мировой литературы, как Л. Н. Толстой, Гоголь, Мопассан, Стендаль, Чехов, Тургенев, Герцен. Трудно предполагать, что писатели эти вообще писали медленно, что каждый из них не отдавал целиком самого себя литературе. Знаем мы и высокую требовательность к себе наших современников — Фадеева, Шолохова, Федина и многих других. Требовательность эта никогда не бывает декларативной — она видна по произведению писателя, так же, впрочем, как и торопливость, обычно порождающая некое косноязычное, сбивчивое и безъязыкое писание. Одно дело — энергичное, стремительное, страстное увлечение своим трудом, другое — торопливость, когда писатель словно бы глохнет: не слышит свою фразу, не чувствует её пародийность, неточность, вялость. К сожалению, грехи такого рода случаются не только с начинающими писателями, не только

с литературной молодёжью, но и с писателями с именем, серьёзными. Неизвестно, по каким причинам, — то ли из уважения к имени писателя, то ли по невниманию к слову — редакторы журналов не всегда достаточно взыскательны и строги к тем литераторам, которые чересчур милостивы к своему собственному творчеству.

Писать много, работать без конца, никогда не удовлетворяться достигнутыми результатами — таковы истинные традиции настоящей литературы. Писать скоро, считать себя избранником, витией, которому всё дозволено, — дурно. Покойный Алексей Николаевич Толстой однажды, раздражившись, сказал молодому и очень хвастливому литератору в ответ на его пространный монолог о том, что все истинно одарённые люди работают быстро, следующую фразу:

— Быстро? Скоро? И со мной бывало такое в молодости — да вот нынче убедился, что поговорка правильно говорит: скоро кошки зачинаются, да слепы рождаются! Грубо, да здорово!

А когда литератор ушёл, Алексей Николаевич подмигнул ему вслед и невесело произнёс:

— Скорохват! Пичужка! Ничего из него не произойдёт!

И действительно, «не произошло». Помелькал, пошебаршил «скорохват» и растворился, не оставив никакого следа в литературе.

Колоссальные сдвиги произошли в нашей стране. Миллионными, грандиозными, небывалыми в истории человечества тиражами издаются классики, издаются лучшие произведения советской литературы. Толстой и Стендаль, Шекспир и Гёте, Гейне и Гюго, Короленко, Чехов, Горький, Тургенев, Бальзак, Мопассан, Куприн, Шолохов, Фадеев, многие другие писатели прочитаны и читаются не избранными в нашем обществе, а всем советским народом. И можно сказать с полной ответственностью, что советские люди, воспитанные на лучших образцах литературы всего мира, вправе предъявлять к нам — советским литераторам — строгие требования.

Будем же сами строгими к себе.



ДОКУМЕНТЫ. МАТЕРИАЛЫ

МЕЖДУ ДВУМЯ СЪЕЗДАМИ

1934 год

Август 17. В Москве открылся Первый Всесоюзный съезд советских писателей. На съезде присутствует 591 делегат — представители литератур 52 народов СССР. Председателем съезда избран А. М. Горький. От имени Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР съезд приветствовал А. А. Жданов.

«Наша литература является самой молодой из всех литератур всех народов и стран. Вместе с тем она является самой идейной, самой передовой и самой революционной литературой. Нет и никогда не было литературы, кроме литературы советской, которая организовывала бы трудящихся и угнетённых на борьбу за окончательное уничтожение всей и всяческой эксплуатации и ига наёмного рабства. Нет и не было никогда литературы, которая кладёт в основу тематики своих произведений жизнь рабочего класса и крестьянства и их борьбу за социализм. Нет нигде, ни в одной стране в мире, литературы, которая бы защищала и отстаивала равноправие трудящихся всех наций, отстаивала бы равноправие женщин. Нет и не может быть в буржуазной стране литературы, которая бы последовательно разбивала всякое мракобесие, всякую мистику, всякую поповщину и чертовщину, как это делает наша литература.

Такой передовой, идейной, революционной литературой могла стать и стала в действительности только советская литература — плоть от плоти и кость от кости нашего социалистического строительства».

(Из речи А. А. Жданова)

В первый день работы съезд заслушал доклад А. М. Горького «О советской литературе». Затем были заслушаны содоклады о детской литературе и о литературах Украины, Белоруссии, Татарии, Грузии, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана.

Съезд обсудил также вопросы развития советской драматургии, советской поэзии, работы с молодыми писателями.

«Высота требований, которые предъявляются к художественной литературе, быстро обновляемой действительностью и культурно-революционной работой партии Ленина, — высота этих требований объясняется высотой оценки значения, которое придаётся партией искусству живописи словом. Не было и нет в мире государства, в котором науки и литература пользовались бы такой товарищеской помощью, такой заботой о повышении профессиональной квалификации работников искусства и науки».

(Из доклада А. М. Горького)

На съезде выступили приглашённые в Москву писатели зарубежных стран: Мартин Андерсен Нексе (Дания), Вилли Бредель, Фридрих Вольф, Иоганнес Бехер (Германия), Джiovанни Джерманетто (Италия), Жан-Ришар Блок, Луи Арагон (Франция), Эми Сяо (Китай) и другие.

Сентябрь, 1. Заключительное заседание Первого Всесоюзного съезда писателей. Съезд принял Устав Союза советских писателей. Съезд обратился с приветствия-

ми к Центральному Комитету партии и Совету Народных Комиссаров СССР. Принято обращение «Свободу Тельману!» Избраны Правление Союза советских писателей и ревизионная комиссия. Съезд закрылся речью А. М. Горького.

«Мы заявляем ЦК, что мы сделаем всё, чтобы наша литература ещё более тесно слилась с жизнью и борьбой народов СССР, чтобы наше мастерство стало более высоким, чтобы замечательная жизнь нашей страны засверкала в искусстве всем богатством своих красок».

(Из приветствия съезда писателей Центральному Комитету Всесоюзной коммунистической партии (большевиков))

«Многоязычная и единая, разноязычная и братски сплочённая предстала перед страной наша литература — литература социального оптимизма, проникнутая великими идеями пролетариата, ставшая на передовые позиции борьбы за новый мир.

Нет сомнения в том, что, определив на съезде пути своего развития, она шире, ярче, красочнее, чем до сих пор, развернёт свои огромные творческие возможности и будет давать стране новые книги ещё более высокого качества, книги, способные пленять миллионы людей и вести их за собой...

Съезд закончен. Писатели Советской страны выдали «многочисленному читателю и правительству большие векселя», и теперь, после съезда, руководящие органы Союза писателей и все его члены примутся за творческую работу с тем, чтобы «оплатить векселя честной, добротной работой» (из речи А. М. Горького). Вся страна ждёт результатов этой работы — новых превосходных книг».

(«Правда», 2 сентября)

Сентябрь, 2. Первый пленум Правления Союза советских писателей, избранного на Всесоюзном съезде писателей. Председателем Союза советских писателей избран А. М. Горький; в президиум Союза советских писателей вошли М. Горький, А. Афиногенов, С. Айни, В. Бахметьев, Д. Бедный, Ф. Гладков, Вс. Иванов, А. Лахути, Л. Леонов, П. Павленко, Ф. Панфёров, П. Панч, А. Серафимович, Л. Сейфуллина, В. Станский, Н. Тихонов, А. Толстой, А. Фадеев, К. Федин, М. Шолохов, А. Щербаков, И. Эренбург, П. Юдин и другие. Первым секретарём Правления ССП избран А. Щербаков. С речью о ближайших задачах Союза советских писателей и его Правления выступил А. М. Горький. Пленум обязал делегатов Первого съезда писателей отчитаться перед своими избирателями о работе съезда.

Июнь — сентябрь. Вышел в свет отдельным изданием роман А. М. Горького «Жизнь Клима Самгина» (части первая, вторая и третья).

«Я считаю это произведение одним из самых замечательных произведений нашей литературы и вместе с тем литературы мировой, ибо наша литература, как вы знаете, отнюдь не плетётся в хвосте. Горький остался здесь в высшей степени верным своему основному методу. Это — художественный показ, хроника, огромный кусок истории нашей общественности, данный методом необыкновенно жизненных, правдоподобных, дышащих правдой картин отношений, столкновений, переживаний и т. д. В «Климе Самгине» Горький приводит в порядок весь свой опыт вообще, свой опыт об интеллигенции в частности, и в этом упорядоченном, убедительном, окончательном виде делится им с нами».

(А. В. Луначарский)

Выпущена отдельным изданием первая часть книги А. Макаренко «Педагогическая поэма».

«Для меня выход «Поэмы» — важнейшее событие в жизни... В первой части я пытался изобразить, как складывается коллектив, во второй части хочу описать сильное движение развёрнутого коллектива, завоевание Куража и харьковскую борьбу — до самого Вашего приезда. Закончить хочу Вашим приездом в Кураж».

(Из письма А. Макаренко А. М. Горькому)

Вышла в свет вторая книга романа А. Толстого «Пётр I».

«Пётр I» — первый в нашей литературе настоящий исторический роман. Книга — надолго. Недавно прочитал отрывки из второй части — хорошо! Вы можете делать великолепные вещи!»

(Из письма А. М. Горького А. Толстому)

Октябрь, 24. В «Литературной газете» опубликовано письмо А. М. Горького «Антифашистскому конгрессу в Чикаго».

Октябрь — декабрь. Выпущена отдельным изданием вторая часть романа Н. Островского «Как закалялась сталь».

«...в современной, т. е. советской, литературе имеется уже немало героев, достойных подражания. Возьмите «Как закалялась сталь» Островского, «Энергию» Гладкова и целый ряд других произведений художественной литературы, в которых выведены замечательные люди. По-моему, наша молодёжь многое может почерпнуть из этих произведений».

(М. И. Калинин)

В течение года выпущены на русском языке следующие произведения советских писателей: П. Антокольский. Стихи и поэмы; Н. Асеев. Поэмы; А. Безыменский. Ночь начальника политотдела; О. Берггольц. Стихотворения; М. Голодный. Слово пристрастных. Стихи; Б. Горбатов. Моё поколение. Повесть; В. Гроссман. Глюкауф. Роман; В. Гусев. Сыновья диктатуры. Стихи; Н. Дементьев. Рассказы в стихах; Е. Долматовский. Лирика; Я. Ильин. Большой конвейер. Повесть; Я. Колас. Трясина. Повесть. Перевод с белорусского; его же. Новая земля. Поэма. Перевод с белорусского; А. Корнейчук. Гибель эскадры. Пьеса. Перевод с украинского; В. Луговской. Избранные стихи; Н. Ляшко. Сладкая каторга. Роман. Книга первая; С. Муканов. Тулпар. Избранные стихи. Перевод с казахского; К. Паустовский. Колхида. Повесть; Л. Первомайский. Обращение к горе. Избранные стихи. Перевод с украинского; Б. Ромашов. Бойцы. Пьеса; В. Саянов. Золотая Олёкма. Стихи; И. Сельвинский. Тихоокеанские стихи; В. Ставский. На гребне. Повесть; Н. Тихонов. Вечный транзит. Рассказы; К. Федин. Похищение Европы. Роман. Книга первая; О. Форш. Якобинский заквас. Роман; И. Эренбург. День второй. Роман, и другие.

1935 год

Январь, 12. Празднование 15-летия советской кинематографии.

«Советская власть ждёт от вас новых успехов — новых фильмов, прославляющих, подобно «Чапаеву», величие исторических дел борьбы за власть рабочих и крестьян Советского Союза, мобилизующих на выполнение новых задач и напоминающих как о достижениях, так и о трудностях социалистической стройки».

Советская власть ждёт от вас смелого проникновения ваших мастеров в новые области «самого важного» (Ленин) и самого массового из искусств — кино».

(Из приветствия И. В. Сталина работникам советской кинематографии)

«Горячо поздравляю с прекрасными победами. Уверен, что чем дальше, тем более успешно будет развиваться ваша работа. Культурное значение её в таких образцах, как «Гроза», «Пышка», «Чапаев», — огромно».

(А. М. Горький. Приветствие к пятидесятилетию советской кинематографии)

Январь, 28. Открылся VII Всесоюзный съезд Советов. С отчётным докладом о работе правительства выступил В. М. Молотов. В своём докладе В. М. Молотов отметил значение Первого Всесоюзного съезда писателей.

«Большим успехом советской власти за истекший период надо считать поворот к социализму среди старой интеллигенции. Не без колебаний, не без перебежек туда и сюда произошёл этот перелом. Но возьмите основную массу

старых инженеров, учительства, наконец, писателей и работников искусства, и вам будет понятно политическое значение прошлогоднего съезда советских писателей в Москве, ярко отразившего этот перелом к лучшему у нашей интеллигенции».

(Из доклада В. М. Мологова)

Январь, 29. Празднование 75-летия со дня рождения А. П. Чехова.

Январь, 30. В газете «Правда» опубликована статья А. М. Горького «О сказках».

Февраль, 11. Открылся Второй всесоюзный съезд колхозников-ударников. А. М. Горький посвятил съезду заметку «Они расскажут миллионам», напечатанную 18 февраля в «Известиях». На съезде выступили Д. Бедный и А. Безыменский.

Февраль, 18. Редакция журнала «Колхозник» организовала встречу писателей с делегатами Второго всесоюзного съезда колхозников-ударников. Было зачитано приветствие А. М. Горького. В беседе приняли участие А. Серафимович, Д. Бедный, П. Павленко.

Февраль, 28. В Доме советских писателей состоялся антифашистский вечер, на котором с большой речью о задачах писателей в борьбе с фашизмом выступил Г. М. Димитров.

«В своё время революционная буржуазия крепко воевала за дело своего класса всеми средствами, в том числе и художественной литературой. Что сделало посмещением остатки рыцарства? «Дон-Кихот» Сервантеса. «Дон-Кихот» был сильнейшим орудием в руках буржуазии в её борьбе против феодализма, против аристократии. Революционный пролетариат нуждается хотя бы в одном маленьком Сервантесе, который дал бы такое орудие борьбы. Фашизм — это последняя попытка буржуазии задержать колесо истории.

...Нужно решительно поставить художественное творчество на службу пролетарской революции, на борьбу против фашизма, против капитализма, на борьбу за мобилизацию и революционное воспитание масс. Нужно, чтобы художественное произведение революционизировало миллионы беспартийных и социал-демократических рабочих, популяризируя социалистическое строительство и великие достижения Советского Союза. Надо поставить художественное творчество на службу великому революционному идеалу миллионов трудящихся человечества».

(Из речи Г. М. Димитрова)

Февраль, 28. Празднование 100-летия карело-финского народного эпоса «Калевала». Постановлением ВЦИК Ухтинский район переименован в район Калевалы. В Петрозаводске, в Доме национальной культуры, открыта выставка, посвящённая 100-летию «Калевалы».

«Калевала», как и многое другое, является нашим орудием в строительстве национальной по форме и социалистической по содержанию культуры, в развитии народного творчества.

«...Начало искусства слова — в фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нём, обрабатывайте его», — эти слова А. М. Горького на Первом Всесоюзном съезде советских писателей являются не только призывом, но и отражением реального отношения к народному творчеству в стране социализма».

(«Литературная газета»)

Февраль. Вышла из печати вторая книга романа А. Новикова-Прибоя «Цусима».

«Цусима» твердит всему СССР о том, что значит быть готовым или неготовым к войне.

Произведение Новикова-Прибоя действительно значительно. Это — произведение его жизни, и в каждый образ, в каждую мысль вложены опыт целой жизни и размышления 25—30 лет, прошедших после боя. К такой книге относиться с уважением».

(В. Вишневский)

М а р т, 2. Открылся второй пленум Правления Союза советских писателей. Вступительное слово произнёс А. М. Горький. Пленум обсудил вопросы литературной и театральной критики. С большой речью выступил А. С. Щербаков.

«Товарищи, исходным пунктом в оценке состояния критики является отставание критики. Это правильно и бесспорно.

Спорным, и с моей точки зрения неправильным, является отрицание каких-либо достижений в критике, резкая недооценка критики, а такого рода высказывания имели место.

...Некоторое время тому назад среди части критиков развернулась дискуссия на тему — эстетическая или публицистическая критика? Такая постановка вопроса неправильна. Тезисы совершенно правильно исходят из той предпосылки, что критика должна быть публицистической, научной, должна давать политическую, классовую оценку произведения и одновременно — эстетической, т. е. давать анализ художественного существа произведения, художественной формы, сюжета, языка, стиля и всех других элементов, составляющих существо художественного произведения.

Вопрос о том, служит то или другое произведение пролетариату, делу социализма, — это для нас самый главный и самый важный вопрос, и здесь мы должны целиком и полностью следовать указаниям основоположников марксизма-ленинизма».

(Из речи А. С. Щербакова)

Пленум заслушал также доклад И. Минца о подготовке «Истории гражданской войны» и доклад Вс. Иванова о написании «Истории фабрик и заводов» и принял соответствующие решения.

М а р т, 24. В Харькове открыт памятник Т. Г. Шевченко.

А п р е л ь, 4. Беседа А. М. Горького с советскими драматургами о работе драматургов в кино и о подготовке к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

А п р е л ь, 10. Беседа А. М. Горького и А. С. Щербакова с украинскими писателями. В беседе приняли участие П. Тычина, А. Корнейчук, П. Панч, И. Ле и другие.

А п р е л ь. Вышла из печати вторая часть книги А. Макаренко «Педагогическая поэма».

А п р е л ь. В журнале «Пионер» напечатана поэма для детей С. Михалкова «Дядя Стёпа».

М а й. Советская общественность отметила 50-летие со дня смерти Виктора Гюго. М а й. Вышла из печати повесть А. Гайдара «Военная тайна».

И ю н ь, 13. Премьера пьесы А. Корнейчука «Платон Кречет» в МХАТ.

И ю н ь, 21. В Париже открылся международный конгресс в защиту культуры, на который прибыла делегация советских писателей. В конгрессе участвуют 230 представителей многих литератур. Конгресс заслушал доклады «О культурном наследии», «Индивидуализм и общество», «Достоинство мысли», «Защита культуры». В обсуждении перечисленных вопросов приняли участие советские делегаты Н. Тихонов, А. Толстой, И. Эренбург, Вс. Иванов, Я. Колас, А. Лахути, Ф. Панфёров. На конгрессе было зачитано приветствие А. М. Горького и принята ответная телеграмма А. М. Горькому.

25 июля в Москве состоялось собрание писателей об итогах конгресса. На собрании выступили А. Щербаков, А. Караваева, А. Лахути.

«Во всех капиталистических странах бешеными темпами идёт подготовка к войне. Подготовка войны и шовинизм — такова программа внешней политики империалистической буржуазии во всех странах. Вот почему лучшие умы, крупнейшие писатели тридцати пяти стран, сочли необходимым собраться для того, чтобы поднять свой голос в защиту культуры, объединить свои силы для борьбы против фашизма.

Враги ещё накануне открытия предрекали неудачу, срыв, провал конгресса. «Как, — издевались они, — писатели, эти индивидуалисты, эти люди, у которых

у каждого своя особая точка зрения, вдруг объединятся на какой-то общей платформе? Нет, этого не может быть».

Итоги конгресса опрокинули и растоптали эти пророчества. Конгресс прошёл блестяще. Это собрание было в полном смысле слова интернациональным и по составу и по идеям».

(Из речи А. С. Щербакова на собрании писателей Москвы)

Июнь, 22. В СССР прибыл Ромэн Роллан. 28 июня состоялась беседа И. В. Сталина с Ромэном Ролланом. 29 июня Ромэн Роллан встретился с А. М. Горьким. После месячного пребывания в СССР 21 июля Ромэн Роллан выехал на родину.

«Я уезжаю с подлинным убеждением в том, что я и предчувствовал, приезжая сюда: что единственно настоящий мировой прогресс неотделимо связан с судьбами СССР, — что СССР является пламенным очагом пролетарского интернационала, которым должно стать и которым будет всё человечество, — что обязательным долгом во всех странах является защита его против всех врагов, угрожающих его подъёму. От этого долга, — вы это знаете, дорогой товарищ, — я никогда не отступал, не отступлю никогда, до тех пор, пока буду жить».

(Из письма Ромэна Роллана И. В. Сталину)

Июль, 15. В газетах «Правда» и «Известия» напечатана статья А. М. Горького «О культурах».

Июль, 25. В СССР прибыл Анри Барбюс.

Июль, 29. Беседа А. М. Горького и А. С. Щербакова с группой московских поэтов. В ней приняли участие А. Безыменский, М. Голодный, С. Кирсанов, Б. Пастернак, М. Светлов, И. Сельвинский, А. Сурков. В беседе Горький остановился на очередных задачах советской поэзии и предложил создать антологию советской поэзии.

«Мы живём во враждебном окружении, под постоянной угрозой извне. Разве не почётна задача отразить в стихах радость наших социалистических побед, рост нашей замечательной страны? Разве не почётна задача всей силой гнева и ненависти обрушиться на поджигателей войны, на угнетателей и эксплуататоров за советским рубежом?»

(Из речи А. М. Горького)

Август. Широко отмечено 300-летие со дня смерти Лопе де Вега.

Август, 30. В Москве умер Анри Барбюс. 3 сентября опубликованы телеграмма И. В. Сталина редакции газеты «Юманите» в связи со смертью А. Барбюса, статьи Г. Димитрова, А. М. Горького.

«Скорблю вместе с вами по случаю кончины нашего друга, друга рабочего класса Франции, достойного сына французского народа, друга трудящихся всех стран, глашатая единого фронта трудящихся против империалистической войны и фашизма, — товарища Анри Барбюса. Пусть его жизнь, его борьба, его чаяния и перспективы послужат примером для молодого поколения, трудящихся всех стран в деле борьбы за освобождение человечества от капиталистического рабства».

(И. В. Сталин)

«Барбюс был одним из первых, кто указал интеллигенции Европы дорогу к честной, героической работе среди пролетариата — к работе, которая диктуется всей историей прошлого. Только эта работа открывает возможность неограниченного развития талантов и дарований, только она обеспечивает широкий, свободный рост интеллектуальной энергии, преобразующей мир».

(А. М. Горький)

Сентябрь, 23. В газетах «Правда» и «Известия» опубликована статья А. М. Горького «Пролетарская ненависть».

Октябрь, 1. Постановлением ЦИК СССР награждён орденом Ленина писатель Н. Островский.

«Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет: наградить орденом Ленина писателя Островского Николая Алек-

сеевича, бывшего активного комсомольца, героического участника гражданской войны, потерявшего в борьбе за советскую власть здоровье, самоотверженно продолжавшего оружием художественного слова борьбу за дело социализма, автора талантливой произведения «Как закалялась сталь».

Октябрь, 3. В «Правде» напечатана поэма Демьяна Бедного «Красноармеец Иванов», посвящённая 15-летию взятия Перекопа советскими войсками.

Октябрь, 16. Расширенное заседание президиума Правления ССП рассмотрело итоги и ближайшие перспективы литературного года. Выступили А. Щербаков, Н. Тихонов, Л. Соболев, А. Афиногенов, В. Луговской, С. Кирсанов, М. Серебрянский.

«Многие писатели впервые вплотную подошли к новым темам. В их произведениях вошли новые герои — большевики, рабочие, колхозники, активные строители социализма. Для части писателей эти персонажи были не вполне знакомы и не вполне изучены. Писать о новом человеке, о новых чувствах — дело чрезвычайной трудности.

Исходя из этой оценки, мы определили и свою практическую линию в работе, которая была направлена к тому, чтобы по возможности обеспечить писателей наиболее удобной обстановкой для работы, поменьше дёргать, чтобы было поменьше шумихи и парадности, побольше не бросающейся в глаза, но настоящей практической помощи. Мы считали, что только так можно создать подлинно творческую обстановку для писателей. Советы и указания А. М. Горького в этом направлении были решающими».

(Из выступления А. С. Щербакова)

Н о я б р ь. Широко отмечено 25-летие со дня смерти Л. Н. Толстого.

С е н т я б р ь — н о я б р ь. В журнале «Новый мир» напечатан роман Л. Леонова «Дорога на океан».

Д е к а б р ь, 5. В «Правде» опубликовано высказывание И. В. Сталина о В. В. Маяковском:

«Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей, советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление».

Д е к а б р ь, 6. Н. Островский выступил по радио с речью на съезде писателей Азово-Черноморского края.

«Писатель не может стоять в стороне от жизни и борьбы... Только будучи в колоннах передовых борцов, горя страстью борьбы, мучаясь поражениями, радуясь победам вместе со всем народом, лишь тогда он даст правдивую, волнующую, зовущую книгу. Наша литература — литература правды, социалистической правды настоящего и будущего человечества».

(Из речи Н. Островского)

Д е к а б р ь, 14. В газетах «Правда» и «Известия» опубликована статья А. М. Горького «О новом человеке».

Д е к а б р ь, 16. Постановлением ЦИК СССР для проведения 100-летия со дня смерти великого русского поэта, создателя русского литературного языка и родоначальника новой русской литературы А. С. Пушкина учреждён Всесоюзный Пушкинский Комитет. Председатель Комитета — А. М. Горький, заместитель — А. С. Щербаков. Комитету поручено выработать мероприятия, имеющие целью увековечить память А. С. Пушкина среди народов СССР и содействовать широкой популяризации его творчества среди трудящихся.

Д е к а б р ь, 16. Постановлением ЦИК СССР Триумфальная площадь в Москве переименована в площадь имени В. В. Маяковского.

Д е к а б р ь. В журнале «Звезда» закончилась печатанием вторая книга романа К. Федина «Похищение Европы».

В течение года выпущены на русском языке следующие произведения советских писателей: А. Адалис. Кирову. Поэма; А. Афиногенов. Далёкое. Драма; М. Бажан. Стихи. Перевод с украинского; Д. Бедный. Очередное. Новые стихи; П. Бровка. Избранные стихи. Перевод с белорусского; Н. Вирта. Одиночество. Роман;

Б. Житков. Морские рассказы; Н. Зарьян. Рушанская скала. Поэма. Перевод с армянского; В. Ильенков. Солнечный город. Повесть; М. Исаковский. Стихи; В. Каверин. Исполнение желаний. Роман; С. Кирсанов. Золушка; Я. Колас. Избранные стихи. Перевод с белорусского; Я. Купала. Избранные стихи и поэмы (1906—1935). Перевод с белорусского; Б. Лапин и З. Хацревин. Дальневосточные рассказы; В. Луговской. Избранные стихи; М. Лыньков. На большой волне. Рассказы. Перевод с белорусского; С. Муканов. Сын бая. Роман. Перевод с казахского; Н. Погодин. Аристократы. Комедия; В. Саянов. Небо и земля. Роман. Книга первая; М. Светлов. Избранные стихи; А. Свицкий. История моей жизни; А. Сурков. Родина мужественных. Третья книга стихов; А. Твардовский. Сборник стихов (1930—1935); Н. Тихонов. Стихи о Кавказе; С. Чиковани. Стихи. Перевод с грузинского; Ю. Яновский. Всадники. Роман. Перевод с украинского, и другие.

В Париже издана книга Луи Арагона «В защиту социалистического реализма».

Начато издание полного собрания сочинений В. В. Маяковского в 12 томах (закончено в 1938 году).

1936 год

Январь, 15—19. Совещание по детской литературе при ЦК ВЛКСМ. В работе совещания приняли участие А. С. Щербаков, А. Толстой, С. Маршак, К. Чуковский, А. Афиногенов, А. Новиков-Прибой, М. Пришвин, Б. Житков, А. Барто, К. Паустовский и другие. С речью о состоянии и задачах детской литературы от имени ЦК ВКП(б) выступил А. А. Андреев.

Январь, 27. Постановлением ЦИК СССР награждены орденами Ленина поэт Таджикистана А. Лахути, поэт Азербайджана С. Вургун, поэт Армении Н. Зарьян.

Январь, 29. 70-летие Ромэна Роллана. С приветствиями к юбиляру обратились Г. М. Димитров, А. М. Горький, президиум Академии наук СССР, Союз советских писателей, ряд советских общественных организаций и писателей. В Париж на чествование Ромэна Роллана выехал Л. Леонов.

Февраль, 5. Празднование столетия со дня рождения Н. А. Добролюбова.

«Празднование столетия со дня рождения Добролюбова — не только признательность его памяти, не только интерес к героическому прошлому нашей страны, но и призыв учиться у великих людей, которые отдали свою жизнь за то, чтобы свободной и счастливой была жизнь трудящихся масс».

(«Правда», 5 февраля)

Февраль, 5. Открытие всеукраинского совещания поэтов в Киеве. Вступительное слово сделал П. Тычина. С докладом о переводах украинской поэзии на другие языки выступил М. Бажан. В совещании участвовала делегация грузинских поэтов.

Февраль, 10. В Минске начал работу III пленум Правления ССП. Были заслушаны доклады о белорусской литературе и о развитии художественной литературы в Башкирии. С докладом о советской поэзии выступил А. Сурков.

«Любовь и внимание трудящихся страны обязывают советских поэтов работать над собой, над совершенствованием своего творчества, над расширением своего кругозора с тем, чтобы в кратчайший исторический срок создать произведения, достойные великих дел и героических людей нашего времени. Такие произведения могут быть созданы поэтами, смелыми новаторами, сочетающими в художественных образах большевистскую идейность и высокое поэтическое мастерство. Отвергая формализм и беспредметное экспериментаторство, отвергая упрощенчество и натуралистический примитивизм, советская поэзия будет расти как подлинно социалистическая поэзия, близкая миллионам строителей социализма. Руководящим началом советской поэзии будет требование простоты как высшей степени мастерства и народности».

(Из резолюции пленума)

Февраль, 22. Постановлением ЦИК СССР награжден орденом Ленина народный поэт Дагестана Сулейман Стальский.

Февраль. Вышла из печати третья часть романа А. Фадеева «Последний из удэге».

«Рост нового человека — генеральная тема нашего времени — основа романа Фадеева...

Большевик и участник описываемых событий, писатель достигает высокой лиричности и убеждающей правдивости повествования на страницах, посвящённых большевикам и партизанам.

Третья часть «Последнего из удёге» свидетельствует о дальнейшем приближении Фадеева к овладению сложным искусством художественной простоты стиля...»

(«Правда», 3 апреля. Из статьи А. Суркова)

Я н в а р ь — ф е в р а л ь. Редакционные статьи газеты «Правда», направленные против формализма и натурализма в искусстве: «Сумбур вместо музыки» (об опере «Леди Макбет Мценского уезда») — 28 января, «Балетная фальшь» (о балете «Светлый ручей») — 6 февраля.

«Левацкое уродство в опере растёт из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное «новаторство» ведёт к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы».

(Из статьи «Сумбур вместо музыки»)

«Наши художники, мастера танца, мастера музыки безусловно могут в реалистических художественных образах показать современную жизнь советского народа, используя его творчество — песни, пляски, игры. Но для этого надо упорно работать, добросовестно изучать новый быт людей нашей страны, избегая в своих произведениях, постановках и грубого натурализма и эстетствующего формализма».

(Из статьи «Балетная фальшь»)

М а р т. Состоялось собрание писателей Москвы, посвящённое обсуждению редакционных статей газеты «Правда». С докладом выступил В. Ставский. Собрание одобрило выступления «Правды» против формализма и натурализма в искусстве.

Обсуждение редакционных статей «Правды» состоялось также в писательских организациях Ленинграда, Украины, Белоруссии и других городов и республик.

М а р т, 15. Советская общественность отметила 10-летие со дня смерти Д. Фурманова. Постановлением ЦИК СССР от 11 марта удовлетворено ходатайство советских, общественных и партийных организаций Западно-Казахстанской области о переименовании Сломихинского района в Фурмановский район и села Сломихино — в село Фурманово.

М а р т. Декада украинского искусства в Москве.

«Во многом знаменательна декада украинского искусства в Москве. Она показала, какое место занимает искусство в социалистическом строительстве... Искусство для трудящихся масс — это государственное дело первостепенной важности. Оно необходимо для роста страны, для культурного развития социалистического общества».

(«Правда»)

А п р е л ь, 9. В «Правде» опубликована статья А. М. Горького «О формализме».

«Формализм как «манера», как «литературный приём» чаще всего служит для прикрытия пустоты или нищеты души. Человеку хочется говорить с людьми, но сказать ему нечего, и утомительно, многословно, хотя иногда и красивыми, ловко подобранными словами, он говорит обо всём, что видит, но чего не может, не хочет или боится понять. Формализмом пользуются из страха пред простым, ясным, а иногда и грубым словом, страшась ответственности за это слово. Некоторые авторы пользуются формализмом как средством одеть свои мысли так, чтоб не сразу было ясно их уродливо враждебное отношение к действительности, их намерение исказить смысл фактов и явлений. Но это относится уже не к искусству слова, а к искусству жульничества».

(Из статьи А. М. Горького)

А п р е л ь, 11. Открылся X съезд ВЛКСМ. А. М. Горький обратился с приветствием к съезду.

«Комсомол, неисчерпаемый резерв партии, уже показал миру свои творческие силы по работе строительства социалистического государства, показал и непрерывно, изо дня в день показывает эти силы...

Сделано — много, следует сделать неизмеримо больше, и особенно настойчиво требуется обратить внимание на смену свою — на пионерство. Огромное значение может иметь передача партией комсомолу издательства литературы для детей и юношества. Необходимо, — и это было бы вполне естественно, — чтоб комсомол обратил внимание и на литературу для взрослых...»

(Из приветствия А. М. Горького съезду)

А п р е л ь. Издана третья часть «Педагогической поэмы» А. Макаренко.

«Дорогой Антон Семёнович, — третья часть «Поэмы» кажется мне ещё более ценной, чем первые две.

С большим волнением читал сцену встречи горьковцев с куряжцами, да и вообще очень многое дьявольски волновало...

Хорошую Вы себе «душу» нашли, отлично, умело она любит и ненавидит».

(Из письма А. М. Горького А. С. Макаренко)

А п р е л ь. Вышла из печати поэма А. Твардовского «Страна Муравия».

М а и, 20. Исполнилось 25 лет работы Демьяна Бедного в большевистской печати. Опубликованы приветствия юбиляру от Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров СССР, от Союза советских писателей.

«ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР приветствуют Вас в день двадцатипятилетия Вашей большевистской литературной деятельности. Двадцать пять лет Вы с честью несёте знамя поэта-большевика, чья жизнь и большой талант отданы делу рабочего класса и крестьянства. Трудящиеся Советского Союза знают и высоко ценят Ваши произведения, проникнутые горячей преданностью делу Ленина и революционной ненавистью к врагам рабочего класса. ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР желают Вам долгих лет жизни и дальнейших успехов в Вашей творческой работе».

(Приветствие ЦК ВКП(б) и СНК СССР)

М а и. Декада казахского искусства в Москве. В декаде принял участие старейший казахский акын Джамбул Джабаев. Постановлением ЦИК СССР Джамбул награждён орденом Трудового Красного Знамени. Декада закончилась 23 мая концертом казахского искусства в Большом театре.

«Этот концерт, продемонстрировавший все виды казахского музыкального искусства, раскрыл прекрасную сокровищницу народного творчества, показал лучшие образцы многовековой художественной культуры талантливого казахского народа, возрождённого Великой пролетарской революцией к счастливой, свободной, созидательной жизни. На сцене Большого театра яркими красками заблестали чудесный казахский фольклор, народные мелодии и весёлые игры молодёжи советских казахских аулов».

(«Правда», 24 мая)

М а и, 27. Вручение орденов деятелям казахского и украинского искусств. С поздравлением к награждённым обратился М. И. Калинин.

«У нас иногда под народным искусством понимают примитив, и когда говорят — народное, так это слово берут в кавычки. Это грубейшая ошибка. Несомненно, самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, что народом сохранено, что народ пронёс через столетия. Вы понимаете, что в народе не может сохраниться то искусство, которое не представляет ценности. Народ — это всё равно, что золотоискатель, он выбирает, сохраняет и несёт, шлифуя на про-

тяжении многих десятилетий, только самое ценное, самое гениальное. И вот казахи и украинцы приехали к нам, в Москву, со своим народным творчеством и были поняты нашей публикой, которая оказала им самый восторженный приём».

(Из речи М. И. Калинина)

М а й. Выпущен сборник «Стихи и песни» Сулеймана Стальского в переводе с лезгинского на русский язык.

«На меня, и — я знаю — не только на меня, произвёл потрясающее впечатление ашуг Сулейман Стальский. Я видел, как этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая свои стихи, затем он, Гомер XX века, изумительно прочёл их».

(Из речи А. М. Горького на съезде писателей)

М а й. В журнале «Красная новь» опубликована повесть В. Катаева «Белеет парус одинокий».

И ю н ь, 6. Болезнь А. М. Горького. С этого дня установлена ежедневная публикация бюллетеней о состоянии здоровья писателя.

И ю н ь, 8. Больного А. М. Горького посетили И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов.

И ю н ь, 10. Проведено совещание правлений ССП Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Татарии, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении и других республик по вопросу о подготовке к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Совещание рассмотрело план перевода произведений литератур народов СССР на русский язык и произведений русской литературы на языки народов СССР.

И ю н ь, 14. Советская общественность отметила 125-летие со дня рождения В. Г. Белинского.

«Он заложил основы научной литературной критики в России, открыл и истолковал миру целую плеяду великих русских писателей. Его литературные статьи были своего рода политическими памфлетами, потому что сам Белинский был политическим бойцом с головы до ног. Стрелы его критики были направлены значительно дальше, и попадали они в цель значительно больше, чем литература...»

Белинский с его неукротимой волей к борьбе, с его непримиримостью к врагам народа целиком и безраздельно принадлежит нам, свободному советскому народу».

(«Правда», 14 июня)

И ю н ь, 18. Умер А. М. Горький. Всенародный траур в стране. Опубликованы сообщения Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров, Центрального Исполнительного Комитета СССР, Центрального Комитета ВЛКСМ, Правления Союза советских писателей СССР. Получены тысячи телеграфных соболезнований из СССР и из-за границы. Создана правительственная комиссия по организации похорон А. М. Горького в составе Н. А. Булганина (председатель), Н. С. Хрущёва, А. Толстого, Вс. Иванова и других.

И ю н ь, 20. Похороны А. М. Горького на Красной площади в Москве. На траурном митинге выступили В. М. Молотов, Н. А. Булганин, А. Н. Толстой.

Совет Народных Комиссаров СССР постановил воздвигнуть памятники А. М. Горькому в гг. Горьком, Ленинграде и Москве.

«По силе своего влияния на русскую литературу Горький стоит за такими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как лучший продолжатель их великих традиций в наше время. Влияние художественного слова Горького на судьбы нашей революции непосредственнее и сильнее, чем влияние какого-либо другого нашего писателя. Поэтому именно Горький и является подлинным родоначальником прслетарской, социалистической литературы в нашей стране и в глазах трудящихся всего мира».

(Из речи В. М. Молотова на похоронах А. М. Горького)

Август, 8. Передовая статья газеты «Правда» — «Привить школьникам любовь к классической литературе».

«Великие художники прошлого принадлежат трудовому народу, унаследовавшему все культурные ценности предыдущих классов, и не в наших интересах держать эти ценности под спудом, распылять их и превращать в историческую ветошь, как пытаются это сделать вульгарные социологи. Великие художники живы для нас. Их труды не пропали даром: лучшие их произведения будили умы и помогали народу двигаться вперёд и тем самым найти путь к освобождению. Художественные произведения классиков живым дыханием жизни и биением горячего человеческого сердца могут помочь нашей молодёжи понять не только прошлое, но и настоящее.

Между тем, вульгарные социологи, извращённо толкующие произведения классиков, отбивают охоту у школьников изучать классическую литературу. Наше юношество, советские дети проникнуты революционным духом и ненавистью к отмирающим классам. Любимыми их героями являются борцы с эксплуататорами трудового народа. Естественно, что безапелляционная наклейка вроде: «дворянский поэт», «барская пьеса» и т. п. не может вызывать у школьников особой симпатии к произведениям классиков.

Художественная литература имеет огромное познавательное и воспитательное значение. Лучшие произведения классиков и современных писателей должны изучаться в советской школе с достаточной полнотой и тщательностью. Пора закрыть доступ в советскую школу вульгарным социологам и их «теориям».

(«Правда», 8 августа)

Октябрь. Большой литературный вечер в клубе Московского государственного университета, посвящённый борьбе испанского народа с фашизмом. В вечере приняли участие А. Серафимович, В. Ставский, В. Катаев, А. Сурков, В. Луговой, Л. Кассиль, А. Жаров, Л. Никулин.

Ноябрь, 13. Комитет по делам искусств при Совнаркомех СССР принял постановление о снятии с репертуара пьесы «Богатыри» Демьяна Бедного, содержащей грубые ошибки.

«В народном эпосе героическую линию ведут не «разбойнички», как у Демьяна Бедного, а богатыри, которых огульно чернит и хулит пьеса, с таким захлёбывающимся аппетитом поставленная Таировым в Камерном театре.

Наш чудесный былинный эпос, к сожалению, пока не интересует наши издатели. За все последние годы не вышло ни одного сборника былин, хотя бы по типу двутомника «Памятников мировой литературы». Наши литературоведы занимаются чисто формалистическим анализом народного эпоса либо сомнительным социологизированием. Например, они дают толкование Микулы Селяниновича как кулака (см. «Литературную энциклопедию», т. II, стр. 16).

А между тем, образы богатырей выявляют думы и чаяния народа. Они в течение веков живут в народе именно потому, что они олицетворяют героическую борьбу народа против иноземных нашествий, народную удачу, смекалку, храбрость, хитрость, великодушие, находившие особенно яркое выражение в определённых переломные моменты истории народа и его борьбы за свою лучшую долю».

(«Правда», 15 ноября)

Ноябрь, 17. На квартире у Н. Островского состоялось специальное заседание президиума ССП, посвящённое обсуждению рукописи романа Н. Островского «Рождённые бурей».

Ноябрь 25. Открылся Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов. Съезд заслушал доклад И. В. Сталина о проекте Конституции СССР. 5 декабря Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов принял Конституцию СССР и объявил день принятия Конституции всенародным праздником.

«Так же, как текст Конституции запечатлел и оформил весь творческий путь революции, так же точно советская литература должна запечатлеть в архитек-

тонически законченных образах и художественных композициях романов, пьес и поэм лицо страны — новое, сильное, молодое...

Наше искусство, литература слагают песни о новом человеке социалистического мира, о нашей родине, создавшей великую хартию условий человеческого счастья».

(Из речи А. Н. Толстого на съезде Советов)

Декабрь, 18. Передовая статья газеты «Правда» — «Великий мастер русского слова», посвящённая памяти А. М. Горького.

«Прошло полгода, как наша страна потеряла своего величайшего друга. Но его имя горит всюду, где идёт борьба за культуру, за человека, за социализм. Пред советской литературой стоит большая задача: быть всегда достойной имени того, кто первый, продолжая традиции русской литературы, в художественных образах огромной силы возвестил приход и победу рабочего класса, был участником Великой пролетарской революции и выдающимся творцом социалистической культуры».

(«Правда», 18 декабря)

Декабрь, 22. Умер Н. А. Островский. В Москве, Ленинграде, Киеве, Баку и других городах состоялись траурные митинги. Правлением ССП и редакцией «Литературной газеты» получено множество телеграмм от трудящихся и общественных организаций с выражением скорби по поводу кончины Н. Островского.

Декабрь, 25. Вышел из печати роман Н. Островского «Рождённые бурей», часть первая.

«В своей новой книге я... рассказываю о том, что отошло в прошлое. Я делаю это для того, чтобы в предстоящих боях, если нам их навяжут, ни у кого из молодёжи не дрогнула рука. Я пишу для той молодёжи, что поднимется на защиту рубежей своего социалистического отечества и сметёт огнём и сталью всех, кто попытается перейти эти рубежи».

(Н. Островский).

Декабрь. В журнале «Знамя» закончилась публикация романа П. Павленко «На Востоке».

В течение года выпущены на русском языке следующие произведения советских писателей: М. Бажан. Ночь перед боем. Поэма. Перевод с украинского; В. Василевская. Родина. Роман. Перевод с польского; Ю. Герман. Наши знакомые. Роман; А. Голубева. Мальчик из Уржума. Повесть о детстве и юности С. М. Кирова; В. Гусев. Слава. Пьеса; М. Исаковский. Избранные стихи; Л. Киачели. Новеллы. Перевод с грузинского; Я. Купала. Под новым солнцем. Стихи. Перевод с белорусского; А. Лахути. Избранные поэмы; С. Михалков. Стихи; Л. Никулин. Семь морей. Путевые очерки; И. Новиков. Пушкин в Михайловском. Роман; К. Паустовский. Чёрное море. Рассказы; Л. Первомайский. Избранные стихи. Перевод с украинского; М. Пришвин. Корень жизни. Рассказы; А. Прокофьев. Прямые стихи; Н. Тихонов. Тень друга. Стихи; А. Толстой. Золотой ключик, или приключения Буратино; Ю. Тынянов. Пушкин. Роман. Части первая и вторая; О. Форш. Казанская помещица. Роман, и другие.

Выпущены избранные сочинения В. Маяковского в четырёх томах и собрание сочинений Д. Фурманова в трёх томах.

1937 год

Январь. Декада грузинского искусства в Москве. В декаде приняли участие писатели Грузии.

Февраль, 10. Всенародное празднование 100-летия со дня смерти А. С. Пушкина. В Москве состоялся многотысячный митинг у памятника поэту. В Большом театре проведено торжественное заседание Всесоюзного Пушкинского комитета и общественных организаций Москвы; выступили Н. Тихонов, Д. Бедный, А. Безыменский и другие.

Опубликовано постановление ЦИК СССР «Об ознаменовании 100-летней годовщины со дня смерти величайшего русского поэта А. С. Пушкина». Музею изобрази-

тельных искусств в Москве и Академическому театру драмы в Ленинграде присвоено имя А. С. Пушкина. Улица Большая Дмитровка в Москве переименована в Пушкинскую улицу, Нескучная набережная Москвы-реки — в Пушкинскую набережную, Останкино — в Пушкинское, г. Детское Село — в г. Пушкин, Биржевая площадь в Ленинграде — в Пушкинскую площадь.

«Пушкин целиком принадлежит нам, нашему времени, он живой и долго ещё будет жить в будущих поколениях. Пушкин — слава и гордость русского народа — не умрёт никогда.

Влияние Пушкина на развитие культуры нашей страны безгранично. Его бессмертные творения стали основой грамотности. Устами Пушкина впервые заговорили сотни миллионов людей. Пушкин поднял наш язык — по природе своей богатый и гибкий — до необычайной высоты, сделал его выразительнейшим языком в мире».

(«Правда», 10 февраля)

Февраль, 14. Открылась Пушкинская сессия Академии наук СССР. Заслушаны доклады о мировоззрении Пушкина, о значении Пушкина как родоначальника новой русской литературы и создателя русского литературного языка, о связях Пушкина с литературой зарубежных стран. Пушкинские сессии состоялись также в Академии наук Белорусской ССР и в научных учреждениях других союзных республик.

Февраль, 14. Вынесено решение Правительства об организации в Москве при Институте мировой литературы имени А. М. Горького Архива и Музея А. М. Горького.

Февраль, 18. Состоялись Пушкинские торжества в селе Михайловском.

Февраль, 22. Открылся IV пленум Правления ССП, посвящённый 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина. Заслушаны доклады: Н. Тихонова «Пушкин и советская поэзия», Ю. Тынянова «Проза Пушкина».

Февраль. В целях увековечения памяти Н. Островского Совет Народных Комиссаров постановил организовать в Сочи, в доме, где жил писатель, музей его имени.

Февраль — март. В журнале «Октябрь» напечатана четвёртая, последняя книга романа Ф. Панфёрова «Бруски».

Март, 13. Выступление А. Н. Толстого на «Конгрессе мира и дружбы с СССР» в Лондоне.

«В колхозах Средней Азии, где хлопок приносит огромные доходы, где возродились древние пышные празднества, где поют песни молодых национальных поэтов и читают европейскую литературу на таджикском, туркменском, узбекском языках, — уверяю вас, — предпочитают такой мир грохоту пушек».

(Из выступления А. Н. Толстого)

Май. Декада узбекского искусства в Москве. В декаде приняли участие писатели Айбек, А. Каххар и другие.

«Успех декады узбекского искусства — это не только выдающееся событие в жизни музыкальной и театральной Москвы. Это событие большой политической важности для всего Союза... Мы закрепляем новое звено в великой дружбе народов СССР».

(«Правда», 26 мая)

Май. Литературная общественность отметила 100-летие со дня рождения грузинского классика И. Чавчавадзе. На вечере в Доме советских писателей выступили А. Лахути, Ш. Дадиани и другие.

Июль. В журнале «Октябрь» напечатаны первые главы поэмы Н. Асеева «Маяковский начинается».

Июль. Второй международный конгресс писателей, посвящённый борьбе с угрозой войны и фашизма. На конгрессе представлены писатели 28 стран. 1 июля делегаты конгресса начали свой путь из Парижа в Валенсию (Испания) и на фронт, где посетили части Испанской республиканской армии, сражавшиеся против фашистских войск.

Состоялась встреча делегатов с бойцами Интернациональной бригады в Испании. Конгресс продолжил свою работу в Мадриде, Барселоне и закончил её 17 июля в Париже. Большую речь произнёс на конгрессе А. Толстой. Выступили также советские делегаты В. Вишневский, И. Эренбург, А. Барто. Конгресс избрал бюро Международной ассоциации писателей для защиты культуры в составе 100 членов. В бюро вошли советские писатели А. Толстой, М. Шолохов, И. Эренбург, В. Ставский, В. Вишневский, А. Фадеев, А. Лахути.

Сентябрь, 25. Расширенное заседание президиума Правления ССП, посвящённое вопросам развития советской песни. Выступили Д. Бедный, В. Ставский, В. Лебедев-Кумач, Н. Ассев, В. Гусев, Ю. Соколов, И. Розанов, Д. Алтаузен и другие.

«Мы должны нашу песню сделать боевым оружием, готовые встретить гром, если он грянет. В час испытаний поздно оттачивать своё оружие, его нужно готовить заблаговременно.

Дело идёт не просто о песне, а о наших творческих обязательствах.

Народ наш поёт и требует от нас хороших, полновзвучных песен».

(Из выступления Д. Бедного)

Октябрь, 21. Умер А. Чапыгин.

«...очень люблю и высоко ценю Вас, мастера литературы, для которого искусство всегда было выше всяких выгод и удобств, люблю за Вашу любовь к литературе, за северное сияние Вашего таланта».

(Из письма А. М. Горького А. П. Чапыгину)

Октябрь. Вышла из печати неоконченная писателем четвёртая книга романа А. М. Горького «Жизнь Клим Самгина».

Ноябрь, 1. Открылся Музей А. М. Горького в Москве.

Ноябрь, 7. Всенародное празднование 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции. К годовщине вышли новые произведения советских писателей: «Я сын трудового народа» В. Катаева (в журнале «Красная новь»), «Мы, русский народ» В. Вишневского (в журнале «Знамя»), «Патриоты» С. Диковского (в журнале «Новый мир»). Написаны и поставлены на сценах театров новые пьесы советских драматургов: «Человек с ружьём» Н. Погодина. «Правда» А. Корнейчука, «На берегах Невы» К. Тренёва. Выпущен в свет под редакцией А. М. Горького и Л. З. Мехлиса сборник «Творчество народов СССР».

«Великая Октябрьская социалистическая революция пробудила к жизни художественные таланты всех советских народов. Нет такого народа в СССР, у которого не было бы своих даровитых, талантливых рассказчиков, певцов, с большой силой и чувством славящих и воспевающих новую жизнь — радостную и счастливую. Но собрание и популяризация лучших образцов фольклора пока ещё находится в резком противоречии с тем размахом, который народное творчество приняло после Великой социалистической революции. И косвенное значение книги «Творчество народов СССР», которую редакция «Правды» выпускает к XX годовщине Великой социалистической революции, в том, что она, эта книга, привлечёт внимание партийных, советских, писательских организаций, нашего комсомола, учительства, печати к такому важному делу, как вдумчивое, тщательное собрание драгоценных строк народного творчества».

(Из предисловия к сборнику «Творчество народов СССР»)

Ноябрь, 15. Литературная общественность отметила 25-летие со дня смерти Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Ноябрь, 23. Умер Сулейман Стальский.

«Большую часть своей долгой и славной жизни Сулейман Стальский посвятил песням о народном горе, о народных надеждах на грядущее освобождение и дожил до поры, когда осуществились самые радостные мечты народов. Ему — певцу этих надежд — выпало счастье стать в ряд передовых строителей социалистического общества».

(Из сообщения Правления ССП СССР)

О к т я б р ь — н о я б р ь. В журнале «Новый мир» опубликован роман А. Малышкина «Люди из захолустья».

«Советскому художнику не приходится утруждать себя поисками положительных типов и героев — таких людей у нас миллионы. Недаром в уставе Союза советских писателей сказано:

«Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в её революционном развитии».

Примером такой работы в известной степени может служить роман Малышкина «Люди из захолустья». Здесь удивительно конкретно, в соответствии с жизненной правдой, показан рост людей из маленьких городов захолустья на больших стройках. У нас этот рост идёт повсюду и во всех сферах человеческой деятельности».

(М. И. Калинин)

Д е к а б р ь, 12. Выборы в Верховный Совет СССР. Избрано 1143 депутата, являющихся кандидатами блока коммунистов и беспартийных. В числе избранных — писатели А. Толстой, М. Шолохов, А. Корнейчук, В. Ставский, Ш. Дадiani.

Д е к а б р ь, 24. В Тбилиси открылся V пленум Правления ССП, посвящённый 750-летию поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». С докладом о поэме Руставели выступил П. Павленко. Пленум заслушал доклад В. Гаприндашвили «Руставели и современность» и обсудил вопросы развития грузинской литературы.

«Пленум обращает особое внимание на необходимость построить работу Союза писателей так, чтобы была прочно установлена повседневная систематическая связь между литературами братских народов СССР, чтобы ведущие произведения литературы стали достоянием читателей всех народов СССР. Для этого необходимо планомерно организовать работу переводчиков и всячески помогать им в работе».

(Из решений пленума)

Д е к а б р ь. В журнале «Молодая гвардия» опубликована повесть А. Толстого «Хлеб» (Оборона Царицына).

В повести говорится «...о философии нашей революции, об организации беспримерно победоносной борьбы, о великом оптимизме нашей революции, о том, как в огне боёв создавался характер советского человека».

(А. Толстой)

Д е к а б р ь. В журнале «Октябрь» опубликованы рассказы Б. Горбатова «Обыкновенная Арктика».

В течение года выпущены на русском языке следующие произведения советских писателей: В. Гроссман. Степан Кольчугин. Повесть. Часть первая; Янка Купала. Избранные стихи. В переводе Михаила Исаковского; Г. Леонидзе. Стихи. Перевод с грузинского; В. Лидин. Большая река. Роман; А. Макаренко. Книга для родителей; С. Мстиславский. Грач — птица весенняя; Н. Островский. Речи, статьи, письма; А. Прокофьев. Крылья. Стихи; В. Саянов. Страна отцов. Повесть; М. Слонимский. Пограничники. Рассказы; А. Сурков. Путём песни; Бр. Тур и Л. Шейнин. Очная ставка. Пьеса; И. Уткин. Стихи; Н. Чуковский. Княжий угол. Роман; И. Эренбург. Что человеку надо; его же. Вне перемирия, и другие.

1938 год

Я н в а р ь, 18. Литературная общественность отметила 75-летие А. Серафимовича.

«...Серафимович дорог нам не только своим классическим «Железным потоком». Мы знаем и ценим Серафимовича, как одного из тех писателей-большевиков старшего поколения, которые сумели пронести сквозь тьму реакции всю чистоту и ясность своей веры, оставаясь преданными революции и рабочему классу в самые тяжёлые годы...»

(М. Шолохов)

Январь. Научными заседаниями и вечерами отмечено 150-летие со дня рождения Д. Байрона.

Январь. Вышли отдельным изданием в переводе с казахского на русский язык «Песни и поэмы» Джамбула.

Февраль, 23. Празднование 20-летия Красной Армии. В связи с годовщиной Правление Союза советских писателей опубликовало 10 февраля обращение «Ко всем работникам литературы СССР».

Апрель. Декада азербайджанского искусства в Москве.

К декаде открылась выставка азербайджанского искусства.

Май, 1. Опубликовано письмо советских писателей — В. Вишневского, Ф. Гладкова, В. Лебедева-Кумача, Л. Леонова, А. Новикова-Прибоя, П. Павленко, А. Серафимовича, Л. Соболева, Н. Тихонова, А. Толстого, А. Фадеева, М. Шолохова и других — «Друзьям мира и культуры», обращённое к передовым работникам культуры зарубежных стран.

«Фашизм — непримиримый враг культуры, он стремится уничтожить прежде всего самое ценное, самое основное, что есть в цивилизации: живого, мыслящего, трудящегося человека.

Как спасти культуру, демократию, свободу, прогресс от кровавых мракобесов, от нового средневековья, от ужасов надругательства над человеческой личностью?

...Мы говорим вам: рабочий класс и объединённые с ним в широком народном фронте трудящиеся массы, вооружённые своим единством, своей непреклонностью, — вот лучшая гарантия против фашистских поработителей, вот лучшая защита культуры, свободы и мира.

Все, кому дорога культура в самых ценных, в самых тонких её проявлениях, — идите к народу. Смыкайтесь с ним, боритесь вместе с ним против реакции, против угнетения».

(Из обращения советских писателей)

Май, 17. В Казахстане отпраздновано 75-летие творческой деятельности Джамбула. В Алма-Ате открылся слёт народных певцов (жирши и акынов), после которого проведено песенное состязание (айтысу). В празднестве участвуют делегации писателей союзных республик. В Москве юбилей отмечен большим вечером в Зелёном театре Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. ЦИК СССР наградил Джамбула орденом Ленина.

«Сила Джамбула в том, что он вышел из недр своего народа и связан со своим народом неразрывными узами и его голос — это голос всего советского народа».

(В. Ставский)

Май, 24—26. Советский народ широко отметил 750-летие «Слова о полку Игореве». Состоялось торжественное заседание Академии наук СССР и Союза советских писателей. Заседание открыл Президент Академии наук СССР В. Комаров. После доклада академика А. Орлова писатели С. Чиковани и Г. Леонидзе прочли отрывки из переводов «Слова» на грузинский язык, М. Рыльский — на украинский, Я. Колас и П. Бровка — на белорусский. Во Всесоюзной Ленинской библиотеке открылась выставка рукописей и книг, посвящённая «Слову о полку Игореве».

Май. В журнале «Красная новь» опубликована повесть Ю. Крымова «Танкер «Дербент».

«Чтобы быть писателем, недостаточно быть объективным, беспристрастным наблюдателем жизни. Человек, который проходит по нашей жизни туристом, никогда не напишет картину... Чтобы написать картину, нужно научиться любить и ненавидеть своих героев так же искренне, всей душой, как народ любит своих бойцов и мучеников и как умеет он ненавидеть всех предателей, выроdkов и мракобесов».

(Ю. Крымов)

Июнь. Вышла «Книга песен» В. Лебедева-Кумача.

Июнь. В журнале «Литературный современник» напечатана первая книга романа В. Шишкова «Емельян Пугачёв».

Июнь — август. В журнале «Красная новь» напечатан роман А. Макаренко «Флаги на башнях».

Июль. Вышел из печати сборник публицистических статей Горького периода первой русской революции «Ранняя революционная публицистика».

Август, 3. Умер А. Малышкин.

«Как большой художник он относился к слову с великой строгостью и честностью. Для него оно было священно. Это был самоотверженный труженик и большой поэт. Написал он немало — всего три книги: «Падение Даира», «Севастополь» и неоконченный роман «Люди из захолустья». Но каждая из этих книг — замечательное явление в нашей литературе».

(Ф. Гладков)

Август. Двумя выпусками «Роман-газеты» издана седьмая часть (начало четвёртой книги) романа М. Шолохова «Тихий Дон».

Октябрь, 5. Опубликовано решение Совета Народных Комиссаров СССР «О литературном наследии В. В. Маяковского». Совнарком СССР признал труды В. В. Маяковского государственным достоянием. Хранение и разработку литературного наследия поэта решено сосредоточить в Государственном музее имени В. В. Маяковского.

Октябрь, 10. В связи с агрессией германского фашизма в Чехословакии группа чехословацких писателей — М. Майерова, К. Чапек, В. Незвал, И. Ольбрахт, М. Пуйманова и другие — в конце сентября опубликовала обращение «К совести всего человечества». 10 октября напечатан ответ советских писателей.

«В дни, когда совершилось страшное предательство и войска фашистских варваров при пособничестве правительств Англии и Франции раздирают живое тело вашей миролюбивой демократической страны, мы, советские писатели, от глубины нашего сердца выражаем вам нашу братскую солидарность, нашу любовь».

В эти грозные часы знайте, что мы с вами, с вашей мужественной страной, которая несёт тяжёлые жертвы».

(Из письма советских писателей)

Октябрь. В журнале «Молодая гвардия» закончено печатание романа Вс. Иванова «Пархоменко».

Ноябрь, 14. Опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)».

«Считать первоочередной и главной задачей парторганизаций в области пропаганды ликвидацию теоретической и политической отсталости кадров партийной и непартийной интеллигенции, обеспечив всяческую помощь советской интеллигенции в овладении большевизмом, в изучении истории ВКП(б) и произведений классиков марксизма-ленинизма».

(Из постановления ЦК ВКП(б))

Ноябрь, 27. В Москве, Ленинграде, Баку и других городах состоялись митинги протеста советской интеллигенции против фашистских погромов в Германии. А. Толстой, А. Фадеев, В. Иванов, А. Корнейчук и другие литераторы приняли участие в митинге, собравшем две тысячи человек в Большом зале Московской консерватории.

«Мы знаем, что германский народ, создатель величественной культуры, народ, выдвинувший великих мыслителей, писателей и учёных, непричастен к зверствам фашистских изуверов. Вместе с германским народом мы верим, что развеемся та крошечная ночь, в которую фашизм погрузил сейчас Германию и в которую он стремится ввергнуть всё человечество».

(Из резолюции митинга)

Декабрь. Вышел том первый эпопеи Сергеева-Ценского «Севастопольская страда».

Декабрь. Вышла книга М. Исаковского «Стихи и песни».

Декабрь. Выпущены отдельным изданием «Последние рассказы» А. М. Горького.

В течение года вышли на русском языке следующие произведения советских писателей: А. Акопян. Стихи. Перевод с армянского; П. Антокольский. Пушкинский год. Стихи; А. Арбузов. Таня. Драматические сцены; М. Бажан. Стихотворения и поэмы; А. Барто. Стихи; В. Бахметьев. Наступление. Роман. Книга первая; А. Бондин. Моя школа; В. Василевская. Земля в ярме. Роман. Перевод с польского; Н. Гудзий. История древней русской литературы; Е. Долматовский. Стихи и поэмы; А. Жаров. Варя Одинцова. Поэма; Т. Жароков. Золотая осень. Стихи. Перевод с казахского; Б. Житков. Что я видел; В. Инбер. Путевой дневник. Стихи; А. Караваева. Лена из Журавлиной рощи. Роман; Л. Кассиль. Черемыш — брат героя. Повесть; В. Кетлинская. Мужество. Роман; А. Кожевников. Брат океана. Роман. Книга первая; Я. Колас. Избранные произведения (1906—1936). Перевод с белорусского; А. Лахути. Иран (1910—1935). Перевод с таджикского; С. Маршак. Мы — военные. Стихи; Г. Мдивани. Честь. Пьеса; Н. Погодин. Падь Серебряная. Пьеса; Аким Самар. Песни нанайца; Т. Сёмушкин. Чукотка; К. Симонов. Настоящие люди. Книга стихов; его же. Ледовое побоище. Поэма; А. Софронов. Над Доном-рекой. Стихи; А. Сурков. Песенник; Г. Табидзе. Избранные стихи. Перевод с грузинского; К. Тренёв. Гимназисты. Пьеса; А. Чапыгин. Гулящие люди. Роман; Г. Шолохов-Синяевский. Братья. Роман; И. Эренбург. Испанский закат; А. Яшин. Северянка. Стихи, и другие.

1939 год

Январь. Декада белорусской литературы в Москве. В выступлениях участвуют Я. Купала, Я. Колас, П. Бровка, А. Кулешов, К. Крапива и другие. Гостей приветствовали А. Толстой, А. Корнейчук, А. Фадеев.

«Теперь немало сделано для перевода литературных произведений разных национальностей на языки народов СССР. Настало время, когда произведения, создаваемые на всех языках народов СССР, становятся всеобщим достоянием великого единого советского народа. Нужно, чтобы мы, создатели этих литературных ценностей, естественно и органически входили в самое существо работы друг друга и помогали друг другу».

(Из выступления А. Фадеева)

Январь. В Свердловске вышла из печати книга П. Бажова «Малахитовая шкатулка. Сказы старого Урала».

«...фантастика, вымысел — это лишь поэтический узор на реалистической ткани рассказов об уральской старине... Это превосходные новеллы, раскрывающие историю Урала в спокойных по форме, но жгучих, не потерявших остроты образах».

(«Правда», 13 июля. Из статьи Д. Заславского)

Январь, 31. За выдающиеся успехи и достижения в развитии советской литературы 172 писателя награждены орденами СССР. Орденом Ленина были награждены: Н. Асеев, М. Бажан, Н. Вирта, Ф. Гладков, Ш. Дадияни, Д. Демирчян, В. Катаев, Я. Колас, А. Корнейчук, Я. Купала, С. Маршак, С. Михалков, П. Павленко, Е. Петров, Н. Погодин, А. Твардовский, Н. Тихонов, П. Тычина, А. Фадеев, М. Шолохов. 1, 7, 13 и 17 февраля в Кремле состоялось вручение наград. М. И. Калинин, вручая ордена, поздравил награждённых. С ответной речью 1 февраля выступил А. Толстой.

«Орден, который вы, Михаил Иванович, прикалываете к нашей груди, — это и награда, это также и вера в творческие силы советской литературы, вера в её развитие, в тесную связь её со всем советским народом, строящим счастье человечества — коммунистический мир, вера в её идейную направленность».

(Из речи А. Толстого)

Февраль. Вышел в свет первый том третьего собрания сочинений А. М. Горького (последний, 15-й том вышел в 1949 году).

Март, 5. За выдающиеся успехи и достижения в области развития советской литературы награждена орденами группа писателей Украины.

М а р т, 6—9. Широкое празднование 125-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко. 6 марта — торжественное заседание в Киевском оперном театре, выступления А. Корнейчука, В. Вишневского, Я. Купалы, М. Бажана, П. Тычины. На митинге в Киеве, посвящённом открытию памятника Т. Шевченко, выступили Н. С. Хрущёв, М. Бажан, П. Тычина, Я. Колас и другие.

«Тарас Григорьевич Шевченко близок и дорог всем народам нашей великой Родины потому, что он в своих произведениях выражал мысли не только украинской бедноты, но и мысли трудящихся всех наций».

(Из речи Н. С. Хрущёва на открытии памятника Т. Г. Шевченко)

9 марта, в Колонном зале Дома союзов, в Москве, состоялось торжественное заседание, посвящённое памяти Т. Г. Шевченко, созванное Академией наук СССР, Союзом советских писателей, Комитетом по делам искусств. Заседание открыл А. Толстой. Собравшиеся заслушали доклад академика Н. Державина.

В мае в Киеве был проведён юбилейный пленум Правления ССП, на котором зачитаны доклады «Жизнь и творчество Шевченко», «О поэтике Шевченко», «Творчество Шевченко и белорусская литература», «Шевченко и грузинская литература» и другие. Участники пленума посетили могилу Т. Шевченко в Каневе.

«Будем учиться у него и реалистическому письму, и поэтике высокой, и языку чистому, народному, а особенно гневу, железному звучанию ненависти, беспощадной борьбе против врагов, — борясь не на жизнь, а на смерть, как мы учимся у великого русского поэта-революционера Владимира Владимировича Маяковского».

Будем учиться у Тараса Шевченко любить нашу родину».

(Из доклада П. Тычины на пленуме)

М а р т, 10. Открылся XVIII съезд ВКП(б). С отчётным докладом Центрального Комитета партии выступил И. В. Сталин. Съезд единодушно одобрил политическую линию и практическую работу ЦК ВКП(б). По докладу В. М. Молотова съезд утвердил третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1938—1942 годы. Съезд принял Устав партии в новой редакции и избрал руководящие органы партии.

«...В нынешних условиях, когда в СССР безраздельно господствуют социалистические формы хозяйства, социалистическая собственность, социалистическая организация труда, когда решающее значение для успеха нашего дела приобретает коммунистическая сознательность в работе на пользу нашего государства, народа и всех трудящихся, — гигантски поднимается роль советской интеллигенции, умеющей по-большевистски работать, по-большевистски бороться за подъём культурности и коммунистической сознательности трудящихся. Теперь, после окончательного укрепления политических и экономических позиций социалистического общества в СССР, решают дело кадры, освоившие технику производства, решают дело советские культурные силы, возглавляющие массы трудящихся в их великой борьбе за полную победу коммунизма».

(Из резолюции съезда о третьем пятилетнем плане)

«Народ, которому мы служим своим искусством, ежедневно говорит о нашей работе устами читателей. Нас критикуют, ругают, когда надо, поддерживают под локоть при творческих неудачах, хвалят, когда мы этого заслуживаем, и каждый из нас постоянно чувствует около себя эту направляющую, исполнинскую, трудовую и ласковую руку народа-созидателя».

(Из речи М. Шолохова на съезде)

А п р е л ь, 1. Умер А. Макаренко.

«А. С. Макаренко являлся лучшим представителем нового типа писателя — писателя социалистической эпохи, и в «Педагогической поэме» он рассказал о деле своей жизни, которая вся без остатка отдана была народу, делу коммунистического воспитания молодёжи».

(Из сообщения президиума ССП)

М а й, 10. Исполнилось 50 лет со дня смерти М. Е. Салтыкова-Щедрина.

«Образы Щедрина бессмертны. Они служат и ещё сослужат немалую службу советскому народу в борьбе с его врагами, в борьбе с пережитками капитализма в сознании людей».

(«Правда», 10 мая)

М а й, 11. Нападение империалистической Японии на Монгольскую Народную Республику в районе реки Халхин-Гол. Выполняя договор о взаимопомощи с МНР, советские войска в сентябре ликвидировали японское нападение.

В боях в качестве военных корреспондентов участвовали писатели В. Ставский, К. Симонов, Б. Лапин, З. Хацревин, Л. Славин и другие.

М а й — и ю н ь. Декада киргизского искусства в Москве.

«Искусство, культура — лишь одна из областей, в которой проявляется ныне творческий гений освобождённого киргизского народа. Лишь счастливый и свободный народ может петь такие чудесные, благоуханные песни, какие мы слышали в спектаклях Киргизского театра и в заключительном концерте декады. Только полный сил и энтузиазма народ может в столь краткие сроки создать такое разнообразное по формам, блестящее по мастерству искусство, выдвинуть множество талантливых актёров и певцов, музыкантов, танцоров».

(«Литературная газета», 10 июня)

И ю н ь, 10. Опубликована речь М. И. Калинина «Об овладении марксизмом-ленинизмом работниками искусств», произнесённая на собрании работников искусств Москвы.

«Наиболее эффективное служение народу, мне кажется, может быть лишь на базе овладения хотя бы в общих чертах теорией марксизма-ленинизма и — что гораздо труднее — при умении применять её в своей практической работе. Дело в том, что работа всякого художника в нашу эпоху должна базироваться на социалистическом реализме. Об этом теперь очень много говорят, это стало как бы требованием времени. Возьмите, например, артиста: если он крепко стоит на базе социалистического реализма, то его успех даже при среднем таланте можно считать обеспеченным. Но стать сознательным социалистическим реалистом невозможно без овладения марксизмом-ленинизмом».

(Из речи М. И. Калинина)

А в г у с т. Вышли из печати книги первая и вторая романа Ф. Гладкова «Энергия».

С е н т я б р ь, 1. Начало второй мировой войны в Европе. Нападение гитлеровской Германии на Польшу. 17 сентября Советская Армия вступила в пределы Западной Украины и Западной Белоруссии, беря под свою защиту братское население этих областей. Советские писатели приветствуют вступление трудящихся Западной Украины и Западной Белоруссии в семью народов СССР.

«Вместе со всем советским народом, вместе со всеми трудящимися нашей великой Родины, мы, писатели орденоносной Белорусской Советской Социалистической Республики, от всего сердца приветствуем мудрое решение нашего правительства об оказании братской помощи белорусам и украинцам, на протяжении 19 лет зверски угнетаемым польскими панам. Наши мысли, наши чувства в этот исторический момент вместе со славной, героической Красной Армией, освобождающей наших кровных братьев — белорусов и украинцев от национального и социального угнетения, от ужасов войны, вымирания, нищеты, от культурного одичания и кровавых погромов».

(Из заявления белорусских писателей)

«Спасение идёт из СССР. Грозная, суровая, непреклонная и великодушная — идёт Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

Белорусы и украинцы видят, как за их счастье, за их свободу, за их трудовое имущество идут в бой без страха непоколебимые бойцы Красной Армии. За много лет бедствий и унижений наши зарубежные братья — белорусы и украинцы — видят впервые участие в их судьбе, узнают впервые, что от них — вче-

рашних рабов — ничего не хотят, кроме одного: чтобы жили они мирно, зажиточно и счастливо».

(А. Толстой)

Сентябрь, 6. Празднование 1000-летия армянского народного эпоса «Давид Сасунский». 10 тысяч трудящихся собрались на торжественный вечер в Зелёном театре Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Вечер открыл А. Фадеев; с речью выступил А. Толстой. Поэты и переводчики прочли переводы «Давида Сасунского» на языки народов СССР. 16—19 сентября в Ереване состоялась седьмой пленум Правления ССП, посвящённый юбилею «Давида Сасунского».

«Героические черты армянского народного эпоса «Давид Сасунский» находят отклик в душе каждого из народов СССР, а теперь этот великий эпос стал нашим общим достоянием...

...«Давид Сасунский» вошёл в культурный фонд всех наших народов».

(Из речи А. Фадеева)

Октябрь, 15. Празднование 125-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Проведены научная сессия в Институте мировой литературы имени Горького, торжественное заседание в Колонном зале Дома союзов.

«Напряжённая искренность «Бородина», «Спора», «Родины», «Валерика» вызывает нас на новый поэтический поединок, на написание стихов, достойных нашего века и наших событий, на изображение по-новому новой славы нашей социалистической Родины.

Энергия стиха, пафос его повторяются в поколениях не только как память, но как прямое наследование».

(Н. Тихонов)

Октябрь. Декада армянского искусства в Москве. В декаде принимают участие писатели А. Исаакян, Д. Демирчян, Н. Зарьян, Г. Борян, С. Капутикян и другие. 23 октября состоялся вечер армянской литературы.

«Сбылась мечта армянского народа. Могучие силы, накопленные в народных массах, нашли выход и приложение. Бережно охраняя памятники классического искусства прошлого, армянский народ творит новое прекрасное искусство...

Расцвет искусства Советской Армении поистине великолепен. Все республики великого Советского Союза гордятся своей прекрасной сестрой — Арменией».

(«Правда», 20 октября)

Октябрь, 29. Исполнилось 50 лет со дня смерти Н. Г. Чернышевского.

«Чернышевский близок нашей социалистической стране, советскому народу. Революционная страстность, любовь к народу, принципиальная непримиримость, преданность социализму — то, что было много лет назад индивидуальной принадлежностью Чернышевского и его немногочисленных друзей, стало теперь общей чертой новой, народной, социалистической интеллигенции в Советской стране...

Призывая к овладению большевизмом, к повышению своего теоретического уровня, партия привлекает внимание большевиков, партийных и непартийных, к великим предшественникам научного социализма, к великим борцам за освобождение трудящихся. К числу этих великих борцов принадлежит Николай Гаврилович Чернышевский».

(«Правда», 28 октября)

Ноябрь, 20—22. Празднование 80-летия со дня рождения осетинского классика Косты Хетагурова. Проведено расширенное заседание Правления ССП СССР в г. Орджоникидзе, на котором выступили А. Фадеев, М. Шагинян. Открыт памятник К. Хетагурову. В Москве торжественное заседание, посвящённое юбилею, проведено 29 декабря.

Ноябрь, 29. Провокационное нападение белофиннов на СССР.

«Мы уверены, что Советское правительство найдёт средства, чтобы образумить зарвавшихся поджигателей войны. Если понадобится, каждый советский

писатель будет достойным бойцом непобедимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии».

(Из резолюции, принятой на митинге писателей в Ленинграде)

Декабрь. Вышел в свет первый том нового полного собрания сочинений В. В. Маяковского (последний, 12-й том выпущен в 1949 году).

В течение года выпущены на русском языке следующие произведения советских писателей: С. Алымов. Песни; А. Бажан. Бессмертие. Три повести в стихах. Перевод с украинского; С. Вургун. Утренняя песня; его же. Вагиф. Пьеса. Перевод с азербайджанского; А. Гайдар. Чук и Гек; Н. Грибачёв. Стихи и поэмы; С. Григорьев. Суворов; Э. Грин. Рассказы; Ш. Дадзиани. Из искры... Пьеса; Н. Забила. Про всех. Стихи для детей; П. Замойский. Подпасок; М. Ильин. Сегодня и вчера. Рассказы; А. Исаакян. Мгер из Сасуна. Поэма. Перевод с армянского; А. Корнейчук. Богдан Хмельницкий. Пьеса. Перевод с украинского; В. Костылев. Козьма Минин. Роман; В. Лебедев-Кумач. Лирика, сатира, фельетоны; Г. Леонидзе. Стихи. Перевод с грузинского; Ю. Либединский. Баташ и Батай; С. Маршак. Весёлый день. Сборник стихов; И. Меньшиков. Человек не хочет умирать. Рассказы; В. Овечкин. Рассказы; Л. Пантелеев. Повести и рассказы; А. Первенцев. Над Кубанью. Книги первая и вторая; А. Прокофьев. В защиту влюблённых. Стихи; А. Рахманов. Беспокойная старость. Пьеса; В. Саянов. Стихотворения и поэмы; М. Светлов. Сказка. Пьеса; И. Сельвинский. Рыцарь Иоанн. Трагедия; С. Сергеев-Ценский. Севастопольская страда. Эпопея. Тома первый и второй; С. Смирнов. Дружьям. Первая книга стихов; И. Соколов-Микитов. Северные рассказы; В. Соловьёв. Фельдмаршал Кутузов. Историческая хроника; В. Сосюра. Избранное. Перевод с украинского; А. Твардовский. Сельская хроника. Стихи 1937—1938 гг.; П. Тычина. Ивасик-Телесик. Украинская сказка; А. Фадеев. Литература и жизнь. Сборник статей; О. Форш. Пагубная книга. Роман; С. Чиковани. Стихи. Перевод с грузинского; О. Шираз. Стихи. Перевод с армянского; С. Щипачёв. Лирика; Ян. Чингиз-хан. Роман, и другие.

Вышла на русском языке книга английского писателя-коммуниста Ральфа Фокса «Роман и народ».

1940 год

Январь, 1. Новогоднее обращение советских писателей к Мартину Андерсену Нексе.

«Ты борешься хорошо, твои удары метки и валят с ног клеветников и шарлатанов, пытающихся опорочить святое дело освобождения людей от гнёта империализма».

(А. Толстой, М. Шолохов, А. Фадеев, К. Федин и другие)

Пятого января опубликовано ответное письмо Мартина Андерсена Нексе.

«И ваши произведения, излучающие новый дух, показывают нам вновь и вновь, что хотя это и трудно, но всё же безусловно стоит построить новый мир».

(Из письма М. Андерсена Нексе)

Январь, 18. В Сыктывкаре начались юбилейные торжества, посвящённые столетию со дня рождения родоначальника литературы Коми И. А. Куратова. В работе пленума ССП республики Коми принимают участие делегации писателей народов СССР.

Январь, 26. Умер народный поэт Адыгеи Цуг Теучеж.

«Песни Цуга являются подлинно народными песнями: с одинаковой любовью их поют колхозники, учащаяся молодёжь, промысловые рабочие Адыгеи, Черкесии, Кабардино-Балкарии...»

Литературное наследие Цуга войдёт в сокровищницу советской поэзии, как подлинный поэтический голос народа, раскрепощённого Великой Октябрьской социалистической революцией».

(Из сообщения президиума ССП СССР)

Февраль, 1. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР об учреждении премий имени Сталина по литературе.

«Это постановление свидетельствует о том, что наша работа нужна стране, что советское правительство, партия, народ ждут от нас новых, больших достижений».

(Президиум ССП СССР)

Март, 12. Окончание войны с белофиннами. В боях в качестве военных корреспондентов принимали участие П. Павленко, А. Сурков, Н. Тихонов, А. Твардовский, В. Ставский, А. Прокофьев, Б. Лавренёв, В. Саянов, В. Лебедев-Кумач, А. Безыменский, С. Вашенцев, Е. Долматовский, В. Ильенков, Л. Соболев и другие писатели.

Смертью храбрых в боях за Родину погибли писатели С. Диковский, Б. Левин, М. Чумандрин.

Март, 20. Советская общественность отметила 50-летие творческой деятельности сказительницы М. С. Крюковой.

Март. Вышла из печати восьмая, завершающая часть (конец четвёртой книги) романа М. Шолохова «Тихий Дон».

«Тихий Дон» я считаю нашим лучшим художественным произведением...

По языку чувствуется, что он (Шолохов) много и упорно учился... Чувствуется, что он прошёл большую школу, да, вероятно, и сейчас очень много над собой работает».

(М. И. Калинин)

Март, 24. Депутатами в Верховный Совет СССР от избирательных округов западных областей Украинской ССР и Белорусской ССР избраны писатели В. Василевская и Ф. Пестрак.

Март. В журнале «Литературный современник» закончилась печатанием первая книга романа В. Каверина «Два капитана».

Апрель, 2. Образование Комитета по Сталинским премиям. В состав Комитета вошли писатели М. Шолохов, А. Толстой, А. Фадеев, Я. Купала, А. Корнейчук, Н. Асеев.

Апрель, 8. Советская общественность отметила 100-летие со дня рождения Эмиля Золя.

Апрель, 14. Десятилетие со дня смерти В. В. Маяковского.

В «Правде» опубликованы передовая «Талантливейший поэт нашей эпохи», статьи о В. Маяковском Н. Асеева, С. Вургун, П. Бровки, П. Тычины, И. Бехера. На площади Маяковского состоялась закладка памятника поэту. Вечером — торжественное заседание в Большом театре.

В творчестве Маяковского «впервые в истории мировой поэзии соединились вместе, слились воедино поэзия и коммунизм... Как никакому поэту до него, Маяковскому присуще было чувство нового, чувство современности».

(Из речи А. Фадеева)

Апрель, 15. Советская общественность отметила 175-летие со дня смерти М. В. Ломоносова.

Май. Декада азербайджанской литературы в Москве. В декаде приняли участие писатели С. Вургун, М. Гусейн, М. Рагим, С. Рагимов и другие. В Московском клубе писателей состоялась встреча с азербайджанскими писателями. Открыта книжная выставка.

«Две основные темы азербайджанской литературы глубоко роднят её с нашей русской литературой и с литературами всех братских народов Советского Союза. Это — любовь к родине и боевая готовность отстаивать её счастье».

(«Литературная газета», 15 мая)

Июнь. Декада белорусского искусства в Москве. Состоялось заседание президиума ССП СССР, посвящённое белорусской литературе.

«Декады национального искусства — это большое торжество, большой праздник искусства. Но это также его всесоюзный смотр, это и соревнование народов... Мы хотим, чтобы декада белорусского искусства оставила прочный след в общем движении советского художественного творчества».

(«Правда», 5 июня)

Июнь, 22. 100-летие со дня рождения великого грузинского поэта Акакия Церетели. 23 июня в Тбилиси состоялся пленум ССП Грузии совместно с президиумом ССП СССР, посвящённый А. Церетели.

Июль, 13. Центральный Комитет ВКП(б) принял постановление «О работе Гослитиздата и тематическом плане издания художественной литературы на 1940 г.»

«Поручить Гослитиздату выпуск, главным образом, классической литературы и лучших произведений советской и иностранной современной литературы, причём основные издания должны выпускаться тиражом не менее 50 тыс. экземпляров, чтобы обеспечить систематическое пополнение художественной литературой книжных фондов государственных и общественных библиотек и снабжение книжного рынка».

(Из постановления ЦК ВКП(б))

Июль, 21. Народные сеймы Латвии и Литвы, Государственная дума Эстонии приняли решения об установлении Советской власти и обратились с просьбой к Верховному Совету СССР о принятии новых Советских республик в состав СССР. В числе депутатов сеймов и Думы, принявших исторические решения, — писатели А. Венцлова, Л. Гира, Иоганнес Варес (Барбарус), В. Лацис, С. Нерис, А. Упит, П. Цвирка и другие.

Август, 2—6. Образование Молдавской Советской Социалистической Республики. Верховным Советом СССР утверждены законы о принятии прибалтийских республик — Литовской ССР, Латвийской ССР и Эстонской ССР — в Союз Советских Социалистических Республик.

«Наши взоры были обращены к востоку, к великой Советской земле, откуда слышалось свободное и правдивое слово... Братский привет великой семье советских писателей! Мы постараемся догнать вас, дорогие товарищи!»

(В. Лацис)

Сентябрь, 11. Советская общественность отметила 75-летие со дня рождения латышского поэта и драматурга Я. Райниса.

Октябрь, 2. На собрании партийного актива Москвы с докладом «О коммунистическом воспитании» выступил М. И. Калинин.

«От народа не должны отставать наши талантливые литераторы и художники. Ведь никогда ещё не было для них столько и такого благодарного материала, как в нашу эпоху. Только теперь они имеют неограниченную возможность служить своему народу и внедрять в массы глубокие чувства патриотизма на основе великих деяний современных поколений.

Мне кажется, великолепным образцом служения советскому народу является Маяковский. Он считал себя бойцом революции и был таковым по существу своего творчества. Он стремился слить с революционным народом не только содержание, но и форму своих произведений, так что будущие историки наверняка скажут, что его произведения принадлежали великой эпохе ломки человеческих отношений».

(Из доклада М. И. Калинина)

Октябрь, 14. Советская общественность отметила 100-летие со дня рождения Д. И. Писарева.

«Между мечтой Д. И. Писарева — революционного демократа и просветителя 60-х годов — и жизнью была самая тесная связь, — в этом была сила и убедительность писаревской публицистики — яркой, талантливой, остроумной и для своего времени глубоко прогрессивной».

(«Правда», 13 октября. Из статьи Е. Ярославского)

Октябрь. Декада бурят-монгольского искусства в Москве.

«Декада бурят-монгольского искусства является ещё одним ярким свидетельством культурного роста этого народа. Её участники — это сыны народа, чьи таланты и способности могли получить столь прекрасное развитие только в условиях победившего социалистического строя».

(«Правда», 20 октября)

О к т я б р ь, 19. 50-летие со дня рождения основоположника чувашской литературы К. Иванова. В Чебоксары для участия в праздновании годовщины прибыла делегация ССП СССР.

Н о я б р ь. В журнале «Партийное строительство» опубликовано сообщение о постановлении Центрального Комитета ВКП(б) «О литературной критике и библиографии».

«ЦК ВКП(б) отметил, что наиболее слабым звеном в настоящее время является критика художественной литературы. Большинство критиков не занимается вопросами советской литературы и не влияет на её формирование. Вопреки традициям русской литературы критики не работают в литературно-художественных журналах, объединяющих писателей, и замкнулись в обособленную секцию критиков при Союзе писателей. Писатели в свою очередь не принимают участия в разборе и оценке литературных произведений и не выступают в печати с литературно-критическими статьями.

ЦК ВКП(б) наметил ряд мер для коренного улучшения литературной критики и библиографии».

Д е к а б р ь. Выпуск отдельным изданием повести А. Гайдара «Тимур и его команда».

«Это произведение, рождённое самой жизнью, само обогатило жизнь. Едва только книга увидела свет и была прочтена, как сотни советских детей захотели уподобиться гордому, доброму, мужественному, счастливому герою Гайдара».

(«Литературная газета»)

Д е к а б р ь. Вышла из печати книга М. Горького «Забутые рассказы», объединяющая произведения 1893—1918 годов.

В течение года на русском языке выпущены также следующие произведения советских писателей: Г. Абашидзе. Весна в чёрном городе. Поэма. Перевод с грузинского; Айбек. Священная кровь. Роман. Перевод с узбекского; М. Алигер. Камни и травы. Стихи; Н. Асеев. Маяковский начинается. Повесть в стихах; А. Афиногенов. Машенька. Пьеса; И. Барбарус. Стихотворения. Перевод с эстонского; В. Василевская. Пламя на болотах. Роман. Перевод с польского; И. Василенко. Повести; А. Гайдар. Мои товарищи. Рассказы; М. Гафури. Стихи. Перевод с татарского; Л. Гира. Стихи. Перевод с литовского; В. Гроссман. Степан Кольчугин. Повесть. Часть третья; Д. Демирчян. Храбрый Назар. Восточная сказка. Перевод с армянского; Н. Зарьян. Вечные вершины. Стихи. Перевод с армянского; Ш. Камал. Когда рождается прекрасное. Пьеса. Перевод с татарского; Э. Капиев. Резьба по камню. Песни дагестанских горцев; Л. Киачели. Гвади Бигва. Роман. Перевод с грузинского; С. Кирсанов. Четыре тетради; К. Крапива. Кто смеётся последний... Комедия. Перевод с белорусского; А. Кулешов. Дубрава. Стихи. Перевод с белорусского; Я. Купала. От сердца. Стихи и поэмы. Перевод с белорусского; К. Лордкипанидзе. Бессмертие. Рассказы. Перевод с грузинского; С. Маршак. Живые буквы. Стихи; Б. Пастернак. Избранные переводы; Б. Полевой. Горячий цех. Повесть; М. Пришвин. Неодетая весна; М. Рильский. Избранное; его же. Стихи и песни; М. Светлов. Двадцать лет спустя. Драматическая поэма; С. Сергеев-Ценский. Севастопольская страда. Эпопея. Том третий; К. Симонов. Стихи тридцать девятого года; его же. Суворов. Поэма; В. Смирнов. Сыновья. Роман; В. Соловьёв. Фельдмаршал Кутузов. Пьеса; А. Степанов. Порт-Артур. Историческое повествование. Книга первая; А. Сурков. Декабрьский дневник. Стихи; М. Танк. Стихотворения. Перевод с белорусского; Токтогул-Сагылганов. Избранные произведения. Перевод с киргизского; А. Толстой. Путь к победе. Пьеса; его же. Русские сказки; П. Тычина. Избранные стихи. Перевод с украинского; К. Федин. Санаторий Арктур. Роман; Е. Фёдоров. Демидовы. Роман; К. Чуковский. Репин, Горький, Маяковский, Брюсов. Воспоминания; С. Шаншиашвили. Арсен. Драма. Перевод с грузинского, и другие.

1941 год

Январь, 27. Награждение орденом Трудового Красного Знамени поэта П. Г. Тычины в связи с его 50-летием.

«...Вас знают и любят не только читатели Украины. Вы стали близким и родным всему Советскому Союзу. И это понятно, — вы в своём творчестве выразили подлинную любовь к интересам украинского народа, идеалы которого неотделимы от идеалов трудящихся всего нашего Союза».

(Из приветствия президиума Правления ССП)

Февраль. Вышел из печати сборник М. Горького «Несобранные литературно-критические статьи».

Март, 16. Опубликовано постановление СНК СССР о присуждении Сталинских премий за выдающиеся работы в области искусства и литературы в период последних шести-семи лет. Премии первой степени присуждены Толстому А. Н. за роман «Пётр I», Сергееву-Ценскому С. Н. за роман «Севастопольская страда», Шолохову М. А. за роман «Тихий Дон», Асееву Н. Н. за поэму «Маяковский начинается», Купале И. Д. за сборник стихов «От сердца», Павленко П. А. за сценарий «Александр Невский», Погодину Н. Ф. за пьесу «Человек с ружьём», Тычине П. Г. за сборник стихов «Чувство семьи единой», Тренёву К. А. за пьесу «Любовь Яровая», Корнейчуку А. Е. за пьесы «Платон Кречет» и «Богдан Хмельницкий», Грабарю И. Э. за книгу «Репин». Премии второй степени присуждены Вирте Н. Е. за роман «Одиночество», Киачели Л. М. за роман «Гвади Бигва», Новикову-Прибою А. С. за роман «Щусима», Джамбулу Д. за общеизвестные поэтические произведения, Лебедеву-Кумачу В. И. за тексты к общеизвестным песням, Леонидзе Г. М. за поэму «Детство вождя», Михалкову С. В. за стихи для детей, Твардовскому А. Т. за поэму «Страна Муравия», Вургуну С. за пьесу «Вагиф», Крапиве К. К. за пьесу «Кто смеётся последний...», Соловьёву В. А. за пьесу «Фельдмаршал Кутузов», Нилину П. Ф. за киносценарий «Большая жизнь» (1-я серия).

«Много дано советскому искусству, но ещё большие требования вправе предъявить к нему советское правительство, большевистская партия, весь советский народ. В особенности это относится к литературе... Нашим писателям дана возможность воздействовать на миллионные массы произведениями своего художественного творчества».

(«Правда», 16 марта)

Апрель. Декада таджикского искусства в Москве. В декаде приняли участие писатели С. Айни, А. Лахути, М. Турсун-Заде, М. Миршакар и другие.

Награждение орденом Ленина писателя С. Айни, орденом Трудового Красного Знамени поэта А. Лахути.

«Очаровательное своеобразие таджикского искусства заключается в том, что оно создается и утверждается на базе древней, высокой и прекрасной культуры... Этот гордый и свободолюбивый народ не согнул шею под тяжестью невзгод, не растворился в массе разноплеменных пришельцев, но, напротив, закалил свой дух, выковал твёрдый национальный характер. В наших советских условиях таджики, славные своим прошлым, имеют большую будущность».

(«Правда», 24 апреля)

Май, 10. Декада армянской литературы в Москве. В декаде приняли участие А. Исаакян, Н. Зарьян, Г. Борян, С. Арутюнян, А. Граши.

«Декада армянской литературы несомненно послужит для писателей Армении новым мощным стимулом к созданию произведений ярких, вдохновенных, воспитывающих в читателе беззаветную преданность своей великой родине...»

(«Литературная газета», 15 мая)

М а р т — и ю н ь. В журнале «Знамя» опубликована первая часть романа И. Эренбурга «Падение Парижа».

И ю н ь, 1. Творческий вечер Иоганнеса Бехера в Москве.

И ю н ь, 15. Открытие первого съезда писателей Латвийской ССР.

«Да, мы хотим создать литературу высокую, благородную, литературу, многообразную по своим национальным формам, помогающую строить жизнь, такую жизнь, чтобы миллионы людей жили светлее, чище, культурнее».

(Из выступления А. Фадеева на съезде)

И ю н ь, 18. Пять лет со дня смерти А. М. Горького. В Зелёном театре ЦПКиО состоялся многотысячный митинг памяти великого пролетарского писателя. На митинге выступил А. Толстой.

«Горького нет среди нас, но попрежнему гремит его голос, попрежнему его немеркнущие, страстные произведения волнуют и восхищают десятки и сотни миллионов людей во всём мире, призывая их к борьбе за счастье трудящихся, за избавление от цепей рабства. Горький, как человек, умер, как борец за коммунизм — он будет жить вечно».

(«Правда», 18 июня)

«Великий писатель рабочего класса наметил вехи на пути советского искусства. Нужно видеть эти вехи, твёрдо идти по ним и участвовать в создании нового мира, как это делал Горький».

(Из выступления А. Толстого)

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛЬНОЙ ПРОЗЫ

★

Новаторство — это борьба!

Роман Д. Гранина «Искатели» встречает очень хороший приём. И читатели и критики дружелюбно сходятся в его оценке. Очевидно, в этом произведении есть то достоинство, которое убеждает и привлекает всех, — достоинство правды. В разгар предсезонных споров, когда в ряду голосов прозвучали и абстрактные рецепты и предписания литературе (каким обязан быть положительный герой, какими должны быть конфликты и т. п.), роман Д. Гранина вновь убеждает, что условия, при которых рождаются дельные, обогащающие нас книги, в общем безыскусственны и всегда одни и те же: талант, знание жизни, правильный взгляд на вещи и любовь к тому, что пишешь.

Тема, с которой Д. Гранин вошёл в литературу, — тема современная и романтическая. Мы живём в эпоху необычайного научного продвижения. Над глубочайшими изысканиями трудятся сейчас многие научные коллективы. И хотя труд рядового инженера, конструктора, исследователя, разрабатывающего одну из микроглав в книге современного, чрезвычайно разветвлённого знания, по значению своему несравним с всеобъемлющей гипотезой какого-нибудь легендарного «отца науки», в нём, этом незаметном труде, та же романтика, тот же подъём мысли и чувства, то же захватывающее движение к истине. Всё это умеет изображать Д. Гранин в своих книгах о советских инженерах-электриках. В его прежних вещах процесс научного исследования, технического конструирования иногда даже становился самоцелью — так увлекался автор передачей всех перипетий творческих поисков, напряжённой, но узкоспециализи-

рованной работы ума. Но тогда же — в повести «Победа инженера Корсакова» и в рассказе «Вариант второй» — Д. Гранин подошёл к изображению научного первооткрывательства с позиций моральной ответственности советского учёного, с позиций партийности в науке. Рисуя людей, всецело преданных науке, «одержимых», писатель показал, какая цель окрыляет его героев в их творчестве, — приближение коммунизма, слава и мощь родной страны. С сознанием этой цели герои Д. Гранина борются за свои открытия, за научную истину, за каждый шаг вперёд в науке, против всех, кто косностью, глупостью или подлостью препятствует победе нового, передового. Роман «Искатели» в основном охватывает тот же самый круг проблем. Но теперь всё это — даже сюжетные повторения и параллели — находится на гораздо более высоком художественном уровне. Роман «Искатели» открыл нам интересного и даровитого художника.

Содержание произведения, несмотря на напряжённую активность его сюжета, вполне буднично. Это год жизни одного из рядовых научно-технических коллективов. Судьба изобретения инженера Андрея Лобанова очень похожа на часто публикуемые нашей печатью сообщения о том, как то или иное новаторское, полезное начинание пытаются затереть косные или недобросовестные люди. В этой почти «фельстонной» обычности главного конфликта романа и заключается его жизненная достоверность, поднятая на высоту смелого идейно-художественного осмысления.

В центре романа стоит подробно, психологически убедительно разработанный образ молодого инженера, учёного Андрея Лобанова — человека, сразу завоевывающего симпатии читателя. Андрея целиком за-

хватывает идея создания локатора, чуткого прибора, способного точно определять место повреждения электролиний. Ни о чём другом он не может думать, прекрасно понимая, как нужно людям его изобретение. Писатель хорошо передаёт душевный подъём своего героя, его вдохновение, праздничность и заразительность творческого состояния человека. С этой высокой ноты начинается книга. Первое знакомство наше с «рабочим местом» Андрея — электролабораторией, начальником которой его назначают, — несёт с собой ярко эстетическое впечатление.

Уже с начальными строками романа читателю передаётся ощущение красоты, притягательности мира точных приборов и строгих формул. «В этот предвечерний час центральная комната электролаборатории казалась особенно красивой. Жаркими красками пылали на зимнем солнце кусочки прозрачно-жёлтого янтаря, воронённые копыя стрелок, монтажные панели, перебитые огненными жилками красной меди, серебристо-морозные алюминиевые кожуха». И дальше: пёстрые шёлковые наряды изоляции, огромные кенотронные лампы, похожие на старинные доспехи, красные футляры, сверкающие никелем шары, коричневые тарелки изоляторов... Не правда ли, это выглядит, как описание празднично убранного зала или яркого пиршества! Даже для «застарелого запаха канифоли, щелочного спирта, озона и костяного масла» писатель находит эмоциональный эпитет «неповторимый», будто речь идёт о тончайших ароматах цветов. Всё это очень характерно для романа Д. Гранина. Тут есть технические схемы, которые доставляют герою «эстетическое наслаждение», и поэзия физических экспериментов. Вас ни на минуту не покидает чувство, что так заманчиво и художественно обаятельно можно писать лишь о любимом деле, о любимых и хорошо знакомых вещах. Видно, для автора это мир своей любви, своего труда и увлечения. Полная духовная вовлечённость писателя в волнения, пристрастия и непосредственные занятия своих героев во многом определяет правдивость и увлекательность романа. Но, как мы увидим, эта достоверная профессиональность романа об инженерах определила не только характерные сильные стороны произведения, но и его характерные же слабости, которые необходимо будет позднее отметить.

Д. Гранин не повторяет ошибок так называемых «производственных» романов, где человек исчезал среди машин. Читателю очень интересно вместе с Андреем войти в эту пылающую жаркими красками на зимнем солнце лабораторию, заставленную красивыми и умными машинами, разложить перед собой изящные схемы и чертежи будущего замечательного прибора. Читатель захвачен атмосферой поисков и открытий, трудностей и тревог, больших радостей и неизбежных неудач настоящего исследователя, искателя.

В образе главного героя романа Андрея Лобанова писатель выделяет черты человека, воспитанного нашим обществом, нашим временем. В нём нет ничего от олеографического облика кабинетного схоласта, оторванного от жизни, от практики. Это тот тип народного учёного, о котором ещё до революции писал К. А. Тимирязев: «Мы должны стремиться к установлению общения между представителями труда умственного и физического, к гармоническому слиянию задач науки и жизни, к служению научной истине и этической правде».

Грубоватое и открытое, с широкой улыбкой лицо, некоторая физическая нескладность — от большой силы! — даже штаны, заправленные в бурки, — всё это черты и чёрточки, создающие в нашем воображении образ, так сказать, интеллигента-рабочего, человека, свободно обращающегося и со слесарным инструментом и с формулами теоретической физики. Эта внешняя простецкость героя, его полумастеровой-полустуденческий облик соединены с подлинной слухотворённостью, тонкостью и напряжением всеиспытующей мысли. И, следя за опытами Андрея в лаборатории, мы вдруг вспоминаем мужицкое лицо Ломоносова и грубые руки Фарадея, мы понимаем, почему в одной из сцен романа старый учёный, патриарх русской электротехники Тимофей Ефимович, «похож на мастерового». Труд, неуспынный, вожделенный, сплошная занятость рук и мозга, нестерпимое любопытство юности, перерастающее в самую благородную из человеческих страстей — страсть к познанию, к разгадке неизвестного, — всё то, что отличает рабочего, полезного человека от бездельника, чужеда, — это первая, дорогая нам грань характера Андрея Лобанова.

Но привлекательность, человеческая «весомость» этого персонажа не только в этом. Писатель придаёт ему особые духовные приметы, характерные для подлинного героя нашего времени. Андрею органически, глубоко внутренне присуще сознание того, что настоящее служение научной истине невозможно без самоотверженной и последовательной защиты принципов советской морали. Науку, технику движет вперёд не только человеческий разум, но и человеческая совесть. Одухотворённый высоким коммунистическим идеалом, идеалом советского гражданина, Андрей Лобанов всегда готов к душевной буре во имя справедливости и чистоты человеческих отношений, всегда готов защитить нашу мораль от посягательств чуждых нам людей.

И это, действительно, то человеческое качество, без которого невозможно представить себе нашего положительного героя. Партийная, советская совесть, воспитанная всем ходом нашей жизни, социалистическим общественным строем, славной нашей историей, помогает человеку в ответственный момент принять правильное решение или найти в себе мужество и силу признать и исправить ошибку, она не даёт человеку опуститься и разувериться после неудачи и зазнаться и успокоиться после победы.

Вот Андрей со всей прямоотой и кажущейся нерассудительностью вступает за несправедливо преследуемого товарища, уволенного из лаборатории инженера Рейнгольда. Вот он, делая доклад на городском собрании учёных, инженеров и техников, не может скрыть от слушателей слабые места своего докладчика. Наоборот, он «раскрывал тайники своих сомнений... сам подсказывал возможные возражения... выдавал то, о чём многие и не догадались бы».

И это естественно.

Естественно и победа Лобанова, потому что принципиальная политика не только единственно правильная, но и единственно победоносная политика. Научная истина побеждает скорее, безболезненнее, решительнее, когда необходимость её понимают массы практиков, когда её поддерживает коллектив. За Лобанова — рабочие, техники, инженеры предприятия и лаборатории (с этой точки зрения важны образы так называемых эпизодических персонажей — Разумова, Наумыча, Краснопевцева и других); за Лобанова — лучшие силы учёных

(Одинцов, Костиков, «легендарный» Тимофей Ефимович, талантливый физик Кунин); за Лобанова — молодёжь (любовно выписаны автором образы Саши, Анечки, Нины Цветковой). Лобанова поддерживают партийная организация энергосистемы и партийное руководство города. Введя — так или иначе — в действие романа, в его главный конфликт, множество разнообразных людей, сочувствующих и поддерживающих Андрея, Д. Гранин подчеркнул их общность, их внутреннюю «похожесть» на Лобанова.

Лобанов выступает не как новатор-одиночка, где-то в тиши и «творческом уединении» выдумавший нечто нежданное, а как представитель могучего отряда искателей, представитель коллектива настоящих советских людей — труженников, смелых новаторов. Именно поэтому он и побеждает. Именно поэтому он перетягивает на свою сторону сочувствующих, но колеблющихся — таких, как малость приобвыкший к текучке и благополучному спокойствию Дмитрий Алексеевич, главный инженер системы, или слабохарактерный Рейнгольд, или не верящий в себя Усольцев.

В борьбе за новое не может быть нейтральных. Так или иначе, своим особым путём, но каждый персонаж романа определяется или за Лобанова, или против него. Впрочем, «против» такие ничтожества, как Смородин (о главных противниках Андрея речь впереди). Всё честное, творческое, сколько-нибудь значительное — «за»!

Андрей, твёрдо убеждённый в своей правоте человек, не может ни на один миг усомниться в принципах нашего, советского образа жизни. Но это не означает, что в его борьбе не бывает тяжёлых моментов, временных поражений, сомнений. Его необузданную горячность и гнев в иные минуты сменяют порывы отчаяния. После того, как на заседании техсовета его изобретение подверглось оскорбительной критике и самые цели его работы поставлены под сомнение, Андрей смятенно, в слезах жалуется отцу, уткнувшись ему в колени: «Я могу по восемнадцать часов в день, не надо мне выходных, не надо отпуска. Дайте только работать... Своим делом заниматься». И у этого сильного, большого человека вырываются слова, полные обиды и бессилия: «Уйду я, пап, уйду я... Не могу я... он говорит — я карьерист... маскируюсь... Разве такую стену прошибёшь?»

По первым страницам романа — приход Лобанова в лабораторию, где всё идёт через пень колоду, — мы уже были готовы зачислить Андрея в разряд тех положительных героев, скроенных по трафарету некой исключительной личности, назначение которых — прийти, увидеть, победить. И как хорошо, что с Андреем — настоящим положительным героем, человеком без изъянов! — не случилось этой схематической метаморфозы.

Д. Гранин тонко понимает людей; он замечает, как достоинства человека порой превращаются в недостатки. Таким, как Андрей, — прямым и сильным людям — подчас бывает свойственна излишняя доверчивость, им кажется, что все без исключения таковы же суть. Поколение, вырастившее Андрея Лобанова, ценю и лёгкого исторического опыта научилось понимать, что «в жизни много прекрасного, но есть и грязь». Но представление Андрея об этой «грязи» несколько умозрительное. Участник войны, Андрей ограничивался прямым столкновением с самою неприкрытой подлостью — подлостью вооружённого врага. Обнаружить замаскированную подлость хищника-приспособленца, живущего рядом, ему мешает жизненная неопытность, «непрактичность». Д. Гранин убедительно показывает, как в общении с товарищами по работе, под умным руководством парторга лаборатории Борисова (на наш взгляд, этот образ — несомненная художественная удача писателя) Андрей мужает, взрослеет, вырабатывает мягкость, душевность, в хорошем смысле слова обходительность, отсутствие которых отпугивало от него товарищей, создавало ему дополнительные трудности в жизни. И вместе с ними — здоровую практическую осторожность, помогающую «раскусить» хитрости противников.

Но что это за люди, которые так ловко оболгали честного и бескорыстного учёного, которые даже в таком сильном человеке смогли вызвать временное отчаяние и уныние? Какие отрицательные явления нашей действительности показал писатель?

Не всем Андрей нравится: есть и такие, что подсмеиваются над естественностью его поведения, партийной прямоотой его оценок. «Хо, хо, да вы альтруист», — говорит ему самодовольное бесталанное приспособленчество устами инженера Смородина. «Наивный идеалист», «унылая принципиальность», — трунит над Андреем его бывший

приятель по институту, карьерист и интриган Потапенко. В союзе с ними — учёный туз, профессор Тонков, приятель всех известных деятелей науки и даже глава своей научной «школы». Тонковы воспитаны частной буржуазной практикой, развращающей учёных, делающей из них беспринципных рвачей. Тонкова интересует не наука, а своё положение в учёном, так называемом академическом мире. И как до крайности несовместимый с живым сиянием лобановской рабочей лаборатории мы воспринимаем сумрачный профессорский кабинет Тонкова (впрочем, Андрею своим нежилым духом он напомнил почему-то парикмахерскую); так же противопоставляется в романе принципиальность и научная добросовестность Лобанова главному козырю Тонкова — изощрённому нюху насчёт «конъюнктуры». Тонков изворачивается, лицемерит, пробирается к тёплым местечкам и, пробравшись, тотчас же распространяет вокруг себя гнилой дух каustовой замкнутости, аракеевщины, нетерпимости. И когда молодой талантливый Лобанов, вначале не помышляя об этом, своим изобретением грозит подорвать многоглостнее блаженное топтание Тонкова на одном месте, профессор, «сияя белыми зубами», вельможено и «доброжелательно» пускает в ход все рычаги своего влияния, чтобы обескуражить, подавить опасность, — совсем так же, как какой-нибудь ростовщик пустил бы по миру своего конкурента. Идеалы Тонкова прямо сопоставляются в романе с идеалами американца Раппа, бросившего физику, поскольку он получил в наследство парикмахерские. «Беда» Тонкова в том, что он не может бросить энергетик, никто ему наследства не оставляет.

Буржуазные по характеру и происхождению пороки, олицетворяемые Тонковым, могут существовать ещё в нашей науке, например, там, где извращаются принципы партийного руководства, партийного контроля, когда во главе того или иного учреждения, той или иной организации — пусть временно! — оказываются люди, подобные другому отрицательному персонажу романа — Кириллу Васильевичу Долгину. Почти сатирически резкими штрихами рисует автор портрет этого человека. «Черты его плоского, малоподвижного лица постоянно выражали суровость во всех её оттенках — осуждающую, подозрительную, великодушную, почтительную, но всегда — суровость. Говорил

Долгин резким металлическим голосом, чеканя каждую фразу. В неизменной чёрной гимнастёрке он выглядел внушительно за столом президиума...»

Не мудрено, что поначалу Андрею Долгин показался «несколько жестковатым, но сугубо принципиальным товарищем». Но не спешите с выводами, не доверяйте первому впечатлению, посмотрите на дела! И тогда окажется, что Кирилл Долгин карьерист похлеще Потапенко, а по части беспринципности и беззакония может почитаться ещё его учителем. Именно Долгин создаёт невыносимые условия для изобретательской работы талантливого инженера Рейнгольда, клеветает на Лобанова, именно такой Долгин нагло и хитро искажает наши законы и нормы партийной жизни. «Казёнщина. Вероломство. Демагогия» или «Куда ветер дует» — так расшифровывают инициалы Долгина сотрудники технического отдела.

Здесь хочется подчеркнуть характерную особенность романа Д. Гранина: сознательное стремление раскрыть истинную неприглядность внешне благопристойного, «нормального» облика людей типа Долгина, Потапенко и Тонкова. Разоблачение отрицательных персонажей, рядящихся под положительных героев, — эта черта свойственна ряду произведений нашей литературы. Давно прошло то время, когда какой-нибудь буржуазно воспитанный «спец» позволял себе бравировать мнимой самостоятельностью суждений, скептически похихикивал над нашими лозунгами, нашими планами, злорадствовал по поводу наших неудач. Оспорить, осмеять нашу мораль уже нельзя. Люди, равнодушные и враждебные высоким идеалам советской жизни, всецело поглощённые заботами о собственной карьере, о «выгодном местечке», стремятся приспособиться, присосаться к нашей морали, пуская в ход лицемерие, демагогию.

Так сумел завоевать себе на работе авторитет (хотя и временный) равнодушный ко всему, кроме своего служебного положения, Потапенко; серьёзно поверила Майя Устинова — человек молодой и неопытный — шумным разглагольствованиям Тонкова о традициях русской, отечественной науки. Того самого Тонкова, который «на виду» рядится под борца против преклонения перед Западом, а в узком кругу обожателей своего сомнительного таланта издевается над этой-де «временной кампаней».

Воспитательное значение романа во многом и состоит в том, что он учит благородному недоверию к ловкачам, которые, преследуя свои маленькие эгоистические цели, хитроумно скрывают их набором громких слов, выдают себя за действительных поборников прогресса и т. п.

Следует отметить художественную удачу автора в реалистической обрисовке главных персонажей романа. Его герои — не схемы, не «типы» данной добродетели или данного порока, а живые люди во всей их психологической обоснованности, во всём их разнообразии. И в то же время — цельные фигуры, ясно очерченные характеры. Тут не потеряешься в догадках, не будешь недоумевать, кто перед тобой — положительный, отрицательный или некий «средний» герой.

Весь роман держится на прямом контрасте, незагушёванном полярном противопоставлении. С одной стороны — коллектив новаторов, вдохновенных искателей научной истины, защитников советской справедливости (Лобанов, парторг лаборатории Борисов, старый мастер Наумыч, профессор Одинцов и другие); с другой — кучка карьеристов, демагогов, приспособленцев (Потапенко, Долгин, Тонков, Смородин, Пуданов). Если Тонков и Долгин даны автором несколько заострённо-однолинейно, то образ Виктора Потапенко противопоставлен Андрею по всем направлениям. Конфликт между ними тем более интересен, что антиподы — Андрей и Виктор — люди одного поколения, одинакового воспитания. Неверно полагать, будто пережитки капитализма — это удел только неких старичков, выросших «до семнадцатого года». Когда речь идёт о пережитках капитализма, говорят о характере этих пережитков, об их принципиальном содержании, а не просто о том, какому возрасту — пятидесяти- или двадцатилетнему они бывают прищипаны.

...Жили два друга-студента, Андрей Лобанов и Виктор Потапенко, — разные, непохожие по характеру, темпераменту, каждый со своими слабостями и достоинствами. Ещё в институте Андрей удивлял своим постоянным интересом к неясному, неразработанному, «нестерпимым любопытством» будущего учёного-исследователя. Виктора больше привлекала практическая, инженерно-конструкторская работа на производстве.

Благодаря своей энергии, честолюбивой настойчивости, благодаря умению ладить с нужными людьми Виктор быстро выдвинулся. Он уверил себя, что его призвание — быть администратором, руководителем промышленности.

Неплохую «карьеру» сделал за послевоенные годы и Андрей Лобанов. Демобилизовавшись, он вновь пришёл в институт оканчивать аспирантуру. Под руководством требовательного, умного профессора Одинцова Андрей «учился последовательности, терпению, учился любить неблагодарную чёрную работу; учился выкарабкиваться из самых глубин отчаяния, когда, казалось, всё рухнуло и нельзя продолжать и не с чего начать... и.., возникал пугающий вопрос: а нужно ли кому-нибудь то, что ты делаешь?»

Вот тут Виктор и Андрей разошлись. Радости, доставляемые служебным продвижением, постепенно вытесняют из души Виктора все другие. Работа над автоматическим синхронизатором, над которым, помнится, он целый год ломал голову, не спал по ночам, заброшена, технические журналы валяются неразрезанные, пыльные. И дело, конечно, не в высоком служебном положении Потапенко, дело — в изменившемся человеке. Поставьте Андрея на теперешнее место Виктора — получится иная картина. Почему же настолько различно, прямо враждебно друг другу сформировались характеры этих людей, настолько враждебно, что Виктор из своих карьеристских выгод проваливает план работы лобановской лаборатории, восстанавливает против Андрея его сотрудников, беззастенчиво навязывается в соавторы чужого изобретения? Почему молодой советский человек становится так похож на мещанина в науке Тонкова, почему тяготеет он к бездушному политиканству долгинского толка? Да потому, что настоящие и «ненастоящие» люди не отгорожены в жизни друг от друга какой-то стеной. И на молодёжь нашу воздействует не только могучая, многообразно проявляющаяся, целенаправленная сила примера положительного, но и хитрая изворотливость имеющегося ещё в жизни отрицательного. И на некоторую часть молодёжи она действует не без известного успеха, создавая контрасты, вроде того, какой увидел Д. Гранин.

«В деле врозь — и вообще врозь», — отвечает Андрей на лицемерные заверения Вик-

тора в дружбе. И действительно, Виктор и Андрей разнятся не только своими жизненными целями, но и своим поведением в той трудно регламентированной области человеческих отношений, которую зовут «личной жизнью». Писатель наглядно показал, как порой трудно, но зато накрепко, по-настоящему искренне дружит Андрей и как непринуждённо играет Виктор роль всеобщего любимца, как легко и просто — без разбора, но не без расчёта — сходится он с самыми различными людьми. То же и в любви. Виктор гордится своей «гибкостью». Когда это нужно, он удивительно искусно умеет притвориться платонически влюблённым... хотя бы в инженера Майю Устинову, которую он хочет восстановить против Андрея.

«Есть чувства посылнее дружбы», — серьёзно и задумчиво сказал он, придавая своему лицу решительное выражение, как будто он хотел сказать что-то смелое и трудное...

Майя покраснела. Виктор искоса поглядел на неё. «Фигурка у неё славная», — подумал он...

«Ладно, Виктор Григорьевич, я возьмусь», — сдержанно сказала Майя, смущённо отводя глаза.

«Стоп, — сказал себе Виктор. — Не зарываться».

Но с той же лёгкостью Виктор мог и «зарваться», мог, как кричит ему Лиза, его жена, «переспать с какой-нибудь секретаршей», «если... надо устроить какое-нибудь дело...»

Классическую «проверку» любовью испытывает в романе и Андрей Лобанов: автор проводит его через целых три «rendez-vous».

Вот история любви Андрея к Рите. Полюбив эту девушку ещё с юности, Андрей встречает её уже замужней. Их неудержимо тянет друг к другу. Они встречаются в дальних углах города или на квартире у ритиной подруги. Андрей любит Риту со всей безудержностью и страстью. Но постепенно ему становится невыносимо это похожее на распуство прятанье своего сильного и безудержного чувства. Интимная сторона, все оттенки переживаний двух по-разному любящих людей переданы писателем очень тонко и не противно скопчески, как это порой бывает. Особенно выразительна одна художественная деталь: «Андрей лежал у стенки, касаясь холодного гранитового коврика, изукрашенного пёстрой

безвкусной мазнёй: длинноногий аист, выпучив глаз, упирался тонким красным клювом прямо в живот Андрею». Здесь так остро, почти гротескно передано то фальшивое и некрасивое, «бесстыжее», что несли с собой эти встречи. Андрей звал Риту оставить мужа и с дочерью перейти к нему; но в её пылкой любви была какая-то нехорошая трезвость, позволявшая ей и в разгаре чувства оценивать житейскую невыгоду такого поступка. Мог ли этот «правильный», как зовут Андрея товарищи, человек долго продержаться на уровне такого адюльтера? Уходя, вырываясь из грозившего им обоим «мучительно-безвыходного круга», Андрей говорит любимой женщине: «Ри, милая, так я могу с кем угодно, но не с тобой». Но так он не мог и с кем угодно.

Поэтому, когда хорошенькая Нина Цветкова, горячо, впервые в жизни полюбив понастоящему, идёт навстречу Андрею, внезапно «открывшему» для себя силу её обаяния, он отказывается и от этой, такой доступной близости. Он, конечно, не имеет права на её любовь, он не заслужил её равной любовью. Поэтичность сцены объяснения Андрея и Нины в лесу в том, что здесь нет и тени «моралистики»; честно и достойно поступает «он», и как это живо дополняется обаянием и дерзостью беззаветно любящей девушки! Она-то «ничего не побоялась»! Сложный психологизм этой сцены как бы сжат в последней мысли Андрея: «Скверно. Худо всё... И правильно. И она права. А иначе я не мог...»

Но вот наконец приходит та главная, единственная любовь, ради которой надо было пройти все эти искусы. Андрей встречает молодого архитектора — Марину. И тут мы несколько разочаровываемся. И волнующая, может, даже несколько нарочитая эффектность их встречи на дачном перроне и та сцена, когда Андрей приходит к Марине, — молчаливый разговор их взглядов, их волнение, неожиданные слёзы Марины: «Слёзы быстро, маленькими горячими каплями покатались по щекам, она ловила их, выставив нижнюю губу, сдерживая дыхание, чтобы не разрыдаться, — всё это очень лирично, наблюдательно, трогательно. Но той значительности переживания, огненности чувства, «необычности» этой любви, как можно было бы ожидать, читатель не ощущает. Это всего лишь ещё одно

обыкновенное увлечение инженера Лобанова...

Как бы чувствуя, что Марина уж очень какая-то бесцветная, «невидная», автор вводит искусственный драматизм: заставляет Марину выбирать между двумя героями, и выбор слишком затянут. Марина бесконечно проверяет себя — то ли это чувство или не то, тот ли это человек или не тот, люблю ли я его и он меня или нет. И всё это не обязательно, вся эта любовная история не раскрывает в Андрее ни одной новой черты.

Так мы подошли к тому обычному месту критических статей, где начинается последовательное изложение упреков автору рецензируемого произведения: того-то он не показал, то-то вышло недостаточно художественно и т. д.

Мы уже говорили, что Андрей — человек цельного характера, а противоречия его развития жизненно достоверны. Но есть в образе главного героя романа сложности, идущие не от его собственного содержания, но от некоторых несовершенств художественного выполнения, от некоторой непродуманности в разработке отдельных положений и деталей. Вот два эпизода романа. Первый: Андрей во время воскресной прогулки на пароходе, рядом с Ниной Цветковой, смотрит на волны, бурлящие за бортом, и с увлечением декламирует Пастернака:

Приедается всё,
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И тысячи, тысячи лет..
В белой рьяности волн,
Прячась в белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.

И вот другой эпизод. Андрей провожает Марину вместе с архитектором Вадимом, которого она тоже некоторое время любит. Вадим, элегик, задумчивый эстет, грустит о якобы остающейся сегодняшнего человека способности чувствовать красоту мира: «Для нас мир лишён красок... Вот температура раскалённой болванки или, как его там, напор гидростанции — это нам понятно». Андрей, естественно, полез в драку: «Вы тут насчёт поэзии красок... Существует, к вашему сведению, спектроскоп, и человек давно уже может этим спектроскопом различить тысячи оттенков.. Убогое воображе-

ние у этих ваших личностей средневековья. Они разве способны представить себе, что кругом нас вот здесь... бушуют радисволны, кричат на всех языках дикторы, гремят оркестры и т. д.».

Два эпизода, два проявления чувств, которые трудно свести воедино, к одной психологии. Да и почему Андрей, сам хорошо... и без спектроскопа чувствующий, что такое «белая пряность акаций», так сопротивляется в другом случае поэзии восприятия «теплоты женской кожи, красок вечерней зари, музыки бесхитростной речушки», о которой говорит Вадим? Не «выдумал» ли автор противоречие в духовном складе героя: с одной стороны — «поэзии теперь в тысячу раз больше именно на нашей советской земле», «я могу полюбоваться ручейком, но... куда прекрасней стихия её реки, укрощённая волей моих товарищей», а с другой — «приедается всё, лишь тебе не дано примелькаться?»..

Вообще, если говорить о художественной законченности романа, о необходимости и полноте тех или иных его частей, то здесь, несмотря на общую слаженность вещи, автору, как нам кажется, предстоит ещё поработать.

В романе, безусловно, радует самый художественный подход к изображаемому, когда описываемое, будь то пейзаж, портрет, сценка, «так и стоит» в глазах читателя. И то, что текст романа рождает такое впечатление, говорит о многообещающем писательском даровании Д. Гранина видит, как «от заката снег на вершинах становился красным», и чувствует, как «этот весёлый румянец удивительно шёл к смолисто-морозному воздуху, к высокому темнеющему небу». Иногда зрительный образ, рисуемый писателем, ещё более ярок: на закате «трубы духового оркестра... словно извивались, раскраслённые докрасна, в руках музыкантов».

Роман «Искатели» — произведение очень цельное. Сюжет его прост и неразветвлён. Чередование сцен и эпизодов оправдано здесь зачастую не только необходимостью внешнего развития действия, но и внутренним идейно-эмоциональным движением, накоплением чувств. Поэтому, оценивая ту или иную сцену романа, как лишнюю, отвлекающую от основного сюжета, несомненно осложняющую его развитие, нужно проявлять осторожность. Но промахи в этом отношении у Гранина действительно есть:

это, например, посещение Андреем плавательного бассейна или некоторые моменты, связанные с любовью Андрея к Марине (уже упоминавшиеся «метания» Марины или сцена на городском собрании, когда Андрей, потеряв голову, прервав важный и нужный разговор, бросился её отыскивать). Возбуждают сомнение читателя и взаимоотношения Виктора Потапенко и его жены Лизы. Мы уже привыкли видеть (особенно на сцене), что плохого руководителя, карьериста или консерватора всегда бьют с двух сторон: передовики, новаторы — в работе и кто-нибудь из домашних — в семье. Во многих случаях подобный двойной «пресс» жизненно оправдан, художественно убедителен. Но во многих других случаях второй конфликт просто выдуман. И Д. Гранин, на наш взгляд, этого не избежал.

Судите сами. Лиза сама всё время стремится к уюту, ей самой нравилось, как быстро делает карьеру Виктор, она сама отходила от общих дел, «замыкалась» в семью — и вдруг у Лизы появляется «тоска», неудовлетворённость. По какой логике, когда и почему она почувствовала, что Виктор делает что-то не то, ведёт себя как-то не так? Надо было бы показать какие-то жизненно убедительные причины «возрождения» Лизы, не ограничиваясь скороговоркой.

В начале статьи мы сочли за достоинство нового романа Д. Гранина особую, редко встречающуюся близость автора к своим героям-инженерам. Но, если взглядеться пристальнее в это несомненное достоинство, то в нём можно увидеть и вполне определённую опасность для писателя. Отчасти он её не избежал и в «Искателях». Здесь имеется в виду известная узость орбиты художественного произведения, некоторая ограниченность его от многих больших и малых вопросов жизни, с которыми неизбежно столкнулись бы «искатели», как бы ни были они захвачены научными поисками, постройкой локаторов, регуляторов и синхронизаторов. Образно выражаясь, у романа «Искатели» осадка в жизнь ещё недостаточна.

Может быть, поэтому, рассматривая первые два и нынешнее произведение писателя, и в системе образов, в связях и характеристиках персонажей мы можем натолкнуться не на схему, нет, но на предчувствие схемы! И в «Искателях» и в «Победе инженера Корсакова» моло-

дому энтузиасту в науке соответствует старый, честный и строгий наставник, и там и здесь на пути к научному успеху молодой исследователь должен выдержать какой-либо этический экзамен, везде любовь в стороне, но она же и подспорье творчеству. Повторяем, во всём этом есть своя сильная сторона.

Но Д. Гранину, сделавшему своим пер-

вым романом хороший вклад в современную литературу, следует подумать о том, как выйти в какой-то более широкий, менее связанный и вместе с тем такой же увлекательный и подлинный мир творчества и борьбы, с каким он познакомил нас в «Искателях».

Ю. СУРОВЦЕВ,
М. ЩЕГЛОВ.

★

На главном направлении

Комсомольцам Алтая и Казахстана посвятила Галина Николаева свою «Повесть о директоре МТС и главном агрономе», но обращена она ко многим и многим миллионам наших юношей и девушек, где бы они ни трудились: на полях или заводах, в шахтах или на стройках, на суше или на море.

Всё в этой повести дышит молодостью, неиссякаемой энергией, страстной преданностью тому великому делу, которое под руководством партии совершает наш народ, строящий коммунизм.

Это повесть о становлении молодого характера и о воспитании коммунистического отношения к труду, нравственных принципов советского человека.

Лирическая взволнованность рассказа о маленькой девушке с детскими бантиками на висках, такой тихой и неприметной с виду, — о «малоподобной агрономше», вырастающей в человека непоколебимой душевной стойкости, — тем и покоряет, что характер её формируется в серьёзных жизненных испытаниях, в обстановке сложной борьбы, преодоления немалых трудностей.

Галина Николаева избрала для повести форму рассказа от лица одного из её героев — молодого директора МТС, недавнего выпускника сельхозтехникума Алексея Чаликова. Образы других героев, оценка их поведения, событий, сущность происходящей борьбы раскрыты через его восприятие, овеяны волнением его сердца.

Эта форма повествования, тающая свои опасности (дать одностороннее представление о происходящем) и свои преимущества (возможность глубже, тоньше выявить душевный мир героя-рассказчика), отлично использована писательницей. Она позволила эмоционально нарисовать образ девушки-

агронома Настя Ковшовой и передать градацию чувств рассказчика, его меняющееся отношение к жизни, к труду, показать развитие его характера, внутренние импульсы действий.

В центре повести — жизнь колхоза МТС, этой опорной базы современного механизированного сельскохозяйственного производства. Наша литература крайне мало отображает ведущее, организующее, воспитывающее значение МТС; кроме повести Журавлёва «Комбайнеры», нет ещё заметных произведений, посвящённых механизаторам и технической интеллигенции нашей деревни.

Галина Николаева — писатель, чутко улавливающий новое в жизни, умеющий видеть главное направление её развития. На этом главном направлении действуют и герои её новой повести.

Читатели знакомятся с ними в год, предшествующий историческим решениям сентябрьского Пленума ЦК партии. МТС, куда приезжает только что окончившая институт агроном Настя Ковшова, на добром счету в области, идёт «ухо в ухо» с другими. Есть здесь и свои, не очень волнующие руководителей МТС трудности и свои заботы, из которых главная — не отставать от соседей, а хоть на день-два обгонять их и с окончанием ремонта — пусть даже не все машины выйдут в поле исправными, — и с окончанием сева — даже если кое-где останутся огрехи. Директор МТС, парторг Федя и главный инженер Аркадий Фарзанов связаны дружбой, довольны друг другом, все трое привыкли, что есть в зоне МТС колхозы лучшие и отстающие — где их не бывает, — люди деятельные, на плечи которых можно взвалить побольше, и лодыри, с которыми — куда денешься — тоже приходится ладить...

Галина Николаева. «Повесть о директоре МТС и главном агрономе». Журнал «Знамя», № 9 за 1954 год.

И вот в такую-то обстановку затягивающего благодушия, успокоенности попадает молодой агроном, почти девочка, Настя. Нет ещё у неё ни жизненного опыта, ни закалки в борьбе, доверчивыми, изучающими глазами смотрит она на окружающее, редко звучит её тихий, робкий голосок. Ну что может сделать такая девочка, в силу ли ей всё круто перевернуть, изменить, сломить устоявшееся благодушие?

А оказалось — в силу. Повесть Галины Николаевой художественно убедительно говорит, что не только люди особых талантов, особого героического склада способны по-настоящему героически бороться за новое, что это к а ж д о м у посылно — лишь бы билось в груди горячее сердце, непримиримое к недостаткам, негодующее при столкновении с косностью, благодушием, эгоистическими устремлениями, была бы уверенность, что дело, которое защищаешь, нужно народу.

От первого столкновения, казалось бы, в малом вопросе — послать на курсы подготовки квадратно-гнездового сева лучших трактористов или тех, кто поплоче, когда Настя впервые, ещё нерешительно высказала своё мнение: «Мне кажется, на курсы выделили совсем не таких людей, каких надо», и когда её впервые «вразумило» начальство, — идёт в повести линия её непримиримой борьбы за подлинный подъём МТС, за подъём отстающих колхозов, за коммунистический стиль работы.

Писательница не боится вскрывать трудности борьбы. Совсем не легко Насте вытерпеть обидное пренебрежение к каждому её начинанию, нескрываемую неприязнь ближайших товарищей по работе, сыпавшиеся на неё взыскания. «Посматриваю на неё и думаю: должно же у неё ёкнуть сердчишко! Девчонка ведь. Одна, на новом месте. Ни родных, ни друзей... Доведись до меня, и я бы в её положении затосковал», — раздумывал Алексей Чаликов.

Доводилось ему видеть и настоящие слёзы, и её испуганный взгляд, и её неумение защитить себя. Большого художественного значения полна сцена в кабинете секретаря райкома — разбор предъявляемых Насте обвинений: «Сидят по одну сторону кабинета четверо мужчин, все рослые, здоровенные, и все четверо с ненавистью смотрят в противоположный угол. А в противоположном углу сидит девчонка, маленькая, тихонькая, ноги под стулом скосоломанила

носками внутрь, голову нагнула, бантики выставила... И хоть бы лицо-то было воинственное или сердитое. Нет!.. Выражение лица самое горестное».

В этой сцене чётче выступили противоположные черты характеров людей, определилось их разное отношение к делу. Впервые стало явным подлинное лицо Аркадия, лицо приспособленца. На серьёзные размышления толкнуло Алексея Чаликова замечание секретаря обкома о том, что «в драке главное... за что и с кем человек дерётся». В душе Алексея поколебалось доверие к Аркадию, возникло, выгесняя неприязнь к Насте, смутное ещё сознание её правоты, встревожила её робость в отстаивании себя лично: «Что же она, заядлая драчунья, сидит безмолвно, бессильно, губ не разжимает...»

Нет, положительные герои повести не твердокаменные характеры, из которых не выжмешь слезу, у которых в беде не дрогнет сердце.

Настя, может быть, потому и становится так сердечно близка, как дочь, как сестра, как родной человек, что чувствуешь, понимаешь, как трудно ей, как горько порой и как, переламывая личную боль, она не отступает, не колеблется, не терзается сомнениями: то ли она делает, что надо. Линия её поведения всегда чиста и строга, убеждения и намерения не расходятся с делом.

Героизм поведения, поступка определяется не самим поведением, поступком, как таковым, а той целью, во имя которой он совершается. Если человек, чтобы доказать свою храбрость, бросится на спор в обрыв и ломает шею, никто не назовёт его поступок героическим, наоборот, осудят за глупое ухарство. Но если он бросается в обрыв, спасая от гибели другого, — это уже подвиг.

Поведение Насте героично, потому что оно бескорыстно, потому что ею всегда и во всём руководит стремление служить народу. Основному же её противнику, Аркадию, далеки и чужды интересы народа, ему дороже всего свой успех, своя слава, своя выгода.

Отстаивает ли Настя своё предложение о замене бесплодных в этих местах клеверных полей посевами кукурузы и подсолнуха, сражается ли за то, чтобы довести до кондиции местные засухоустойчивые семена, а не обменивать их на привозные мягкие сорта, она прежде всего думает и заботится

о человеке. Её тревожит судьба отстающих колхозов, где обесценен трудодень, не потому, что они «тянут вниз» какую-то там сводку, а потому, что из-за этого тяжелее живётся вдове Варваре, девушкам Танюше и Кате, что из-за этого идёт раздор в семье старой бабки...

Близость к народу даёт Насте силу, уверенность, стойкость. И какой радостью сияет лицо Насти, сколько кипучей энергии обнаруживается в ней, когда она вместе с колхозниками, трактористами, шофёрами участвует в общем труде, организует и направляет его, добивается успеха. Куда девается в это время её молчаливость, замкнутость, которыми она отгораживается от Аркадия, Алексея, Феда! Картины сортировки и яровизации семян в колхозе «Октябрь», вывоза минеральных удобрений со станции, душевных бесед Насти с трактористом Гошей и бригадиром Стёпой — одни из самых впечатляющих.

Красота духовного облика Насти в том, что никакие личные горести, никакие трудности и несправедливые нападки не могли сломить её упорства в достижении цели, не заставили её ни разу отступить в принципиальной борьбе. Каждое её побуждение, каждый поступок продиктованы самым высоким гражданским чувством — любовью к народу, сознанием своего долга перед народом.

Всё в характере Насти правдиво и жизненно. А вот пояснение о том, как формировался этот характер, данное в заключительной части повести от лица рассказчика и, несомненно, поддерживаемое автором, страдает явной надуманностью.

Создав художественно целостный образ, позволив читателю ясно ощутить, что именно в борьбе, в преодолении трудностей воспитывался в характере неопытной девочки боевой дух партийной непримиримости к недостаткам, к любой мерзости, в чём бы они ни проявлялись, автор вдруг находит необходимым прибегнуть к такому пояснению: «Как такой характер мог образоваться, это я понимаю! Выросла она в отличной семье. Отец у неё знатный уральский сталевар. Брат посмертно награждён звездой Героя. Училась она в одной из лучших уральских школ и институтскую практику проходила в одном из лучших колхозов. Росла среди отменных людей. Низости людской не видела».

Таким образом, формирование характера Насти ставится в зависимость от исключительности окружавших её условий: «отличная» семья, «лучшая» школа, «отменные» люди.

Ну, а при обрисовке отрицательного персонажа по этой схеме писательнице придётся, видимо, говорить о возникновении в его характере отрицательных черт так: «Рос в семье, где среди родни нет ни знатных людей, ни героев, учился в плохой школе, на практику был послан в отстающий колхоз, благородства человеческого и хороших людей не встречал...»

И так же, как в первом случае, этому никто не поверит.

Не стремясь умалить роль положительного примера, я всё же думаю, что не в тепличной обстановке «наилучших» условий, не изолированным от всего многообразия жизни воспитывается наш положительный герой.

Хорошее и плохое тесно переплетаются в жизни, в непрерывной борьбе между новым, побеждающим и сопротивляющимся старым происходит её развитие. И растёт наш положительный герой не как барышня из института благородных девиц, тщательно оберегаемая от «низости людской», а среди людей обычных и разных, в самой гуще жизни. Семья (если это настоящая, хорошая советская семья), школа, комсомол, партия — весь строй нашей жизни, труд в советском коллективе воспитывают в нём высокие принципы коммунистической нравственности, и потому, сталкиваясь с ложью, эгоизмом, корыстолюбием, туеядством — с любым из проклятых пережитков прошлого, — он пылает непримиримой ненавистью к ним. Но без столкновения нет борьбы и нельзя стать борцом.

Кстати, и в отличных семьях заслуженных людей, случается, вырастают дети — нравственные уроды, и в лучших школах можно встретить нерадивых, завистливых, трусливых, живых ребят. А в любой, самой обычной школе сколько найдётся по-настоящему благородных ребячьих характеров, талантливых учителей и учеников!

Положительный герой советской литературы — это герой, не приподнятый над народной массой, а выросший в массе, сливающийся с ней, её частица. Всё прекрасное и героическое в нём — отражение прекрасных и героических черт советского народа. Такова и Настя.

И вместе с тем какой это самобытный индивидуальный характер! Как умно и сильно показаны в повести роль и значение личности в коллективе.

Да, Алексей Чаликов вправе смело заявлять, что МТС и отстававшие колхозы подняты настояними руками. Это её энергия, её кровная заинтересованность в деле, её инициатива воодушевляли людей, её смелость, настойчивость и пытливый ум помогали находить новые пути и возможность повышения производительности труда, качества работы. У нас личность не стирается в коллективе, а, наоборот, вместе с освобождением, вместе с духовным, культурным ростом масс полно и ярко расцветают лучшие индивидуальные качества каждого отдельного человека.

Алексей Чаликов вовсе не схож с Настей, хотя он тоже раскрывается как человек красивой души, больших стремлений и глубоких чувств. Он мягче характером, на первых порах легко поддаётся влиянию Аркадия, противостоит начинаниям Насти. Прерываясь, волнуясь, ведёт он свой рассказ о событиях, перевернувших его жизнь, изменивших его самого. От неприязни — к удивлению, от уважения — к восхищению и любви проходит сложная гамма чувств Алексея к Насте.

Любовь юноши к девушке, трепетная, чистая, преисполненная радости и страданий, надежд и отчаяния, любовь, облагораживающая душу, побуждающая стремиться к подвигам, согревает своим дыханием всю повесть.

Мы не знаем, ответит ли Настя взаимным чувством, хотя и очень хочется верить в их счастье, но, даже оставшись безответной, такая любовь не ослабляет, а придаёт силы, поднимает человека, повышает его требовательность к себе и к людям, учит ценить и понимать прекрасное.

И ещё об одном говорит эта любовь — о том, что возникнуть такое чувство может только к человеку высоких нравственных достоинств. Лина, обладавшая куда более привлекательной, эффектной внешностью, «такая девушка, что в кино ходить не надо», хотя и нравилась, но вызвать к себе сильное, глубокое чувство не смогла. Алексею было весело танцевать с ней, приятно любоваться её хорошеньким, оживлённым личиком, слушать, как она кокетливо поёт под гитару: «Свиданья час и боль разлуки...»

Однако за красивой оболочкой быстро проглянула мелкая душонка, стало очевидным умение Лины приспособиваться к обстоятельствам, ловко извлекать выгоду: «Месяца не проработала, а уже знает, что первый секретарь упорен и в сомнительных случаях надо действовать в обход, через второго секретаря...»

Человек познаётся в главном деле его жизни, в его отношениях к людям. Жизнь Насти, её труд, её непреклонная решимость, не щадя себя, бороться за правду, её прямолинейность стали нравственным идеалом для Алексея. Жизнь Лины таким идеалом стать не могла. Симпатия к ней исчезает тем быстрее, чем больше узнаёт её Алексей: «Смотрю на неё и удивляюсь, что это в ней находят особенное? Самая обыкновенная, смазливиенка мордашка...»

Настю же чем больше узнаёшь, тем сильнее любишь, тем щедрее открываются богатства её души.

Повесть написана ясным, точным языком, без всякой изопрённости, без всяких красивостей, местами чувствовавшихся в «Жатве», неприятно сказавшихся в очерке «Председатель колхоза».

Писательница богато и уместно использовала идиомы русского языка, народные поговорки, пословицы. Это придало языку повести сочность, свежесть, особую выразительность.

«На полушку работы, на рубль видности», — как более метко определить кичливость и ничтожество Аркадия?

«Или уж души в ней не чаяли, или от одного её имени озноб пробирал», — характеризует Алексей отношение разных людей к Насте, и уже знаешь, что те, кого «озноб пробирал», чем-то не заслуживают доверия и им, конечно, не поздоровится от Насти.

«Мне бы уйти... А я сел на скамью и к а к пригвоздило меня», — говорит Алексей, и чувствуешь, как велико его волнение, смущение, досада на себя, как неодолимо желание остаться около Насти, хоть и неласково приняла она, совсем не рада ему.

Собственная речь героев служит в повести превосходным средством выявления их характеров.

«Дать ей по рукам, пока не села на голову», — по этой грубой, злобной фразе, в которой и желание скорее всё выместить на Насте, избавиться от неё и трусливая озабоченность не оказаться разоблачённым

до конца, сразу узнаёшь Аркадия. Его стремление пустить пыль в глаза, набить себе цену находит место в постоянных разглагольствованиях о прежней «большой» работе: пусть люди думают, что до МТС он «снизошёл» из милости. Но именно эти назойливые напоминания, подчёркивание собственной персоны и выдают мизерность Аркадия.

А сколько юмора, трезвого рассудка, мудрости жизненного опыта в немногих, но таких метких, острых, всегда уместных высказываниях старого колхозного бригадира деда Силантия. Вот идёт жаркий спор о севооборотах. Настя требует замены клеверов. Ей возражают, что клевера плохо растут из-за плохого ухода, недостаточного извлекания и удобрения почв, её обвиняют, как малосведущего агронома. И вдруг раздаётся голос деда Силантия: «— За свой колхоз я не скажу, а в соседнем, в могучем колхозе «Звезда» этим клеверам одной только какавы не давали! Попробовать ещё поливать их какавой, тогда, может, они согласятся произрастать на нашей степи».

Хитрая простодушилка прикрывает разящую иронию умного старика. И не удивительно, что его подмога склоняет спор на сторону Насти.

Несколько слабее мастерство писательницы в обрисовке внешнего облика героев. Правда, и здесь есть несомненные радующие удачи: такое перемелчивое — нежное и волевое, задорное и задумчивое — лицо Насти, портретные зарисовки Алексея, живо

передающие все его душевные движения. Беглыми мазками, но колоритно написаны фигуры деда Силантия, тракториста Гоши, лодыря Стеньки.

Но плохим трафаретом веет от описания красавца парторга Феди: «русые кудри», «кровь с молоком». Нечеловеческой внешностью наделён, по воле писательницы, секретарь райкома партии Рученко: «Ноздри мясистые, подвижные, а глазищи — как два светофора».

Что же они, эти «глазищи», то красные, то зелёные попеременно? Или сравнение со светофорами призвано подчеркнуть, что глаза секретаря указывают путь?

В повести очень немного авторских отступлений. Жизнь развёртывается так стремительно, в таком богатстве переживаний, с такой остротой столкновений, что забываешь и об авторе и о рассказчице, беседующих в пути. Редко один-два штриха напомнят о вагоне, какой-то луч упадёт на лицо рассказчика, чуть приоткроются размышления автора.

И, однако, авторская позиция, авторские симпатии и антипатии вполне определённы. Галина Николаева не равнодушна к своим героям. Вдохнув жизнь в образ, она сопровождает его своей любовью или презрением, зовёт итти дорогой Насти и отвернуться от такого, как Аркадий, когда он встретится. Она осуждает и негодует, радуется и продостерегает, вызывая эти чувства не наставлениями или поучениями, а внутренней силой самих образов.

З. ГУСЕВА.



Идея гуманизма

Величайшей задачей советской литературы является создание художественных образов людей нового типа, раскрытие душевных богатств советского человека. Автор «Балтийского неба» ставит перед собой эту задачу.

Качества людей нового типа, их идеология, чувства, навыки определяются общественными отношениями нового типа, отношениями товарищеского сотрудничества и социалистической взаимопомощи. Социалистические отношения породили морально-политическое единство

Николай Чуковский. «Балтийское небо». Роман. Журнал «Знамя», №№ 6, 7, 8, 9 за 1954 год.

советского общества. В отдельной личности сила этого единства живёт как сознание слитности с целым, она порождает и гражданские чувства — верность Родине, готовность к самоотверженному служению обществу — и «частные», интимные — сердечность, участливое внимание к людям, отзывчивость, верность в дружбе. Гуманизм является чертой социалистического общества в целом, гуманность — чертой характера его членов.

Идею социалистического гуманизма и воплощает роман «Балтийское небо».

В нём отображены события Великой Отечественной войны. Автором выбран, следовательно, такой момент исторической

жизни народа, когда человеческие характеры проявляются с максимальной интенсивностью. А если прибавить, что в центр событий романа поставлена блокада Ленинграда, Ленинградский фронт, становится ясным, насколько остро ставится проблема.

По трём сюжетным линиям развивается действие романа. Вот как это происходит.

Гражданский лётчик Лунин после неоднократных настояний добился направления на фронт, в Ленинград. Он прибывает в эскадрилью, когда там произошло несчастье: погиб один из лётчиков. Он застаёт тяжёлую сцену: лётчик, бывший ведомым погибшего и оторвавшийся от него в бою ради преследования «юнкерса», пытается оправдаться перед командиром. Гнев командира неистов. «Ты бросил его аккуратненько! — кричит он в ярости. — Плевать я хотел, что ты сбил «юнкерс». Не бывает таких случаев, когда можно оставить ведущего. Не бывает!»

Командир произнёс правило поведения в бою, а не высказал идею романа. Идея романа не высказана, она только зарождается. Она зарождается тем, что именно это правило, а не иное стало первым, какое услышал герой, приступая к делу, которому будет служить. В ближайшие же часы Лунин, главный герой, сам нарушает правила поведения в бою. Он в погоне за «юнкерсом» отрывается от эскадрильи, терпит аварию, справляется с ней, но на обратном пути, когда у него не было уже ни патронов, ни горючего, подвергается нападению «мессершмиттов». Его спасает Серов, его ведомый, прежде потерявший его в тучах. Чувство нежности, которое он испытывает к Серову, атмосфера ласки и общей радости, когда он вернулся, порождают тот мотив боевой дружбы, который, всё разрастаясь, усиливаясь, служит идее романа в этой сюжетной линии.

Другая сюжетная линия завязывается так. Учительница Марья Сергеевна вместе с десятками тысяч других женщин больше месяца роет окопы под Ленинградом. Однажды ночью в сарае, когда все, измаявшись на работе, уснули, она рассказала историю своей неожиданной любви к лётчику Серову, захватившей её врасплох и ошеломившей. Она отказала Серову, когда он предложил ей стать его женой. Она вдова, мать двух детей, по возрасту старше Серова; Серов, считая она, не может любить её долго, и она отрёклась от этой любви. Она рассказывала, плача, всю ночь,

и мало знакомая ей, усталая женщина участливо слушала её до утра, утешала, старалась рассеять её сомнения, уверяла, что она увидится с любимым, что нужно лишь уметь ждать. Наутро эта женщина была убита. Участие, поддержка, внимание к человеку были последним её жизненным актом. Человеческая теплота, участие, завет терпеливого ожидания придают трепетный колорит всей дальнейшей истории этой полной самоотречения, бережной, застенчивой, боязливой любви.

И вот третья сюжетная линия, линия семьи Быстровых. Быстрова — та женщина, которой рассказала о своей драме Марья Сергеевна. Марья Сергеевна разыскивает её семью — старика-отца и двух детей — и сообщает о гибели Быстровой шестнадцатилетней её дочери Соне. В том, как Соня восприняла горестную весть, воплощено то же эмоционально-образное начало, что и в первых двух линиях. Оно принимает здесь форму героического усилия, с каким девочка преодолевает своё горе в заботе о других — прежде всего о бабушке, от которого нужно скрыть страшную весть, о брате. Подвиг подчинения всех своих помыслов заботе о других, как бы тяжело ни было самому, становится формой выражения идеи романа в этой сюжетной линии, развивающей тему трагического быта осаждённого Ленинграда. Соня делается энергичной помощницей замечательной женщины — Антонины Трофимовны, о которой соседка говорит: партийная. Это слово объясняло, что побуждало Антонину Трофимовну брать на себя огромную организаторскую работу, вначале никем ей не порученную, направленную к облегчению жизни населения в блокированном городе. Под её руководством Соня самозабвенно отдалась партийному делу заботы о людях. Сегодня она занималась устройством большого бомбоубежища для всего квартала, завтра — восстановлением бань, потом ходила по квартирам, чтобы что-нибудь сделать для обессиленных от голода людей, потом подбирала умирающих детей и несла их в больницу. «Кто не сдаётся, тот не умрёт» — эти слова Антонины Трофимовны стали сониним девизом.

Партийное дело заботы о людях — это то, о чём говорит и что делает комиссар авиадивизии Уваров. «Ну, какой я комиссар, — говорит ему однажды комиссар эскадрильи, в которой служил Лунин. — Не знаю я, что должен делать. А оттого, что

не знаю, делаю всё...». «Так и нужно,— отвечает Уваров,— делать всё. Не вообще всё, а для людей всё. Вокруг меня люди, и я должен делать всё, чтобы этим людям было легче и лучше».

Основу действия романа составляют боевые действия эскадрильи истребителей. В боевых эпизодах воплощены высокие моральные качества героев произведения: их преданность Родине, отвага, упорство, воля к победе, презрение к смерти, готовность отдать жизнь ради великой цели. Картины воздушных боёв прежде всего и волнуют читателя проявлением этих моральных качеств советских людей. И самыми волнующими являются те эпизоды, в которых с наибольшей силой проявлены такие чувства, как готовность пожертвовать собой ради спасения боевого товарища, боевая дружба, чувство братской связи с коллективом. С особенной яркостью выражены эти чувства в сцене розысков и спасения Серова, прыгнувшего с горящего самолёта, а затем в сцене спасения лётчиком Татаренко своего командира Лунина.

В этих сценах идея произведения находит концентрированное выражение, захватывающее читателя целиком, до полного слияния его чувств с чувствами персонажей.

Изображение чувства душевной боли, переживаемое героями при утрате товарищей, служит выражению той же идеи. Однажды, на похоронах капитана Рассохина, командира эскадрильи, Лунин задумался над словами комиссара о мести врагу, произнесёнными в надгробной речи. «Ну да, конечно, мстить, мстить,— думает Лунин.— Это он правильно говорит...» И вдруг ему стало ясно, что слово «месть» гораздо меньше того, что он чувствовал и думал. Родная земля под ногами у врага. Огромный город, находящийся в тисках блокады, там, за озером. Смерть Байсеитова, Чепёлкина, Кабанкова, Рассохина... Месть? Нет, тут не в мести дело. Тут любой мести слишком мало. Не мстить нужно, а мир нужно изменить, очистить его от убийц». Социалистический гуманизм сочетает в себе глубокую любовь к людям со жгучей ненавистью к врагам человечества и человечности.

Выражению идеи романа способствуют отчасти самый характер и непосредственные цели боевой деятельности эскадрильи Рассохина — Лунина. Это защита и охрана стоящих в Финском заливе кораблей, охрана и защита от вражеских истребителей советских штурмовиков, защита и охрана дороги

через Ладожское озеро. Героические усилия, с которыми народ создаёт Ладожскую дорогу, чтобы спасти ленинградцев, жертвы, которые он при этом несёт, подвиги, которые при этом совершает, служат в романе выражению всё той же идеи.

Кульминационным моментом её выражения является эпизод боя за остров Сухо, которым гитлеровцы решили завладеть, чтобы перерезать единственную коммуникацию страны с Ленинградом.

То обстоятельство, что в этом эпизоде, разворачивающемся близко к концу повествования, участвуют совершенно новые персонажи, ни до этого, ни после не фигурирующие в романе, а главные герои романа принимают в нём сравнительно незначительное участие, привело к недоразумению в оценке значения эпизода в критике¹. Это произошло потому, что эпизод не был соотнесён с идеей романа, да и самая идея конкретно не была определена.

Между тем автор не в этом эпизоде впервые сменяет героев повествования. Сменены были все герои-лётчики, кроме Лунина, в эскадрилье, действия которой составляют основную предмет изображения. Погибли все люди (кроме Лунина), с которыми читатель сжился, новые герои вошли в роман, причём сразу группой, а перерыва в действии не произошло. Тогда эта смена создавала мотив бессмертия великого дела, бессмертия героев, мотив продолжающегося участия ушедших из жизни в деле народа: традиции умерших героев живут в памяти пришедших им на смену, новые герои продолжают и развивают эти традиции, дело народа бессмертно. В главе «Остров Сухо» смена героев (тоже кроме Лунина, который в эпизоде участвует) также служит определённой цели: она выражает ту мысль, что благородные качества советских людей, рождённые Октябрём, являются достоянием не отдельных героев, людей исключительных, а свойственны миллионам. Перерыва в действии не происходит, непрерывность его обеспечивается не столько внешними связями (они суще-

¹ «...Глава «Остров Сухо» решительно выпадает из романа «Балтийское небо». В ней появляются люди, которые не принимали и не будут принимать никакого участия в романе. Да и написана она так, что её содержание целиком определяется изложенным в ней боевым эпизодом. Только боевой эпизод — и ничего более» (Л. Левин. «Литературная газета», № 11 за 1954 год).

ствуют), сколько непрерывностью развития идеи.

Какое же воплощение находит идея произведения в эпизоде «Остров Сухо», что делает его кульминационным?

Гитлеровцы, задумав взять остров, обеспечили внезапность удара и создали подавляющее превосходство в силах. Гарнизон острова состоял из тридцати моряков, к острову подошли тридцать фашистских кораблей — «как раз сколько нас», — пошутил старшина. Три орудия защищали остров, у немцев их было шестьдесят. Бой шёл так.

В тот момент, когда комендант острова, командир его батареи, подпустив неприятельские суда на близкое расстояние, приготовился открыть огонь, из-за острова неожиданно для обеих сторон вырвался советский тральщик, и это он первым открыл огонь по врагу, как бы заслоня телом своим небольшой клочок советской земли. Это был патрульный корабль, оказавшийся как раз в это утро у острова. Ошеломляющая неожиданность его появления позволила ему сразу же потопить два вражеских судна. Первой и главной заботой моряков на острове теперь стало защитить тральщик, и это их беспокоило больше всего. Командир батареи сосредоточил огонь на судах врага, ближайших к тральщику, и тому удалось уйти за остров. Но он ушёл ненадолго. Когда ураганный огонь десятков вражеских орудий обрушился на остров, мысль о том, что остров не то, что корабль: он неподвижен, лишён возможности манёвра и не может выйти из-под обстрела, заставила моряков тральщика вновь ринуться в бой. Он промчался вдоль строя фашистских барж и катеров, стреляя из орудий и пулемётов, и заставил их прервать обстрел острова, а потом вырвался из огня и вновь понёсся за остров. Этот манёвр он повторил несколько раз, пока разъярённые враги, поняв опасность, какую представлял для них тральщик, не вцепились в него так, что ему уж было не вырваться из огненного смерча. Но тогда появился ещё один советский корабль, «морской охотник», подоспевший первым из числа кораблей, посланных на защиту острова. Он устремился в пространство между тральщиком и вражескими судами и укрыл тральщик дымовой завесой, чтобы дать ему уйти, приняв весь огонь на себя.

Самоотвержение, взаимная выручка красной нитью проходят через этапы боя.

Положение на острове было отчаянным. Уже только одно оружие вело огонь, уже дважды был тяжело ранен командир, один за другим выбывали из строя бойцы, но стойкость и взаимная выручка горстки краснофлотцев творили чудеса. Они наносили тяжёлый урон наседавшим врагам. Однако к тому времени, когда на помощь острову пришли советские корабли и авиация, десантники заняли уже почти весь остров.

А как вели себя гитлеровцы, когда взаимоотношение сил сложилось не в их пользу? Прежде всего «немецкие катера, на обязанности которых лежала охрана десантных барж, покинули баржи, отделились от острова и подались к северу, чтобы защитить путь отхода. Баржи за ними не пошли, так как не могли оставить десантников, находившихся на острове и всё ещё сражавшихся». Потом, когда советские канонерки обрушили на баржи огонь своих орудий, десантники не выдержали. В панике, не соблюдая порядка, кинулись они в воду, чтобы добраться до барж. «Неизвестно, получили ли они какой-нибудь приказ к отступлению. Вероятнее всего, они действовали без всякого приказа: просто догадались, что баржи собираются уходить. И, боясь, что их оставят на острове одних, отрезанных, без всякой поддержки, они кинулись в воду спасать себя».

Когда после боя на остров высадился фельдшер, он застал там лишь одного раненного бойца. Командир то терял сознание, то приходил в себя. В минуты прояснений он лихорадочно говорил: «Они думали, что если их больше, так они сильнее. А ведь не так. Правда, Полещук?.. Они думали, что мы такие же, как они! Разве они понимают, за что мы дерёмся? Разве они могут понять? Верно, Полещук?»

«Они думали, что мы такие же, как они!..»

Вскоре после Октябрьской революции Ленин говорил: «Мы будем работать, чтобы вытравить проклятое правило: «каждый за себя, один бог за всех»... Мы будем работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход масс правило: «все за одного и один за всех»¹.

Противопоставление этих двух принципов, двух типов поведения и дано в картине боя у острова Сухо. Её суть, её поэзия — в утверждении идеи коллективизма, един-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 103.

ства советских людей, в утверждении идеи социалистического гуманизма.

В совокупности черт характера Лунина, главного героя, выдвинутого на первый план из числа людей, для которых всё, «что создано Октябрём... составляло смысл их жизни», раскрыты с наибольшей полнотой черты дружбы, участливости, нежности к людям, способности остро переживать их боль и страдания. Остро и напряжённо эти чувства выражены в узлах пересечений сюжетных линий романа.

Но в пересечениях этих линий обнаруживаются и недостатки романа.

Однажды на пустынных улицах Ленинграда Луния встретил женщину, глаза которой выражали такую боль, что всё в нём перевернулось. Она шла, шатаясь, и падала, подымалась и падала вновь. Он не мог пройти мимо. Тут же, на улице, он стал совывать ей в руки хлеб, консервы, убеждал взять их. Женщина призвала его к своим умирающим от голода детям. Он спас эту женщину и её детей от голодной смерти, добился разрешения вывезти её из Ленинграда по Ладужской дороге, хотя дорога ещё не была подготовлена для эвакуации населения. Когда они после переезда через озеро расставались, он намеренно не сообщил ей номера своей полевой почты. О ней он узнал только, что её зовут Машей. Между тем это была Мария Сергеевна, та женщина, которую любил Серов. Луния не знал, что спас человека, самого дорогого его другу. Он помог первой встречной.

В последующем у Лунина будет случай узнать адрес спасённой им женщины, ему будут почти что навязывать этот адрес, но он откажется взять его, не подозревая, что речь идёт о женщине, о которой мечтал и которую разыскивал его боевой товарищ. Если бы он взял этот адрес, всё распуталось бы.

В Ленинграде же он встретил мальчика Славу и добился разрешения взять его к себе на аэродром. Этот Слава был Быстров, сонин брат.

Как видим, в развитии сюжетных линий романа большую роль играют случайности.

Случайность как опора сюжета привычна в рассказе. В рассказе даётся «случай», запечатлевается короткий этап жизни, и роль случайности в нём, как бы велика она ни была, не влечёт признания за случайностью всеопределяющего значения в человеческих судьбах. Роль случайности в рас-

сказе соразмерна с её ролью в действительности. Не то в романе. Цепь случайностей в развитии сюжета, который строится как развитие характера и освещает большой кусок жизни в её решающих и важных моментах, угрожает здесь перерасти в закон, определяющий развитие характера человека и его судьбу, случайность здесь может принять обличье рока. Возможно самое широкое участие случайностей в развитии сюжета, но при том условии, если они не препятствуют, а способствуют раскрытию социальной необходимости, не мешают, а помогают выявлению закономерности в развитии характеров.

Марья Сергеевна несколько раз порывалась о чём-то спросить Лунина. Мы знаем о чём: не встречал ли он лётчика по фамилии Серов. Она не спросила. Мы знаем почему: она считала свою любовь «неправильной», «стеснялась» своей любви. Почему же Луния ничего не хотел знать о дальнейшей судьбе Марьи Сергеевны, переписываться с ней? Он хотел помочь ей, как первой встречной. Но это уже случилось. Безразличие к дальнейшей судьбе спасённой им «первой встречной» совершенно не вяжется с душевным обликом Лунина. Оно искажает представление о его характере. Оно привносит в него момент чёрствости. Оно противоречит логике вещей.

В сцене расставания Лунина с Марьей Сергеевной возникает новое обстоятельство. Луния понимал, что её мысли сосредоточены на каком-то другом мужчине, и поэтому он решил оборвать с ней знакомство. Он как бы подавил своё влечение к ней. Однако это объяснение его поведения приходит, как увидим, в решительное противоречие с характером личной драмы Лунина.

Четыре главы, следующие после эпизода боя у острова Сухо, в композиционном отношении являются развязкой романа. В них разрешаются и определяются личные судьбы героев, в них даётся исход исторических событий, изображённых в романе: прорыв блокады, соединение войск Ленинградского и Волховского фронтов, наступление. Роман завершается картиной могучего движения войск на Запад. Поднялись в воздух самолёты Лунина. Луния летел, «все самолёты его полка летели за ним в могучем строю, и их было так много, что они заполняли всё воздушное пространство почти до предела видимости. Они несли народам освобождение, надежду, будущее,

и не было такой силы на свете, которая могла бы остановить их полёт».

Это последние строки романа. Им предшествует разговор о Луние, в котором проводится последняя, довершающая портрет черта. И хотя речь идёт о чувствах сугубо личных, самый выбор места и времени для этого разговора подчёркивает обобщающее значение этой черты. Черта эта — верность. «Он такой человек, что полюбить может, а разлюбить не может».

На протяжении всего романа то там, то здесь даются отрывочные сведения о личной драме, пережитой Луниным. Когда-то он развёлся с женой, и боль, причинённая ему этой историей, до сих пор не утасла. «Люби, кого хочешь, — вырывается однажды у него. — Разве любовь — обязанность? А вот лжи перенести нельзя». Следовательно, можно понять, что он был обманут. Но в другой раз он признаёт, что когда-то он считал себя в этой истории правым, а сейчас не знает. Вскоре, однако, он приходит к мысли, что вина лежала на нём. На последних страницах романа он неожиданно встречается с бывшей женой, вернее, видит её издали. Он участвует в вывозе по воздуху группы больных и раненых партизан из-за линии фронта. Когда партизаны прибывают на место, он среди них узнаёт свою бывшую жену. С ней были ребёнок и нынешний муж, командир партизанского отряда. После этой встречи Луний и приходит к осознанию своей вины. «Теперь ему странным и удивительным казалось, что он так долго и упорно считал её виновной. В чём? Разве она обязана была его любить? За что? Что он сделал такого? Он поселил её в глуши, на аэродроме, он был занят самолётами, видел её только по ночам и нисколько не интересовался её жизнью, заранее почему-то уверенный, что она всем довольна. И при одной мысли о том, что она любит не его, а другого, он весь отдался гневу и ярости. Он знать ничего не хотел, он хотел судить и наказать». Обнаруживаются в герое, которого читатель полюбил, новые и неожиданные черты. Это черты прошлого, герой изжил их, он осознал свою вину, тяжкую вину невнимания к человеку, и то, что эта вина рассматривается как тяжёлая, служит идее романа. Но этой историей утверждается и другая черта — верность. Герой продолжает любить свою прежнюю жену, разлюбить её не может, и к верности, неизменности этого

чувства читателю внушается уважение. А уважать читателю нечего. О любви известно лишь, что любящий видел любимую «только по ночам и нисколько не интересовался её жизнью». Это не то, что вызывает уважение. Нельзя создать образ любви путём отрывочных справок, минуя образ той, кого любят, то есть лишая любовь содержания. А тем самым и верность такой любви превращается в абстракцию.

Мы подошли к недостатку, который носит более общий характер, чем разобранная нами частность. Этот недостаток состоит в том, что читателю слишком мало известно прошлое героев романа. Ему почти ничего не известно о том, как сформировались черты характера, с которыми герой вошёл в роман, кроме смутных намёков на любовную драму, некогда пережитую главным героем; о другом герое известно, что он в своё время был исключён из лётной школы и из комсомола за пьянство. Этот человек на войне преобразился, он погибает геройской смертью, и его образ показывает, как в огне великих испытаний сгорает в человеке, если это настоящий человек, всё мелкое и ничтожное. Но в романе не делается и попытки проследить, как формировались до войны те черты советских людей, которые во всём их великолепии развернулись во время войны. А ведь именно роман, как форма поэтического отображения действительности, более, чем другие формы литературы, отвечает потребности отобразить самый процесс образования характеров и создаёт возможности для такой лепки индивидуальных образов, чтобы в них и через них просматривались общественные отношения.

Не утяжелило ли бы это роман, не повредило ли бы его возвышенно-романтическому строю?

Чем создан романтический тон повествования? Не особыми приёмами словесного оформления. Словарь романа обычно сдержан, скуп, в нём уловимо стремление избежать фразистости. В драматических эпизодах для этого нередко подбираются слова бытового, домашнего обихода, и их, например, можно встретить в описаниях самых напряжённых моментов воздушного боя: «Длинные огненные жгуты (трассирующие пули), тусклые при солнечном свете, мотались перед «юнкерсом», как усы». «Он только видел, как они («юнкерсы») боятся его и шарахаются от него в стороны,

как коровы от собаки, ворвавшейся в стадо». Каннибальский характер фашистских замыслов передан в таком сравнении: немецкие самолёты «бродили парами, держась низко, в тумане, и старались заглянуть в город, как заглядывают в кастрюлю, чтобы узнать, не готово ли». Не всегда словарь удачен, ему, в частности, мешает повторение отдельных полюбившихся (или из-за отсутствия досмотра налипающих) слов: например, «блестеть» и его производные, «потрясённый», «и вдруг». Сцена боевого крещения Лунина испещрена этими «и вдруг», а между тем в ряде случаев автор показывает, что для передачи скоротечности, мгновенности в смене положений и обстановки во время воздушного боя можно вовсе обойтись без «и вдруг»: в описании воздушного боя Лунина и Серова с «мессершмиттами», налетевшими на аэродром, нет ни единого «и вдруг», а стремительность великолепна.

Возвышенно-романтический строй повествования создаётся напряжённостью и интенсивностью переживаний героев, яркостью их чувств, благородством поступков, чистотой их морального облика. Примечательно, что в романе нет ни одного отрицательного персонажа (фашистский лагерь не представлен индивидуальными образами), и это не воспринимается как недостаток. В создании романтического тона повествования участвует безусловно и предмет изображения, который в любом произведении в очень большой степени определяет эстетику его своими природными свойствами, своей «фактурой». В данном случае это — лётное дело. Оно вводит в роман необъятные просторы,

оно создаёт возможность необычных обозрений мира и образного освоения огромных пространств, оно волнует читателя «своим» обращением с пространством, захватывает динамичностью, и всё это способствует романтическому духу произведения.

В создании романтического колорита произведения участвует и построение его, его форма. Оно состоит из коротких, сжатых эпизодов, каждый из которых представляет собой структурную отдельность, несущую свой заряд энергии. Это придаёт развитию действия энергичский, динамичный характер.

Развёрнутая экспозиция, в которой обычно излагается предистория действующих лиц произведения, может, конечно, утяжелить его и ослабить его динамичность. Но здесь приходит на память тот эпизод романа, в котором рассказывается о прибытии в эскадрилью Лунина «харрикейнов». На них оказалось слабое вооружение, его нужно было сменить, но это неизбежно вело к утяжелению самолётов и сбавляло их скорость. Позже Лунин получил новые, советские самолёты, на которых было мощное вооружение, а скорость превышала скорость самолётов других типов. Конструктор их нашёл решение трудной задачи. Этим путём, путём трудных решений, должен идти и писатель. Этот путь и приведёт к устранению недостатков интересного и волнующего романа.

Коль скоро мы уж прибегли к «лётному» сравнению, продолжим его и в общей оценке произведения. Оно окрылено, оно — в полёте. Им движет сила любви к советскому человеку.

В. СУРВИЛЛО.



О славном походе

«Через перевалы» Романа Палехова — одна из первых попыток отразить в художественной литературе войну Советского Союза против империалистической Японии. Тема уже сама по себе вызывает интерес. В самом деле, боевые действия Советской Армии на Дальнем Востоке в августе 1945 года во многом отличались от

всего того, что довелось испытать нашим воинам в борьбе против фашистской Германии. Война с Японией хотя и была скоротечной, но изобиловала своими трудностями, обусловленными коварством противника, непривычными географическими и климатическими условиями, а также стремительностью действий, что потребовало от советских бойцов, утомлённых походом на Запад, нового напряжения физических и нравственных сил.

Роман Палехов. «Через перевалы». Журнал «Дальний Восток», №№ 2, 3, 4 за 1954 год.

Роман Палехов, очевидец и участник изображаемых событий, интересно рассказывает о своеобразии этой войны, о её стратегических и тактических особенностях, о природных условиях, в каких пришлось действовать советским воинам, об их отношении к местному населению, пострадавшему под колониальным игом японцев.

Автор показывает военные операции на одном из самых трудных участков дальневосточного театра — на участке Забайкальского фронта, частям и соединениям которого до непосредственного соприкосновения с противником пришлось совершить длительный марш по безводным монгольским степям и преодолеть горные перевалы Большого Хингана.

Рассказывая об этом походе, Р. Палехов заявляет о себе как о способном военном писателе, умеющем передать движение больших человеческих масс, нарисовать выразительную картину фронтовой жизни, охватить взглядом художника сложный армейский организм в его динамике, в его многообразии. Задача эта не из лёгких, и далеко не всем авторам книг о войне удавалось успешно её решить. Здесь чувствуется благотворное влияние лучших образцов советской военной беллетристики последних лет.

«Через перевалы» — произведение эпического склада. Автор стремится показать народ на войне, осмыслить события широко, исторически, изобразить людей самого различного профессионального опыта — от простого солдата до генерала. И, конечно, наряду с панорамным взглядом на вещи и явления тут присутствует и крупный план. Читатель отметит возрастающую степень подробности, с какой рассказывается здесь о действиях армии в целом, о действиях дивизии генерала Бородина, о действиях стрелкового полка подполковника Аверина и о действиях роты разведчиков капитана Колчина. Чем ниже мы спускаемся к подразделению, тем явственнее проступают портреты отдельных людей, тем больше внимания уделяет им автор.

Само по себе это вполне естественно — просторная эпическая картина требует не только широкого охвата явлений, не только общего изображения больших людских масс, но и детальной разработки отдельных образов, наиболее полно воплощающих в себе сущность происходящего. Однако тут

художник всегда должен руководствоваться очевидным правилом: чем шире общее — тем глубже должно быть главное, чем просторнее раздвинуты горизонты — тем зорче надо вглядываться в человека, выделенного из массы. Иначе при переходе от общего плана к крупному сразу обнаружится масштабное несоответствие.

К сожалению, это несоответствие достаточно ощутимо у Р. Палехова. С одной стороны, он выступает перед нами как уверенный в своих силах летописец легендарного похода через Большой Хинган, вдохновлённый стремительным движением железного потока советских войск; с другой — как робкий беллетрист, пытающийся с помощью банальных сюжетных построений нарисовать фигуру своего главного героя, капитана Колчина, и его окружение. Во всяком случае, всё, что тяготеет здесь к историческому описанию событий, к хронике, к свидетельствам очевидца, получилось гораздо убедительнее и ярче, нежели судьбы и характеры людей, выдвинутых на первый план.

Видимо, автор и сам чувствует композиционное несовершенство своего произведения. Отсюда, наверно, и родилось обозначенное под заголовком жанровое определение — не роман, не повесть, а нечто уклончивое: «повествование». Мол, не ищите здесь ни острых конфликтов, ни развёрнутых характеров, ни сложных сюжетных положений, — автор ставил перед собой совсем другие цели — рассказать, как было дело. Однако на поверку все эти элементы, в том числе и сюжет, присутствуют у Р. Палехова, но только в очень неразработанном виде. А жаль, потому что на таком ярком эпическом фоне хорошо продуманный сюжет позволил бы и людей показать во всём их нравственном величии, под стать их делам, под стать событиям, в которых они принимали участие.

С наибольшей отчётливостью сущность советского человека на войне раскрывалась через его отношение к своему воинскому долгу. В этом смысле герои Р. Палехова, в первую очередь любовно изображённые им разведчики капитана Колчина, представляют собой воплощение советского патриотизма, высокой сознательности, самоотверженного служения Родине. Всех их, и новичков и ветеранов, объединяет стремление как можно быстрее разгромить врага, ликвидировать очаг войны на Дальнем Во-

стоке. Во имя этой цели они безропотно несут тяготы изнурительного марша, терпят физические лишения, смело идут в бой, а некоторые и расстаются с жизнью.

Но есть в повести (будем считать «Через перевалы» повестью, вопреки авторскому указанию, едва ли не рассчитанному на снисхождение читателей) одна фигура, которая поначалу отличается в этом отношении от других персонажей Р. Палехова. Это старшина Копылов. Опытный разведчик, он храбро воевал на советско-германском фронте, заслужил немало наград, а теперь, после победы над фашистской Германией, все его помыслы обращены к мирному труду, к возвращению домой, к встрече с любимой. Человек честный и добросовестный, Копылов в то же время искренне считает, что своими боевыми подвигами он уже заработал себе право на устройство личной жизни, и претендует на увольнение из армии. Для него срок службы в армии психологически был неотделим от разгрома немецкого фашизма. Он внутренне мобилизовал себя до победы над Германией и мысленно связывал с этой победой скорое возвращение к мирной жизни.

В то время не только для Копылова, но и для многих людей, вынесших на себе всю тяжесть войны на Западе, истосковавшихся по родным и близким, познавших горечь длительной разлуки, оторванных от дома, от любимого дела, трудно было свыкнуться с мыслью о том, что служба ещё не кончена, что возвращение откладывается. Ведь далеко не все представляли себе тогда, как разыграются события на Дальнем Востоке, не все понимали, что без разгрома Японии победа будет неполной.

Словом, в образе Копылова, в его поведении заложены начатки интересной жизненной коллизии. К сожалению, Р. Палехов разрешил её недостаточно убедительно. Его Копылов, пристыжённый товарищами и генералом, мгновенно осознаёт ошибочность своей позиции, и линия эта, едва наметившись, быстро и бесследно исчезает.

Что же движет, в таком случае, повествование, если говорить не о ходе военных операций, не о действиях частей и подразделений, то есть не о красочном описании трудного марша, заполнившего первую половину повести, и не о боевых эпизодах, которые мелькают во второй половине, а о раскрытии человеческих ха-

рактеров в их живом общении между собой? Есть ли здесь сквозная сюжетная линия? Да, она есть. Это — любовь капитана Колчина к случайно встреченной им в монгольской степи молодой связистке Саше Терновой, давней, подруге его покойной жены. Тут, как я уже говорил, Р. Палехов идёт по избитой беллетристической дорожке условно литературных построений.

Саша Тернова и капитан Колчин, которых сближает общность воспоминаний, тянутся друг к другу. Но к Саше равнодушен выхолонный штабной офицер, майор Белецкий, в которого в свою очередь влюблена лейтенант Мария Владыко. Весь этот «любовный четырёхугольник» как бы пристёгнут к основному повествованию едва ли не из соображений занимательности. Ещё бы, любовь, соперничество, ревность!..

Сумей автор в полную меру показать силу чувства своих героев, их душевное богатство, сложность и необычность их переживаний, связанную с фронтовой обстановкой, — всё было бы по-иному. Но в tomto и дело, что любовь суховатого, сдержанного, аскетичного капитана Колчина и большеглазой, но маловыразительной девушки, Саши, носит с обеих сторон какой-то вялый характер и лишена подлинного лиризма. Любовь эта, с одной стороны, кажется случайной, эмоционально не подкреплённой, а с другой — в ней явственно ощущается сюжетная нарочитость, авторская преднамеренность.

Ничто не изменилось в душевном облике Колчина, да и Саши тоже под влиянием этой любви. И мы понимаем, что эмоциональная скованность командира роты разведки, всегда наглухо застёгнутого на все пуговицы, оказывается спасительной чертой характера, спасительной не для него самого, а для автора в работе над образом Колчина. Так ведь часто бывает, что, не найдя ярких красок для своего героя, не умея глубоко проникнуть в его внутренний мир, писатель наделяет хорошего человека излишней сдержанностью только потому, что она сулит избавление от хлопот и поисков. Мол, что поделаешь, такой уж он замкнутый уродился, неохотно раскрывается на людях. Так авторская скупость порой превращается в определяющий признак поведения героя, неизбежно обедняя его образ.

По поводу Колчина с Р. Палеховым хочется поспорить. Прежде всего, обстоятель-

ства жизни капитана позволяют предполагать в нём куда более многогранную натуру. А кроме того, будь он даже сухарём и «службистом», внезапная любовь с неизбежностью должна была пробудить в нём какие-то дремлющие, скрытые от него самого душевные силы, активизировать его психику, остроту его мироощущения. Но, даже приняв Колчина таким, каким он изображён, читатель, наверно, заметит, что командир роты разведчиков не одинок в своей отрешённости от всего, что не есть его военная профессия. Ведь командир полка Аверин по существу повторяет образ Колчина, только в другом звании, в другой должности, с другим кругом обязанностей.

Вот стоят перед нами Колчин и Аверин. Мы так мало знаем об их индивидуальных человеческих свойствах, о темпераменте, жизненных навыках, привычках, пристрастиях, любимых мыслях, манере говорить, вкусах, душевных запросах, словом, обо всём том, что делает их разными людьми, помимо анкетных несовпадений, что порой можем принять их за двойников.

А персонажей в повести Р. Палехова много, и чем дальше, тем больше бросается в глаза их парность, их взаимозаменяемость, а частенько и просто необязательность. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить, например, образы командира роты тяжёлых танков капитана Рудакова и командира мотострелковой роты старшего лейтенанта Годунова, старшины Копылова и старшины Ступачёва, молодых бойцов Ниткина и Королёва, бывалых разведчиков Машина и Бекаса, связисток Вали и Люды, не говоря уже о многих других офицерах и рядовых, чьи бледные тени вовсе не оставляют по себе памяти. (Недаром на обсуждении повести в Союзе писателей Р. Палехову рекомендовали перед отдельным изданием некоторых из них для пользы дела, что называется, уволить в запас.)

Погибает механик-водитель Одинцов, погибает старший лейтенант Годунов, но мы не ощущаем всего трагизма утраты, потому что в сущности не знаем, кого мы потеряли. Мы не успели сблизиться с этими людьми, заинтересоваться ими, проникнуться их неповторимыми переживаниями, их чувствами и мыслями. Но и с теми, что остаются в живых, читатель расстаётся в конце повести, тоже не проявляя большой заинтересованности в их дальнейшей судь-

бе, хотя искренне радуется вместе с ними одержанной победе, капитуляции Японии, освобождению жителей Северного Китая.

Ну, а Колчин, а «любовный четырёхугольник»? Ведь здесь — сюжетный узел повести. Да, и он разрешается с той же наивной предумышленностью, с какой и завязывается. В нужный момент майор Белецкий проявляет трусость и начисто дискредитирует себя в глазах Марии Владыко, тем самым освобождая автора от всяких психологических трудностей, которые ему угрожали. А капитан Колчин и Саша Тернова к финалу благополучно находят счастье друг в друге. У них всё улажено, всё, наверно, будет теперь хорошо, но вы стоите в стороне от их благополучия и думаете о другом. О чём же? О том, что для этого решения они созрели где-то на полях повести, о том, что движение войск заслонило от автора движение его основных характеров.

Насколько Р. Палехов естественно и произвольно разворачивает перед нами общую панораму военных действий, настолько он не может скрыть заранее обдуманного намерения в том, что касается взаимоотношений его главных героев. И, как всегда в таких случаях, схематический замысел оборачивается досадным умыслом.

Капитан Колчин встретил свою давнюю знакомую Сашу Тернову там, где, казалось бы, меньше всего мог на это рассчитывать. Что ж, вполне возможная случайность, одно из тех совпадений, которые сопутствуют нам в реальной жизни и которые так часто поражали нас на войне. Но ведь и старшина Копылов встречает свою Лилю тоже после долгой разлуки и тоже по неведомому капризу судьбы. Больше того, потеряв всякую связь с Лилей несколько лет назад, Копылов, тем не менее, почему-то ищет её на всех остановках по пути из Восточной Пруссии в Забайкалье, с тем чтобы по авторской воле (а вернее — по авторскому произволу) счастливо встретиться с ней на станции Борзя, у самой монгольской границы.

И невольно возникает вопрос — а не помешались ли в сюжетных построениях Р. Палехова случайность и закономерность своими ролями? Ведь случайность художественно оправдана и убедительна лишь в том случае, если она действительно случайна в глазах читателя, а не откровенно подготовлена заранее. Здесь же редкостное сте-

чение обстоятельств попросту подстроено и призвано заменить собой опущенные реалистические мотивировки (необходимость которых, кстати сказать, стала от этого ещё более очевидной). Даже допустив возможность и этого чудесного совпадения, мы всё же хотим знать, как и почему Лиля очутилась именно на станции Борзя, какие именно жизненные обстоятельства забросили её туда.

Освободив себя от таких объяснений, писатель из художника-реалиста превращается просто в доброго волшебника, больше всего обеспокоенного благополучием своих подопечных и устройством их дел. Задумайтесь над тем, как симметрично сводит судьба капитана Колчина и капитана Рудакова в трудную минуту, и вы убедитесь, что это не придрка. Сначала разведчики Колчина выручают танкистов Рудакова на поле боя где-то в Литве, а в конце танкисты Рудакова выручают разведчиков Колчина на поле боя в Маньчжурии. Могло ли так произойти в жизни? Могло-то могло, да уж больно что-то гладко получается.

Конечно, все эти сюжетные расчёты, а правильное сказать — просчёты, — следствие писательской неискущённости Р. Палехова. Но как только ему представляется возможность выйти за пределы тяготеющей над ним фабульной схемы и обратиться к фону, на котором она развивается, так Р. Палехов обретает творческую свободу. Хроникальная линия повести (особенно в первой её половине) пленяет нас именно подлинностью и достоверностью описаний. Тут мы имеем дело с тонким, наблюдательным художником, знающим цену взыскательно отобранной детали, меткому слову, верной интонации.

День сменяется ночью, эпизод следует за эпизодом, постепенно накапливаются выразительные подробности, и вот вы уже вовлечены в жизнь армии, могучей поступью идущей к новой победе, вы ощущаете её силу, её огромность, её несокрушимое моральное величие, её высокий воинский дух. Вы погружаетесь в атмосферу этого небы-

валога похода, чувствуете себя перенесённым волей искусства на другой конец света, испытываете вместе с бойцами палящий зной и томительную жажду, невольно участвуете в полных оптимизма, товарищеского благородства и добродушного юмора солдатских разговорах и как бы сами входите в это великое воинское братство, проникаясь его повседневными тяготами и возвышенными целями.

Быть может, ни в чём так наглядно не проявляет Р. Палехов своих творческих возможностей, как в пейзаже. Он очень чуток к природе, к её краскам, запахам, звукам. Причудливый свет монгольских зорь, шелест чужих трав, аромат молчаливых степей, шемящее однообразие плоской равнины и грозное нагромождение пустынных скал — всё это вы не только видите, слышите, ощущаете, но и уносите в сердце как своё переживание, как испытание чувств, как думы о будущем и тоску по дому, как решимость и волю преодолеть трудности до конца. Пейзажи Р. Палехова содержательны, напряжённые и поэтичны. Образная свобода стихотворения в прозе сочетается в них с лаконизмом и точностью военного донесения, они схвачены глазом разведчика и художника одновременно. В этом их своеобразие, в этом их прелесть.

«Через перевалы» — первое произведение молодого писателя, в прошлом строевого офицера, после войны сменившего оружие на перо журналиста. И достоинства и недостатки этой повести в той же мере очевидны, в какой и поучительны для многих других молодых писателей, которым ещё предстоит подтянуть литературное мастерство до уровня своей одарённости. Р. Палехов идёт к творчеству от жизни, от хорошего знания действительности, от накопленных богатств пережитого. И потому можно твёрдо рассчитывать на то, что его ждут настоящие успехи, что он преодолет трудные перевалы, стоящие на его литературном пути.

Б. РУНИН.

Неоправданные положения и надуманные конфликты

Журнал «Октябрь» опубликовал повесть В. Ревунова «Меж крутых берегов». В. Ревунов — писатель молодой и несомненно способный, повесть «Меж крутых берегов» — его первое крупное произведение. Название повести, взятое из русской народной песни, сразу же рождает в памяти образ Волги — величавой и могучей русской реки. О Волге писали много. Что же нового скажет о ней и о людях, живущих на её берегах, молодой писатель? Этот вопрос невольно задаёт себе читатель, раскрывая повесть В. Ревунова.

Есть в повести страницы, написанные взволнованно, с подлинно поэтическим чувством. И всё же, как это ни огорчительно, (ведь речь идёт о молодом писателе), нельзя признать повесть удачной.

В печати появилось несколько рецензий на это произведение. В них говорилось о серьёзных недостатках повести: о литературных штампах, о вялости, бледности отдельных героев и о том, что отношения между ними иногда надуманны, и т. п.

Всё это, несомненно, есть. Герои повести, действительно, зачастую описаны бледно, и отношения между ними не всегда обоснованы. Однако главный её недостаток заключается, на наш взгляд, в том, что автор не сумел раскрыть должным образом основной темы своего произведения.

О людях — покорителях природы, строителях новой, счастливой жизни хотел рассказать В. Ревунов. Он описывает работу разведывательной партии геологов, которые должны определить место строительства плотины Сталинградской ГЭС. Судя по началу произведения, автор в силах нарисовать широкую, увлекательную картину героического труда. Первые страницы повести свидетельствуют о несомненной одарённости автора, о наличии у него хорошего художественного вкуса.

Читателя захватывает описание песчаной заволжской степи, в которой разыгрывается чёрная буря. Сквозь режущую мглу по дороге движется автоколонна геологической партии, проезжающей на Волгу, в хутор Осадная балка. Навстречу им попадает девушка на мотоцикле. Автоколонна оста-

навливается. Из головной машины выходит молодой инженер Андрей Чокарев, чтобы спросить девушку, далеко ли до хутора. Увидев глаза волжанки, Андрей чуть не вскрикнул, до того они показались ему знакомы. Но где он видел эти глаза — Андрей не мог вспомнить. И автоколонна двинулась дальше.

Затем идёт описание генеалогической линии встреченной девушки. Автор возвращается к давно прошедшим временам, чтобы попутно познакомить читателя с тем, как прежде жили люди на Волге, с борьбой трудового народа за своё счастье.

Это отступление вполне уместно. Но беда в том, что сделано оно отрывочно, неряшливо. И чем дальше читаем мы повесть, тем ошутимее выступают её недостатки. События в повести разрываются на отдельные мелкие куски. Не успеет читатель сосредоточиться на одном действии, как автор начинает описывать другое, иногда ничем не связанное с первым. Эта разбросанность и «многоплановость» приводят к тому, что читателю почти невозможно уследить за ходом мысли автора и уловить единство и связь событий.

В художественном произведении автор выражает свои идеи через образы людей и их взаимоотношения. В. Ревунов, к сожалению, ещё слабо умеет создавать яркие индивидуальные характеры. Это видно даже в том, как он рисует чисто внешние портреты. Некоторые персонажи до малейших деталей похожи друг на друга, как будто сделаны по одному эталону. «Напористой силой веяло от крутого поворота его головы и от всего плечистого, крепкого тела» — это портрет начальника изыскательной партии Крепова. «Он стоял, держась сильной рукой за столб стойки, и бритой головой едва не касался верха палатки» — это парторг Нечаев. Председатель колхоза Кривозернов — «высокий мужчина с усами, концы которых были молодецки закручены к красным, крепким щекам». Инженер Лозниц — «плечистый, высокий мужчина с красивыми глазами». Буровой мастер Антон Клюев тоже «высокий, чуть сутуловатый мужчина в расстёгнутой гимнастёрке». Начальник «Сталинградгидростроя» Лобанов — «необыкновенно высокий мужчина с могучими плечами». Неужели у автора повести не нашлось для своих героев других красок и

В. Ревунов. «Меж крутых берегов». Повесть. Журнал «Октябрь», №№ 1, 2 за 1954 год.

примет, кроме высокого роста и могучих плеч?

Неопытностью писателя можно объяснить и тот факт, что в повести имеются ничем не оправданные положения. Вот один характерный пример.

Геологи выполняют ответственное задание: они должны определить место строительства плотины для гидростанции. Начальник разведывательной партии Скрепов объявляет на совещании инженеров и начальников буровых вышек, что в Москве установлены для разведки очень короткие сроки: через три месяца строители должны иметь все необходимые им данные. Некоторые специалисты сомневаются, сумеют ли они выдержать эти сроки. Таких темп разведки ещё не знала история гидростроительства. Нужно по меньшей мере полгода, считают они, чтобы выяснить полную картину волжского дна и определить место строительства плотины.

В палатке разгораются споры. Но сознание ответственности перед страной и вера в успех дела побеждают.

«—На нас, как мать на своего ребёнка, глядит вся страна,— говорит парторг Нечаев.— Нам дали машины, передвижные электростанции. Люди у нас в большинстве своём даровитые — мастера и инженеры, которые любят своё дело. Этого нельзя забывать. Нам дали — с нас в праве требовать быстрой и точной разведки».

Геологи берут обязательство выполнить задание в срок и немедленно приступают к бурению. Это решение вполне естественно. Оно показывает трудовой энтузиазм советских людей, которые стремятся для решения поставленной задачи использовать производительность каждую минуту. Однако в описании В. Ревунова это происходит довольно странно.

Бригада Саша Сердобинцева, чтобы выйти в передовые, решила начать работу ночью, тайком от других. Боясь, как бы не раскрыли их замысла, бригадир даже горючее для мотора берёт не на складе, а занимает у жителей хутора, и тоже ночью. Но замысел бригады всё же раскрывается. «В ту самую минуту, когда участники совещания уже расходились, в палатку вбежала коллектор Тоня из нечаевской бригады и крикнула:

— Сердобинцев на свою буровую пошёл!

Через несколько минут машины с бригадами уже мчались к Волге».

Такая «организация» соревнования в столь ответственном деле вызывает у читателя ироническую улыбку. Ибо кто может поверить, чтобы люди, решающие задачу большой государственной важности, утаивали друг от друга свою работу? Но автор, видимо, не замечает этого. Наоборот, стараясь, очевидно, «подчеркнуть» трудовой подъём среди геологов, он заставляет их действовать главным образом ночью. Ночью в штабе разведки решают вопрос о сроках бурения; среди непроглядной ночной темноты бригада Сердобинцева бежит на свою вышку, чтобы первой начать бурение скважин; ночью начальник разведки Скрепов осматривает в бригадах тепляки и переправляется на остров, чтобы проверить ход работ; ночью Захар и Артём гонят по Волге плоты леса.

Погоня за такой «оригинальностью» иногда приводит писателя к курьёзам, вроде следующего.

На стройке создается серьёзное положение — обнаружен сброс. Для полного выяснения состояния волжского дна требуется закладка новых скважин, а сроки бурения уже проходят. Дорога каждая минута, и люди на буровых вышках работают круглые сутки. Для выяснения дела и помощи в работе к геологам приезжает начальник «Сталинградгидростроя» Лобанов. Он оказывается старым знакомым Скрепова, и вот между ними вместо делового разговора происходит семейное пикирование. Ничего не выяснив о положении дела со сбросом, Лобанов буквально через несколько минут уезжает. И что же он увидел перед отъездом, чем занимались люди, стремившиеся в срок закончить бурение?

На берегу толпилась смена рабочих, ожидавших переправы. Все были увлечены единоборством коменданта переправы Захара с лучшим буровым мастером Сердобинцевым. Залюбовались весёлой картиной и Скрепов с Лобановым. Схватка была до того азартной, что мотористу пришлось разливать борцов водой.

«—Катер ждёт, а их не разнимешь никак, товарищ начальник,— доложил моторист Скрепову.

Захар и Саша перемигнулись и мигом подхватили моториста.

— В Волгу его!

— Пустите, дьяволы!

— Ничего, не княжик: выплывешь!

Лобанов восхищённым взором проводил Захара до его комендантской».

Вряд ли читатель поверит в действительность этой весёлой картины в столь напряжённый момент. Она вызывает лишь досаду; писатель явно увлекается не тем, чем нужно. А подобных несообразностей в повести немало.

Вот вновь прибывшие на стройку рабочие переправляются через Волгу. В их числе — молодая девушка Варя. Моторист катера говорит, что он может взять только десять человек, и, посадив их, отбрасывает трап. Что же делает Варя? Она снова бросает трап на берег, сажает остальных пассажиров и сама становится к штурвалу. Моторист, стоявший на борту, от движения катера падает в воду. На катере «рванулся хохот», все были восхищены поступком «прекрасной незнакомки».

А вот Андрей Чокарев заходит в дом Захара и его внучки Ани. Обрадованный дед собирается «отметить встречу» и долго ищет, в чём ему принести вино. «Сумки, плетёные и полотняные, чемоданы и чемоданчики — всё летело прочь. И, наконец, наткнувшись на мешок, он развернул его. Примерил. Был этот мешок длинной от бороды и до пола, в ширину же — по плечам Захара — косая сажень». Правда, автор не рассказывает о результатах встречи, да это и понятно: ведь трудно рассказать, как происходили столь обильные возлияния, чем они кончились и как могли вообще два друга опорожнить за один присест... мешок вина.

Так вместо показа трудового энтузиазма людей, выполняющих ответственное задание, автор увлекается описанием весёлых, надуманных эпизодов.

Имеются в повести и личные конфликты, но показаны они тоже так, что кажутся неестественными, надуманными.

Во время Отечественной войны Андрей Чокарев отстаивал Сталинград от фашистских захватчиков. Девочка-подросток Аня, жившая в районе боевых действий, вместе с матерью и дедом Захаром помогала советским воинам: носила им в окопы воду, перевязывала раненых. Во время одной из тяжёлых схваток, когда фашисты прорывались к Волге, Аня с матерью перевозила в лодке раненых бойцов на другой берег. На середине реки мать погибла от разрыва

мины, и Аня одна довезла раненых до берега, к Сталинграду. Среди спасённых ею бойцов был и лейтенант Чокарев.

И вот теперь Андрей и Аня снова встречаются на строительстве гидростанции. Строительство производится на том месте, где Андрей бился с фашистами. Теперь он — инженер-геолог, Аня — студентка медицинского института. Об этой встрече они мечтали несколько лет, с того самого дня, как Андрей был спасён Аней от смерти. Они уже влюблены друг в друга, им осталось только объясниться... Кажется, теперь такой случай предвидится. Но, странное дело: желанного объяснения не происходит не только при встрече, — на протяжении всей повести они даже намёка не делают друг другу о своих чувствах. Только в самом конце произведения, во время Октябрьского праздника в Сталинграде, Андрей и Аня выбежали из колонны демонстрантов, вбежали на чердак нового дома, и здесь он «обнял её и поцеловал».

Может быть, имелись какие-нибудь причины, мешавшие влюблённым объясниться раньше? В повести таких причин нет. Между Андреем и Аней не происходит никакой ссоры, работают они вместе, живут рядом. Оба они постоянно думают друг о друге, страдают в одиночестве, и читателю просто непонятно такое «утаивание» влюблёнными своих чувств.

Не менее странны и отношения между Сердобинцевым и его невестой Варей, которые накануне свадьбы неожиданно расстаются и в конце повести так же неожиданно мирятся.

Есть в повести и удачные эпизоды. Мы уже говорили о хорошем начале повести. Интересно и убедительно рассказывается о днях героической обороны Сталинграда во время Великой Отечественной войны. Живо, взволнованно описана конференция сторонников мира, праздничный концерт художественной самодеятельности на стройке, особенно выступление Артёма. Волнение, с которым зрители слушают его пение, невольно передаётся читателю.

Но эти отдельные яркие картины не могут скрыть общих недостатков повести, разбросанности эпизодов, отсутствия правдивого и убедительного показа героев и их действий.

Г. ПЕТУХОВ.

★

Начало пути

Роман А. Сахнина «Тучи на рассвете», посвящённый изображению жизни и борьбы корейского народа, хотя и первая книга писателя, но произведение зрелое, написанное уверенной рукой. И это не случайно: автор принадлежит к «бывалым людям» — активным свидетелям и участникам великих событий. А. Сахнин — в прошлом военный корреспондент армейских газет, советский офицер — в годы Великой Отечественной войны участвовал в решающих сражениях на Дальнем Востоке, в переходе через Большой Хинган и освобождении Кореи от долгой и тяжкой японской оккупации.

Богатые жизненные впечатления и наблюдения, то, что Бажов называл «своеглазным знанием», легли в основу романа А. Сахнина. Уважение к корейскому народу, сочувствие его борьбе за независимость помогли писателю создать роман, проникнутый подлинно советским гуманизмом.

Характерной чертой этого гуманизма является непоколебимая и действенная уверенность советских людей в том, что для всех народов существует равное право на счастье.

В ярких картинах быта, в живых образах героев писатель раскрывает нам, как трудолюбивы, честны, справедливы люди Кореи, как прекрасна их земля, как мог быть счастлив этот народ, если бы не многолетний кошмар империалистических грабежей, оккупационного режима.

«Нашу родину называют «Страной утренней тишины», — говорит один из главных героев книги, коммунист Пан Чак. — Это правда. Нет утра красивее нашего, нет более тихого утра, более спокойного утра на земле, чем у нас. Но в этой тишине гибнут люди. Эта тишина заглушает стоны пытаемых в застенках Содаймуна, в этой тишине молча умирают с голоду, и каждого, кто нарушит эту тишину, ждёт самурайский меч.

Нашу дорогую родину называют «Страной утренней свежести». И это правда. Нет чудесней прохлады нашего утреннего горного воздуха. Но этот воздух отняли у нас японцы. Нам нечем дышать!»

Книга советского писателя проникнута глубоким сочувствием к простым трудовым

людям Кореи, заслуживающим лучшей, счастливой доли. В центре повествования автором поставлены две семьи: крестьянская — семья Пак Собана из деревни «Змеиный хвост» и рыбацкая — семья Пан Юр Ила с острова Кочжедо. Вокруг них группируются все остальные герои. Судьбы главных персонажей романа позволяют А. Сахнину показать в разрезе все слои населения Кореи.

Крестьянин Пак Собан недаром носит трагическое прозвище — Пак-«неудачник». Несмотря на тяжкие и героические усилия удержаться на поверхности жизненного потока, он захвачен водоворотом событий, который неумолимо несёт его, бьёт о камни, тянет ко дну. Страшный, нечеловеческий труд не может спасти ни его, ни его семью от разорения. Тщетны все усилия «неудачника». Напрасно ежедневно, «голодный и измученный, он возвращался домой, когда становилось совсем темно. Шатаясь от усталости, брёл словно в забытьи, без мыслей, без чувств, ничего не видя и не слыша вокруг. Не зажигая кунжутной копилки, не раздеваясь, валялся на тощую цыновку, чтобы с зарёю снова выйти в поле». Ничто не могло, казалось бы, изменить судьбу «неудачника»: всё уходит из его рук, всё тает, как дым, — урожай, земля, счастье.

Пак Собан — простой, честный труженик, которого загнала стая хищников. «Он любил землю, и она тоже отвечала ему любовью — благодарная, вскормленная им земля». Но богатый урожай, добытый им в поле, где каждый стебелёк был им обласкан и каждая пядь земли полита его потом, разворовывают жадные руки оккупантов и корейских помещиков. Из поколения в поколение, ещё от дедов и прадедов тянутся долговые обязательства крестьянской семьи. И расплатиться с помещиками никогда не удаётся. Долг всё растёт, переходит по наследству, всё более невыносимым гнётом ложась на плечи тружеников, пока наконец не разоряет их, не сгоняет с родного клочка земли. Такова судьба Пака-«неудачника». Ему остаётся вместе с семьёй или идти в батраки на помещичий двор и влачить там рабское существование, или бежать в горы, жить дикой и голодной жизнью хвандеминов, возделывая крутые каменистые сопки. Землю здесь «надо было

вырвать, отвоевать у горы — эту землю, покрытую валунами и острыми камнями, перевитую корнями сухого, цепкого кустарника, пересохшую, выжженную и бесплодную».

А. Сахнин с подлинным знанием не только своеобразия быта, но и всего реального переплетения социальных противоречий в старой Корее рассказывает о судьбе крестьянства, лишённого и земли и права на труд.

Другую сторону общественной жизни Кореи в годы японского владычества рисует автор, говоря о второй семье — о рыбаках с острова Кочжедо. Подобно тому, как крестьян сгоняют с земли помещики, так и рыбаков вытесняют с моря крупные рыбопромышленные компании.

Японским магнатам принадлежит всё — джонки, снасти, рыбные заводы, море со всеми его богатствами и даже люди. Слово гигантский спрут, присосались бесчисленные насосы и конвейеры японских заводов к рыболовным угодьям на корейских островах. «Как и спрут, японские монополисты отпустят свою жертву, когда высосут из неё всю кровь, когда от неё останется лишь бездыханное тело. Пока в корейских водах есть хоть одна рыба, насосы не остановятся, не прекратят свой бег конвейеры».

Жестокий конвейер эксплуатации затягивает, ломает, перемалывает и судьбы людей, связанных с промыслами. Работницы рыбного завода лишены счастливого материнства. Им приходится вместе с грудными детьми стоять у насосов на приёмочных баржах и разделять рыбу. Здесь потеряла маленького сына рыбака Хе Сун. После долгих лет тяжкого труда был выброшен с промыслов за неблагонадёжность её муж — Пан Юр Ил. Ему пришлось уехать на север Кореи, поступить к американцам на золотой рудник, где он и погиб, надорвавшись на работе.

Писатель показывает, как неумолимо идёт процесс разорения корейских тружеников, как между ними и их землёй, их морем, их родиной встаёт хищная сила капитализма, превращая истинных хозяев Кореи в нищих отщепенцев, в изгоев.

Разрушительные силы старой Кореи воплощены в трёх основных образах. Первый из них — это предатель-палач Чо Ден Ок, выслуживающийся перед оккупантами с помощью доносов и уничтожения десятков и

сотен жизней своих соотечественников. Он мечтает «давить, душить, резать, пытать каждого подозрительного. А на подозрении у него все». Второй — фабрикант Пэ Чер Як. Он смертельно ненавидит и боится своих рабочих. Угрозами и посулами он принуждает замученных, отупевших от непосильного труда на текстильной фабрике девушек-работниц доносить ему, о чём говорят в цехах. И, наконец, третий — помещик Ли Ду Хан, который жаждет захватить всё: и землю, и реки, и озёра. «Он перегордит плотинами горные потоки и будет давать воду на поля только тем, кто сможет платить вперёд. Шлюзы на плотине он запрет, а ключи привяжет к кушаку. За стирку белья на озере пусть платят, и за ловлю рыбы пусть тоже платят. Хотя нет, рыбу он не разрешит ловить — у него будут свои рыбаки, чтобы вся добыча шла ему».

Советский писатель не остановился на половине пути: он не ограничился изображением мрачных картин ограбления и угнетения корейского народа. Книга А. Сахнина оптимистична и жизнеутверждающа, так как он раскрывает процесс созревания в недрах старого общества новых сил, сил борьбы и созидания. Писатель рисует процесс рождения молодой, революционной Кореи.

На страницах романа «Тучи на рассвете» показано, как под ударами капитализма происходит распад патриархальных семей — крестьянской Пак Собана и рыбацкой — Пан Юр Ила. Молодое поколение идёт уже своим особым путём. Из деревни, от земли уходят в город сыновья Пака — «неудачника». Сунув за пазуху початок варёной кукурузы, навсегда покидает отчий дом старший его сын — Сен Чель. Он «бросил отца, научившего его возделывать землю, и бросил землю, вскормившую его». Но Сен Чель не повторяет судьбы своего отца. Он уходит из родной деревни, не только спасаясь от невыносимого помещичьего гнёта, но прежде всего потому, что ищет путей к освобождению народа от страданий. Сен Чель делается рабочим паровозного депо, вступает в подпольную коммунистическую организацию, участвует в забастовках. Он, как и многие корейские патриоты, уходит в Китай, чтобы принять участие в великой схватке китайского народа с японским империализмом. В ней два дружественных народа, как позднее в годы американской агрессии против Кореи, сражались плечом

к плечу против общего врага. Судьбы Сен Челя и его друга, Пан Чака, показывают, что именно в Китае корейские партизаны армии Ким Ир Сена получили не только своё первое боевое крещение, но и прошли революционную школу борьбы.

Иной путь избирает младший сын Пака — «неудачника» — Сен Дин. Он не восстаёт против угнетателей, а старается урвать кусок с их стола, приспособиться к ним любыми средствами, даже путём преступлений и предательств. Сен Дин как бы дополняет Чо Ден Ока. Если тот уже добился своей цели, пришёл к власти, хотя бы и в качестве палача родного народа, то Сен Дин находится ещё только в самом начале пути. Автор романа, раскрывая истоки жизненного явления, вместе с тем произносит ему приговор, убедительно показав обречённость героя, связавшего свою жизнь со старым, уходящим миром.

Рядом со старшим братом коммунистом становится дочь Пака Собана, маленькая Мен Хи. Рано, ещё ребёнком, столкнулась она с несправедливым, уродливым устройством жизни. После того, как тропический ливень смыл крохотное поле, отвоёванное хвандемином на склоне горы, отец Мен Хи, чтобы спасти семью от голодной смерти, продал девочку в дом помещика Ли Ду Хана. «Там она научилась прятать от людей свои мысли, не рассуждать, не жаловаться, даже когда боль становилась невыносимой... Она молча терпела, молча сносила обиды...»

Писатель раскрывает, как постепенно в душе Мен Хи, чистой и справедливой, как сама юность, зреет протест против гнёта, против унижения трудового человека. После бегства из помещичьего дома, странствуя по дорогам Кореи, девочка видит, как страшно, как тяжело живёт её народ. Однажды встречает она колонну арестованных корейцев, которых гонят японские солдаты на работу в каменоломни. Мен Хи спрашивает у населения, в чём вина этих людей. «Есть хотят», — отвечает ей старик-крестьянин. «Из деревень, с гор, с долин сгоняют... — И, помолчав, добавляет: — А только всех не угнать, как не угнать ветру воду из океана». Жизненные уроки, полученные Мен Хи, не пропали даром. И когда она оказалась на сеульской текстильной фабрике, превратилась в безмянного «человека № 726», она нашла в себе силы выстоять, не поддаваясь на подкупы Пэ

Чер Яка, а затем найти дорогу к коммунистам, к тем, кто борется за счастье народа. Автор романа сумел самой логикой событий, логикой развития характеров, раскрыть всю закономерность превращения забитой крестьянской девушки в активного участника революционного движения.

Тот же самый путь проходит и сын рыбака Пан Чак. Его жизненная школа ещё более сурова и жестока, чем у Мен Хи, но и более героична. Изведанный им рабский труд и на рыбных промыслах и на золотых рудниках порождает в сердце юноши чувство гнева и ненависти к «хозяевам жизни», обрекающим тружеников на голод, нищету и смерть. Безымянная могила, в которой погребён отец Пан Чака, — символ судьбы всех тех, кто попал в беспощадный конвейер капиталистической эксплуатации. Пан Чак восстаёт против страшного мира, враждебного простому трудовому человеку. Он становится коммунистом.

Рисуя жизнь своего героя, автор романа показывает всю остроту борьбы, какая разгорается в порабощённой Корее, размах революционного движения, обусловленного тем, что «наинизшие низы» общества поднимаются против угнетателей. И остановить это движение невозможно ни предательством Чо Ден Оков, ни ужасами застенков Содаймуна — политической тюрьмы в Сеуле, ни мучительными казнями сотен и тысяч людей.

Пан Чак проходит в Содаймуне через все испытания, пытки, издевательства — с них в книге А. Сахнина рассказано без натуралистических подробностей, сурово и мужественно, — но ничто его не может сломить. Он противостоит своим палачам как человек будущего, бессмертия которого — в грядущей и неизбежной победе народа. «В помещении, куда его привели, сидели Такагава, Чо Ден Ок и ещё какой-то японец. Пан Чак остановился посреди комнаты и стал смотреть на них, и ему не было страшно. Он знал, что умрёт в этой комнате. И те, что сидели за столом, перед кем трепетали сотни людей, показались ему маленькими и слабыми».

В романе «Тучи на рассвете» писатель вывел целую группу корейских коммунистов, людей, которые возглавили революционную борьбу своего народа. Рядом с молодыми партийными работниками, Пан Чаком и Сен Челем, стоят опытные подпольщики — рабочие Ван Гун, Чан Бон и

учитель Ким Хва Си. Это подлинные патристы, горячо любящие родную землю, свой народ. Волнующе рассказано советским писателем о переживаниях старой работницы, коммунистки Мин Сун Ен, когда она видит, как после бегства хозяина фабрики текстильщицы осознают происшедший в их жизни великий перелом. Они впервые видят мир радостным и добрым, они впервые смеются. «Мин Сун Ен смотрит на женщин. Всю свою жизнь она работала на текстильных фабриках. И все ткачихи, которых она знала, — и те, что давно умерли, и те, которых похоронили всего два-три дня назад, и те, что сейчас стоят вот здесь, — всегда были одинаково молчаливы. Каждый день они молча приходили в цех, молча сгибались у ненавистного барабана, молча в темноте плелись в барак, молча умирали. Они улыбались только по необходимости: когда бил надсмотрщик — чтобы перестал бить; когда падали на землю от истощения — чтобы не выгнали с работы; когда получали увечье — чтобы не судили за саботаж в военное время... Взгляд Мин Сун Ен останавливается на Мен Хи. Девушка стоит возле своей машины и сосредоточенно вытирает тряпочкой барабан, ласково гладит его рукой. Мин Сун Ен не может оторвать глаз от Мен Хи и не может сдержать слёз».

Рядом с героями романа — коммунистами должен быть поставлен и лирический образ рассказчика, который, несмотря на всю объективность и сдержанность повествования, явственно проступает в книге. И действительно, жизнь трудолюбивого, умного, талантливого корейского народа показана нам сквозь призму восприятия советского человека.

Именно его глубокое сострадание к порабощённым труженикам, его несокрушимая уверенность в праве каждого народа на счастье и порождают тот драматический лиризм, который характеризует лучшие страницы романа, ту взволнованность, с какой обрисованы основные образы книги.

Сильный, героический характер Пан Чака, нежная и стойкая Мен Хи выступают в романе «Тучи на рассвете» как воплощение молодой Кореи, Кореи пробуждённой, свергнувшей иго оккупации и начинающей строительство новой жизни.

Роман «Тучи на рассвете» не только гуманистичен, это — произведение, проникнутое подлинным советским патриотизмом.

В сложном переплетении судеб героев, в неумолимой закономерности развития событий читателю раскрывается всё историческое значение освободительного подвига советского народа. В ходе Великой Отечественной войны им была разбита военная машина германского фашизма и сломлен японский империализм на Дальнем Востоке. Долгожданную свободу исстрадавшемуся корейскому народу принесли советские люди, протянув ему руку братской помощи.

В завершающих главах романа А. Сахнина показано, как наступает рассвет новой жизни в Корее.

И здесь необходимо сделать автору ряд существенных упреков. Бросается в глаза, что конец книги скомкан, рассказан торопливо, скороговоркой. Это становится очевидным при сравнении третьей части романа, говорящей о новой Корее, с двумя первыми, в которых повествуется о периоде японской оккупации. Первые части разработаны основательно, с добротным знанием всех деталей быта, с необходимыми мотивировками поступков героев — социальными и психологическими. Третья часть носит скорее характер эпилога, в котором автор спешит завершить судьбы героев. Беглость тут неправомерна, так как эта часть имеет для развития темы важное значение. Автор ограничивается лишь несколькими лирическими сценами — из них некоторые по-настоящему поэтичны, — но этого мало. Писатель обладает и подлинным дарованием и знанием своего материала — что весьма важно для художника, — а потому имеет все возможности в полный голос рассказать о великих переменах в жизни корейского народа.

Сцены жизни в освобождённой Корее, которые даны в книге, глубоко волнуют советского читателя.

Реальная во всех своих деталях картина раздачи крестьянам помещицкой земли в Северной Корее, где власть принадлежит Народно-Демократической Республике, — предстаёт в романе как образное обобщение важнейшего явления современной истории. Земля со всеми её богатствами наконец возвращается к подлинным хозяевам, к тем, кто её возделывал, любил, берёт.

Роман заканчивается поэтической сценой, знаменующей победу Пака Собана и тысяч ему подобных тружеников над судьбой «неудачника». «На рассвете Пак вышел из хижины и отправился взглянуть на поле,

которое теперь принадлежало ему... Паку казалось, что он пришёл сюда впервые: так сладостен был запах освобождённой земли. Он лёг на землю, обнял её руками, прижался к ней грудью, и обильные слёзы потекли по его сухому, изрезанному морщинами лицу. Он гладил её своими мозолистыми руками, и казалось ему, что эти руки, истомлённые в подневольном труде, наливаются соками жизни.

Оставаясь верным правде истории, писатель в конце своей книги рисует трагическую картину начала новой — на этот раз американской — оккупации на юге страны. А. Сахнин показывает, что она была не менее жестокой, чем японская, и означала восстановление старой системы эксплуатации и угнетения.

Автор останавливается в преддверии но-

вого этапа истории корейского народа. Тучи вновь сгущаются над прекрасной, радостной землёй Кореи. Народ её впереди ждёт тяжкие испытания — жестокая, беспощадная война крупной индустриальной державы с маленькой мирной страной. Но советский писатель сумел так рассказать в своей книге о мужестве и несокрушимом духе трудовых людей Кореи, что становится ясным — этот народ непобедим.

Роман «Тучи на рассвете» — хорошее начало творческого пути. Произведение это свидетельствует о том, как плодотворно для молодых художников слова следовать животворящим гуманистическим и революционным традициям советской литературы. Именно это и обусловило успех первой книги писателя.

Л. СКОРИНО.



Мелкое решение глубокой темы

Девушки мечтали. Та, которую звали Олей Поповой, произнесла:

— Не помню, в какой книге, у кого сказано, что утро всегда обещает...

И другая, Наташа Певцова, подхватила и призналась: с ней тоже так бывает и всегда утром. Кажется, что именно сегодня должно что-то исполниться...

В новой повести Леонида Борисова «Утро обещает», как и в его предыдущих вещах, люди охотно мечтают. Мучительно прекрасная, таинственная глухонемая была предметом иступлённых мечтаний «Волшебника из Гель-Гью» Александра Грина; один из персонажей сборника «Дунайские волны», гимназист, выражал мечты в стихах:

Ты свои бронзоватые косы
Разбросала на трёх облаках,
Не тебя ли хмельные матросы
Подравляют на белых судах?

Герои этих книг Л. Борисова были так же далеки от реальной современности, как и их мечты. Удивительно ли, что эти выпренные мечты, эти надуманные герои вызвали осуждение, заставившее Л. Борисова всерьёз задуматься над своим творчеством.

Так несколько лет назад появилась «По-

Леонид Борисов. «Утро обещает». Журнал «Звезда», № 6 за 1954 год.

весть о моих друзьях». Писатель, преодолев им же самим воздвигнутую преграду книжных представлений и образов, назвал своими друзьями людей одного из ленинградских заводов и посвятил им повесть. Осознав свои ошибки, писатель попытался найти мечту в самой действительности. Этот единственно верный для литератора путь отнюдь не гарантирует немедленный успех. И хотя повесть нельзя признать удачной, Борисов правильно поступил, решив двигаться по новому для него пути дальше.

Достойную цель — рассказать о повседневных радостях и тревогах рядовых тружеников — поставил перед собой писатель, создавая повесть «Утро обещает». Герои её — рабочие-металлисты, школьницы-старшеклассницы, учителя. В центре повести — проблема большого общественного значения: проблема призвания, выбора профессии, которой, к слову сказать, наши писатели уделяют крайне мало внимания.

А ведь какая это благодарная тема: вступление человека в жизнь, правильное определение своего места в ней! Какие возможности представляет она для раскрытия моральной зрелости, идейной целеустремлённости нашей молодёжи, с одной стороны, а с другой — как важно юношам и девушкам, которым «утро обещает» столь многое;

услышать умное слово писателя-друга, помогающее им найти нужное и полезное дело по душе.

Исходная точка Л. Борисова правильная. Для того, чтобы разрешить тему призвания, нужно воспроизвести нашу действительность такой, какая она есть, ибо эта многообразная и богатая действительность подсказывает каждому подростку, где с наибольшей пользой для себя и для Родины применимы его знания, способности, склонности.

Движимый намерением показать жизнь такой, какая она есть, осуждая устами своего персонажа всякое украшательство и лакировку, писатель не чурался никаких мелочей и подробностей. Больше того, этим мелочам и подробностям он уделил слишком большое, подчеркнутое внимание. И это было уже ошибкой. Повесть заполнилась частностями, которые помогают воссоздавать быт, но мешают воссоздавать жизнь, с самого начала уводят в сторону от разрешения этических вопросов, затронутых в книге. Думается, что Л. Борисов принял быт за жизнь не случайно. Это связано с его прежними эстетическими заблуждениями, при которых самая неземная, «возвышенная» романтика прекрасно уживалась с самыми натуралистическими подробностями обывательского быта. В творчестве Л. Борисова эти заблуждения, видимо, живучи. Они мешают писателю замечать в событиях и людях настоящее и характерное, зато на каждом шагу приковывают внимание к правдоподобному и бытующему, но не столь важному.

...Так о чём же мечтали девушки, о которых мы рассказывали в начале рецензии? «Кто-то придёт, получишь особенное письмо, мама сообщит приятную новость». Главная героиня повести, Наташа, права: действительно «маленькая мечта». А иные, самые заветные девичьи мечты в повести настолько приижены, так «заземлены», что и мечтами их не назовёшь. Это скорее расчётливые matrimониальные планы.

«— Люблю высоких, статных, седых,— мечтательно произнесла Оля.— Если выйду замуж, то непременно за пожилого. Чтобы он был лет на пятнадцать старше!»

— Хоть бы года на три,— сказала Наташа.— Только не офицер. Военные мне не нравятся.

— Люблю артистов,— вмешалась Кума.— Драматических, не тех, которые в кино,

а в театре. Я видела портрет Станиславского, за такого я вышла бы замуж!

— Разболтались кумушки,— проговорила Тринк.— Моя сестра вышла замуж, а мужа через полгода в Азию отправили.

— Зачем? — спросила Кума.

— На работу,— ответила Тринк.— Сестра здесь, он там. Уж если выходить, так подумавши».

Если некогда герои Л. Борисова отличались неумными страстями, то сейчас он наделил их расчётливыми и убийственно рациональными чувствами, полагая, что именно это соответствует нормальным человеческим взаимоотношениям. В то же время отдав в «Повести о моих друзьях» неумеренно щедрую дань производственной тематике (герой этой повести, инженер Лопатин, даже объясняясь с любимой женщиной, всё время сбивался на разговоры о генераторе), автор в последней своей вещи беспощадно осуждает устами Феи Плотникова «производственные» произведения и уже не позволяет себе задержаться в заводском цехе.

А в повести «Утро обещает» как раз недостаёт производства. Заводская жизнь помогла бы автору найти живые черты в рабочих — Павле Петровиче, Феде. Она подсказала бы ему правдивое объяснение очень существенному в книге и важному для читателя решению Наташи поступить после школы на завод.

Идя вразрез с установившимся мнением, которое требует, чтобы отличник, окончив школу, немедленно в институтских стенах приобщался к высшему образованию, и молчаливо предполагает, что работа на производстве — удел двоечников и неудачников, Л. Борисов вывел в своей повести способную и преуспевающую в учении девушку, которая сознательно хочет после десятого класса занять место в цехе. Сама жизнь на множестве примеров показывает правильность такого решения. Перед юношами и девушками нашей страны, получившими среднее образование, открыты все дороги, и дорога на завод, в колхоз, в МТС является никак не последней, а наоборот — одной из самых достойных и почётных. Наташа справедливо считает, что на заводе она не только найдёт применение своим знаниям, но и приумножит их, что здесь ей будет интересно, что здесь она будет расти.

Но, к сожалению, писатель не раскрыл действительных мотивов наташиного по-

ступка. Пытаясь объяснить его, он сказал лишь много туманных и высокопарных слов о рабочем призвании («оно в крови, как зрение и слух, как сердечбиение, как желание любить и испытать счастье»), о призывном голосе предков («прошлое моих предков... зовёт меня, и когда я складываю это прошлое с моим настоящим, получается будущее...»). Решение Наташи вызывает столько толков, споров, возражений, приветствий, что вокруг него невольно появляется ореол исключительности.

«— Все удивляются, что летом или осенью этого года я поступлю на завод, вместо того чтобы сдавать вступительные экзамены в каком-нибудь институте». Так широковещательно в актовом зале перед ученицами старших классов начинает Наташа доклад, посвящённый своему выбору рабочей профессии.

А ведь дело обстоит совсем иначе. То, что решение идти после школы на завод, в колхоз ещё не стало достаточно распространённым, вовсе не означает, что юноши и девушки, уже пришедшие к нему, совершают из ряда вон выходящий поступок, повергающий всех в изумление. Наоборот, именно их поступок является закономерным и разумным. И показать это — одна из немаловажных задач нашей литературы. В своей повести Л. Борисов подошёл к выполнению её. Подошёл, но не решил. Он не раскрыл логичности и целостности наташиного прихода на завод и с точки зрения её самой и с точки зрения государства.

Автор не дал нам почувствовать поэзию и значимость труда рабочих, не раскрыл, что влечёт Наташу на производство. От этого потерпела ущерб правильная и нужная мысль о пополнении рядов рабочего класса образованной и культурной молодёжью.

Автору явно недостаёт сдержанной простоты и естественности при изображении людей. Ему не удалось ещё расстаться с прежней сентиментальностью. Хотя в новой работе Л. Борисова её меньше, чем в прошлых, печать умиления всё же лежит на многих страницах повести, особенно на тех, где говорится о директоре школы Анастасии Лазаревне и старом учителе Савелии Яковлевиче, где описываются рабочие «пирушки» с шампанским, букеты цветов, посылаемых Фёдей Наташе после каждого экзамена.

Ведь если бы столь вредная для писательского зрения розовая дымка не застилала, автору глаза и он трезво смотрел на

Наташу, он увидел бы не только её достоинства, но и некоторые отрицательные качества.

Поначалу нас привлекает в Наташе её вера в своё рабочее призвание, её чуткость к заболевшей матери, её верность памяти отца. Даже когда чувство собственного достоинства принимает у девушки характер некоторой мнительности и излишней шепетильности, Наташа импонирует нам. Думаешь, что эта гордая девушка из хорошей рабочей семьи, не боящаяся невзгод, станет настоящим человеком, полезным обществу. Но постепенно отдельные проявления характера героини заставляют сомневаться в этом. Достоинства Наташи по мере развития событий становятся довольно расплывчатыми добродетелями, зато всё отчётливее делаются чёрточки, которые идут вразрез с нашим первоначальным представлением о ней.

Можно понять и объяснить то, что замужество Анны Михайловны несколько повлияло на её отношения с дочерью, можно допустить, что Наташа, которая свято чтит память отца, как-то уязвлена этим браком. Но нельзя простить Наташе её душевную чёрствость и бестактность по отношению к матери. «...И папу забыла, и я уже тебе не нужна. Всё не то и не так, мама!» — запальчиво упрекает она Анну Михайловну, узнав, что та ждёт ребёнка.

Когда же мать переезжает в новую квартиру (Наташа отказалась ехать с ней и осталась в старой), дочь преисполняется трогательной жалости к себе. «Тоска вдруг сдавила её сердце. Она представила себя в своей комнате среди чужих, посторонних людей. Соседка Галушина — злой враг, гад и жаба. Жариков — милый, добрый старик, но он никогда ничем не в состоянии заменить самое близкое существо — мать... Захочешь чаю — иди на кухню и позаботься сама. И об обеде тоже. Конец домашним, руками матери приготовленным обедам! Прощайте, кислые щи с жирной бараниной, уха из осетрины, пироги с капустой!»

Положительный герой советской литературы должен увлекать читателя, вести его за собой. Воспитательная сила примера Наташи — поступление после средней школы на завод — значительно меньше той, какой она могла быть, завоюет героиня сердца читателей.

Как видно, на Наташу оказывают сильное влияние её подруги. А девицы эти

производит странное впечатление: верящая в приметы Саша Пекарская, за любовь к сплетням и пристрастие совать свой нос, куда не следует, названная Кумой; прозаичная до мозга костей Муся Тринк, мечтающая о должности бухгалтера, которая, «по её мнению, являлась самой спокойной и недурно оплачиваемой»; безликая Оля Попова, которой нужен высокий, седой мужчина на пятнадцать лет старше её; рано свихнувшаяся красавица Ксюша Розанова, считающая, что она «почти дама», и уверенная, что первый брак — это пробный камень, а вообще всякий брак — лотерея.

Да неужто это сегодняшнее утро, которое обещает?

Если для нашей молодёжи в целом характерен смысленный и самоотверженный труд, славные дела на целинных землях, во всех отраслях экономики и культуры, чистота и принципиальность в отношениях с коллективом и друг с другом, то это, разумеется, не значит, что нет у нас молодых мещан и карьеристов, что покончено с «плеенью», что наше юношество не подвержено дурным влияниям и свободно от «родимых пятен» капитализма. Никому бы не пришло в голову упрекнуть писателя, решившего обличить нездоровое в сознании и неприглядное в поведении мещанствующих девиц, показать несоответствие их мыслей, мечтаный, поступков этическим нормам нашего времени. Но в данном случае об обличении не приходится говорить.

И при всём этом в повести есть немало справедливых замечаний о воспитании, школе, есть верные суждения о книгах. Не подлежит сомнению искренность автора, когда он выступает, например, против ненужной зубрёжки, против засорения русского языка, критикует школьные программы за перегруженность мелочами и формализм, упрекает составителей хрестоматий для старших классов и преподавателей в боязни лирической поэзии или резонно замечает, что литераторам нельзя пользоваться только двумя красками — розовой и голубой.

Однако эти правильные общие места представляются заплатами, сделанными совершенно из другой материи, чем сама вещь. Они кажутся, несмотря на отсутствие привычных кавычек, механически включёнными цитатами из статей. Стремление писателя к правильности не подкреплено в повести соответствующей разработкой конкретных

образов, идейно-эстетической определённой подхода к людям и фактам.

Один из основных персонажей повести, Павел Пегрович Озеров, говорит безупречно правильные слова: «...Теперь без образования неинтересно. Жизнь расширилась, начнёшь разбираться в каком-нибудь вопросе и видишь, что ты ничего не видишь», или: «С новым поколением в дружбе жить надо, понимать друг друга полагается...» и т. п. Так и бродит он в повести, начинённый безусловными истинами, с какой-то заискивающей улыбкой бедного родственника улаживает свою будущую падчерицу пирожными, бессильный хоть сколько-нибудь повлиять на неё.

Иные авторские попытки во что бы то ни стало казаться современным поражают своей наивной нарочитостью. В критических статьях, например, неоднократно упрекали писателей в пренебрежении к быту героев, в игнорировании таких «мелочей», как материальная их обеспеченность, квартирное устройство, в неумении показать их культурные интересы. Л. Борисов с точностью до одного рубля называет зарплату Анны Михайловны, размеры пенсии за умершего мужа, описывает мебель в комнате Наташи и её расположение, сообщает, что его герои получают подписные издания, а, выпив, на вечеринках обсуждают последние спектакли, международное положение и «проходит стажировку по философии».

Мы возражаем не против того, чтобы писатель чутко прислушивался к голосу критики. Мы против формального, механического следования советам и замечаниям критики. Мы против того, чтобы писатель равнодушно повторял зады общезвестных положений, вместо того чтобы глубоко осмысленно воспринимать самое существо их, исходить из них при создании характера советского человека.

Л. Борисов ещё недостаточно чутко прислушивается к пульсу жизни, недостаточно пристально всматривается в людей, а, как правило, или пользуется давно устаревшими впечатлениями, или ограничивается повторением уже сказанного. Даже уместно поднят и справедливо в принципе решённый вопрос о выборе профессии не получил в повести убедительного звучания прежде всего из-за слабого проникновения в жизненное существо дела, которое автор тщетно пытался возместить умозрительным психологизированием.

Повесть «Утро обещает» означает в творчестве Л. Борисова некоторый шаг вперёд: достоинство её мы усматриваем в обращении к чрезвычайно актуальной проблеме, в стремлении правдиво и бесхитростно рассказать о простых советских людях. При всём этом трудно закончить рецензию стереотипной фразой о недостатках, «которые

не ослабляют общего благоприятного впечатления и наверняка будут устранены в процессе дальнейшей работы». Слишком серьёзны эти недостатки, слишком велик разрыв между авторским намерением, материалом, на котором базировался писатель, и тем, что вышло из-под его пера.

В. КАРДИН.

★

Повесть о работниках торговли

Не каждый читатель художественного произведения о жизни и труде сталеваров или хлеборобов, учёных или инженеров может увидеть своими глазами ту или иную сцену, изображённую автором. С повестью Норы Аргуновой «Двери раскрыты настезь» дело обстоит иначе. Это повесть о людях советской торговли, её работниках, её энтузиастах, а также о тех, кто мешает лучше обслуживать покупателя, пытается за государственный счёт создать своё собственное благополучие. Каждый читатель бывает в магазине, будь то скромная булочная на углу или многоэтажный универсальный магазин в центре города. Тем более интересно узнать, что скажет о жизни и работе этих людей писатель. Вот почему вместе с юной Катей Вишняковой, поступившей ученицей в «Гастроном», мы с интересом вступаем в большой столичный магазин, где с утра до позднего вечера стоит неумолчный гул голосов и стрекот касс, куда без конца вливаются покупатели...

Не часто пишут у нас о торговле, её людях. Повесть Н. Аргуновой — одно из первых произведений на эту тему. Молодая писательница заслуживает похвалы не только за выбор темы, но и за правильно намеченные пути её разработки. То, что представлено в повести, заинтересует читателя, привлечёт его внимание, порадует хорошим знанием материала.

Решив показать на таком участке, как торговля, борьбу нового со старым, преодоление косности, рутинности, Н. Аргунова правильно поступила, поставив в центр своего повествования историю молодого продавца Сергея Зернова, коммуниста, бывшего фронтовика, задумавшего создать бригаду отличного обслуживания. Парторг Трошин

справедливо усмотрел в поисках Зернова ценное начинание. Он помог Сергею создать бригаду. В неё вошли разные люди. Н. Аргуновой удалось очертить их характеры. Это старый продавец Митрофанч, ворчливый и не сразу избавившийся от грубоватого тона по отношению к покупателям, юноша Виктор Клебанов, чистый душой, но увлекающийся, порывистый, вспыльчивый, наконец, Катя, начавшая трудовую жизнь ученицей, способная, трудолюбивая девушка, быстро занявшая своё место в строю.

С Сергеем Зерновым автор знакомит нас обстоятельно. Мы узнаём предисторию его поступления в магазин, историю его любви к Маше, чувство к которой зародилось у него ещё в десятом классе. Время не погасило любви Зернова, автор стремится показать это различными способами, но, кстати говоря, не достигает здесь особой глубины. Постоянство в любви вовсе не означает её однообразия. Н. Аргунова же рисует любовь Сергея Зернова к Маше после войны такой же, как и до войны. И это после того, как Маша вышла замуж, уехала на Дальний Восток, откуда вскоре вернулась с маленьким сыном, разойдясь с мужем!

Деловитость, организованность — отличительные черты Зернова-продавца. Эти качества, как и отличное обслуживание покупателей, завоевали ему доверие коллектива. Не случайно именно Зернов становится инициатором важного почина в магазине. Но, пожалуй, автор одарил молодого продавца излишним спокойствием. И это подчас подрывает доверие к образу. Зернов начинает большое дело, получившее широкий отклик по всей стране. Нашлись люди в магазине, которым это дело не по душе, они ставят палки в колёса начинанию Зернова. И что же? Взволнована директор магазина Ксения Максимовна, узнав, что у Зернова

Н. Аргунова. «Двери раскрыты настезь». Журнал «Знамя», №№ 4, 5, 6 за 1954 год.

произошла грубая ошибка, недоумевают продавцы, ломает голову старый Митрофанчич, один Сергей Зернов спокоен — не только внешне, что вероятно, но и внутренне, во что уже не верится. К тому же автор поспешно снимает остроту коллизии, что усугубляет неверную обрисовку характера Зернова.

Парторг Трошин — новый человек в магазине, он пришёл в «Гастроном» с завода. Н. Аргунова правдиво изображает состоявшие Трошина, пришедшего в ряды торговых работников из заводского коллектива. Не сразу осваивается новый парторг с особенностями работы в магазине. Но зато сразу берётся за главное — воспитание людей. Вот он среди покупателей наблюдает, как работают продавцы, вот он на диспетчерском часе у директора магазина Ксении Максимовны. Когда молодой продавец Виктор Клебанов нагрубил покупателью и пытался оправдаться, Трошин ответил ему: «Вы справедливо требуете к себе уважения и доверия. Но степень уважения и доверия покупателя зависит от вас самих прежде всего. Не только от вас лично, а вообще от продавцов. Продавцы — в каком-то смысле воспитатели людей, которых они обслуживают». Верные, правильные слова.

Но Н. Аргунова не избежала при этом распространённой ошибки — её Трошин больше резонёрствует, чем действует. Между тем у автора были все возможности больше показать Трошина и в действии.

Едва зародилось движение за отличное обслуживание, как у него тотчас нашлись последователи. Сергея Зернова приглашают в магазин на окраине города, он рассказывает там о своём методе, и его слушают с большим вниманием. Но у него появились не только друзья, но и недруги. Как только наладилась работа бригады, сразу стала заметна халатность Телешева — заведующего гастрономическим отделом магазина, других, равнодушных к покупателям, а иногда и нечистых на руку людей. Н. Аргунова достоверно развёртывает рассказ о Сергее Зернове, его сторонниках и врагах. В повести изображён лишь небольшой отрезок жизни коллектива советских продавцов, однако за это время происходит много событий, больших и малых. При этом автор последовательно выделяет главное — борьбу новаторов за утверждение передового в труде. Жаль только, что образы Зернова, Трошина, Пологовой удались Н. Аргуновой

меньше, чем образы тех, кто им противостоит.

Образ расхитителя советского добра Телешева выписан детально. Любит хорошо пожить Яков Парфёныч Телешев и для этого запускает свои грязные руки в государственный карман. Делает он это умело, поймать его нелегко. Орудует он не один, а с помощниками, следы замечает хитро. Но всё труднее и труднее ему изворачиваться. Алчность губит его — простая девушка Настёнка, найдя в себе мужество порвать с Телешевым, раскрывает его махинации. Всё это изображено автором правдиво, но не без просчётов. Одним из них является то, что автор заставляет такого матёрого хищника, как Телешев, прибегнуть к мелкой интриге с жалобой на Зернова, интриге, легко разоблачаемой старым, опытным продавцом Митрофанчичем. Телешев, презрительно относившийся к продавцу Рябичеву за его мелкое жульничество («полкило икорки»), так бы не промахнулся. Средства борьбы старого с новым в жизни значительно изощрённее, хотя, разумеется, Телешевы, не брезгая ничем, не отказываются и от грубых приёмов.

Интересен образ Сюртуковой. Едва эта женщина появляется на страницах повести, едва она громко, грубовато шутит по адресу беседовавших между собой директора магазина Пологовой и парторга Трошина, а затем бесцеремонно вешает своё пальто в шкаф, как мы уже угадываем, что Сюртуковой суждено будет сыграть далеко не последнюю роль. По занимаемой должности она заведующая оргинспекторским отделом торговой конторы, по характеру — завистница и склочница, по методам работы — отъявленный формалист и бюрократ.

«Нагрязнуть в магазин, пройти вдоль прилавков, заглянуть в подсобные помещения, черкнуть кое-что в заветный блокнотик и явиться к директору со значительным видом, вооружённой фактами, ошеломить, взволновать, намекнуть на возможные неприятности — это Сюртукова любила», — так характеризует автор методы её работы. В образе Сюртуковой автор развенчивает тех работников, которые полагают, что главное — это подметить недостатки, а помочь исправить их — дело одних критикуемых.

Н. Аргунова стремится всесторонне обрисовать Сюртукову, она показана во взаимоотношениях со многими, самыми различными людьми — от новатора Сергея Зернова до

расхитителя социалистической собственности Телешева, с которым Сюртукова вступает в моральную сделку. И всем, по словам автора, Сюртукова завидует: «Она завидовала не только женщинам, которые были моложе, красивее, наряднее её, но повод для зависти она находила там, где, казалось бы, найти его было невозможно. Работа, учёба, семейные обязанности других людей, их весёлое расположение духа, пение, смех, их добрые отношения — всё вызывало в Сюртуковой тяжёлое чувство, которое было для неё источником настоящих мучений».

Так Н. Аргунова определяет тайную движущую пружину действий Сюртуковой. Сюртукова — завистница, притом активная, она способна оклеветать человека, способна на решительные действия. Автор упорно развивает эту определяющую черту в образе Сюртуковой. Но, думается, что одной завистью нельзя объяснить все поступки Сюртуковой. Вступив в сделку с Телешевым и тем самым встав с ним морально на одну ступень, Сюртукова действовала не только под влиянием тёмной силы зависти, сколько по другим причинам: ей удобнее с Телешевыми, нежели с честными Зерновыми. Формалистка, бюрократка, человек бездушный и неумный, она носит в себе немало пережитков прошлого, роднящих её с Телешевым и ему подобными.

Но если Телешева схватили за руку и, надо полагать, воздали ему по заслугам, то Сюртукову изобличить не так-то просто. Мы видим её в конце повести в роли заместительницы директора нового магазина. «Отвратительно, — бормочет Виктор и даже сплёвывает, — фальшивая насквозь. И всё-таки опять в руководителях? И зачем только её сюда назначили? Зачем?»

Н. Аргунова хорошо знает жизнь работников нашей торговли. Она ставит в своей повести острые, актуальные вопросы. Но есть в её произведении существенный недостаток: мы видим в повести её героев на праздничной демонстрации, узнаём об их личных делах, однако всё это интересует автора постольку, поскольку перед ней —

продавцы, и никак иначе. Молодая писательница хорошо показывает, как работают её герои, и слабее раскрывает их думы и чувства. В результате герои предстают обеднёнными. Мы видим их преимущественно в «производственной» сфере. Так, например, директор магазина Пологова показана лишь в своём кабинете или за прилавком. Кроме этого, мы узнаём, что у неё примерный муж, он весельчак и всегда заходит за женой на работу. И всё. Пологова дана уже готовым, сформировавшимся директором. А ведь узнать, как человек растёт в труде, в обществе товарищей по работе, не менее, если не более интересно, чем узнать, как человек начинает спотыкаться и вовсе опускаться.

В повести есть излишние длинноты, звучащие иногда, как вставные новеллы. К чему так подробно описывать переживания мешанистой Полины? Только для того, чтобы доказать, что профессия продавца хороша, а она, Поля, неправа, разочаровавшись в Викторе Клебанове? Ясен и Телешев без излишне подробно описанных пьянок у него на квартире. Автор не поспешил на описания собраний — то это собрание продвцов, то конференция покупателей, то обмен опытом в другом магазине, то собрание бригады Зернова. Следовало бы экономнее рассказать о них.

Речевые характеристики героев у Н. Аргуновой неравноценны. Сюртукова и Телешев говорят своим языком, так же как бойкая Настёнка, скромная Катя, а вот речи Зернова, Трошина, Пологовой схожи. А ведь это тоже разные люди.

Промахи автора первой повести объясняются обычно его неопытностью. Н. Аргуновой легче будет исправить их, ибо она свободно владеет материалом, хорошо знает то, о чём пишет. Надо надеяться, что для отдельного издания повести «Двери раскрыты настужь» автор ещё и ещё раз пересмотрит свою книгу с самых сильных своих позиций.

Ю. ШАРАПОВ.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Воспоминания о В. И. Ленине. 104 стр.
Цена 1 р.

Г. Габов. Общественно-политические и философские взгляды декабристов. 296 стр.
Цена 5 р.

Б. И. Гоголь. Развитие товарооборота в Китайской Народной Республике. 144 стр.
Цена 1 р. 70 к.

А. Кирюхин. Могучая техника социалистического сельского хозяйства. 308 стр.
Цена 4 р.

М. А. Краев. Победа колхозного строя в СССР. 720 стр. Цена 9 р. 70 к.

И. И. Скворцов-Степанов. Мысли о религии. 40 стр. Цена 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Хута Берулава. Песня о звёздах. Стихи. 116 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Былинов. Металлисты. 300 стр. Цена 5 р. 30 к.

Г. Гулиа. Друзья из Сакена. Трилогия. 384 стр. Цена 6 р. 50 к.

Н. Грибачёв. Женевский репортаж. 96 стр. Цена 1 р. 60 к.

Э. Давыдов. Во имя солнечного дня. Поэма. 56 стр. Цена 1 р. 50 к.

Борис Зубавин. Самое главное. Повести и рассказы. 380 стр. Цена 6 р. 75 к.

Анна Караваева. Двор. — Лесозавод. — Рассказы. 516 стр. Цена 9 р. 5 к.

А. Коваленков. Лирика. Стихи и песни. 140 стр. Цена 2 р. 20 к.

Иосиф Колтунов. Стихотворения. 136 стр. Цена 2 р. 30 к.

Борис Лихарёв. Дороги дружбы. 220 стр. Цена 3 р. 35 к.

Вадим Лукашевич. Рассказы. 200 стр. Цена 3 р. 85 к.

Михаил Львов. Мирный человек. Стихи. 196 стр. Цена 3 р. 10 к.

Иван Молчанов. Золотой полдень. Стихи. 116 стр. Цена 2 р. 40 к.

Алексей Марков. Вышки в море. Повесть в стихах. 80 стр. Цена 2 р. 5 к.

И. Падерин. Сквозь огонь. Повесть. 180 стр. Цена 4 р. 10 к.

Ф. Певнев. Урожай. Повести и рассказы. 216 стр. Цена 4 р. 10 к.

М. Тевелёв. Свет ты наш, Верховина. Роман. 463 стр. Цена 8 р.

И. Френкель. Лист зелёный. Стихи о Молдавии. 96 стр. Цена 2 р.

С. Щипачёв. Строки любви. Стихи. 89 стр. Цена 1 р. 30 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

С. Д. Артамонов. Вольтер. Критико-биографический очерк. 172 стр. Цена 4 р. 50 к.

Оноре Бальзак. Собрание сочинений в 15 томах. Перевод с французского. Том 11. Человеческая комедия. Сцены военной жизни. Шуаны, или Бретань в 1799 году. — Сцены политической жизни. 3. Маркас. — Тёмное дело. — Депутат от Арси. 684 стр. Цена 15 р.

Виктор Гюго. Собрание сочинений в 15 томах. Перевод с французского. Том 5. Наполеон Малый. — История одного преступления. 720 стр. Цена 12 р. Том 6. Отверженные. Части первая и вторая. 672 стр. Цена 12 р.

Е. Елистратова. Фильдинг. Критико-биографический очерк. 99 стр. Цена 2 р. 10 к.

Любен Каравелов. Повести и рассказы. Перевод с болгарского. 272 стр. Цена 5 р. 25 к.

Халлдор Лакснесс. Самостоятельные люди. Героическая сага. Перевод с исландского. 496 стр. Цена 10 р.

Генри Лоусон. Шапка по кругу. Австралийские рассказы. Перевод с английского. 248 стр. Цена 5 р. 40 к.

Ляо Шэ. Рассказы. Перевод с китайского. 128 стр. Цена 1 р. 90 к.

Е. Мозольков. Янка Купала. Жизнь и творчество. 176 стр. Цена 5 р. 20 к.

Жигмонд Мориц. Рассказы. Перевод с венгерского. 192 стр. Цена 1 р. 90 к.

З. Паперный. А. П. Чехов. Очерк творчества. 192 стр. Цена 5 р. 45 к.

Генри Фильдинг. Избранные произведения в двух томах. Перевод с английского. Том 1. 756 стр. Цена 14 р. Том 2. 828 стр. Цена 14 р. 75 к.

Карел Чапек. Рассказы. Очерки. Пьесы. Перевод с чешского. 304 стр. Цена 5 р. 30 к.

Симон Чиковани. Избранное. Перевод с грузинского. 336 стр. Цена 7 р. 50 к.

Фридрих Шиллер. Избранные произведения. Перевод с немецкого. 708 стр. Цена 22 р. 85 к.

Д. В. Юферев. Н. А. Островский. Критико-биографический очерк. 160 стр. Цена 5 р. 40 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- В. И. Ленин.** О молодежи. 319 стр. Цена 5 р. 30 к.
Д. Краминов. Американские встречи. Очерки. 280 стр. Цена 6 р.
Б. Татраковский. Радости и горести Симы Каштановой. 167 стр. Цена 2 р. 5 к.
Анатолий Чехов. У самой границы. 267 стр. Цена 5 р. 50 к.

ДЕТГИЗ

- Гр. Адамов.** Тайна двух океанов. Научно-фантастический роман. 480 стр. Цена 9 р. 95 к.
Г. Ганейзер. Почему реки в море текут. 64 стр. Цена 1 р. 5 к.
И. Делман. Рассказы о математике. 144 стр. Цена 3 р. 5 к.
Б. Емельянов. Зелёная букашина. Рассказы. 48 стр. Цена 1 р.
Л. Кассиль, М. Поляновский. Улица младшего сына. Повесть. 456 стр. Цена 14 р. 15 к.
Ян Новый, Мы с Солнечной. Повесть. Перевод с чешского. 104 стр. Цена 2 р. 75 к.
Р. Рашидов. Дети такие мне нравятся очень. Стихи. Перевод с даргинского. 40 стр. Цена 90 к.
Я. Тайц. В школьном переулке. 160 стр. Цена 3 р. 80 к.
А. Талвир. У нас на Буле. Повесть. Перевод с чувашского. 104 стр. Цена 2 р. 60 к.
Л. Успенский. Слово о словах. (Очерки о языке). 296 стр. Цена 4 р. 95 к.
А. Яковлев. В поход за полезными ископаемыми. 132 стр. Цена 3 р. 85 к.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ
НАУК СССР**

- Агрохимические методы исследования почв.** 526 стр. Цена 37 р. 50 к.
Р. Ю. Виппер. Рим и раннее христианство. 266 стр. Цена 11 р. 70 к.
Живопись древнего Пянджикента. 199 стр. Цена 20 р.

- А. И. Китайгородский.** Порядок и беспорядок в мире атомов. 71 стр. Цена 1 р. 15 к.
Я. В. Пейве. Микроэлементы в сельскохозяйственной нечернозёмной полосе СССР. 107 стр. Цена 4 р. 50 к.
А. М. Шульгин. Почвенный климат и снегозадержание. 106 стр. Цена 1 р. 70 к.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

- Н. Г. Жуков.** Милитаризация Западной Германии — угроза миру и безопасности народов. 142 стр. Цена 3 р. 40 к.
М. Ингор. Сибиряки — герои Сталинграда. 99 стр. Цена 2 р. 45 к.
О советской военной науке. Сборник статей. 208 стр. Цена 5 р. 30 к.
Средства и способы защиты от атомного оружия. Сборник статей. 97 стр. Цена 1 р. 5 к.
Н. Г. Стобровский. Наша страна — родина воздухоплавания. 101 стр. Цена 1 р. 60 к.
Е. В. Гарле. Город русской славы. Севастополь в 1854—1855 гг. 215 стр. Цена 4 р. 50 к.
С. Н. Шишкин. Халхин-Гол. 62 стр. Цена 80 к.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

- Ст. Гейм.** Каннибалы и другие рассказы. Перевод с немецкого. 109 стр. Цена 2 р. 80 к.
М. С. Кришнан. Геология Индии и Бирмы. Перевод с английского. 424 стр. Цена 31 р. 45 к.
Народ Гватемалы и «Юнайтед фрут компани». Перевод с испанского. 51 стр. Цена 95 к.
Экономические успехи Китайской Народной Республики. 1949—1954 гг. Перевод с китайского. 258 стр. Цена 5 р. 90 к.

«ИСКУССТВО»

- Лопе де Вега.** Избранные драматические произведения. Том 1. 657 стр. Цена 20 р.
М. Кнебель. Слово в творчестве актёра. 151 стр. Цена 6 р. 25 к.
В. Матвеев. Шрифты. 117 стр. Цена 5 р. 35 к.



Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

С. П. Антонов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 10/X-54 г. Подписано к печати 28/X-54 г.
 А 06375. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 2275.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА



НА **1955** ГОД

НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

НОВЫЙ МИР

Журнал „Новый мир“ выходит
в переплёте и без переплёта

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 1955 год:

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
В переплёте	103 р.	54 р.	27 р.
Без переплёта	84 р.	42 р.	21 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

„Союзпечатью“, всеми почтовыми конторами
и уполномоченными железнодорожных
издательств на транспорте.